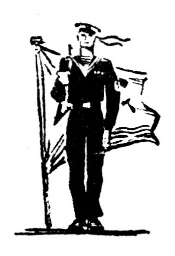

ВЯЧЕСЛАВ МАРЧЕНКО
ПО
МЕСТАМ
СТОЯТЬ

ВЯЧЕСЛАВ МАРЧЕНКО

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ

ПОВЕСТИ



МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1985

Р2
М30

Марченко В. И.

М30 По местам стоять: Повести. — М.: Воениздат, 1985. — 432 с.

В пер.: 2 р.

В книгу писателя-мариниста, лауреата Литературной премии Министерства обороны СССР, в прошлом флотского офицера, Вячеслава Марченко вошли две повести, посвященные современному Военно-Морскому Флоту: «Год без весны» — о становлении молодого офицера, о любви и верности, дружбе и товариществе и «По местам стоять» — о славных традициях нашего флота, о доблести и чести военных моряков.

Книга рассчитана на массового читателя.

М $\frac{4702010200-078}{068(02)-85}$ 134-85

ББК 84Р7

Р2



ГОД БЕЗ ВЕСНЫ

ПОВЕСТЬ

> Скажи мне, кудесник, любимец богов,
> Что сбудется в жизни со мною?..
>
> *А. С. Пушкин*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Штурманский поход, а следовательно, и вся весенняя кампания, которая начиналась этим походом, сложились для Андрея Степановича Веригина не совсем удачно, хотя, казалось бы, если верить приметам, все должно было выйти как нельзя лучше. В воскресенье ему повезло с билетами на оперу с Лемешевым — «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном...», потом долго, до последней электрички, провожался с Варькой на перроне Балтийского вокзала и досыта нацеловался, а в Рамбове тотчас — бывает же такое! — угодил на крейсерский катер, до подъема флага успел часок-другой поваляться на койке и весь день чувствовал себя превосходно. Со швартовых и якоря снялись после полуночи, оставив понедельник — проклятый людьми и богом день — за кормой, и опять все получилось хорошо...

А утром на траверзе острова Гогланд матрос-первогодок его башни Никифор Остапенко вывалился за борт. Море, к счастью, было спокойное, едва колыхалось, и вахтенные вовремя увидели человека за бортом, сыграли тревогу, Остапенко спасли.

Спасли и спасли, ну и ладно, тем более что Остапенко растерли спиртом и напоили чаем, а может, и наоборот: сперва напоили, а уж потом растерли, уложили в лазарете на койку, и через двое суток, перечитав Корабельный устав и подшивку «Советского флота», он как ни в чем не бывало вернулся в башню и приступил к своим обязанностям вертикального наводчика среднего орудия.

Остапенко, как и следовало ожидать, ничего не было, а для Веригина начались невеселые деньки, потому что чрезвычайное происшествие, иначе ЧП, как впредь именовался этот случай, произошло в его первой башне и расследовал происшествие командир дивизиона главного калибра Кожемякин, непосредственный начальник Веригина. Так вот, капитан-лейтенант Кожемякин и приказал лейтенанту Веригину «подетально» изложить существо ЧП в рапорте, который молодые лейтенанты, ерничая, называли докладной запиской, чтобы потом отобразить этот факт в приказе командира корабля как деяние позорное и возмутительное со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В базу пришли засветло, стали в аванпорту на «бочку», и, как только управились со швартовыми и скатили водой палубу, Веригин спустился к себе в каюту, заперся на ключ, чтобы попусту не отвлекали от дела, достал бумагу, вечное перо и сел сочинять докладную записку. Первая фраза легла сама собой: «Настоящим докладываю, что матрос вверенной мне первой башни Остапенко Никифор Емельянович... — «Никифора Емельяновича» Веригин тотчас машинально зачеркнул, оставив только инициалы «Н. Е.», — 14 января сего года, будучи на верхней палубе, выпал за борт». Веригин усмехнулся: «Угораздило ж человека в самый старый Новый год. Теперь все так и пойдет шиворот-навыворот — это уж как пить дать».

Лейтенант Веригин, он же Андрей Степанович, впервые писал докладную записку, или, если хотите, рапорт, потому что и башней командовал впервые, сменив полгода назад курсантскую голландку на офицерский китель, и думалось ему о чем угодно, только не о том, что матрос Остапенко на траверзе Гогланда почему-то вывалился за борт.

«А за каким, спрашивается, чертом понесло его на верхнюю палубу, когда была готовность номер два? — с досадой спросил себя Веригин. — И каким образом, черт побери, он вывалился за борт? Это ж надо ухитриться...»

Пришлось позвонить в кубрик и вызвать к себе Остапенко. Тот, поняв, видимо, что дело не шутейное, раз его отрывают от приборки, появился тотчас же, какой-то нелов-

кий, растерянный, потому что надо держать ответ перед командиром башни и поди теперь узнай, куда кривая вывезет.

— Садись, Остапенко, — помолчав для солидности, сказал Веригин тусклым голосом, не решив еще, как подобает вести себя с матросом, который едва не утоп, по счастью остался жив, а хлопот все равно наделал. — Рассказывай, Остапенко, — прибавил он опять же для строгости.

— А чего рассказывать-то?

— Все по порядку: как на палубе очутился, как за борт выпал.

— Так и очутился, — чувствуя себя неудобно, ответил Остапенко. — Очень даже обыкновенно.

Остапенко не был глуп — Веригин это видел по его глазам, — но тушевался и тупел после каждого слова.

— Ну а как же все-таки «обыкновенно»? — дружелюбно, даже с долей участия, спросил Веригин. — Была готовность номер два, а вы на палубу вылезли.

— Готовность готовностью, а мичман Медовиков велел мамеринец проверить. («Брезент между подвижной и неподвижной броней», — отметил про себя Веригин.) Я и пошел, а там палубу солияркой надраили да еще крейсер крутой поворот сделал. Вот и проскользнулся.

— «Проскользнулся»! — передразнил Веригин, досадуя уже теперь на старшину огневой команды мичмана Медовикова, который, вместо того чтобы проверить хозяйство перед походом, удосужился это сделать только в море. — «Проскользнулся»! — повторил он. — За леера надо было хвататься.

— Так их же перед походом срубили.

«Правильно, срубили», — машинально подумал Веригин.

— Ну, иди, — сказал он. — Иди, брат, и больше не испытывай судьбу. И разыщи мне мичмана Медовикова, чтоб одна нога там, а другая здесь.

Медовиков тоже не заставил себя ждать, стукнул для приличия в дверь и, не дожидаясь приглашения, переступил через комингс (иначе говоря — порог), небрежно бросил руку к козырьку щегольской фуражки:

— Так что, по вашему вызову...

— Ясно, что по моему. Сам не догадался прийти.

Вид у Медовикова был беспечный, широкоскулое рябое лицо его лоснилось и даже как будто бы слегка изнутри подсвечивалось, и Веригин не мог сообразить, расстроен Медовиков случившимся или ему в высшей степени на все это наплевать. «Ишь вылизался, небось на берег собрался», —

беззлобно подумал Веригин, испытывая некоторое почтение к своему старшине огневой команды, пропахавшему в войну на тральщике едва ли не все минные поля Балтики, а их, этих полей-то, было великое множество...

— Снимай мичманку, Медовиков, садись, закуривай и отвечай, — покровительственно сказал Веригин, чтобы скрыть почтительность и в то же время выказать свое превосходство.

Медовиков все исполнил в точности: неторопливо снял мичманку, не торопясь сел, достал портсигар, спички и опять-таки не торопясь закурил; осторожно, чтобы не попортить стрелку на брюках, положил ногу на ногу, тем самым дав понять, что он готов и слушать, и отвечать. Веригин терпеливо ждал.

«На берег собрался, — думал он и тоже не спешил с разговором, — мамеринец несчастный. Хорошо, что выловили Остапенко, а если бы не выловили — тогда что?»

— Так-то ты, друг любезный, готовишь башню к походу?

— То есть? — не понял Медовиков, соображая, куда начал клонить Веригин.

— Не строй удивленно глазки. Почему мамеринец загодя не проверили?

— А... вот вы о чем. — Медовиков насупился, и лицо его потускнело. — С мамеринцем был полный ажур. Только знаете, как случается: вдруг подумалось мне, что крепления ослабли. Вроде как кольнуло. Вот и заволновался. Черт меня дернул послать Остапенко. Надо бы самому посмотреть. Это уж, видно, какое-то наваждение.

— Что ж мне теперь прикажешь делать? Написать в рапорте, что вдруг какое-то наваждение подтолкнуло Медовикова, а он взял да и послал на палубу Остапенко, а тот, не будь дурак, возьми да и вывались за борт. Так, что ли?

Медовиков поднял голову и, уставясь в подволок, словно помечтал.

— Так не надо, — мягко, но убежденно сказал он.— Напишите, что я отпустил Остапенко по нужде.

— Одно другого не легче, — обозлился Веригин, но исподволь для себя согласился, что мамеринец — это все-таки одно дело, а гальюн — совсем другое. — Если говорить начистоту, то это в какой-то мере подлог.

— Какой же тут подлог? С мамеринцем-то и верно все было в порядке. Просто мне показалось, что крепления ослабли, а в море — волна. Как бы, думаю, вода на катки не попала. Лучше лишний раз проверить.

— На рейде об этом думают, а не в море.

— Так и на рейде об этом думали.

— Оно и видно...

Пригласили ужинать. Веригин с досадой сгреб бумаги, сунул их в ящик стола, переоделся в свежий китель с чистым подворотничком — неряшливо одетых офицеров старший помощник за стол не пускал, — сполоснул под краном руки. Медовиков молча наблюдал за своим командиром башни, неслышно поерзывая на стуле: ему тоже следовало бы поспешить, потому что и хозяин малой кают-компании — главный боцман — не терпел опоздавших. Правда, ужин не обед, за ужином допускались кое-какие вольности, но обеда в море не было, ели наспех, поэтому опаздывать на ужин сегодня не следовало бы...

— Ну чего ждешь, иди, — сказал Веригин, догадываясь наконец, что Медовикову тоже нельзя опаздывать. — Встретимся после ужина.

«Так, — немо взбунтовался Медовиков, но виду не подал. — Выходит, бережок нам сегодня не светит. А меня ждут, товарищ лейтенант. Я письмо с этих мест получил, Андрей Степаныч. Это ж понимать надо, товарищ Веригин».

Они разошлись в разные стороны: Медовиков налево, в корму, Веригин направо и вверх по трапу.

В салоне его придержал за рукав комдив Кожемякин, одетый уже для берега: выходная тужурка с золотом якорей на воротнике, белая шелковая рубашка.

— Ну как, написали?

— Да нет. Собственно, Остапенко ни при чем. Нет, конечно же он при чем, но послал-то его на палубу Медовиков проверить мамеринец.

Кожемякин поморщился: «Заставь дурака богу молиться...»

— Это он сам говорит?

— Так точно.

— А Медовиков что?

Веригин немного помялся:

— Считает, что отпускал Остапенко в гальюн.

— Правильно. Так и напишите. Дело-то не шутейное, доложено командиру соединения, а тот отбил шифровку в штаб флота. Вот что, голубчик, посидите сегодня на корабле, посочиняйте. А завтра перед завтраком прошу ко мне.

Кожемякин отошел и смешался с группой старших офицеров, но его тотчас отвел в сторону командир артиллерийской боевой части — БЧ-2 — капитан третьего ранга Студеницын и шепотом задал набивший уже оскомину вопрос:

— Ну как?

— Шел в гальюн и — поскользнулся, — шепотом же ответил Кожемякин.

— Так я и думал, так я и думал, — потирая руки, сказал довольный Студеницын. — На берег сегодня не ходите и заготовьте к подъему флага приказ. Особо не расписывайте, но сделайте вывод, этак помягче, что с морской подготовкой в дивизионе не все обстоит благополучно. Хотя, — Студеницын задумался, — Остапенко минут сорок болтался в воде и — ничего?

— Ничего, товарищ капитан третьего ранга.

— Ну вот видите. Значит, не особенно расписывайте, а так, помягче, полегче, что ли, отечески пожурите. А Веригину выразите мое неудовольствие. И пусть особенно-то берегом не увлекается.

Хорошо отлаженный механизм, подобно взрывному устройству, сработал четко: за борт вывалился матрос-первогодок Остапенко и поднял круги, которые захватывали все большее число людей — мичмана Медовикова, лейтенанта Веригина, капитан-лейтенанта Кожемякина, — и кто знает, как бы далеко пошли они, если бы Медовиков вовремя не сочинил историю с гальюном, так сказать, не придал бы случившемуся бытовую окраску, и круги, ударившись об эту версию, словно бы потеряли свою силу и, сужаясь, побежали вопреки физическим законам обратно, к Остапенко.

За ужином было шумно и весело: не считая происшествия с Остапенко, первый после зимнего ремонта поход завершился успешно, и даже сорокаминутная задержка возле Гогланда не помешала вовремя выйти на рандеву с отрядом кораблей. Хотя адмирал и выразил свое неудовольствие остановкой, но «благодарю» на стеньге все-таки поднял. Это уже кое-что значило.

— Как там у тебя все получилось-то? — наклонясь к командиру артиллерийской боевой части Студеницыну, мимоходом, чтобы не портить общего настроения, спросил старший помощник, капитан второго ранга Пологов.

— В гальюн отпросился, — глуша ладошкой голос, отозвался Студеницын.

— А, черт... Кои матросы пошли. Нужду по-человечески справить не могут. Зайди ко мне после ужина, помозгуем вместе.

— Хотел на бережок смотаться.

— Ну-ну, не молоденький. Только от жены и уже — на берег.

Веригин чувствовал себя скверно: казалось бы, велика ли разница, почему матрос Остапенко во время поворота очу-

тился на палубе, но разница эта теперь стала играть существенную роль. «Странно все это, — думал Веригин, машинально ковыряя вилкой в тарелке. — Остапенко, мамеринец, Гогланд, гальюн. И слова-то какие-то разные, а вот сошлись и завязались в единый узел... И совсем не в этом дело».

— Ты что это, братец, смурый? — Его легонько толкнул сосед, командир второй башни старший лейтенант Самогорнов. — Из-за этого, что ли, как его, Остапенко? Брось, перемелется — мука будет.

«Оно и верно, — отрешенно согласился Веригин, но легче ему от этого согласия не стало, даже как будто малость обозлило, и он опять подумал: — И совсем не в этом дело». А вот в чем было дело, он не знал.

Старпом Пологов постучал по столу черенком ножа, привлекая к себе внимание:

— Товарищи офицеры, командир приказал предоставить в ваше распоряжение свой катер. Веригин, прошу на берег не сходить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

После ужина Веригин опять сочинял рапорт, но это только называлось, что он что-то там сочинял, а на самом деле рисовал кренделя, завитушки и рожицы. В открытый иллюминатор ветер забрасывал соленые брызги и отрывки популярной песни:

Там за волнами,
Бурей полными...

В дни увольнений радисты заученно крутили пластинки, крутили до хрипоты, до изнеможения, включив верхнюю палубу, хотя было довольно прохладно и вряд ли кто отважился слушать музыку на палубе.

Ой вы ночи, матросские ночи...

— «И скушно, и грустно, и некому руку подать», — меланхолически произнес вслух Веригин, которому вся эта возня вокруг Остапенко неожиданно надоела до чертиков.— Ну, выпал, так не утонул же, жив остался, а тут теперь такую антимонию развели... Ау, Варька, где ты? — дурачась, вопросил он.

Осталась Варька на другом краю Балтийского моря, в веселом городе Ленинграде, который моряки по старинке еще величали Питером. Ах, Питер ты, Питер — величаво-парадная Дворцовая площадь, рабоче-корабельный Васильевский

остров, нисходящая в Неву парусами домов набережная Лейтенанта Шмидта, перрон для прощаний Балтийского вокзала, да где же вы, родимые? А хорошо они тогда целовались на глазах поздней изумленной публики, жарко, досыта, будто и не верили, что расстаются. Варька уткнулась лицом в его грудь, замерла.

— Я приеду, слышишь, приеду. Ты только напиши, что и как.

А о чем, спрашивается, писать? Вот ведь дело-то какое: рассказать про Остапенко — ерунда получается, а про себя вроде бы и писать нечего — жив, здоров. И Веригин наискосок через весь лист вывел: «Люблю», подумал и жирно поставил три восклицательных знака, запечатал лист в конверт и позвонил на вахту:

— Будет еще катер на берег?

— Через десять минут отойдет.

Пока надписывал адрес, ходил на вахту, на душе словно бы посветлело, даже посмеялся над собой: «Нашел, из чего трагедию делать. Кому какое дело, ходил ли Остапенко в гальюн или его послали проверить мамеринец. Главное, что он оказался на палубе во время поворота и дуриком вылетел за борт. Дуриком вылетел-то».

В коридоре, возле каюты, Веригина ждали Медовиков с Остапенко: Медовиков уже в рабочем кителе, в берете, отчего лицо его еще больше округлилось, а оспинки как-то потускнели, зато Остапенко принарядился — суконная рубаха, черные брюки — словом, форма выходная, номер три.

— Меня, что ли, ждете? — хмурясь, спросил Веригин, меньше всего в эту минуту испытывая желание вести душещипательные беседы.

— Вас, — коротко и даже сердито подтвердил мичман Медовиков, а Остапенко, тушуясь и отступая за Медовикова, добавил:

— Так точно.

— Ну, раз меня и «так точно», то прошу.

И Веригин распахнул дверь, впустил мичмана с матросом, вошел сам и сразу почувствовал, что в его каюте тесно, хотя все прочие крейсерские лейтенанты завидовали Веригину, считая его каюту роскошной. Впрочем, корабельные помещения рассчитаны ровно на столько-то, и не на человека больше: одному — хорошо, двоим — сносно, а трем уже и совсем тесно. Веригин усадил гостей на диван, ночью служивший ему койкой, сам устроился на стуле возле стола, помолчал и, поняв, что те первыми не начнут, спросил:

— С чем пожаловали?

— Так что, товарищ лейтенант, я досконально все припомнил, — сказал Остапенко заученные слова. — Так что, я на самом деле шел по нужде и случайно проскользнулся.

— Все?

Остапенко посмотрел на Медовикова, силясь понять, что еще требуется говорить в подобном случае, но Медовиков даже бровью не повел, и тогда Остапенко на свой страх и риск пробормотал:

— Так что, все, товарищ лейтенант. Я вот тут на бумажке пересказал, как все было.

— В объяснительной записке, — покашляв в кулак, поправил его Медовиков.

— Так точно, в записке, — повторил за Медовиковым Остапенко.

— Кого выгораживаете? — раздражаясь на себя и на Остапенко с Медовиковым, а вместе с ними на комдива Кожемякина, глухо спросил Веригин, взял из рук Остапенко сложенный вчетверо лист из ученической тетради и, не читая, кинул его на стол. — Кому это нужно? Мне, вам, комдиву? — Он воодушевился и сам уже поверил, что никому-то не нужна их святая ложь: ни им, ни ему, ни комдиву Кожемякину.

— Так что, тут все в точности, как было, — пробормотал Остапенко, каждый раз прибавляя к своим словам «так что» и «так точно».

— «Как было, как было»! — передразнил Веригин, забывая о своей роли отца-командира и чувствуя, как раздражение его мало-помалу гаснет. — Ты хоть рад, что легко отделался, сидишь вот сейчас у меня в каюте, лопочешь невесть что и мамке твоей не придется лить слезы?

— У меня нет мамки, — краснея, словно от натуги, сказал Остапенко. — Померла два месяца назад.

— Ну да, ну да, — спохватился Веригин, вспомнив, что сам же добивался для Остапенко отпуска «по семейным обстоятельствам», и тоже покраснел. — Извини, брат, душевно извини. А теперь иди. Сейчас кино будут крутить в жилой палубе. Иди, брат, и больше не зевай. Один раз пронесло, в другой — не пронесет.

Остапенко понял, что настроение у Веригина круто изменилось и, значит, все его хождения по мукам разом остались позади, осмелел, словно почувствовав свободу, и терпеливо попросил:

— Почитать у вас ничего не найдется, товарищ лейтенант?

Малость опешив, Веригин хотел ответить, что на то су-

ществует корабельная библиотека, а он, лейтенант Веригин, в книгоноши не записывался и, кроме специальных книг и журналов, ничего не держит, но не сказал, отодвинул ящик стола, достал снизу свежий журнал в черной обложке с золотым тиснением: «Морской сборник».

— На вот, если интересуешься. Тут есть хороший разбор операции Маринеско в Данцигской бухте. Ты знаешь, кто такой Маринеско?

— Так точно, знаю, — поспешил заверить Остапенко, хотя фамилию эту слышал впервые, и Веригин с сожалением подумал: «Ни черта ты, брат, не знаешь, а говоришь. Вот это-то и плохо. Плохо это, брат».

— Ну иди, Остапенко, и впредь будь осторожнее.

Остапенко вышел как-то боком. Веригин с треском задвинул ящик, свирепо — испепеляюще, как ему показалось, — поглядел на Медовикова, который сидел перед ним прямо и невозмутимо и всем своим видом в равной степени выражая и свое согласие с тем, о чем и как говорил Веригин с Остапенко, и полное свое несогласие.

— Молчишь? — спросил Веригин. — Человек мается, можно сказать, места себе не находит, а ты молчишь?

— Я не молчу. — Медовиков усмехнулся уголками рта и глаз, не дрогнув ни одним мускулом. — Это, Андрей Степаныч, тактика.

— Какая к черту тактика, Василий Васильевич, если мы... — Этим «мы» Веригин специально подчеркнул, что он не отделяет себя от Медовикова и не становится в позицию стороннего наблюдателя. — ...Если мы, — сделав паузу, еще раз подчеркнул Веригин, — послали человека на палубу, забыв, что у него только что умерла мать, что он, наверное, и себя-то замечает не каждый день.

«Папа, мама, — обиделся Медовиков. — Бывало, когда шли на минные поля, об этом меньше всего думали. Шли — и ладно. А теперь, видишь ли, папа, мама... А у меня нет ни мамы, ни папы. Ну и что?» — думал он сердито, но сказал миролюбиво:

— Допустим, мы напишем все, как было: я запамятовал, хороши ли у мамеринца крепления, и послал Остапенко на палубу. А у Остапенко недавно умерла мать, и он все еще ходит как чумной. А до этого мы нашвабрили палубу соляркой, и она стала скользкой. А штурмана, будь им неладно, в это время сделали поворот. Словом дальше — больше. А кому все это надо?

— Нам же с тобой и надо. И Остапенко надо. И Кожемякину тоже надо.

— По всем статьям ошибаешься, Андрей Степаныч, — снисходительно возразил Медовиков. — Остапенко это не надо, потому что, по себе знаю, — для матроса хуже некуда, когда его по начальству тягают. И Кожемякину тоже не надо, потому что именно он докладывал о готовности дивизиона к бою и походу и еще потому, что он этого Остапенко видит только в строю на подъеме флага. Где ему знать, чего думает наш милый Остапенко, какие ветерки гуляют в его голове! И тебе не надо, Андрей Степаныч. А обо мне и говорить нечего.

— Мудр ты, Медовиков, слов нету, но как бы мне сейчас хотелось, чтобы у тебя этой мудрости было поменьше!

— Это от меня не зависит, — подчеркнуто отчужденно сказал Медовиков и тоже, как давеча Остапенко, извлек откуда-то и протянул Веригину лист писарской бумаги, сложенной только вдвое: эта бумага могла пойти по начальству. — Тут я рапортишко за вас сочинил. — Он назвал Веригина на «вы», подчеркнув тем самым, что дружба дружбой, а служба службой. — Можете подписывать не читая.

— А может, все-таки позволишь прочесть?

— Читайте, только больше того, что положено, не вычитаете.

Веригин пробежал глазами бумагу, перебеленную хорошим почерком, и размашисто подписал. Медовиков, как всегда, был прав: он изложил факт как случай, а от случайностей еще никто не застрахован, хотя, может, только теперь Веригин и понял, что в этом случае таилась закономерность. Он собрался к Кожемякину, сказав, что, когда вернется, позвонит Медовикову в каюту.

— Не потребуется, — сказал Медовиков.

— Откуда тебе знать, ясновидец? На картах, что ли, прикинул?

— Зачем на картах. — Медовиков был невозмутим и даже как будто обижен, что вот он-де толкует-толкует прописные истины, а его не понимают да еще сомневаются. — Душу человеческую надо знать. Она же из одного теста, что у матроса, что у комдива.

И они опять разошлись в разные стороны: Медовиков к себе в корму, а Веригин направо и вверх по трапу. Он прошел в салон, поискал среди офицеров комдива Кожемякина, который, зевая, листал журналы и явно был не в духе.

— Ну что там у тебя? — спросил он, откладывая журнал в сторону.

— Да вот, — сказал Веригин, подавая бумагу.

Кожемякин прочитал ее и раз, и другой, потом поднялся,

привычно одернул китель, пробежал пальцами по пуговицам.

— Подожди меня здесь. Пойду доложусь командиру БЧ. Экая с вами морока. — Он с неудовольствием потянул носом воздух, как бы говоря, что все это дурно пахнет, и вышел.

Веригин послонялся из угла в угол, открыл крышку пианино, ткнул пальцем в один и другой клавиш, извлекая из инструмента прыгающий мотивчик: «Чи-жик-пы-жик, где ты был?..», и вопросительно оглянулся. На него не обратили внимания, и тогда Веригин повторил упражнение.

— Слушайте, Веригин, вам что — делать нечего?—спросили из-за шахматного столика, не подняв даже головы.

— А если нечего?

— Так идите спать, следуя мудрому правилу: матрос спит, а служба идет.

— Скушно, — выйдя на середину салона и ни к кому прямо не обращаясь, произнес Веригин.

Игравший в шахматы трюмный механик с минным офицером подняли головы молча, с интересом посмотрели на Веригина и снова дружно уткнули носы в доску: «Дурит лейтенантик, стоит ли обращать внимание».

И снова в салоне воцарилась тишина. Только под палубой, в чреве корабля, что-то шевелилось и посапывало, как будто силилось вырваться на волю, но, скованное сталью, смирялось, на мгновение замирало и снова начинало шевелиться и посапывать. Невидимая сила эта, рожденная из огня и воды, крутила на походе гребные валы, давала электричество в башни и на рули — словом, обеспечивала жизнедеятельность корабля; теперь сведенная к минимуму, лениво ворочалась и ворчала.

— Скушно, — повторил Веригин, опять подошел к пианино, потыкал пальцем: «Чижик-пыжик, где ты был?..» Не далее четырех суток был он, чижик-пыжик, и на Фонтанке, и за обедом с Варькиным отцом по малости выпил водчонки.

«Две ни то ни се, а четыре многонько, — приговаривал при этом Варькин отец, металлист с Балтийского завода, балагур и не дурак выпить, считавший каждого Варькиного ухажера женихом и поэтому всякий раз выставлявший угощение, а может, потому и считавший, чтобы выставить это угощение и самому оказаться при деле. — Так что, дочь, плесни нам по третьей, оно пока и будя».

«Тебе, может, и будет, а Андрюшке уже хватит, — отвечала Варька, хозяйничая за столом. Мать от этих застолий держалась подальше: в отличие от самогó, она была трезвым реалистом и понимала, что расстояние от ухажера до же-

ниха весьма условное и поэтому растяжимое. — Нам сегодня в оперу», — говорила Варька.

«В оперу — это правильно, — тут же говорил отец. — А я вот — хе-хе! — никуда не собираюсь. — И он наливал себе и четвертую, и пятую, не прочь был выпить и шестую. — Где наша не пропадала!»

Варька сердилась или делала вид, что сердится, и Веригин, слегка хмелея и от выпитого, и от домашнего вида Варьки — была она в тесном, едва ли не трещавшем на груди халатике, с полными оголенными руками, — думал, что вот так же и на него она будет сердиться и покрикивать, а он только станет посмеиваться, дескать, давай, проявляй свою эмансипацию на практике, и все у него в мыслях выходило хорошо и даже мило.

«А где теперь эта Фонтанка и где теперь сама-то Варька?» — только что не вслух спросил Веригин и с силой хватил по клавишам: «Чижик-пыжик, где ты был?..»

— Ну, знаете ли, Веригин, — в один голос сказали трюмный механик с минным офицером. — Это уже ни на что не похоже.

«Нехорошо-то как, — подумал Веригин. — Как все это паршиво вышло...» И, краснея, буркнул:

— Прошу прощения... Черт, нервы...

— Пейте бром, валерьянов корень и настойку ландыша, Веригин. Дамы утверждают, что это верное средство держать себя в руках.

«Сам-то ты дама!» — обиделся на трюмного механика Веригин, но словопрения открывать не стал, понимая, что по собственной инициативе налетел на «даму» и, значит, обижаться нечего, а лучше все обратить в шутку, но, как назло, в голове складывалось только непотребство; ругаться хотелось Веригину, а не шутить. На его счастье, в дверях появился рассыльный и, поискав глазами Веригина, поманил пальцем:

— Вас к командиру.

— Веригин, не забудьте про бром и валерьянов корень!

— Пошел ты к черту, — беззлобно выругался Веригин и, словно бы машинально, провел расческой по волосам, снял с кителя соринку, мельком глянул в зеркало и снисходительно, даже немного кокетничая, посмеялся над собой: вид не то чтоб уж очень бравый, но вполне сносный — грудь колесом и плечи в сажень, правда, шея подвела, длинновата, похожа на петушиную, но шея — дело наживное. Появятся на погонах новые звездочки — обрастет и шея складками.

Веригин одним махом поднялся на надстройку, отдышался, чтобы выглядеть спокойным, и крепко постучал в дверь. Ответили тотчас же: «Войдите». Веригин вошел и на мгновение ослеп. В командирском салоне горели все светильники, и было так роскошно празднично, что Веригин даже сперва не поверил, что в одном помещении может быть сразу и роскошно, и празднично. За овальным, под дуб, столом сидели командир, немолодой, но молодящийся капитан первого ранга; его заместитель по политической части и немолодой и немолодящийся капитан второго ранга Иконников; старпом Пологов с командиром артиллерийской боевой части Студеницыным и, несколько в стороне, комдив Кожемякин. Все они пили чай из тонких стаканов в массивных серебряных подстаканниках, негромко позванивая ложечками, и неторопливо, непринужденно вели беседу о погоде, о давних, недавних и предполагаемых походах, о скорых стрельбах главного калибра. В командирском салоне считалось хорошим тоном не столько говорить, сколько внимать, и уж, во всяком случае, вопросов не задавать и никуда не спешить.

Выслушав доклад Веригина, командир молча указал на свободное место возле стола, тихо, безразлично спросил:

— Чаю? — И, не повышая голоса, распорядился: — Прибор и чай лейтенанту.

Комдив Кожемякин, взглянув на командира боевой части Студеницына и заметив, что тот отрицательно качнул головой, незаметно — одними глазами — посоветовал Веригину: «Поблагодари и откажись». Наверное, и следовало бы поблагодарить и отказаться, но Веригин не то чтобы оробел, а как-то стушевался, стал неловким и, чтобы скрыть эту неловкость, принял от бесшумного вестового, одетого в белое — форменка, холщовые штаны, — стакан, подвинул к себе сахарницу.

— Варенье или мед? — спросил командир.

— Благодарю вас, я — с сахаром.

— Будь по-вашему. — Командир дождался, когда Веригин подцепит непослушной ложкой сахар, размешает его и отхлебнет из стакана и раз, и другой, и только потом спросил: — Так вы полагаете, что весь этот случай — чистейшей воды оплошность матроса?

«Никто так не полагает», — подумал Веригин и мельком глянул на Кожемякина, потом на Студеницына, и те в той же последовательности и тоже мельком указали бровями, что́ надо говорить, и Веригин именно это и сказал:

— Так точно.

— Что значит «так точно», когда, вероятно, все было не

так. И уж, во всяком случае, не точно, — возразил командир, схлебывая с ложечки чай. — Хорошо, что все кончилось так — это уж точно, а остальное, по-моему, и не так, и не точно, — повторил он и посмотрел на старпома Пологова.

Тот, неожиданно сморгнув, перевел взгляд на командира боевой части Студеницына. В свою очередь Студеницын побуравил Кожемякина, а уж Кожемякин глазами указал Веригину, что молчать не следует, а надо что-то сказать, но вот что сказать — Веригин не понял и, воззрясь на командира, внятной скороговоркой произнес:

— Так точно.

— Ну вот, я ему про Фому, а он мне про Ерему, — пошутил командир, и все заулыбались облегченно, мило и простецки, поняв, что гроза миновала. Не понял только Веригин, которому стало не по себе, и он уже не чаял унести отсюда ноги. — Выражаю вам свое неудовольствие, — сказал командир, когда улыбки погасли. — Негоже начинать службу с того, чтобы матросы за борт падали. Ну, а затем удерживать не смею. Об остальном позаботится комдив своей властью. Да, кстати, лейтенант, как себя чувствует матрос...

— Остапенко, — подсказал Кожемякин, легонько склонив голову.

— Да, Остапенко.

— Он уже в башне, при своих обязанностях.

— Небось страшно лететь-то было?

— Не спрашивал, товарищ командир.

— Как же так: случай расписали на целый лист, а о главном человека не спросили. Забыли человека-то, лейтенант.

— Так точно.

— Не забывайте человека, лейтенант. И можете быть свободны.

Через час или час с четвертью Веригину позвонил комдив Кожемякин и, посмеиваясь в трубку, между прочим сказал:

— Ну, силен ты! А впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Но учти: недельку придется посидеть без берега. Это я тебя своей властью награждаю, а в башне ты уж сам разберись.

Утром Веригин с глазу на глаз объявил своему старшине огневой команды мичману Медовикову выговор. Ни один мускул не дрогнул в лице Медовикова — ну что ж, дескать, выговор так выговор, — только глазами обиженно

спросил: «За что?» — «А вот за то самое», — тоже глазами ответил Веригин.

— Остапенко возьми на себя.

— Добро, — спокойно, как само собой разумеющееся, сказал Медовиков.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Есть в корабельной жизни одно несомненное достоинство: какие бы берега ни плыли за бортом и какие бы маяки ни светили в ночи — моряк все дома. Корабль, подобно плавающему обжитому острову, весь быт свой несет вместе с собою, и пусть вчера за кормой горбатился Морским собором Кронштадт, а сегодня из-за дюн вонзил в сумеречное небо готические шпили старый балтийский город, ничто не могло измениться, потому что и камбуз с хлеборезкой оставались на прежнем месте, и в кают-компании привычно горел мягкий свет, и артиллерийские башни хранили грозное молчание.

Ничего не могло измениться — и все-таки что-то изменилось...

Остапенко был счастлив уже тем, что, как говорится, вышел сухим из воды; Веригин поначалу принял наказание как должное — такова служба: или тебя поощряют, или тебя наказывают. Кожемякин случившемуся придал значение постольку, поскольку это произошло в его дивизионе; Медовиков обиделся: «Вот оно, минное поле-то... Пузыри пускает один, а подзатыльник получает другой». Командиру пришлось пережить несколько неприятных минут за стаканом пунша у контр-адмирала, командира соединения.

— Что это у тебя люди стали за борт падать? Кажется, первый случай за тридцать лет, так сказать, безупречной службы?

— Первый на тридцать первом, — довольно удачно скаламбурил капитан первого ранга.

— Будем считать, что первый будет и последним.

Однажды на офицерском собрании да раза два-три на старшинских совещаниях еще упомянули Остапенко, и дело это ушло в тень, словно бы стушевалось, но совсем не забылось, чтобы впредь другим было неповадно. Служба, она и есть служба, только что-то разладилось у Веригина, ослабла какая-то пружинка, и он никак не мог понять, что именно разладилось, а что ослабло. Он исправно стоял вах-

ты, готовил башню к стрельбам, в свободные часы съезжал с компанией офицеров на берег, а там, в старинном городе за дюнами, старался обособиться и, когда это ему удавалось, бесцельно слонялся по улицам и улочкам, дивясь постройкам несколько чуждой его глазу работы. Черепичные островерхие крыши и стрельчатые окна, лютеранская кирка, куда он забрел случайно, и готический собор, в который он уже зашел намеренно, немо рассказывали о какой-то другой истории и какой-то другой жизни, непонятной Веригину. Холодно и неуютно было ему в этом старом городе, и хотелось поскорее на корабль, где дремотно и непрестанно жужжала вентиляция, привычно пахло краской, а в тесной каюте, похожей на купе международного вагона, чисто и тепло, но в отличие от того же купе, где все чуждо, в каюте любая вещь обжита, привычен каждый угол, и в каждом углу по-домашнему уютно.

Но он не спешил и на корабль, а, вопреки своему желанию, чтобы не казаться белой вороной, шел со всеми в ресторан Дома офицеров ужинать и после холостяцки-сурового ужина без спиртного — в редкий случай пиво с тугой пеной над кружкой — поднимался по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой, в танцевальный зал и там наравне с другими исправно кружил вальсы и танго с местными штатными красавицами, удивительно капризными и разборчивыми в своих знакомствах: лейтенанты в расчет не принимались, ценились кавалеры рангом повыше. Был еще в городе Базовый матросский клуб и Интернациональный клуб моряков, но первый в основном посещали матросы и старшины, а во втором появление в военной форме считалось нежелательным, а штатским костюмом Веригин еще не обзавелся. Командир второй башни Самогорнов изредка туда захаживал и потом рассказывал, что барышни там собираются попестрее, с первого же вечера не прочь пообниматься на лестнице, ну и все такое прочее. Самогорнов как-то предложил Веригину свой костюм, но Веригин подумал-подумал — и отказался.

— Костюмами брегуешь или барышнями? — ехидно, с подковыркой спросил Самогорнов, умевший этак небрежно вместо брезгуешь вставить брегуешь, а вместо, скажем, привиделось — поблазнилось. Это была его чудинка, потому что на крейсере каждый офицер имел свою чудинку: старпом Пологов, к примеру, носил усы, а старший артиллерист Студеницын брил голову, хотя усы у старпома были самые никудышные, а Студеницын сломал в своей шевелюре, когда носил ее, не одну расческу. Словом, каждый офи-

цер так ли, иначе ли отличался своей чудинкой, а вот у Веригина ее не было, и штатским костюмом он не успел обзавестись, и в Интернациональный клуб — это ж надо! — не рвался.

— Не брезгую я твоим костюмом, Самогорнов. А тамошними девицами брезгую — это точно.

— Невинность блюдешь?

Веригин не нашелся, что ответить на это, девически ало засмущался: не рассказывать же было Самогорнову, что в каждой встречной он видел Варьку, но так как все они несравненно были поплоше Варьки — уж в этом-то Веригин не сомневался, — то ни одна ему и не могла приглянуться. И он пустился рассуждать о том, что и башня-то у него к стрельбам не готова, и с Медовиковым — а он, Медовиков-то, шутка сказать: старшина огневой команды, — теперь не все клеится, и еще о чем-то говорил Веригин. Самогорнов его не слушал.

— Ты что, первый год замужем? — спросил он уже серьезно.

— То есть? — совсем смешался Веригин.

— А вот тебе и то есть. Собери командиров орудий, старшин погребов, сделай им внушение. Медовикова тоже поставь на место. И живи себе припеваючи. С твоим-то Медовиковым я и горюшка бы не знал. Это же орел. Хочешь, давай меняться, — неожиданно предложил Самогорнов. — Я тебе своего мичманца — ты мне своего.

— Погожу, — подумав, сказал Веригин.

— Смурый ты какой-то: костюм предлагаю — отказываешься, девицами брегуешь, мичманцами меняться не хочешь. Так скажи, чего же ты хочешь?

Задай Самогорнов вопрос полегче, Веригин и то сразу бы вот так не ответил, а тут попробуй-ка изложи ему в двух словах всю программу — ни больше ни меньше — своей жизни. Ни тогда, ни после не сказал Веригин Самогорнову, чего он хочет, даже и для себя-то весьма смутно представлялись ему желания, которых было и слишком много, и ничтожно мало: во-первых, чтоб все было хорошо, и во-вторых, чтоб хорошо все было, а в-третьих, чтоб было все хорошо, а в-четвертых, мечталось ему когда-нибудь в той туманно-розовой дали подняться командиром на ходовой мостик — и опять, чтоб все у него было хорошо. «Блажен, кто смолоду был молод», — сказал наш великий поэт, а Веригин смолоду был молод и любил, грешным делом, помечтать, и в мечтаниях незаметно, словно само собой, стиралась жесткая грань между явью и грезами, и виделся себе

Веригин уже не безусым лейтенантиком с петушиной шеей, а вполне заматерелым капитаном первого ранга, и Варьку видел с собой, и, бог ведает, кого еще только он не видел рядом, и был он при этом грозен и бесстрашен, и мил, и находчив — словом, Веригин не скупился и щедро оделял себя всеми вселенскими добродетелями.

Ах, как мило и просто не быть, а казаться, тогда и мир словно бы этакие розовые кущи, а там как-то позвонил Самогорнов — ох, уж этот бес-искуситель! — и будничто так, будто бы между прочим, пригласил:

— Загляни-ка, братец, на минуту. Дело есть.

В каюте у Самогорнова Веригин встретил незнакомого ему лейтенанта с холодным, холеным лицом, выбритым до синевы, и эта синева прямых щек заметно старила его, тщательно одетого и прилизанного на прямой пробор. «Не нашенский, — мимоходом подумал Веригин, — наши попроще». Лейтенант этот в меру надменно и в меру снисходительно оглядел долговязого и несколько неуклюжего из-за своей долговязости Веригина и, кажется, остался доволен.

— Это Веригин, — все тем же будничным тоном представил Веригина Самогорнов, — боевой командир боевой первой башни, боевого первого дивизиона, боевой части два. Скажите, братцы, кто из монархов нашивал подобный пышный титул? Не трудитесь. Таковых не было. А это Першин, офицер из штаба, так сказать, «флажок». Пожмите, братцы, свои мужественные руки, а лобызаться поперву ни к чему. К этому вернемся позже.

— Э-э... Веригин, значит. — Першин подал Веригину свою холодную сухую руку.

— А вы Першин, — сказал, чтобы только что-то сказать, Веригин, и ему даже захотелось повторить за Першиным: «Э-э...»

— Вот и ладненько, — подвел черту Самогорнов. — Познакомились, и хорошо. Как это говорится: любить не любите, а взглядывайте почаще. Но ближе к делу. По первому, а равно и по второму пункту повестки слово имеет лейтенант Першин. Так что там у тебя?

— Э-э... господа присяжные заседатели, тезоименитство нынче у нас. Это по первому пункту. По второму — предлагается некое торжество близких людей в весьма семейной обстановке с некоторой дозой горячего, а также холодного. Съезд гостей в двадцать ноль-ноль, форма не парадная, но желательно выходная.

— Принимается, — не спрашивая согласия у Веригина,

сказал за обоих Самогорнов. — Разумеется, если потребуется некий взнос, то он будет сделан, что же касается гостей...

— Поперед батьки, милый Самогорнов, ломишься. Этот вопрос уже продуман во всех мыслимых и немыслимых деталях.

— Заметано, — опять сказал за себя и за Веригина Самогорнов.

Не хотелось Веригину править никакие тезоименитства, но и отказываться было неудобно, он и не отказался и сразу после ужина вместе с Самогорновым съехал на берег. Все разворачивалось помимо его воли, и он не особенно противился, хотя и чувствовал, что следовало бы воспротивиться, но тогда опять могла бы всплыть «невинность» и еще черт те что, а ходить в «невинностях» Веригину было прямо-таки не с руки: как-никак, а уже полгода с небольшим он носил погоны лейтенанта флота, и по всему получалось, что пора матереть.

— Эх, и кутнем! — отчаянно сказал он Самогорнову и мысленно махнул на все рукой, дескать, была не была — повидалась, но Самогорнов этак прозаически — ни грана поэзии — охладил его:

— Там видно будет.

— А может, и совсем не ходить?

— У нас, братец, в поддавки не играют.

На том и покончили, молча сошли на пирс, а там разговорились о всякой всячине, чтобы попусту не ссориться, и за разговорами незаметно для себя нашли и нужную улицу, и нужный дом и, опять же незаметно для себя встреченные на крыльце несколько потертым дядей Петей — он так и назвал себя, сунув ладонь лопатой: «Дядя Петя»,— оказались в весьма душной комнате, заставленной разнокалиберной мебелью. Были там и зеркальный сервант, и самодельный стол с табуреткой, трюмо с расколотым наискосок зеркалом и белые, багряные и пунцово-розовые гераньки на окнах. Эти гераньки в глиняных горшочках на тарелочках с голубой каймой Веригин сразу узрел и хорошо так, по-домашнему, огляделся. Лишних, казалось бы, в компании не было, но народу получилось много: Веригин с Самогорновым, Першин с тремя девицами, которых он отрекомендовал как своих знакомых, что могло сойти за правду, хотя Веригин сильно в этом засомневался. Тут же мельтешил хозяин дядя Петя, всем своим усердием давая понять, что он весьма рад гостям.

Веригин отвел Першина в сторону и было попенял ему:

— Звал бы себе с Самогорновым, а мне это, право, ни к чему.

— Иначе нельзя. Иначе конфузия может получиться, когда пятый лишний.

— Не нравится мне все это, — стоял на своем Веригин, впрочем уже смирясь, что так получилось, и даже втайне от себя загадывая, что́ еще может получиться.

Чтобы не томиться и оказаться при деле, Веригин ринулся помогать дяде Пете накрывать на стол, стараясь держаться подальше от скучающе-ищущих глаз девиц. Девицы эти чинно уселись рядышком на скрипучем жестком диване и, казалось, медленно томились.

Он метнулся от скучающе-ищущих глаз на кухню и там натолкнулся на старушку монашеского обличья. Она перетирала вилки и стаканы, наводя последний глянец. Смутясь, Веригин представился:

— Лейтенант Веригин, так сказать, Андрей Степанович.

— Очень приятно. Здравствуйте. Мы завсегда рады благородным гостям.

«Мать честная, — радостно ужаснулся Веригин. — Это я-то благородный! Да меня мамка на соломе рожала».

В кухню заглянул Самогорнов, потянул Веригина за рукав, и тот, выходя в коридор, подумал, что действо начинается — Самогорнов был беспокойно-важен, — усмехнулся, чувствуя свое превосходство в сложившейся ситуации и над Першиным, и над Самогорновым: «Милые вы мои лопушки, я вне игры, так что крутите любовь как знаете», но Самогорнов одними губами спросил:

— Этот дядя Петя — хыто?

— Этот дядя Петя — начальник конной тяги в одну лошадиную силу.

— Начальник — это хорошо.

Пришла пора садиться за стол, и, судя по некоторым приметам, вопреки всякой логике, Першин, ведавший церемониалом, скорехонько подсадил к Веригину ленивую смиренницу и для вящей убедительности, положив Веригину на погоны руки, пригвоздил его к стулу: дескать, стравливай пары, так нужно, и Веригин понял, что так нужно, хотя и не мог бы сказать, почему так нужно, и обратился к соседке:

— Андрей.

— Очень мило, но мы уже знакомились.

— Ах да, — спохватился Веригин, так и не вспомнив, как звали соседку, — вам сухое или крепленое?

— Нам лучше водочки, — скромно сказала ленивая смиренница.

— Одобряю, — прогудел дядя Петя, севший напротив, и, выудив из батареи бутылок белую головку, вышиб пробку и начал разливать водку в стаканы.

Девицы скромности ради заохали, замахали руками: «Ну уж, ну уж, за кого вы нас принимаете», но выпили дружно, присмирели, словно в недоумении, стараясь уяснить для себя, то ли они сделали. Их поддержала хозяйка-монашенка, тоже пригубив водочки, и за столом разгорелся сыр-бор: тотчас выпили по второй и по третьей, всем захотелось говорить, и все заговорили, начали смеяться, что-то выкрикивать. И тогда над всеми поднялся потертый дядя Петя, ровный, словно обтесанный, с трезвыми глазами и сизовато-пьяным носом, и громогласно объявил:

— Желаю петь, — и поглядел поверх гостей в угол.

— Валяй, дед, — разрешил Першин, чувствуя себя хозяином положения и работая в основном на девиц — Валю, Тоню, Соню или, наоборот, Соню, Тоню, Валю. Веригин вспомнил их имена, но запамятовал, кому из них какое принадлежит.

— Правильно, я дед дядя Петя. Дед дядя Петя желает петь. И все тут. — Он скромненько икнул, опять посмотрел в угол и, кажется, обо всем забыл: и о том, что за столом сидят люди, и о том, что сам только что желал петь, и вдруг все вспомнил, хорошим таким, унтер-офицерским, голосом рявкнул:

Черный ворон, черный ворон,
Ты не вейся надо мной.
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой.

Он украдкой передохнул и тотчас, чтобы не перебили, устремился дальше:

Завяжу смертельну рану
Подаренным мне платком...

Откинувшись на спинку стула, Самогорнов закурил, отсутствующим взглядом пробежал по застолью, и Веригин не понял, осуждает ли он дядю Петю, или насмехается над ним, или просто не замечает его, и с тоской подумал, что под этого «Черного ворона» он уже готов завыть собакой: «А Варьки-то нет. Нету Варьки-то...»

— Андрей, — властным шепотом позвал Самогорнов.

— А, — не сразу откликнулся он.

— Не пей больше. Слышишь?

— А я что? Я ничего.

— Я кончил, — неожиданно скромно сказал дядя Петя, — позвольте от избытка чувств...

Он устало сел, налил полный фужер водки и вылил в себя, как в лохань. В горле у него уркнуло, словно в водосточной трубе. Дядя Петя занюхал корочкой водочный дух, пожевал губами и просветлел лицом.

— Хотите, я вам спляшу.

— Пляши, дед.

Дядя Петя вальяжно выбрался из застолья, постоял, покачиваясь, хлопнул ладошами по груди, по бедрам, взбрыкнул ногой и пошел:

Ераплан летит,
Мотор работает...

...У Веригина все туманилось в глазах, и все виделось нереальным, лишенным живой плоти, казалось, стоило подуть на эти колеблющиеся, смеющиеся тени, и они смешаются и растают. Он выбрался из-за стола, прошел в кухню и там, сбросив китель, подставил голову под холодную воду, долго отфыркивался, слизывал с губ приятную на вкус влагу, пока в висках не заломило. «Идиот, — выругал он себя. — Увидела бы Варенька, она бы похвалила. Так-то, девочки и мальчики. Дробь. Белое поле».

В комнате выкаблучивал дядя Петя:

Я не мамкина,
Я не папкина...

Хозяйка-монашенка хлопотала возле стола, приводя его в порядок; Самогорнов рассуждал о чем-то со своей блондинистой, вернее каштановой под блондинку, Валей-Тоней-Соней; Першин же в уголке целовался. Ленивая смиренница сидела в сторонке и важно созерцала нечто, видимое только ей одной. Веригин подсел к ней, но она даже не шелохнулась, не взглянула на него, и вид у нее был философски-загадочный, как будто она гипнотизировала время.

— О чем вы думаете?

Она покачала головой и сказала в пространство:

— Я не думаю.

— Что же вы делаете?

— Ничего не делаю. Сижу.

— Сидите и скучаете? — уточнил Веригин.

— Нет, я не скучаю.

— Так что же вы тогда делаете? Мечтаете или что-то вспоминаете?

— А зачем?..

Тогда Веригин, подумав, начал разговор с другого конца:

— Может, пойдем погуляем?

— Зачем?

— Посмотрим на звезды, подышим свежим воздухом.

— А зачем?

«На самом деле — зачем? — вопросил Веригин. — Зачем я тут? Я-то тут зачем?»

Он потянул за руку свою ленивую смиренницу, и она легко, словно была бестелесная, поднялась и пошла за ним на кухню. Он надел на нее пальто, шапочку, просунул сам руки в шинель, посадил на голову фуражку. На улице среди ночной первозданной тишины синели небеса, опушенные звездами, легкий влажный ветер гнал волнами пьянящий воздух, и под корой недвижных деревьев пробуждались новые соки, выжимая из тугих почек первую смолу. Эти забытые зимою запахи волновали и исподволь начинали бунтовать кровь.

— Где вы живете?

Она едва слышно назвала улицу.

— Идемте, я вас провожу.

— Зачем?

— Затем, что я должен вас проводить.

— Но ко мне нельзя, — почти с испугом сказала ленивая смиренница Валя-Тоня-Соня.

— А я и не собираюсь к вам.

Она удивленно посмотрела на него, пытаясь понять, чего добивается от нее этот лейтенантик, и наконец поняла, невесело рассмеялась в лицо, повернулась и презрительно застучала каблучками по тротуару.

Он побродил по улицам, не желая возвращаться к дяде Пете, набрел на телеграф и отбил Варьке телеграмму: «Бесценная моя, люблю», вышел на волю и только там ужаснулся, вспомнив ленивую смиренницу: «А вдруг и Варька так может? А если может, то как нам жить? Как жить-то нам тогда?» — и лихо решил, что если и Варька так сможет, то он наденет на себя схиму и никогда больше не сойдет на берег.

Наутро Веригин чувствовал себя погано, ему все казалось, что позади него образовалась некая пустота, в которую может обвалиться, как непрочная стена, вся его прошлая жизнь вместе с Варькой, и жалко ему стало этой прожитой жизни, словно бы он на самом деле прощался с нею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Командир соединения решил перенести флаг на крейсер, и сразу началось вавилонское столпотворение: наехали штабные чины со своим скарбом, и офицерам пришлось потесниться. К Веригину подселили Самогорнова.

— Как жить будем, братец? — с хорошей такой деловой хваткой спросил Самогорнов.

— Как жили, так и будем жить.

— Ошибаешься, дорогой, дорогуша, дорогушечка. Как жили, так жить не будем. Во-первых, потому, что теперь на нашей колокольне, как поется в песне, взвился адмиральский флаг со всеми вытекающими отсюда последствиями: ежедневные построения, воскресные смотры и тому подобное. Во-вторых, дежурство по соединению — это тебе дополнительные повинности, которые в уставе скромнехонько именуются суточными нарядами. В-третьих, питаться придется в две смены, но и это еще не главное. Главное заключается в том, как мы с тобой соизволим распорядиться койками. Ты хозяин — это факт, но я старше тебя по званию, и это тоже немаловажно. Зайдет, скажем, вестовой, а тут, видите ли, старший по званию свешивает свою удалую — можно сказать, буйную — головушку с верхней койки. Непорядок, как утверждает мой мичманец, потому как старослужащему полагается лучшее место.

Веригин хотел было сразу великодушно уступить ему нижнюю койку, но, подумав, что Самогорнов так или иначе своего добьется, решил погодить. Вся премудрость заключалась в том, что в каюте, рассчитанной на одного человека, была еще откидная койка, которая обычно опускалась вдоль переборки и как бы являла собой спинку дивана. По строгому, даже строжайшему распоряжению старпома койку эту днем при всех обстоятельствах и надлежало использовать как спинку дивана, чтобы каюта была каютой, а не спальным местом для товарищей офицеров.

— Молчишь, братец, а я говорю. А надо бы наоборот, чтоб молчал я, а говорил ты. Но если тебе нравится молчать — молчи. Я человек покладистый и поэтому предлагаю тебе соломоново решение. Ты остаешься хозяином и на правах хозяина представляешь своему дорогому гостю... Ну, не хмурься. Слово «дорогой» можно опустить. И тогда в окончательной редакции высокий договор будет звучать так: и ты на правах хозяина представляешь своему нежелательному — слышишь, нежелательному! — постояльцу нижнюю койку.

— Черт с тобой — бери. Я ведь и сам хотел предложить, но ты ж у нас Цицерон, Сенека, тебе б поговорить...

— Уважил, братец. И за койку — спасибо, а за Цицерона с Сенекой — особое. Коньячок держишь?

— Не держу.

— Ты у нас совсем паинька. Барышнями брегуешь, в штатском на бережок не съезжаешь, коньячком не увлекаешься. Батюшки, да тут о святости и мечтать-то не надо.

«Подъелдыкиваешь, гусь хороший, — обозлился Веригин, поняв наконец, что теперь по милости адмирала и его верного штаба придется ему еще долго терпеть красноречие Самогорнова. — Забрался в чужую каюту и подъелдыкиваешь. А мне, может, одному хочется побыть, а мне, может...» — и не стал продолжать свою мысль.

— Слушай сюда, Самогорнов: владей койкой, вешай в шкаф свое шмутье, занимай правый нижний ящик в диване и два верхних в столе и — катай.

— Голубь, так куда катать-то? — удивленно и даже несколько озабоченно переспросил Самогорнов. — Катать-то, голубь, некуда. За бортом-то водичка Балтийского моря. А она холодная. Брр, не понимаю, за что ее только полюбил матросик Остапенко.

— Не кощунствуй, — попросил Веригин.

— Нет, братец, не кощунствую. Зачем кощунствовать. Только хочу тебе на память пометку о чудинке сделать. Веригин-то? — изменив голос и удачно подлаживаясь под старпома, спросил неожиданно Самогорнов. — Гм, гм, так это тот самый, у коего матросик Остапенко за борт сиганул?

— Не кощунствуй, — не просто повторил, а словно бы предупредил Веригин.

— Ни-ни, не кощунствую. Дарю еще на память: на службе сотоварищей не подбирают. На службе сотоварищей дают, как матросу — койку, а офицеру — каюту.

— Бери нижнюю койку, пиши на себя каюту, выделяй своего приборщика.

— Не, братец, уволь. Койку, так и быть, возьму, сделаю одолжение, а все прочее — твое. Твое, братец.

Братец не братец, но сотоварищей на службе на самом деле не выбирают. В матросском кубрике еще куда ни шло, а в каюте живи с тем, на кого указал вислоусый старпом Пологов, потому что у старпома запарка и разводить антимонии и заниматься эмоциями ему недосуг. Есть дела поважнее, и Веригин хотя и подулся для приличия на Самогорнова, но скоро смирился, тем более что Самогорнов и на службе подольше, и званием постарше. Только жаль

было, что не стало своего укромного уголка на корабле: в салоне — людно, в башне — людно, в матросском кубрике — людно, и некуда скрыться от людских глаз. Раньше, если выпадала свободная минута, не говоря уже об адмиральском часе, можно было забежать в каюту и прикорнуть, а теперь куда побежишь? Самогорнов тоже не дурак вздремнуть, а всякий раз ставить койку и лезть наверх — удовольствие не великое, к тому же с незапамятных времен неписаный кодекс утверждает: «Если хочешь жить в уюте, спи всегда в чужой каюте». В чужую каюту ни комдив Кожемякин, ни тем более командир боевой части Студеницын носа не сунут, но где там думать о чужой, когда и свою-то Самогорнов превратил в постоялый двор для порученцев, «флажков» и прочих штатных, внештатных и заштатных щеголей. Им что: ни личного состава, ни боевых учений, ни расходных подразделений, с них если кто сверху и потребует что-то, так это «что-то» не видно и не слышно, а тут только знай поворачивайся:

— Расходному подразделению построиться у рубки вахтенного офицера.

Только разгрузили баржу с овощами, как новая команда:

— Баковым — на бак, ютовым — на ют.

Пока с Медовиковым были хорошие отношения, еще так-сяк, мичман — человек властный, крутой, службу знает, у него матросы пешком по трапам давно не ходили.

— По трапу только бегом!

Это и в Корабельном уставе записано черным по белому: читай и помни, а запомнил — выполняй, доводя свои действия до автоматизма. А после выговора за Остапенко Медовиков словно бы от рук отбился — прав был Самогорнов, не следовало бы наказывать мичманца, — и Веригину приходилось самому во все вмешиваться, но лейтенантский глаз — не старшинский, то там упустил, то там не заметил; а Медовиков, если что не так, и бровью не поведет: дескать, так начальство — это, значит, Веригин — велело, а начальству всегда виднее. Не ругаться же с ним из-за каждого пустяка, и не ругался Веригин, молча выказывал свой характер. Чертовски уставал последнее время, а добирался до каюты, и все в нем начинало бунтовать: «флажок» — ну не «флажок», черт его знает, чем он там занимается, — лейтенант Першин валялся на койке и, пуская синими витыми кольцами табачный дым, снисходительно слушал байки Самогорнова.

Самогорнов поворачивался от стола вместе со стулом навстречу Веригину, иронически полувопрошал:

— Что нового на службе? Корвет наш по-прежнему держит нос по ветру, то бишь стоит носом в ветер?

— Носом в ветер, — устало отвечал Веригин, присаживаясь в ногах у Першина. — Справа — любимый город, который может спать спокойно, с левого борта — Балтийское море. Катились бы вы отсель, други мои.

— Некуда катиться-то, братец, — возражал Самогорнов. — Сегодня бережок всем и каждому в отдельности — не светит. Как это в той моряцкой песенке: «В тумане скрылась милая Одесса».

Посидев недолго, сколько хватало приличия, Веригин возвращался в кубрик своей башни и дулся в «козла», а больше присматривался к матросам, мысленно изводя их вопросами: «Ну вот ты — кто? Что ты есть за человек? А ты кто? А ты? Сколько вас, и каждый на особинку». Больше других вызывал у него интерес Остапенко, ушастый, длинный и какой-то весь нескладный: то ли у него чего-то не хватало в обличье, то ли чего-то было лишку — сразу не поймешь, а может, природа сыграла шутку, укоротив у Остапенко там, где следовало бы отпустить, и дала лишку на вырост там, где следовало бы подрубить.

— Идет служба-то, Остапенко? — спрашивал Веригин, чтобы только спросить и, потянув за ниточку, завязать разговор.

— Идет, товарищ лейтенант, — невеселым, но добрым голосом отвечал Остапенко.

— Ну, идет, ну и — ладно. За борт-то больше не будешь прыгать?

— Никак нет. — Остапенко стеснялся и поэтому не любил вступать в разговоры с начальством, но начальство в лице командира башни торчало, как на грех, по вечерам в кубрике, и Остапенко хватал бескозырку и бежал на бак — якобы курить. Веригин не находил покоя в каюте, Остапенко — в кубрике, и волей-неволей они опять сходились на баке, и там Веригин спрашивал:

— А что, брат, страшно было?

— Это вы все про то, что ли?

— Хоть про то, хоть про это.

— Тогда не боязно, а теперь страшно.

— Как же это понимать?

Остапенко пожимал плечами, сам не очень-то отчетливо соображая, почему тогда было не боязно, а теперь вдруг стало страшно.

— А что, если бы тебе сейчас приказали прыгнуть за борт, скажем, товарища выручать? Прыгнул бы?

Остапенко молчал, думал, соображая, как бы он поступил, случись ему такой приказ. Можно было бы слукавить и весело ответить: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец»; другой на его месте, наверное, так бы и ответил, но Остапенко лукавить не хотелось, и тогда он мысленно прослеживал весь тот недолгий путь, который ему предстояло бы проделать: смахнуть бескозырку и бушлат, скинуть ботинки, благо они на корабле не зашнуровывались, разбежаться и... Остапенко спиной ощущал липкий холод воды и только потом уже, словно бы смирившись с тем, что прыгать все-таки придется ему, а не кому-то другому, печально и смиренно, без всякого воодушевления говорил:

— Раз надо, то, выходит, надо. Тут уж дело такое. Приказали бы — прыгнул. А сам бы, пожалуй, не полез. Страшновато все-таки.

«Страшновато, а надо, — думал Веригин, направляясь в вестибюль салона и кают-компании. — Значит, главное — это надо, а страшновато — потом». Он оглянулся, посмотрев, нет ли кого поблизости, перегнулся через леера. Вдоль борта, вспыхивая белыми барашками, шурша и осыпаясь, неслись волны. Бег их был ритмично-плавен, как будто кто-то в равные промежутки времени выпускал их со старта, и они торопились одна за другой, не нагоняя, но и не отставая. Впрочем, скорее это был все-таки не бег, а походный порядок, строгий и заранее обусловленный, когда нельзя наступать на пятки идущему впереди, но в равной мере нельзя подставлять пятки и идущему сзади. Сверху, с восьми-девятиметровой высоты борта, вода казалась Веригину маслянисто-темной, густой, и плотной, и жутко холодной. Он тоже, подобно Остапенко, мысленно разделся и мысленно же бросил свое тело в воду и понял, что мог бы в случае необходимости это сделать, и на душе сразу вроде бы прояснилось, потому что он нашел ответ на вопрос, мучавший его от самого Гогланда: «Страшновато, а надо». Неожиданно для себя он открыл известную многим, но закрытую до этого часа для него истину, что «надо» — это долг, веление, а «страшновато» — эмоции и что воинская служба в краткой ее формуле была, да, видимо, и есть — подавление разумом этих желаний и чувствований.

— Эй, у борта! — окликнули его от рубки вахтенного офицера. — Не облокачиваться на бортовые леера.

Стараясь быть неопознанным — позор-то какой! —

Веригин нахлобучил фуражку и бочком, как матрос-первогодок, шмыгнул в дверь и, ослепнув с темноты, нос к носу столкнулся с командиром, ошалело посмотрел на него и машинально приложил руку к фуражке.

Командир хотел было возмутиться, но, перехватив глуповато-растерянный взгляд Веригина, оглядел его с макушки до пят и, найдя все в соответствующем виде, легонько перехватил его руку в запястье, опустил по шву — так-то, лейтенант! — и спрятал усмешку в морщинки возле уголков губ.

— Вольно, Веригин. Держите себя вольно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Варька долго молчала — почта не вдруг-то догнала корабль, — потом разразилась сразу двумя письмами: в одном на трех страницах так разнежилась, что Веригин эти страницы читал понемногу, словно глотками пил из родника воду, и глуповато-растерянно улыбался; в другом она грозилась приехать и велела подыскать уголок. Веригин хотел тотчас же ответить в том роде, что он-де тоже скучает и любит, а больше любит и скучает и что уголок не уголок, а уж номер в гостинице расстарается, но стол в каюте был занят: лейтенант Першин раскладывал пасьянс и сердился — карта не выходила. Пасьянсом Першин успокаивал нервишки: штабисты задержали какой-то документ и контр-адмирал выразил свое неудовольствие, на что Першин имел неосторожность возразить, дескать, это-де не его обязанность — думать за штабистов, и тогда контр-адмирал уже сделал ему втык по всей форме. После этого Першин почувствовал себя неуютно, даже зябко, и побежал к Самогорнову отогреваться и уже битый час раскладывал пасьянс.

Самогорнов тоже был в дурном настроении: в его башне шли ремонтные работы и комдив третьи сутки не отпускал его на берег.

— Сияешь? — неласково спросил он вошедшего Веригина.

— Сияю, — улыбаясь и еще больше сияя, ответил Веригин.

— Письмо получил? — мимоходом поинтересовался Самогорнов. — А в нем «люблю», да еще с заглавной буквы?

— Ты догадлив. — Веригин, кажется, понял, что Самогорнов спрашивает просто так, чтобы рассеяться.

— Я-то догадлив, так ведь и дурак догадается, глядючи на тебя: сияешь как самовар, то бишь катер с древней «Октябрины». А мне тебя жаль, братец. Ей-богу жалко. Если женщина стала склонять слово «любовь» — пиши пропало. Любящая этим словом дорожит.

— Точно, — сказал Першин, у которого наконец-то пасьянс получился, это в какой-то мере умиротворило его, и он начал собирать карты. — Любовь — дело таковское, что обольщаться ею нельзя. Либо ты любишь, и тогда тебя не любят. Либо ты не любишь, и тогда тебя любят.

— А если ты любишь и тебя любят?

— Это уже из области бабушкиных сказок, — возразил Першин и со значением посмотрел на Самогорнова. Он был философ, порученец из штаба лейтенант Першин, и, как всякий порученец, многое знал, но больше не знал и поэтому был великий охотник порассуждать. — Ты любишь, тебя любят, — повторил он, — экая скукотища. Да где же ты это видел? Если женщина почувствовала, что ее любят — заездит. Веревки начнет вить из стального, бравого лейтенанта.

— Так уж и веревки, — усомнился Веригин.

— Ну так бечевку. Скажи ему, Самогорнов.

Самогорнов сел на койке по-турецки, потянулся и сладко зевнул.

— Веревки или там бечевки — это от лукавого, а верить на слово в нашем положении весьма опасно. Давайте рассуждать логически. Меня вон комдив третьи сутки на берег не отпускает, — сказал он без видимой связи и помолчал. — Дескать, ремонт и все такое прочее. А какой к черту ремонт, если я по вечерам бóки себе отлеживаю. — Самогорнов так и произнес: «бóки».

— При чем тут твой ремонт и твои бóки. Давай о деле, — сказал Першин, явно настроившийся порассуждать о весьма спорном и щекотливом предмете.

— А при том, что сижу я тут с вами, лясы точу, о любви рассуждаю, так сказать, живу в теоретическом измерении, а мне, может, сейчас положено быть в одном интимном месте и вести интимные разговоры с одной интимной дамой о весьма интимном деле. Допустим, я встречусь завтра или послезавтра, но ведь я не скажу ей в свое оправдание, что меня комдив из-за ремонта в башне на берег не отпустил. Я чего-нибудь придумаю, сочиню, а она возьмет да и не поверит. И правильно сделает, что не поверит. Но при этом еще подумает, что я обманул ее.

— Если любит, то поверит, — подумав о себе и о Варьке, сказал Веригин. — Без веры-то как жить?

— А вот так и живет большинство человеков. Не любят, ссорятся, клянут в душе один другого, а живут. Иначе нельзя. Иначе конец роду человеческому. — Першин и дальше бы говорил, умел он говорить, на то и был «флажок», — но щелкнул динамик, и вахтенный офицер объявил:

— Команде пить чай. — И, помолчав, повторил: — Команде пить чай.

Самогорнов снова потянулся и зевнул, пробормотав:

— Эхма! Было б денег тьма, купил бы деревеньку и жил бы помаленьку.

В коридоре захлопали двери: офицеры один за другим потянулись в кают-компанию, и такой интересный для Веригина разговор потух сам собой: свободным от вахты опаздывать в кают-компанию даже к вечернему чаю считалось неприличным, тем более что никаких неурочных работ, за которые можно было бы спрятаться, на крейсере не предвиделось.

— Кому что, а мне велено сегодня у старика чаевничать, — сказал Першин, охорашиваясь перед зеркалом. — Будет учить уму-разуму. Так что до скорого свидания и все такое прочее.

— Везет же людям, — искренне, но довольно-таки вяло позавидовал Самогорнов.

— А!.. — Першин махнул рукой и вышел первым.

— Пойдем, братец Веригин, и мы гонять чаи. Нас, братец, адмирал своим вниманием не балует. Да оно и к лучшему. В тени не так сильно печет.

— Ты на самом деле считаешь, что любовь в наши дни — химера? — все же не удержался и опять спросил Веригин, которого весь этот разговор как-то нехорошо разбередил.

— Если веришь, то, может, и есть. А я вот не верю. Пару раз обжегся и потерял всякую веру. Для меня теперь — все, крышка. А ты верь, коли верится. А любится, так люби. И не ищи советчиков. В этих делах советчиков нет. Влюбленные — глупы, а разуверившиеся — завистливы. Так-то, братец Веригин.

В вестибюль они поднялись молча — на людях не поговоришь — и успели опередить Пологова. Впрочем, чай пили без приглашения и за столом вели себя свободнее, хотя недремлющее око старпома и в этот час было на страже и особых вольностей не допускало. Флот с незапамятных

времен свято чтил и соблюдал свои порядки и обычаи, и в этом смысле, в отличие от других родов войск, мог считаться консервативным; помимо прямого военного назначения — противостояния и уничтожения неприятеля — корабль во все века должен был противоборствовать стихии. Машина сменила парус, а гладкоствольная пушка уступила место нарезному орудию, но море шумело и волновалось, как и тысячу лет назад. Изменился сословный характер службы, ее содержание, но корабельный-то быт остался почти неизменным. Даже форма, в особенности матросская, шилась по образцам едва ли не прошлого века, а этикет кают-компаний соблюдался до мелочей, казалось бы ненужных, необязательных, что ли, но корабельная служба столь сложна, что любая неучтенная или забытая мелочь неожиданно может стать решающей и обернуться опасностью для многих десятков и сотен человеческих жизней.

После чая командир боевой части Студеницын пригласил к себе артиллеристов главного калибра, и, когда все расселись — четверо командиров башен, командиры групп управления, комдив Кожемякин, его замполит, — стало тесно и шумно, и всем сразу захотелось курить. Это уж всегда так: когда нельзя, тогда обязательно появится какое-нибудь желание, и, что ни делай с собой, оно все будет давать о себе знать. Самогорнов толкнул Веригина, Веригин кого-то из офицеров группы управления, все трое переглянулись, и тогда Студеницын скорбно, вернее пытаясь казаться скорбным, сказал:

— С виду — солидные люди, а ведете себя как дети. Да, делать нечего — курите. Иначе слушать не станете.

Комдив Кожемякин, не куривший, не терпевший табачного дыма и считавший курение не только уделом слабовольных, но к тому же еще и занятием порочным, недовольно поморщился, предостерегающе посмотрел на своих подопечных, как бы говоря: командир-то БЧ командиром БЧ, но забываться в его, комдива, присутствии не следовало бы. Но те дружно сделали вид, что не заметили предостережения — когда-то еще повальяжничаешь в присутствии старших, — пустили хозяйский «Казбек» по кругу, и сразу в офицерской беседе появилась домашняя непринужденность.

— Так вот, — говорил между тем Студеницын, — вопрос о стволиковых, а в принципе и о калибровых стрельбах решен. Боезапас отпущен, щит зарезервирован, возможно, заполучим и корабль-цель.

Веригин почувствовал, как от нетерпения у него по

спине от лапоток вниз, перебирая позвонки, побежал нервный холодок. Нечто подобное он испытывал в училище перед экзаменом, надеясь, что все будет хорошо, и страшась, что все кончится плохо. Но экзамены не шли ни в какое сравнение с калибровыми стрельбами, которые могли стать или началом его, артиллерийского офицера, карьеры, или раз и навсегда перечеркнуть ее. Ведь были случаи, когда после первых же стрельб молодой офицер понимал свою несостоятельность и просился перевести его в другую службу. Вопреки своей воле, подсознательно Веригин подумал о плохом, но буйное его воображение уже успело нарисовать радужную картину, и виделось ему, как он с первого же залпа накрыл цель и сразу перешел на поражение; не жалея снарядов, начал дубасить щит, и взбешенный, но в душе-то ликующий командир, видя, что Веригин оказался молодчагой и артиллеристом хоть куда, — командир и сам начинал артиллеристом и был даже очень неплохим управляющим огнем, — гремел по громкоговорящей связи на весь корабль, утверждая славу, пусть минутную, пусть скоротечную, но все-таки славу артиллериста Веригина:

«Первая башня, прекратить стрельбу. Дробь! Белое поле. Орудия на ноль».

Ах, как это было хорошо и какие вокруг были хорошие и милые лица: и чопорный недотрога Кожемякин, и мудрый, затаившийся Самогорнов, и конечно же сам артиллерийский бог Студеницын, а там, в башне, — плутоватый Медовиков, и нерасторопный, нескладный Остапенко, и кто-то еще, еще, но прежде всего — и это безусловно — лейтенант Веригин, если хотите — Андрей Степанович, и Варька, Варюха, Варенька. «А Варька-то ведь приедет, — подумал Веригин. — Приедет Варька-то. Надо ведь уголок приискать».

— Так вот, будем считать, что с этим вопросом покончили, — неторопливо, даже несколько монотонно, словно баюкая, все говорил и говорил капитан третьего ранга Студеницын, и Веригин, которого мысли — красивые и легкие, как вечерние облака, — унесли черт те знает куда, слушал округлые фразы и давно уже не улавливал их смысла. И хотя Студеницын говорил о боезапасе, которого артиллерийское управление в целях экономии отпустило самую малость, о предстоящих стрельбах — военной игре, наиболее приближенной к боевым условиям, — о стрельбах губительных и страшных по силе своего разрушения, покойно и славно было в этот час в просторной, отделанной под светлый дуб каюте, и командир боевой части уже казался не командиром боевой части, а добрым дядюшкой,

собравшим к себе на вечернюю беседу своих племянников. И Веригин неожиданно расчувствовался: «А должно быть, хорошо иметь такого дядюшку». — Так вот и условимся: первым стреляет Веригин...

Услышав свою фамилию, Веригин встрепенулся, словно пробуждаясь, и невпопад произнес:

— Есть.

Студеницын удивленно посмотрел на него, перевел взгляд на комдива Кожемякина, комдив тоже посмотрел на Веригина, но уже не с удивлением, а скорее с грозным недоумением, и неодобрительно хмыкнул.

— В офицерском собрании говорить «есть» по каждому случаю необязательно. — И помолчал, чтобы собравшиеся на всякий случай прислушались к его совету. — Второй стреляет четвертая башня... — Чтобы больше никто не выскакивал со своим «есть», Студеницын решил не поименовывать командиров башен. — Далее третья и, наконец, вторая, командир которой наиболее опытен. Вопросы будут?

За мечтами Веригин прослушал что-то важное, но спросить, в чем же заключается фокус такого порядка в предстоящих стрельбах, постеснялся и наравне с другими командирами согласно покивал: дескать, «есть» и «так точно», все понято и будет исполнено.

— Тогда не смею задерживать и прошу пройти в свои подразделения, чтобы присутствовать на вечерней поверке.

Команды Веригина и Самогорнова жили в одном кубрике — Веригина по правому борту, Самогорнова по левому, — они рядком и вышли, правда, Самогорнов шагнул раньше: дверь не пускала да и звание обязывало.

— Похоже, дружно живут? — спросил Студеницын.

— Кажется, подруживают, — уклонился от прямого ответа Кожемякин, пометив себе в памяти, что на всякий случай это надо бы прояснить.

...Ночь стояла тихая, звездная, колюче мерцало не только небо, но и вода. Волны катились округлые, да и не волны это были, а что-то так себе, даже шлюпка и посыльный катер под выстрелом — рангоутным деревом, к которому они крепились концами, лениво покачиваясь с носа на корму, словно бы переступали через них, чтобы не обмочить планширы, а крейсер, словно впаянный в воду, дремал, и казалось, что под килем у него не привычные и всегда желанные девять футов, а земная твердь.

Люки и кубрик, где жили команды Веригина и Самогорнова, приходились как раз между башнями, и вахту на полубаке несли поочередно их матросы. По швартовому

расписанию первая башня занимала правый борт, а вторая — левый, здесь было их хозяйство, их вотчина, которой хотя в полной мере и владели помощник командира с главным боцманом, но за порядок-то отвечали они, Веригин с Самогорновым, их старшины огневых команд, их командиры орудий, матросы, среди которых был и Никифор Остапенко.

На корабле нет праздного человека, такого, который за что-нибудь не отвечал бы. Командиру безусловно подчинялись все боевые части, службы и команды крейсера, и он нес полную ответственность за все, что происходило в этих частях, службах и командах. Он мог не знать в лицо Никифора Остапенко, да, по всей видимости, и не знал, но, если бы тогда у Гогланда Никифора Остапенко не спасли, он разделил бы наказание вместе с Веригиным, Кожемякиным, капитаном третьего ранга Студеницыным, старпомом Пологовым, потому что малейшая оплошность на самой нижней ступени в конечном счете была его, капитана первого ранга, оплошностью.

Старпом Пологов отвечал за состояние дел в штурманской, артиллерийской, минно-торпедной, связи боевых частей, радиотехнической и других служб, но главных механизмов — котлов, турбин, генераторов постоянного и переменного тока — он почти не касался. Над ними, сведенными в электромеханическую, или пятую боевую, часть, властвовал старший механик крейсера; там он был царь и бог.

В распоряжении командира боевой части два находились все калибры и виды артиллерийского вооружения крейсера, но второй по значению офицер этой части, капитан-лейтенант Кожемякин, отвечал только за главный калибр, кроме которого были еще два дивизиона — универсального калибра и зенитный. В этой хитроумно составленной пирамиде лейтенанту Веригину отводилась одна башня со всеми ее людьми, орудиями, механизмами наведения, подачи снарядов и зарядов, с погребами, в которых хранился боезапас. Никифор же Остапенко отвечал только за вертикальное наведение среднего орудия и конечно же не знал, что делается в снарядном и пороховом погребах своей башни, не говоря уже о боевых постах матросов других частей, служб и команд. Но и Остапенко, и Веригин, и комдив с командиром боевой части и старпомом, и командир корабля являли одно целое, и от того, как это единое целое дышало и жило, зависело, готов ли корабль к бою и походу или не готов.

— Значит, пальнем, — сказал Самогорнов, переходя на левый борт и уступая правый Веригину, потому что там находился люк в его часть кубрика.

— Сегодня объявим или завтра? — озабоченно спросил Веригин, не желая опережать Самогорнова с объявлением. Их команды делили один кубрик, и в этом смысле они, командиры, тоже должны были действовать заодно.

— Добро, объявим сегодня, — согласился Самогорнов. Веригин взялся за медные поручни, безукоризненно отполированные сотнями рук, и не по-офицерски — пешком, а по-матросски — лётом, на одних руках, спустился в кубрик.

— Смирно! — скомандовал ему навстречу Медовиков — эту команду отрепетовали, или, говоря иначе, повторили, и на левом борту — и ступил два шага вперед. — Товарищ лейтенант, первая башня проводит вечернюю поверку. — Медовиков держался непринужденно, даже щегольски, наслаждаясь своим голосом. — По списку личного состава числится... — Веригин внимал каждому слову, хотя давно знал назубок, что может сказать ему Медовиков, но ему нравилось еще раз и еще вслушиваться в доклад, потому что именно столько-то человек были вверены под его, Веригина, начало и он чувствовал себя в эти минуты человеком значительным. — Старшин... матросов... На вахте, в дежурстве и в расходе двенадцать человек. Больных нет. Нетчиков нет.

Последнее — «нетчиков», то есть отсутствующих по неуважительным причинам, — «нет» было самое главное, и это значило, что лейтенант Веригин может сегодня спать спокойно.

— Вольно.

— Вольно, — повторил Медовиков и отступил назад и в сторону, оставляя Веригина с глазу на глаз со строем.

— Товарищи, — начал Веригин и почувствовал, что голос у него дрогнул и готов дать петуха. «Этого еще не хватало, — безрадостно подумал он и повторил, ожесточаясь на себя: — Только этого еще не хватало. — И, чувствуя, что пауза затягивается, все-таки успел тоскливо спросить: — Почему я не Самогорнов, зачем я каждый раз волнуюсь и почему у меня дрожит голос? Ведь я знаю этих людей, и они меня знают». — Очень скоро нам предстоят стволиковые и калибровые стрельбы. Прежде всего это значит, что каждый из нас должен довести свои действия и взаимодействия с товарищами до автоматизма. — Он услышал, что голос его обрел силу, и ему стало легко, и он уже видел пе-

ред собою и командиров орудий со своими расчетами, и старшин погребов, и Медовикова, но прежде всего — Остапенко, на какое-то время ставшего его тенью, и Веригин даже суеверно загадал на него: «Если Остапенко не подведет на стрельбах, то все будет хорошо». — С завтрашнего дня начинаем усиленные тренировки, но не исключено, что уже сегодня ночью нас поднимут по тревоге. Прошу старшин команд, командиров орудий и старшин погребов обратить особое внимание на последнее обстоятельство. Вопросы есть?

Из строя раздался голос:

— Когда стреляем?

— Сегодня, завтра, послезавтра. Я хочу сказать, что учения могут назначить на любой день. Ясно?

— Ясно, — ответил тот же голос.

— Разойдись, — негромко, в основном для Медовикова, сказал Веригин, и Медовиков во всю силу голосовых связок отрепетовал:

— Ра-зой-ди-сь!

...И отошел в небытие еще один корабельный день, размеренный, выверенный до минуты. Что бы кто там ни говорил, а самая желанная для матроса — последняя команда: «Задраить люки и горловины. Отбой».

Может быть, только во сне и принадлежит матрос самому себе, и как знать, что приснится ему в эту или в следующую ночь, в какие дальние дали унесется он. Кому что, а Остапенко все еще снились пригорбый Гогланд и холодная, леденящая не только тело, но и душу вода, и он раз за разом каждую ночь оказывался в ней, пока не начал привыкать и к высоте, с которой падал, и к воде, которая влекла его в свою пучину, и только тогда сны стали приходить реже.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Веригин, а вслед за ним и Медовиков поднялись на верхнюю палубу и, не сговариваясь, прошли за волнолом к фитильку — медному лагуну для окурков — подымить на сон грядущий. В преддверии артиллерийских событий пора было объясниться и поставить точки над «и», чтобы потом, на походе, не получилось накладно. Понимал это Веригин, не в меньшей мере понимал и Медовиков и, угостившись у Веригина папиросой, терпеливо ждал.

— Если ты считаешь... — начал Веригин, потому что на-

чинать-то этот невеселый разговор должен был он и еще потому, что приступать к нему прямо-таки не хотелось. Уж лучше бы обошлось как-нибудь так, без взаимных попреков и обид. — Если ты считаешь, — повторил он, как будто не в силах оттолкнуться от этой фразы, и подумал: «Да при чем тут «ты считаешь, я считаю, он считает». Есть служба — и все, баста. Люби не люби, а почаще взглядывай». — Так вот, — подражая командиру боевой части, в третий раз начал Веригин, — если ты считаешь, что в чем-то я был не прав, погорячился или превысил власть, то будь добр высказаться. А то делаем одно дело, а смотрим в разные стороны.

— Эх, Андрей Степаныч, Андрей Степаныч, мы ведь не барышни, чтобы объясняться. Кто прав, кто не прав, кто погорячился, кто не погорячился. Служба, она и есть служба. Только когда мы ходили по минным полям, меньше всего об этом думали.

«Это верно, служба, она и есть служба, — подумав, согласился Веригин, — а объясниться надо, потому как минных полей больше нет».

— Не будем ссылаться на службу. Давай лучше в открытую, по-мужски, по-человечески.

— По-человечески так по-человечески, — сказал Медовиков и замолчал.

— Вот и давай.

— А чего давать? Ты начал, Андрей Степаныч, ты и продолжай.

То ли прочной тенью лег между ними тот далекий остров Гогланд, то ли еще что — Веригин не стал разбираться:

— Обиделся за выговор? Так и скажи. Я объявил его, я и отменю.

Медовиков усмехнулся одними губами, а лицо, словно бы скрытое в сетке оспинок, было бесстрастным, казалось отсутствующим. Поди догадайся, что думал этот человек, и думал ли он вообще...

— Разве дело в выговоре? Выговор — что елочная игрушка: повесили, повисела для красы, и сняли ее до следующего раза. Не обидно, когда наказывают за дело, обидно, когда наказывают только для того, чтобы кто-то виноват был.

«Как все плохо, — философски, как казалось ему, заметил Веригин. — Конечно же плохо, — повторил он про себя, думая совсем не о том, что сочинять дела — плохо, а плохо то, что он никак не поладит с Медовиковым, и если они не поладят, то будет еще хуже, но как поладишь:

повиниться перед ним, что ли? А за что, собственно, виниться? Да и надо ли виниться перед подчиненным, для которого слово командира — закон. Как это в уставе: «Приказ командира — закон для подчиненного». Но ведь помимо устава существуют еще человеческие отношения, и эти отношения не может изменить, тем более отменить, никакой устав. Положение пиковое: куда ни кинь, всюду клин».

— Разумеется, плохо. Но ведь служить-то надо, Медовиков, жить-то надо. Как же иначе-то?

— Если нельзя иначе, то давайте и прикроем эту лавочку. Время-то позднее. Позднее время-то, товарищ лейтенант.

«Размазня, — ругал потом себя Веригин. — Не нашелся, что сказать, слов нужных не подобрал, да как найдешь, если их нет. Самогорнов, пожалуй, нашел бы». И от мысли, что кто-то нашел бы, а он, Веригин, не сумел этого сделать, стало как-то гаденько на душе, и показалось ему, что нет у него никакой душевной теплоты и весь он сухой, черствый, что ли.

На счастье, Першина, добровольного их постояльца и стеснителя, в каюте не было, и Самогорнов, мурлыкая себе под нос «Голубку», колдовал над пасьянсом. Он спиной — по скрипу двери — почувствовал, что вошел Веригин, и, не поворачивая головы, лениво сказал:

— А, это ты...

— Я, Самогорнов, а ты думал, «флажок»? — Веригин сел на койку поближе к столу, потянулся за папиросами, но закуривать раздумал. — Чего это ты увлекся старушечьей игрой?

— Нет, братец Веригин, не старушечья это игра. Все великие полководцы увлекались пасьянсом. Но к делу — ты хотел что-то у меня спросить? Разрешаю — вопрошай.

— Как ты думаешь, почему у меня, скажем помягче, Медовиков пыхтит?

— Задай вопрос посложнее. За то самое... — Самогорнов сгреб карты, сложил их в колоду, подравнивая, постучал ею по столу и только тогда спросил в свою очередь: — Может, выговор-то я ему вкатил? Может, прикажете ему на меня пыхтеть?

— Выговор-то я объявил, но распоряжение мне отдал Кожемякин.

— Кожемякин распорядился и забыл, а у тебя голова на плечах. Головой-то не только едят, как в том солдатском анекдоте, а еще и думают. Так-то, товарищ служба. Не тот командир, который подставляет своих подчиненных под

удар, а тот, который их вину примет на себя. Нам, братец Веригин, без таких вот Медовиковых делать нечего — пропадем. Мы с тобой начали службу с курсантской скамьи, так сказать, сразу попали в привилегированное сословие, а он ее, голубушку, ломал с матросского бачка, всю низшую академию насквозь прошел. Мы с тобой пока что-то узнаём, а он уже умеет. Вот за это не грех и в ножки поклониться. А впрочем, все это одни слова, теория, а на практике куда все проще и жестче.

— Как у тебя все легко, — в который уже раз позавидовал Веригин, погрустнев опять-таки в который раз и словно бы обидясь.

Самогорнов ответил:

— Нет, братец Веригин, и у меня нелегко, и я пасую перед стрельбами, только виду не подаю.

— Откуда ты знаешь, что я пасую?

— А мне тебя не обязательно знать. Я себя знаю. Притом у меня шестые стрельбы, а у тебя первые. Вот и вся психология с арифметикой. Только учти: не одному тебе больно. Над тобою стоят, но ведь и ты над кем-то стоишь. Случается, тебя обидят; случается, и ты кого-то обидишь. Я с начальством сколько угодно цапаться буду, а подчиненного не обижу, потому что я им силен. В нем моя сила.

— Что же, прикажешь, на колени перед ними пасть? — иронически полувопросил Веригин, поднялся, расстегнул китель, повесил его и, присев, начал расшнуровывать ботинки. Матросам хорошо, матросы на кораблях ботинки не шнуруют.

Самогорнов снисходительно наблюдал за ним.

— Что же ты молчишь? — разгибаясь и поводя занемевшими лопатками, снова спросил Веригин.

— А потому и молчу, что не собираюсь ничего тебе приказывать. Только, знаешь, что сделаю? Пойду к Кожемякину и попрошу к себе Медовикова. Я с твоим мичманом быстро полажу.

— Комбинацию из трех пальцев не хочешь?

— Остроумия тебе не занимать.

— Какое уж там к черту остроумие. Не до жиру, быть бы живу. Чему нас учили? Требовательности, настойчивости...

— Гибкости, — подсказал Самогорнов. — Умению приказывать, потому что любой приказ должен быть исполнен, даже ценой жизни. А ты вдумайся: за каждый ли приказ надо платить такую цену. Тут, братец, целая наука.

— Всю эту премудрость я в свое время исправно законспектировал.

— Ты был прилежный школяр, Веригин.

— Дай бог тебе таким быть.

— Уволь.

— Увольняю.

— Могу и обидеться, — то ли серьезно, то ли в шутку, черт его поймет, сказал Самогорнов. — Все-таки не надо бы забываться, что по отношению к тебе я старший по званию, да к тому же еще и без пяти минут комдив. И на этом основании, разумеется, если это тебя не обидит, хочу спросить: что привело тебя на флот? Красивая форма, традиции, сказочки о розовых парусах или что-то еще?

Веригин подумал, снова влез в ботинки, но китель надевать не стал, прошелся по каюте — два шага к двери, два шага к столу, — машинально взял папиросу и закурил.

— На откровенность?

— Как хочешь.

— Добро, на откровенность так на откровенность. И красивая форма, и сказочка о розовых парусах, и еще кое-что — все так. А кроме всего прочего — мы очень голодали в войну. Мне до сих пор иногда кажется, что я не наедаюсь. Сыт по горло, птичьим молоком корми — откажусь, а глаза голодные. А на флоте, говорили, хорошие пайки.

Самогорнов оживился и, повернувшись вместе с тяжелым для остойчивости, как все на корабле, стулом, с любопытством оглядел Веригина.

— А это что-то новое. Романтика изголодавшегося. Сказал бы кто другой, не поверил, а тебе верю. Ну, а как же тогда все остальное: священный долг, верность флагу, поклонение традициям? Я вот моряк в третьем колене, у меня, как говорится, все на месте. Еще за мамкин подол держался, а уже бескозырку носил. Для меня военное дело нечто фамильное. Одним пахать, другим сталь варить, а Самогорновым — Отечеству служить верой и правдой. Я и не мыслю себя на гражданке. На гражданке я в два счета загнусь.

— Говоришь — фамильное, а речь-то у тебя рязанская.

— А это от бабки. Бабку мою дед восемнадцати лет из-под Касимова вывез. До революции еще. Это он потом в адмиралы вышел, а до революции в кондукторах ходил. И мать у меня из-под Касимова, и я, братец Веригин, женюсь на касимовской, чтобы породу не портить.

Веригин впервые видел Самогорнова таким, не обнаженным — нет, а словно бы повернутым другой стороной, не-

видимой раньше Веригину, и на этой, другой, стороне значилось что-то такое близкое, что готов уже был Веригин простить и невольное вторжение Самогорнова в его каюту, а вместе с нею и в его нехитрую, но в общем-то дорогую ему жизнь, и менторский тон, и черт знает что еще мог простить в эти минуты Веригин Самогорнову.

— Вон ты, оказывается, какой, — только и сказал он.

— Такой уж я, братец Веригин. И под солдатской шинелью, как говаривал Грушницкий, кое-что бьется. Да и все мы ходим в невидимой миру оболочке, не очень-то любим пускать незваных к себе в душу.

— Слушай, — неожиданно для себя сказал Веригин. — Ко мне невеста приезжает... — И потому, что это вышло неожиданно, но больше потому, что никакой невестой Варька еще не была, и кто мог знать, станет ли она таковой, Веригин зарделся, даже почувствовал, как загорелись мочки ушей.

Самогорнов присвистнул:

— Лихо. Нашли времечко любовь крутить. Сейчас нас начнут гонять как сидоровых коз, что в переводе на язык наших отцов-командиров означает: «отработка задачи номер такой-то применительно к боевым условиям».

Веригин это понял только теперь и огорошенно спросил:

— А что же делать?

— То и делай. Отбей телеграмму, нарисуй что-нибудь такое-этакое впечатляющее, чтобы до времени не приезжала.

— Она же черт знает что подумает! — только что не закричал Веригин, как будто и не он утверждал, что «если любит, то поймет», и не к нему, а к Самогорнову должен кто-то приехать, и Самогорнов при этом решил играть неблагодарную роль, и тотчас, опомнясь, сообразил, что это ему, а не Самогорнову надо что-то делать, потому что Варька на самом деле может понять все превратно. — Она же на самом деле подумает, что я тут любовь кручу.

— Скажите пожалуйста, какой взрыв благородства. Ах, ах, какие мы честные, какие мы чистые, какие мы розовые и умытые. Ах, ах, любите нас... Да мало ли что она подумает!

— Ты же сам давеча уверял, что любая красивая ложь — это всего-навсего ложь.

— Не помню. Впрочем, таких слов я не мог говорить. Что-то похожее, но не совсем то. Но если даже так, то напиши, что у нас на носу артиллерийские стрельбы — слово

«артиллерийские» не забудь поставить, — что стреляешь ты первым, и далее в таком же роде.

— Хочешь меня под монастырь подвести? — не веря, но в то же время и веря, спросил Веригин.

— А раз так, то слушайся старших. Старшие плохого не посоветуют. Завтра после большой приборки Першин идет на катере прямо к городским причалам. Дуй с ним и сочини цидулю, как я тебе советую: «Не приезжай до поры, до лучшего времени».

Поступать так, как советовал Самогорнов, Веригину явно не хотелось: он уже свыкся с мыслью, что Варька приедет, но и пренебрегать советом Самогорнова тоже не следовало. Начнутся учения, и тогда забудь о том, что существует берег и на том бережку ждет его Варька, одна, в чужом городе с готическими соборами, с извозчичьими колясками, на которые в ненастье надвигались кожаные, облупившиеся и порыжевшие козырьки. «Ладно, — утешил себя Веригин, — утром чего-нибудь придумаю», хотя наверняка знал, что утром он ничего не придумает, потому что надо не придумывать, а решать: или — или.

— Так сказать, чтобы прихватил тебя с собой? — имея в виду Першина, спросил Самогорнов таким тоном, словно делал великое одолжение.

— Яви милость.

— Ну и ладно, ну и добро. — Все-таки Самогорнов немного завидовал Веригину, что к тому кто-то ехал или собирался приехать, а у него едва означилось знакомство, как по милости комдива тут же и сорвалось, и теперь жди, когда-то завяжется новое, а годики бегут, двадцать пятый минул, и от этой мысли грустно стало Самогорнову. С этой грустью он и заснул, но спал крепко, за всю ночь даже не повернулся на другой бок.

А Веригину снилось, что он вроде бы и не Веригин, а Остапенко, и вроде бы служит он не на крейсере, а на паруснике «Товарищ», и черт дернул его полезть на мачту и оттуда сорваться. Этот сон приходил к нему несколько раз, и едва у него из-под ног уходила опора, как что-то такое случалось, словно бы обрывалась в проекторе лента, и все повторялось. Чертовщина какая-то: срывался и не падал, а когда в последний раз все-таки полетел, кто-то схватил его за ногу, и Веригин проснулся.

«Многовато для одной ночи», — вяло, утомленный этим бесконечным сном, подумал Веригин, садясь и потирая глаза. В каюте горел свет. Самогорнова уже не было. В дверях стоял Медовиков и легонько подергивал за угол одеяло:

— Команда постирала белье, кончает завтракать. Прикажете разводить по большой приборке?

Веригин вспомнил, что на дворе суббота и, значит, побудку сыграли на час раньше, а он бессовестно проспал, да хоть бы снилось что-то стоящее, а то ерунда какая-то, и он попенял Медовикову:

— Что же ты меня раньше не поднял?

— Я уже в третий раз прихожу, — сказал Медовиков, усмехаясь как-то странно, одним голосом. — Да вы спать горазды.

— Горазд не горазд, а порядок один для всех. Матросы, чего доброго, подумают — белоручка.

— Матросам думать некогда — они белье стирали.

Веригин проворно спрыгнул на палубу, натянул брюки, набросил рабочий кителек — неудобно все-таки перед подчиненным разгуливать в трусах и тельняшке, — провел по вихрам ладонью.

— Ветошь, соду и мыло уже получили, — глядя в сторону, чтобы не мешать одеваться Веригину, говорил Медовиков. — Сегодня в расходе никого нет. Может, пошлем прибираться в башню кроме замочных еще и наводчиков?

— Добро, — почти не вникая в смысл того, что говорил Медовиков, согласился Веригин. Впрочем, вникать особой надобности не было: Медовиков предлагал дело. — А с остальной приборкой не напортачим? Старпом сам будет принимать.

— Управимся в лучшем виде. Я объявил Остапенко наряд вне очереди.

«Опять Остапенко». — Веригин поморщился, не хотелось ему пока трогать этого матроса, но и перечить Медовикову было не с руки — только что помирились. Спросил так, чтобы только спросить:

— За что?

— Разговорчив стал. Почувствовал, что вы ему мирволите.

— Может, ограничимся выговором?

— Воля ваша, — сухо промолвил Медовиков, тем самым как бы давая понять, что он, Медовиков, считает, что мирволить никому, в том числе и Остапенко, не следует.

— Ну ладно, наказал и наказал. Что еще?

— Пока все. Списки на увольнение подам сразу после обеда.

— Приготовь пораньше. После обеда мне надо по делам на берег отлучиться.

Дела — это Варька со своим письмом и милой, но в

общем-то и не такой уж и милой, угрозой приехать. Веригин все еще решал, как лучше поступить, хотя и знал, что поступит так, как того хочется Варьке.

Медовиков не уходил, чего-то ждал, и Веригин догадался, что тот тоже собрался на берег, хотел было сказать, что отпустит завтра на целый день, но сообразил, что может разрушить Медовикову компанию, и передумал.

— Вернусь к ужину — и кати на все четыре стороны. Если есть где заночевать, можешь появиться к подъему флага.

У Медовикова было где ночевать, об этом он и хотел сказать, но раз уж Веригин первым заговорил, то надобность в этом отпала, и он только просиял глазами.

— Есть.

— Так ты Остапенко-то не того, не очень. — Веригин попытался говорить начальственно-строго, но из этого ничего не получилось, и он только махнул рукой: — Ну ступай.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ждать окончания большой приборки не пришлось. Першину потребовалось сойти на берег раньше — для адмирала в штабе скопились кое-какие бумаги, — и сопровождать «флажка» по этому случаю должен был офицер. Самогорнов в два счета сосватал Веригина, и спустя полчаса после подъема флага адмиральский катер, сияя белизной хорошо вымытого дерева и всеми своими медными частями, отвалил от парадного трапа и, вспоров до стерильной белизны стоячую воду рейда, рванулся в ворота навстречу древнему городу. Крючковые остались в корме, а Першин с Веригиным, развалясь на мягких адмиральских диванах — такое не часто случается, — дружно закурили, предаваясь приятному, наводящему дрему бегу резвого катера.

— Так, э-э... Веригин, я правильно понял, что вы ждете жену?

«Молодец», — подумал Веригин о Самогорнове, который, видимо, представил дело так, что к Веригину приезжает жена, а это в корне меняло всю ситуацию.

В каюте адмиральского катера лейтенант Першин сам держался адмиралом, говорил с ленцой, потягивая слова. Но бог с ним и с его ленцой, главное, что он оказался милягой парнем и согласился взять с собой Веригина да еще и уладил дело со старпомом, который сперва не хотел отпускать офицера на берег во время большой приборки. Боль-

шая приборка на корабле — пусть проводится она каждую субботу — дело священное и безусловное, но как откажешь «флажку». Старпом Пологов только пальцем погрозил Веригину: дескать, смотри мне, если что. Веригин в свою очередь пообещал Медовикову:

— Будет все в ажуре — отпущу до понедельника.

Веригин знал, что Медовиков расстарается, и слушал болтовню Першина с охотой, тем более что тот предлагал дело.

— Советую вам, э-э... Веригин, заглянуть на улочку Трех Аистов, в частный дом некой Алевтины Павловны. Сей божий одуванчик иногда сдает комнату бездетным офицерским семьям, а также одиноким.

— Хватит с меня и дяди Пети, — осторожно, боясь обидеть Першина и остерегаясь подвоха, возразил Веригин, но Першин только усмехнулся.

— Э-э... Веригин, оставьте. Дядя Петя плебс, так сказать, вздор. А Алевтина Павловна дама света. Еще того, Веригин, света. Бомон, комильфо и тому подобное. Знаете, это недурственно иметь свой уголок на берегу. Все-таки иногда можно позволить себе отдохнуть от службы. Деньги невеликие, зато комфорт: всегда есть кому постирать, в случае и гостей есть где принять, можно и винишка откушать. В тени, вдали от сторонних глаз, это, знаете ли, в нашем бивуачном положении впечатляет.

«А ведь верно, — радуясь, что случай свел его через Самогорнова с Першиным, думал Веригин, рисуя себе этакий раишко в виде комнаты с тюлевыми занавесками на окнах, фикусом в кадке, гераньками в миленьких горшках на мелких тарелках с какой-нибудь простенькой каемочкой, и среди этого великолепия — Варька, Варька, черт возьми!.. — А вдруг там клопы?» И, помрачнев, даже заикаясь, потому что говорить об этом было стыдно, спросил:

— А как там насчет запечной живности, этих самых, которые клопы? — Он даже язык начал ломать, чтобы получилось естественнее.

— Э, батенька, Алевтина Павловна — вдовица капитана первого ранга царского флота, знаете ли, этакий осколок бывших, так что с этой стороны вам ничто не грозит. — Першин говорил округло, изящно, словно мастерски пускал дым кольцами. — Только, батенька, вам надо показаться. Божий одуванчик еще помнит балы в гвардейском экипаже, была первой дамой среди морских офицеров и к флоту неравнодушна.

Они привалили к пассажирскому причалу, и Першин

сказал, что Веригин ему ни с какой стороны не нужен, вся эта бодяга с документами была затеяна им по наущению Самогорнова специально для старпома, и теперь Веригин может располагать временем до пятнадцати ноль-ноль по своему усмотрению.

— Нехорошо это, — подосадовал Веригин. — Дознается старпом — шуму не оберешься.

— Куда уж лучше... С большой приборки удрали, старпома, паиньку, вокруг пальца обвели. Экие мы бяки. Ну, бывай здоров и не опаздывай. Жду не более пяти минут.

Веригин для полноты ощущения свободы потолкался на причале, прикидывая, как ему все лучше обстряпать, и получалось, что прикидывай не прикидывай, а самая надежная дорожка ему уже указана — на улочку Трех Аистов, во владения Алевтины Павловны, — и Веригин поправил фуражку, чтобы плотнее, по-нахимовски, сидела на голове, пробежал пальцами по пуговицам, воровски огляделся и прыгнул в пролетку, велев извозчику опустить верх до самых козел.

На улочку Трех Аистов они въехали минут через семь-восемь, хотя и затерялась она на окраине, среди голых деревьев, побеленных птичьими знаками, и владения Алевтины Павловны нашли сразу. Опасаясь собаки, Веригин позвонил.

Вышла сама хозяйка — по крайней мере так решил Веригин, — высокая, строго-стройная, в фартуке с кружевами, простоволосая. Голова ее с белыми прядями была хорошо, даже кокетливо прибрана. По словам Першина, выходило ей близко к шестидесяти, Веригин не дал бы больше сорока, впрочем, с точки зрения его возраста все женщины, которым перевалило за тридцать, но не достигло пятидесяти, в равной мере для него сходили за сорокалетних.

Кивнув в ответ Веригину, она молча провела его в дом и там, небрежно сняв фартук и заученным движением приподняв прическу ладонями, тихо спросила:

— Нуте-с, молодой человек?

Веригин впервые в жизни снимал угол и, следуя совету Першина «показаться» Алевтине Павловне, начал плести какую-то ахинею:

— Понимаете, так сказать... Видите ли... — Он даже взопрел, почувствовав, что в прихожей хорошо натоплено.

— Не очень связно, но домыслить можно, молодой человек. К вам прибывает жена, и вы нуждаетесь в квартире.

— Так точно, — весело ответил Веригин, решив с облегчением, что самое щекотливое позади.

— Вы случайно забрели или вас направили?

Выдать Варьку за жену — это еще куда ни шло, тем более что за него это уже сделал Самогорнов, но как прикажете поступить с Першиным? Алевтина Павловна пытливо смотрела на Веригина и ждала, и тогда Веригин, чтобы не запутаться по уши — потом сам черт не разберет, где быль, а где небыль, — назвал фамилию «флажка».

— Как же, как же — помню. Премилый молодой человек, кажется, из окружения адмирала. Снимайте вашу шинель и проходите в комнату.

«Божий-то одуванчик, надо понимать, в курсе», — подумал Веригин, но Алевтина Павловна, казалось, прочла его потаенные мысли, пропустив вперед, сказала:

— Не удивляйтесь, что я кое-что знаю. У меня часто квартируют офицеры соединения. К тому же я имею честь быть вдовой флотского офицера, к сожалению, как теперь говорят, другой эпохи. Мой муж за Моонзундскую операцию был удостоен георгиевских отличий. Увы, это тоже относится к другой эпохе, поэтому я лишена возможности получать пенсион и вынуждена сдавать комнату. Я не беру на постой армейских офицеров.

Комната, а вместе с нею и Алевтина Павловна, а может, Алевтина Павловна вместе с комнатой — это уже были тонкости — Веригину понравились: просторная, с двумя окнами комната, простенькие, тонкого рисунка шторки, достаточно широкая кровать, кресло, стулья, обеденный стол, торшер, на стенах — виды Ленинграда, точнее Санкт-Петербурга, свинцовые воды Невы, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Петр Великий. И никаких гераней, фикусов и занавесочек.

— Здесь я не держу личных вещей. Они могут стеснять. Чужие вещи — всего лишь чужие вещи.

— Да, — не очень вежливо согласился Веригин и тотчас же поправился: — То есть, я хотел сказать, что это то, о чем я мечтал... — И опять поправился: — Вернее, моя жена.

— Разумеется. Тогда выполним небольшую формальность, и комната за вами. У вас разрешение морской комендатуры при себе?

«Вот это номер, — огорчился Веригин. — Кто же мне даст такое разрешение?»

— Об этом я как-то не позаботился.

— Ну ничего. Выправите — и вселяйтесь. А то, знаете ли, милиция бывает недовольна. У нас недалеко погранзона. Но оставим формальности и будем считать, что с сегодняшнего дня комната за вами.

— Конечно, конечно, — заторопился Веригин — не в правилах флотского офицера неразумно спешить, — но Алевтина Павловна на этот раз не обратила внимания. Постоялец, кажется, ей понравился, она даже с грустью подумала: «Мы тоже были такими неумехами в житейских делах. Боже, как давно это было...»

Веригин поспешил откланяться: дело было сделано, хотя если быть точным, то не сделано, а всего лишь начат малый задел, потому что и разрешения военного коменданта нет, и кто знает, приедет ли Варька, а если приедет, то вдруг Алевтине Павловне за каким-то бесом понадобится их свидетельство о браке, ну, понадобится не понадобится — это дело десятое, а как ему вообще-то быть с Варькой? В Ленинграде, благословенном Питере, там все как-то само собой получалось, попьют чайку, посидят на диванчике, поглядят друг на друга, то да се, шуры-муры, трали-вали, с тем и до свидания, а тут она у него в гостях. «Что я с ней буду делать? — с досадой подумал Веригин. — Не жена, да ведь, по сути, и не невеста еще. Ну, целовались, ну там еще что, так это вроде бы и положено. А теперь что?»

Все у него получалось как-то случайно, несерьезно, что ли: случайно познакомились на танцах, случайно Варька позвала к себе, почти случайно подыскал комнату и, опять-таки доверясь случаю, зашел на почту и отбил телеграмму: «Угол подыскал. Скучаю. Целую. Приезд телеграфируй». С почты завернул в закусочную, попросил четыре порции сосисок с тушеной капустой, кружку пива и, медленно жуя и прихлебывая мелкими глотками из кружки, незаметно вернулся мыслями к Варьке. Кажется, зря он связался с этой Алевтиной Павловной, женщина она, может быть, и неплохая, но кто ее знает: начнет совать нос куда не следует. Проще было бы снять номер в гостинице: и мороки меньше, и заботы ни на грош. И тут его словно бы осенило. Телеграмму-то не обязательно вручат Варьке, мало ли она кому первому попадет в руки — отцу или матери, а там черным по белому: «Уголок подыскал». «Это что ж получается? — вконец расстроился Веригин. — А то и получается, что это форменное сватовство. Не гостиницу заказал, а подыскал уголок. Эк, паря, хватил». Он торопливо допил пиво, рассчитался с официанткой и вернулся на почту, постучал в окошечко.

— Я тут, видите ли, телеграмму только что отбил.

Телеграфистка узнала Веригина и мило, даже кокетливо, улыбнулась: как-никак, а Веригин посвятил ее в свой интим — «уголок подыскал».

— Уже ушла.

— Как ушла?

— Как уходят все телеграммы. Я передала вас вне очереди.

— Весьма признателен,— поблагодарил Веригин, чертыхнувшись про себя. «А, ладно! — отрешенно подумал он, почувствовав себя незадачливым пловцом, которого закружило и понесло течение.— К какому-нибудь берегу вынесет».

Время еще оставалось, а слоняться бесцельно по улицам осточертело, можно было с первой же оказией вернуться на корабль, но возвращаться без Першина было бы опрометчиво, и он скучающим взглядом осмотрел дома на противоположной стороне и, заметив на одном из них вывеску детской библиотеки, понял, что это именно то, где он хотел бы сейчас побывать. «Попрошу-ка я «Приключения барона Мюнхгаузена» и почитаю великого враля. Вот-то будет славненько. Милый мир детства, мы уходим из него, а он бредет за нами, неприкаянный, наивный и бесценный».

В библиотеку он зашел робея, разделся, попросил томик — он так и сказал: «томик» — «Приключений барона Мюнхгаузена». Библиотекарша, пожилая латышка, бегло глянула на него, но не удивилась, даже как будто сочла просьбу резонной, только поинтересовалась:

— Вам с собою? Тогда...

— Нет, нет,— перебил ее Веригин.— Я только хочу восстановить кое-что для памяти.

— Как вам угодно.

Библиотекарша долго не возвращалась; скучая, Веригин стоял возле барьерчика, который едва доходил ему до пояса, и сердце у него сладко постукивало. Так хорошо и больно было вспоминать себя в том возрасте, когда он, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть, что делается у библиотекарши на столе, просил что-нибудь про войну. В его время все мальчишки и девчонки читали про сражения, впитывая в плоть и кровь дела и деяния своих отцов.

Вынырнув из-за стеллажей, библиотекарша подала Веригину изрядно потрепанную книжицу в картонном переплете. Она так была захватана руками, что бравый барон, сидящий на ядре, едва проглядывался, а название и вовсе стерлось, углы же закруглились и мохнатились, словно помпошки на детской шапочке.

— По-моему, это не та, — неуверенно сказал Веригин. Ему казалось, что если «Приключения» и не составляли

фолианта, то по крайней мере могли бы выглядеть и повнушительнее. — Возможно, есть не адаптированный текст?

— К сожалению, это та самая.

— Как же так. Ту я читал по крайней мере неделю, а тут и текста-то всего на пять минут.

— Ничем вам помочь не могу. Тогда вы на самом деле читали неделю, а теперь и пяти минут много. Так вам оставить ее?

— Да, конечно.

Не присаживаясь, Веригин прочел «Приключения» и раз, и другой, и все шуточки барона показались ему плоскими и наивными. Сколько ни старался он заставить работать свое воображение, пленительный детский мир не приходил, он так и остался вне его, вернее — погребенным в нем самом где-то глубоко и скрытно вместе с удивительными похождениями великого барона; а тут был перед ним только жалкий старикашка, который пытался хитрить, лукавить, мудрить, но все его хитрости и премудрости слишком уж обнаженно лежали на поверхности.

— Жаль, — сказал Веригин. — Я, кажется, нечаянно разбил что-то очень для меня дорогое.

— Не надо жалеть. Вы не разбили, вы только уронили, а ваш сын поднимет и понесет дальше. У нас говорят: каждому овощу свое время.

— Жаль, — повторил Веригин и, поблагодарив библиотекаршу, не прощаясь, словно рассчитывал скоро вернуться, вышел на улицу. «Зачем? — спрашивал он себя. — Зачем?»

Ему на самом деле казалось, что еще недавно он держал сосуд, наполненный в далеком детстве чем-то чистым, светлым и радостным, бережно нес его до сегодняшнего дня, мог бы и дальше нести, до конца дней своих, а вот взял и уронил.

...Он едва дождался на причале «флажка», пропустил его вперед и сам спрыгнул в катер.

— Сговорились? — спросил Першин тем лукавым голосом, когда наперед знают, что дело сладилось, хотя бы потому, что не сладиться оно не могло. — Прелестная старушенция эта самая Алевтина Павловна. Не правда ли?

— Да, — сразу на оба вопроса ответил Веригин и в свою очередь спросил, стараясь скрыть беспокойство: — А те особы, что были на тезоименитстве, и вот теперь Алевтина Павловна — они, случайно, не знакомы? Конечно, это пустяк, но все-таки...

— Нет, не знакомы, — позевывая, сказал Першин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Командир суеверно не любил выходить в море по понедельникам. Это знали в штабе, посмеивались и прощали ему маленькую слабость, тем более что первый немецкий транспорт он, будучи командиром сторожевого корабля, потопил 23 июня, именно в понедельник.

В воскресенье командир обедал в кают-компании и за обедом между прочим сообщил старпому Пологову (старпом же, естественно, конфиденциально, — командирам боевых частей), что по зрелом размышлении он испросил у адмирала разрешение выйти в море не в понедельник после обеда, как это намечалось, а сразу после полуночи во вторник. Старпом мысленно поблагодарил судьбу, даровавшую ему лишних полсуток для крайне необходимых корабельных работ — впрочем, иных на корабле и быть не могло, — тотчас же согласно закивал.

— Полагаю, что это разумно. Время до обеда, как водится, займет замполит, а после обеда я, с вашего разрешения, по некоторым боевым частям и службам объявлю планово-предупредительный ремонт.

— Помилуйте, — возразил командир, — а чем же вы занимались перед выходом из Кронштадта?

— Ремонтом, — невозмутимо ответил старпом.

— Не слишком ли часто мы балуемся пе-пе-эром?

— Вы полагаете — часто? — в свою очередь льстиво спросил Пологов, в общем-то сознавая, что запросил лишку, но и не желая идти на попятную. Ему все казалось, что у артиллеристов с материальной частью не все в порядке, что штурманы не откорректировали карты, а главный боцман давно не занимался шпилями и бегучим такелажем. Кроме того, он считал, что краску на борта и надстройки положили не того колера, а какого надо — он еще не знал, и это тоже мучило его.

— Я считаю важным то, что полагает мой старший помощник, — не желая попусту спорить, сказал командир, наливая себе из супницы борща, который особенно почитал и ради которого иногда спускался обедать в кают-компанию. Борщ, сваренный в бачке на его персональном камбузе, не шел ни в какое сравнение с борщом из общего котла. — Тем не менее главный калибр оставьте в покое. Им скоро стрелять.

— Добро. Но тогда разрешите взять у них строевых матросов.

— Ну-ну. С паршивой овцы хоть шерсти клок, — пошу-

тил командир. — Но куда они вам? Есть же боцманская команда.

— Как куда, помилуйте! У меня работ на палубе по горло.

— Берите строевых, и на этом покончим.

— Потребуется еще дополнительно и расходное подразделение. Подойдет баржа с продуктами, интендант начал завозить новое обмундирование, — принялся перечислять Пологов, старательно загибая пальцы. — Старослужащие совсем поизносились.

— Хорошо, хорошо. Вот что, голубчик, передайте старшему коку или — кто там у них стоит на борщах? — чтобы перцу впредь не жалели. При сырой погоде перец — это вещь, а так борщ отменный.

Пологов еще не принимался за первое, но, чтобы не отставать от командира, тоже похвалил борщ, тем более что все дела были улажены, и дальше обед пошел по твердому, раз и навсегда заведенному порядку.

Веригин сидел на своем лейтенантском конце стола и, естественно, слышать разговор командира со старпомом не мог и не знал еще, что строевых матросов у него в понедельник заберут и готовить погреба к приему боезапаса придется комендорам, иначе говоря, матросам, обученным артиллерийскому делу. Он все еще не решался поговорить с Самогорновым, чтобы тот попросил Першина — самому Веригину это почему-то было неудобно — замолвить в комендатуре словечко. Без этого ходатайства — Веригин был уверен — ему могли и не разрешить вселиться в частный дом. Вопрос был в высшей степени щекотливый, и, чем больше думал о нем Веригин, тем щекотливее он становился.

А Медовиков, отпущенный на берег до понедельника, между тем обедал у своего земляка, мастера с судоверфи, и меньше всего в эти минуты думал о боезапасе и о предстоящих стрельбах. К земляку приехала на жительство сестра Наталья, на которую он имел виды, но дело осложнялось тем, что эта самая сестра Наталья, кажется, на него-то, Медовикова, никаких видов не имела, и Медовиков хоть и «причащался» умеренно, но старался себя показать вовсю, давая понять, что такие парни, как он, на дороге не валяются. А между тем Наталья сама скрытно поглядывала на Медовикова, даже смирилась, что лицо у него в оспинках, но до поры до времени ничем не хотела себя обнаружить и на все умные разговоры мужчин отзывалась примерно одинаково:

— Подумаешь... У нас вон в Рязани новый завод заложили. Подумаешь... У нас вон мастер на фабрике...

— Ваш этот заводишко ни в какое сравнение не идет с нашим крейсерюгой. А то туда же! — обиделся Медовиков, на что Наталья беспечно ответила:

— Подумаешь...

Тогда Медовиков, наклонясь к мастеру-земляку, начал рассказывать, как в войну они хаживали по минным полям: их, минных полей-то, было от самого Кронштадта и до немецкого города Ростока. И все пропахали! Сперва остерегались, белье чистое надевали, а потом и остерегаться наскучило. От смерти-то сколько ни бегай, она все равно настигнет.

— Зачем? — с интересом спросила сестра Наталья, тем самым обнаружив себя, что хоть виду-то и не показывала, но слушала-то во все уши. — Белье-то надевали?..

— А затем, что каждый раз к смерти готовились.

— Господи, сколько же вам раз помирать-то пришлось! — пригорюнясь по-бабьи, сказала сестра Наталья.

— Сколько ни помирали, а все выжили. — И Медовиков понял, что избрал правильный ход, и дальше уже повел свой рассказ широко, завладев вниманием всего застолья, хотя и имел в виду только одну Наталью, но при этом упустил маленькую деталь, что ход-то этот довольно-таки ловко указала ему она сама. Так или иначе, ход был сделан, и все остались довольны: и мастер-земляк, и его сестра Наталья, и, разумеется, Медовиков...

Остапенко в этот день дежурил по бачку, иначе — бачковал: ходил в хлеборезку за маслом, сахаром и ситным для утреннего чая, в обед стоял в очереди на камбуз за винегретом, борщом, макаронами по-флотски и непременным компотом. И пока ходил и стоял в очереди, все думал, как бы ему изловчиться побыстрее помыть посуду, чтобы и адмиральский час не пропустить, и письмо написать сестре, оставшейся после смерти матери за хозяйку, и поменять книги в библиотеке, и попасть на концерт — в жилой палубе набьется уйма народу поглазеть на девчонок из заводской самодеятельности, — потом вахтенный офицер даст команду на ужин, после которого опять мой посуду — будь она неладна! — а там уже вечерний чай и кино на юте. Тоже вот надо спешить: не успеешь вовремя занять место для банки, стой тогда битых часа полтора, а то и два, если киномеха-

нику удалось прихватить сверх обычной ленты еще и парочку-тройку журналов.

— Тебя, Остапенко, только за смертью посылать, — сказал ему командир орудия, когда Остапенко, отстояв очередь, появился в кубрике сразу с закуской, с борщом и с макаронами, составив бачки один на другой, прихватив еще на локте и чайник с компотом. Упрек был несправедливый, но Остапенко молча проглотил обиду, только и сказал:

— Дак очередь же...

— А для других бачков очереди нет, что ли? Все уже отобедали, а мы только закусывать собираемся.

— Ладно тебе, — сказал заряжающий из старослужащих. — Вон он как постарался — сразу все принес.

— Для порядку, чтоб службу помнил. А то знаете как у нас: ешь — потей, работай — мерзни. — Командир орудия, помешав половником в бачке, выловил самый большой мосол, положил его в миску Остапенко: бачковой — он кормилец, а кормильца обижать грешно; второй, поменьше, опрокинул себе — по старшинству; третий, совсем маленький, оказался в миске старослужащего: ему скоро на гражданку, пусть завязывает флотский жирок; остальным наливал уже подряд, кому что придется. Винегрет подобрали быстро, зато борщ хлебали долго, важно, старательно уминая хлеб — борщ без хлеба одно баловство; а за вторым разговорились.

— Ты, Остапенко, над миской-то не особенно спи. Матрос — не балерина, ему талию блюсти нечего.

— Дак я ем...

— Вот и ешь, — говорил командир орудия. Бачковой — кормилец, но хозяин-то за столом он, а хозяину положено за всем присматривать. — Кто у нас сегодня идет на берег? — Он сам составлял список и спрашивал для приличия, поэтому и ответа не ждал. Заряжающему из старослужащих он сказал: — Бескозырку (он произнес небрежно-ласкательно: «беску») мою напяль, а то твоя, как седло, провалилась. Брюки («шкары») свои погладь, они у тебя с шиком, а ботинки у Остапенко возьми. У него поновее.

— Дак ведь... — хотел было возразить Остапенко, которому стало жаль ботинок, но командир орудия сурово — опять же по-хозяйски — перебил его:

— Нечего скупердяйничать. Придет очередь — тебя обрядим.

Первыми сошли на берег матросы и старшины срочной службы, за ними потянулись сверхсрочники, младшие офицеры, потом уже отправились комдивы, командиры боевых

частей, свободные от вахт и дежурств. Последними покинули борт адмирал с командиром. Их провожали начальник штаба, старпом Пологов, дежурный по соединению, дежурный по кораблю, вахтенный офицер, вахтенный горнист и прочие вахтенные, в общей сложности человек двадцать. Вахтенный офицер скомандовал: «Смирно!» Офицеры взяли под козырек, катер отвалил, горнист сыграл «Захождение», и на корабле наступил адмиральский час.

Веригин остался на борту: предстояло заступать на вахту, и идти на берег на какой-то час-другой не имело смысла, и тем не менее, когда адмиральский катер скрылся за волнами и на корабле все угомонилось, Веригину стало как-то не по себе. Он послонялся по верхней палубе, спустился в кубрик команды, не зная, чем заняться и куда девать себя. Из-за коек навстречу ему вышел дневальный, но Веригин предупредительно поднял руку, тихо спросил:

— Отдыхают?

— Так точно.

— Добро. В случае чего я в каюте.

Он снова поднялся наверх. По борту в сиреневой дымке плыл город, едва означив на сером низком небе мачты своих готических шпилей и заводских труб. Веригин поискал глазами место, где могла быть улочка Трех Аистов, кажется, угадал и, вздохнув, пошел к себе, но спать лег не сразу. Помотался по каюте из угла в угол, присел к столу, достал таблицы стрельб. В училище на макете он стрелял превосходно, ему и в характеристике записали, что он прирожденный артиллерист, и теперь ему верилось, что отстреляется он хорошо, и все-таки сомнения нет-нет да и подступали холодком к сердцу, и оно предательски замирало: «А вдруг?»

Веригин еще раз повторил последовательность поправок, которые он должен будет передать на автомат стрельбы, прикинул, что если не удастся сразу сделать накрытие, то неплохо бы вторым залпом взять цель в вилку, и тогда все пойдет как по маслу.

«Ах, Варька, Варька, — неожиданно, без видимой связи подумал Веригин. — Не сейчас бы тебе приезжать, погодить бы еще месячишко, другой. Славненько все бы у нас получилось, а теперь начнутся походы, учения... Ах, Варька, Варька». — И опять его сердце предательски замерло.

«Ах, Варька, Варька», — думал он в следующую минуту, терзаясь уже ревностью, потому что кто знает, где сейчас Варька и чем она занимается. Может, думает о нем — телеграмму, наверное, уже вручили, — собирается, перебирая платьишки и юбчонки, а может, только голову морочит ему,

а сама давно уже строит глазки какому-нибудь другому бравому лейтенанту.

«Ах, Варька, Варька», — и потом думал он, представляя и себя, и Варьку как бы со стороны, и рисовалось в призрачных видениях, что Варька, изменив ему, вышла за другого, благополучна в своем замужестве и всем довольна, и надо так случиться, что они снова встречаются. К тому времени Веригин, разумеется, уже стал известен — неважно, в чем суть его известности, важно, что известность пришла к нему, — и он, обиженный и уязвленный в самых светлых своих чувствах, гордо и обиженно проходит мимо. «Зачем же тогда встречаться? — вполне резонно спросил себя Веригин. — Чепуха какая-то. Если уж встретились, то надо бы поговорить. Ну там то да се, былое вспомнить». Но это выглядело уж слишком прозаически, неинтересно, и Веригин решил тоже отдать дань адмиральскому часу, быстро разделся и забрался к себе на верхотуру и там опять начал бессвязно думать о Варьке, наслаждаясь своим гордым мщением, которое он совершит, если она обманет его; и опять рисовал себя то убеленным сединами адмиралом, то известным певцом, то еще черт знает кем, но в каждом случае обаятельным, что называется, любимцем публики.

И во сне привиделась ему Варька, такая обыденная, простая и милая, какой запомнилась ему в их прощальную встречу в театре, а потом на перроне Балтийского вокзала, — только целоваться не пришлось. Веригин было потянулся к ней, как появился вертлявый мальчишка и начал дразнить его, показывая язык и гундося:

— Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...

«Тьфу ты, сатана!» — Веригин обозлился, размахнулся во все плечо и хрястнул кулаком по фонарному столбу, взвыл от боли и проснулся. Рука болела, видимо, он и впрямь хватанул ею во сне по переборке.

В дверях стоял рассыльный дежурного офицера и в который уже раз канючил:

— Товарищ же лейтенант, ну товарищ лейтенант! Будет спать-то, пора собираться на развод...

— А? Что? — спросил Веригин и тотчас все понял: — Ах, да, пора собираться! Ну, ступай. Я сейчас...

Он потянулся еще с минуту, спрыгнул на палубу, быстро начал приводить себя в порядок: побрился, почистил зубы, вымыл лицо и шею, сменил белье и до того, как по кораблю разнеслась команда: «Новому дежурству, вахте и оркестру построиться для развода на юте», успел выкурить папиросу

и свежий, как огурчик, по выражению старпома Пологова, поднялся наверх.

Сумерки уже пали на рейд, и город по всему горизонту означил себя белыми и желтыми огнями, но было еще довольно светло. За морем, над далеким польским Гданьском, горела и переливалась розовая — в золотых и синих прожилках — заря, а небо с первыми тусклыми точками звезд было чистое, глубокое, и эта глубина и незамутненная заря предвещали спокойную погоду по крайней мере суток на двое. Легкий морозец выжимал из воздуха влагу, и она, замерзая тончайшими иголками, падала с неба, серебря палубу, мачты, ворот шинели. Веригин чувствовал себя превосходно, и внутренний голос его победно пел: «Ах, Варька ты, Варька», получалось что-то вроде: «По Дону гуляет...» Он не спешил: корабельный развод суточных дежурств вахтенной службы не касался и его разбудили ошибочно, но он не сердился — разбудили и разбудили, черт ли в том, чтобы отлеживать себе бока, — и вышел на палубу подышать, благо было чем заняться: оставаясь по воскресеньям за командира, старпом Пологов сам принимал суточный развод и делал это мастерски. Он вызывал наверх оркестр, требовал, чтобы во время прохождения матросы печатали шаг, — словом, устраивал маленький смотр-парад.

Едва Пологов появился у рубки вахтенного офицера, заступающий на дежурство капитан-лейтенант Кожемякин радостным голосом скомандовал: «Развод, сми-ррр-на! Для встречи справа, слушай: на кра-ул!» Караульное отделение, сверкнув оружием, взяло его на грудь, оркестр сыграл старпому встречный марш, Кожемякин отдал рапорт, и дальше пошло как по писаному. Старпом медленно, заложив за спину руки, шел вдоль строя, цепко оглядывая матросов и старшин: звездочка на шапке прямо по носу, галстук, пуговицы, бляха. Так. Брюки. Двадцать шесть — на глазок — сантиметров, точно по уставу. Ботинки... Что-то не понравилось ему. Он задержал свой взгляд, остановился. Матрос сделал шаг вперед, представился:

— Дневальный второго кубрика...

— Ваши обязанности по боевой тревоге?

— Отрепетовать команду, проверить, чтобы никто не остался в кубрике, задраить люк на верхнюю палубу и занять место согласно боевому расписанию.

— Так, — сказал старпом, но что-то ему все-таки не понравилось, и он обернулся к Кожемякину.

— Матрос Остапенко, — тихо промолвил Кожемякин и, легонько прищурив левый глаз, как бы добавил: «Тот са-

мый...» Старпом незаметно кивнул: дескать, спасибо, понял — и пошел дальше. Звездочка. Галстук, подворотничок. Пуговица. Бляха. Брюки. Ботинки. «Ах да, ботинки-то растоптаны. Растоптаны ботинки-то у Остапенко». Возле караульного отделения снова остановился.

— Часовой у знамени...

— Оружие, — потребовал старпом.

Матрос подкинул винтовку, перехватил у казенника и не подал — легонько бросил ее старпому: оружие — не перчатки, его из рук в руки не передают. Старпом клацнул затвором, сказал, обращаясь к караульному начальнику:

— Масла много, протереть.

— Есть, протереть.

Пологов вернулся к Остапенко:

— Почему ботинки растоптаны?

— Так что в моих старослужащий ушел на увольнение.

Обратясь к Кожемякину, Пологов тихо, но внятно сказал:

— Потрудитесь найти возможность обуть старослужащего. Флот не обедняет, а тому на гражданке пригодятся.— И сразу стал торжественно-важен: — Разводите.

Кожемякин снова подал команду, оркестр грянул печально-торжественный марш «Прощание славянки», и ют опустел. В часовом механизме завели пружину на следующие сутки: так было вчера и позавчера и так будет завтра. Пружина не должна ослабевать ни на секунду, потому что испокон веку не время измеряет корабельную службу, а служба размечает время на часы, вахты, дежурства.

Веригин постоял с вахтенным офицером, помолчал, да и о чем говорить, если самому заступать с двадцати одного до часу по полуночи — вахту эту звали «прощай молодость»,— постоял просто так, для порядка. Офицер этот был из минно-торпедной боевой части, и Веригин плохо его знал.

— Говорят, скоро пуляете?

— Говорят.

— Ну, давайте. После вас, видно, мы пяток-другой торпед швырнем.

Опять помолчали: говорить-то не о чем, но вахтенному офицеру наскучило одному бродить по палубе, и Веригин, понимая это, не решился сразу уходить, так и маялся — не уходил и молчал.

— Говорят, в Доме офицеров сегодня оперетку дают?

— Говорят, — сказал Веригин, хотя впервые слышал об этом.

— Девочки небось юбчонки там задирают?

«Черт знает, о чем мы говорим», — подумал Веригин, но ответил:

— А чего им!

Вахтенный офицер хохотнул и тут же, соблюдая приличие, зевнул в кулак, поняв, что и смеяться не время да, собственно, и смеяться-то нечему.

— Пожалуй, пойду, — все еще маясь, сказал Веригин.

— А то погоди.

Веригин все же взял под козырек, пожелав молча спокойной вахты, оставил в каюте шинель с фуражкой и поднялся в кают-компанию. Большинство офицеров сошли на берег, поэтому ужинали не на привычных местах, а с одного краю, там, где кому приглянулось. Старший механик пришел даже с газетой и, время от времени торкая наугад вилкой в тарелку, решал шахматный этюд. Только старпом, как обычно, шевелил усами, был строг и важен, хотя и он на все происходящее в кают-компании смотрел сквозь пальцы.

Мелкими шажками просеменил вестовой, одетый в белые холщовые штаны не первой свежести и форменку навыпуск, и положил перед Пологовым бланк семафора, который передал пост службы наблюдения и связи — сокращенно СНИС. Пологов приподнял бланк за уголок, прочитал и, помахивая им, поманил к себе Веригина, вкрадчиво спросил:

— Это кто ж такая будет?

Веригин догадался, что это передали телеграмму от Варьки, и, не видя еще, что она там написала, стушевался. «Першин бы не стал краснеть, — подумал он отрешенно. — Першин бы выкрутился. И Самогорнов выкрутился бы...»

— Девушка одна.

— По подписи вижу, что не две. Хотел бы я знать, кто она вам? Невеста?

Пологов сам подсказал ответ.

— Невеста, товарищ капитан второго ранга.

— Невесты вслед за кораблем не бегают, лейтенант. Невесты ждут суженых на берегу, там, где им положено. А впрочем, воля ваша. Помнится, вы скоро на вахту заступаете, — памяти Пологова можно было позавидовать, — а поезд приходит что-то около семи. Как же быть?

— У меня «прощай молодость», так что, с вашего позволения, меня бы подменили.

— Ну, я-то, положим, позволяю, а как быть с политзанятиями? Это уж, батенька, по ведомству замполита. Так что и решайте с ним. Но к обеду будьте на месте. После обеда может подойти боезапас. Ох, не вовремя, Веригин, затеяли вы игрушки.

«Да не я затевал, — подумал Веригин, обижаясь почему-то не на Варьку, которая уже мчится поездом, а на старпома. — И потом, что значит «затеял»? Сам, что ли, молодым не был!»

— Жить-то где она у вас будет? В гостинице или родные у нее здесь?

— Так точно, — быстро нашелся Веригин, потому что это самое «так точно» сейчас его ни к чему не обязывало, и тут же сообразил, что после этого Пологов может и не отпустить его на берег: раз есть родные, то пусть они и встретят, а там видно будет. Но Веригин зря так подумал. В этих делах старпом тоже кое-что соображал.

— Это уже легче. Доложите Кожемякину, что я разрешил вам до обеда сойти на берег. Пойдете с первым катером и как раз успеете к поезду.

Веригин заметался по кораблю: поискал Першина, ставшего сразу самым нужным человеком, но тот оказался на берегу, Самогорнова раньше полуночи ждать нечего. И дернула ж его нелегкая сказать, что у Варьки тут родные! Алевтина Павловна, будь она тоже неладна, потребует разрешение от коменданта, чтоб тот засвидетельствовал, кто он есть, товарищ лейтенант Веригин, и кем ему приходится Варька, и одна маленькая неправда могла теперь потянуть другую, но уже большую. А между тем время подошло к двадцати одному, пришлось опять надевать шинель, шапку, тащиться наверх, хотя самое время было сейчас съехать на берег. А впрочем, и на берегу теперь вряд ли что предпримешь. Все, как говорится, и близко, и далеко, и Варька уже не в Питере, а подъезжает, наверное, к Риге, и до завтра осталось уже всего ничего. И вдруг его осенило. «Хорошо-то как, господи! — творя радостную молитву какому-то своему, никому не ведомому богу, подумал Веригин. — Варька же приезжает».

Малый развод заступающих на вахту «прощай молодость» уже построился у рубки вахтенного офицера.

— Принимай, Веригин, — сказал ему вахтенный офицер, взяв под козырек. — Адмирал на берегу, командир там же. За командиром велено подать катер к семи, за адмиралом — к семи тридцати. Товарищей офицеров съехало на берег... Команды... человек. Мы стоим на бочке при одном правом якоре, носом в волну (иначе крейсер и не мог стоять). С правого борта за дюнами прекрасный готический город со всеми его прелестями, с левого — брр! — холодное Балтийское море. Вахту сдал.

— Вахту принял. — Веригин повторил про себя все су-

щественное: «за командиром катер — к семи, за адмиралом — к семи тридцати, на берегу...», хотя все это было занесено в рабочий журнал с точностью до минуты и до человека. — Разойдись!..

Ближе к двадцати трем подвалил первый баркас с увольнявшимися. Вернулись те, кого в этом городе никто не ждал и кому, в общем-то, на берегу и делать-то было нечего — так, шлялись по улицам, заглядываясь на всех встречных девчонок, беззубо шутили, может быть, сходили в кино, съели там по порции мороженого. Все это давно было известно Веригину, и он, скучая, ждал следующий баркас. Этот подошел с песнями:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

Пели хотя и не стройно, но довольно уверенно и, подходя к трапу, дружно замолчали: дескать, мы люди тихие, смирные, нам бы только побыстрее доложиться да нырнуть под одеяло.

— Товарищ лейтенант, старшина первой статьи...

— Товарищ лейтенант, матрос...

— Товарищ лейтенант...

От кого-то пахнуло пивом, совсем легонечко. Веригин сделал вид, что не заметил: эка беда, что матрос или старшина справил в кругу друзей день рождения и пропустил кружечку «рижского». В былые годы и чарка водки за обедом не возбранялась и никто при этом не спивался, не дебоширил, знали толк и меру.

Вышел проверить вахту старпом Пологов, прошелся по шкафуту, постоял возле ростр со шлюпками, позевал в кулак — спать хочется, — потом направился к рубке вахтенного офицера. Веригин ловил глазами этот момент, пошел навстречу, но старпом издали помахал рукой, дескать, время позднее, так уж давай без церемоний.

— Что с увольнявшимися?

— Прибыли два баркаса. Остальные подгребут с буксиром.

— Ну, добро. Остальных приму сам с дежурным офицером в вестибюле. Так что всех, в том числе и товарищей офицеров, посылайте ко мне.

Сразу после полуночи дежурный по кораблю капитан-лейтенант Кожемякин доложил капитану второго ранга Пологову, что увольнявшиеся до двадцати четырех часов прибыли на борт без опоздания, замечаний со стороны ко-

мендантских и патрульных служб не было. Воскресный день закончился.

Веригин ждал Самогорнова и с первым баркасом, и со вторым, и с буксиром, и, когда отчаялся увидеть его, к борту подвернул соседский катер, и по трапу медлительно, явно подражая командиру корабля, поднялся Самогорнов; стараясь казаться серьезным, спросил:

— Почему не вижу караула? Почему не играется «Захождение»?

Веригин снисходительно ждал, когда Самогорнов выговорится, но Самогорнову было нелегко остановить себя.

— Если думаешь, что я того, то это пустое. Вылакал, правда, с какой-то сверхштатной партнершей по танцам две — я говорю прописью — целых две бутылки лимонаду и заели все это эклером, — с горестным удивлением, словно недоумевая, что он мог так низко пасть, пробормотал Самогорнов. — За сим будь паинькой, стой вахту хорошенько, чтобы не унесло наш фрегат в лихую сторону, а я пойду и лягу бабаиньки.

— Голубчик, Самогорнов, — попросил Веригин. — Погоди бабаиньки. Мне надо справку от коменданта для квартирной хозяйки.

Самогорнов присвистнул:

— Все-таки подгребает?

— За ужином семафор передали.

— Что же ты наделал, окаянная твоя душа! Ведь мы пойдем аж под самый город Энск, если не дальше. Понимаешь ты, что это такое?

— Догадываюсь.

— Если бы догадывался, не сотворил бы эту вселенскую глупость. Ведь мы вернемся только дней через десять, если нас вообще там не оставят.

Веригин оторопел:

— А что же делать?

— Оставь мне записочку и поименуй там полностью свою Дульцинею. Словом, нарисуй имя, отчество, фамилию. Год рождения не обязательно. Я бы вообще женщинам в паспорте в этой графе делал прочерк. Вернется с берега Першин — что-нибудь придумаем, а в остальном — умываю руки.

— Погоди умывать-то, — взмолился Веригин, потому что за этим следовало попросить Самогорнова еще об одном одолжении. — Ты не мог бы заступить с восьми за меня на вахту? Старпом добро дал. Мне же, понимаешь, встречать надо. Вокзал, цветы, поцелуи, объятия и все такое прочее.

Самогорнов опять присвистнул:

— Вон вы какие: из молодых, да ранние. Ну да что теперь делать. Передай на вахту, пусть будят меня.

— Вот спасибо тебе!

— Долг, Веригин, платежом красен, а спасибом, Веригин, Андрей Степанович, сыт не будешь.

— Верой и правдой отслужу.

— Люблю я, братец, ласковых да покладистых. Ну, будь.

— Бывай.

Самогорнов спустился вниз, а Веригин остался достаивать свои последние минуты в тревожном и счастливом ожидании скорого утра, радуясь, что все у него пока хорошо образовалось, и даст бог, и дальше все образуется и будет хорошо.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Веригина разбудили к первому катеру. Он устроился на корме, невыспавшийся, нахохлившись, — задремал только под утро, все прикидывал, примерялся, как лучше встретить Варьку, и встретил уже в мыслях, и наговорился, а теперь больше не радовался, сидел словно бы угнетенный, и все его раздражало: и гарь из выхлопной трубы, которую ветер набрасывал на корму, и хрупкое стекло льда, трещавшее под штевнем катера так, будто пороли по шву старую одежду, и темное, в белой опушке небо, и случайный заблудившийся метеорит, бесшумно скользнувший по низкому куполу вечного свода. В довершение всего он вспомнил, что никому не сказал, чтобы Медовиков провел за него политзанятия, и на душе стало совсем скверно. Он уже начал подумывать махнуть на все рукой и обратным рейсом вернуться на крейсер, но это уже не лезло ни в какие ворота, и он, подняв у шинели воротник и спрятав в него уши, решил: будь что будет.

На его счастье, на пирсе поджидал катер с крейсера Медовиков, молодцеватый, туго затянутый, — плечи в сажень, талия в рюмочку, — в шинели дорогого, неинтендантского сукна, может быть, излишне молодцеватый, потому что это сильнее подчеркивало рябоватую неподвижность лица, но Веригину некогда было разбираться в этих тонкостях.

— Андрей Степаныч, ты? — удивился и обрадовался Медовиков.

— Ах, Медовиков, не спрашивай. У меня голова кругом идет. Я отпущен до двенадцати. Провернешь механизмы и,

будь добр, проведи политзанятие. Конспект найдешь у меня в столе. Словом, действуй по обстановке.

— Есть, действовать по обстановке. — Любил и умел Медовиков действовать по обстановке, билась в нем некая жилка, которая отличает истового службиста от простого смертного, многое постиг он и знал, когда можно перечить начальству, а когда нельзя — нишкни! — говоря иначе; без Медовикова и Веригин, пусть даже бы он и семи пядей во лбу, не весь еще Веригин. — Не беспокойся, Андрей Степаныч, все будет в лучшем виде.

— Я надеюсь на тебя. — И Веригин тем самым на какое-то время передал всю свою власть Медовикову, и Медовиков охотно принял ее, потому что потаенно считал, что не Веригину бы командовать башней, а ему, Медовикову. Впрочем, не было в этом ничего из ряда вон выходящего: давно уже замечено, что едва ли не каждому подчиненному кажется, что он значительнее своего начальника, вот только бы да если бы... Ах, уж эти «только бы» да «если бы»!.. — Так я надеюсь, — повторил Веригин, невольно подчеркнув, что хотя власть-то он и передал, да не совсем...

— Можете не сомневаться, — нехотя следом повторил и Медовиков, тоже вложив в свои слова иной смысл: дескать, чего уж там, не первый год замужем.

На катере посигналили, созывая своих, и через минуту он отвалил, взвыв мотором и опушив себя кипенно-белыми усами. И опять Веригину повезло: сразу за воротами, нахохлившись, дремал на козлах извозчик. Он тотчас заслышал шаги, встрепенулся и привычно разобрал вожжи.

— Милости прошу, товарищ лейтенант Андрей Степанович. Я правильно запомнил?

— Все правильно, дядя Петя. Сделай так, чтоб патрули не засекли. А то пешком не успеваю: жена приезжает.

— Жена — это дело суровое.

— И потом, голубчик, не проговорись.

— Наше дело таковское, — важно сказал дядя Петя, — молчать. Мы много чего видим, да мало говорим.

— Так смотри же...

Первым делом они завернули к Алевтине Павловне на улочку Трех Аистов, и Веригин в двух словах объяснил, что жена — вот так-то — прибывает ленинградским поездом, оттуда махнули на вокзал и поспели вовремя.

Дыша паром и гремя железом, паровоз подкатил к перрону разномастный состав — половина вагонов в нем была ленинградских, половина местного сообщения — и Веригин

увидал в тамбуре Варьку, немного смущенную и растерянную, и это смущение и растерянность неожиданно умилили Веригина, и он ошалело схватил Варьку на руки, закружился с нею на перроне.

— Пусти же, медведь, слышишь? — лукаво начала отбиваться Варька и, прильнув к нему, провела ладонью по заблестевшим глазам.

— В общем, это здорово, что ты приехала, — опустив наконец Варьку и целуя ее в глаза, в брови, говорил Веригин. Как там будет дальше, он не хотел думать, благо пока на самом деле все было здорово.

Варька приехала налегке — с одним чемоданчиком, — и это не обрадовало Веригина, а скорее огорчило, потому что, сказав Алевтине Павловне, что ждет жену, он сперва поразился той легкости, с какой решился на ложь, а потом свыкся с этой мыслью и даже в душе уже считал Варьку своей женой. Неважно, кто там что говорит, важно, кто во что верит, а Веригин уже верил, и надо бы было об этом теперь сказать Варьке, что-де так-то вот и так-то получилось и вроде бы уже неудобно идти на попятную, но он, почему-то оробев, не сказал этого ни на перроне, ни на площади, пока шли к пролетке, а при дяде Пете говорить об этом стало неудобно, да и Варька, завидев конную тягу, малость опешила и стала недоверчивой:

— Это что?

— Девятнадцатый век, Варя.

— О господи. И много его тут?

— Нам с тобой хватит.

Дядя Петя в разговор не вступал, сидел прямо, как дипломат, которому профессией полагается скрывать эмоции, и мягко, чтоб знали, с кем имеют дело, покатил, когда понял, что Веригин с Варькой устроились удобно.

Веригин ерзал на сиденье и все ждал подходящего момента, а Варька, поняв, что должно произойти что-то важное, забилась в уголок и без умолку рассказывала о питерских новостях, о какой-то Маше или Саше, которая, не прожив и неделю, ушла от мужа, и поминутно спрашивала, стараясь привлечь Веригина к активной беседе:

— Смешно?

Ничего смешного в этом Веригин не находил, но согласился как заведенный:

— Смешно.

Дядя Петя, судя по всему, был человек дотошный и тоже понял, что Веригину с Варькой необходимо побыть одним накоротке.

— Милостивые государи, — он придержал лошадь и обернулся с козел, — не будете ли любезны подождать, пока я на минуту отлучусь? — спросил он, и Веригин обрадовался, закивал: дескать, конечно же, о чем разговор, и, когда пролетка остановилась и дядя Петя соскользнул на тротуар, Веригин, делая вид, что ему все нипочем, бесшабашно, почти грубо, сказал:

— Слышь, Варь, это, конечно, глупо, но я назвал тебя нашей хозяйке женой. Понимаешь, это получилось само собой, да иначе она и комнату не сдала бы.

— Миленькое дело, — обиделась Варька и еще сильнее съежилась в своем углу. — Как же мне прикажешь теперь вести себя? Готовить тебе обеды, стелить постель?

— Так уж сразу и постель, — возразил Веригин, хотя постель — это было что-то неизведанное и заманчивое. — Как вела себя, так и будешь вести. Ты же не жена, — начал объяснять, — ты только вроде жены.

Получилось совсем неловко: не то он хотел сказать!

— Ах, «вроде»... А как же мы будем спать?

— При чем тут спать? — Веригин опешил и даже начал сердиться. — Ты у себя, то есть у Алевтины Павловны, а я, естественно, на корабле.

— Ах, вон оно что... Ты, стало быть, на корабле... — иронизировала Варька и, вдруг став колючей, глухо спросила: — Послушай, Веригин, а ты не подумал, что все это дурно пахнет?

Веригин опешил и начал оправдываться:

— Варь, я же хотел как лучше.

— Ах, ты хотел как лучше, но почему же прежде не поинтересовался, что я-то думаю на сей счет?

Вернулся дядя Петя, и они поехали на улочку Трех Аистов. «Вот влип так влип, — думал Веригин, чувствуя себя так, словно попал в трясину: вытащит одну ногу, тотчас вязнет другая. — Прав же был Самогорнов, так нет, не послушался, как же: муж да жена — одна сатана, а сатана-то не одна, а две, причем эта, вторая-то, в юбке».

— Ах, Веригин, Веригин, — примирясь с неизбежным, сказала Варька, — какой ты неловкий.

«Будешь с тобой ловким, — теперь уже по-настоящему озлился Веригин. — Я, что ли, все это придумал? У меня вон стрельбы на носу, боезапас сегодня принимать, а я как дурак на извозчике раскатываюсь». — Но промолчал.

— Смешной-то ты какой, Андрей, — винясь, ласково говорила Варька. — С тобой от скуки не умрешь.

«А каким же прикажете еще быть? — раздражаясь и

проклиная все на свете, думал Веригин. — Смешной, ну и ладно, а ты иди и поищи не смешных». И опять промолчал.

— Что же ты притих, муж?

От неожиданности Веригин выпрямился и, легонько подпрыгнув, задев фуражкой верх пролетки, ошалело посмотрел на Варьку.

— Да нет, я ничего. Я не притих. — Он на самом деле не знал, говорил ли он с Варькой или только думал, и, заметив в калитке Алевтину Павловну, заулыбался, поднял руку в приветствии: дескать, а вот и мы. — Варь, приехали. Вот так-то, женушка моя.

А сам между тем думал: «Черт те что получается».

Алевтина Павловна встретила по-родственному, накрыла в их комнате стол, уставив его большими, поменьше и совсем маленькими тарелочками; впрочем, хотя тарелок было и много, еды Алевтина Павловна, как сразу определил Веригин, поставила разве что для приличия: несколько ломтиков сыру, столько же буженинки, колбаски и хлеб-то нарезала не кусками, а дольками, толщиной в две спички.

«По-господски живет», — отрешенно подумал Веригин, тотчас же вспомнивший, что не завтракал, и под ложечкой у него неприятно засосало. Сидеть бы теперь ему не в этой уютной комнате с игрушечным столиком, а в кают-компании на своем лейтенантском краю, уминать бы вволю белый хлеб с маслом, запивая его дегтярно-черным сладким до приторности чаем.

Алевтина Павловна увела Варьку переодеться с дороги, они о чем-то шептались за дверью, посмеивались и, кажется, ладили, а Веригин, вытянув шею, неприкаянно переходил от стены к стене, удрученно любуясь гравюрами с видами на Адмиралтейство и свинцовую Неву, а сам тем временем, тревожась, размышлял, что часа через два он должен быть на пирсе, чтобы успеть вовремя на корабль, и удастся ли вечером съехать на берег — известно одному богу вкупе с товарищем старшим помощником капитаном второго ранга Пологовым.

Женщины вернулись в комнату, и тотчас все прошли к столу. Алевтина Павловна усадила Варьку на хозяйское место, и Веригин неожиданно почувствовал себя в этом чертовски милом уюте даже не гостем, а человеком, забежавшим по случаю на минуту. Алевтина Павловна, прощебетав, что у лейтенанта Андрея Степановича чрезвычайно милая — «такая, знаете ли, славненькая, такая славненькая» — жена,

пригубила чашку с чаем и тотчас упорхнула на рынок, и они остались наконец-то одни.

— Здравствуй, Варь, — сказал Веригин, целуя ее розовые ладошки. — Я рад, что ты здесь.

— Здравствуй, Андрюша. — Варька на глазах теплела.

— Но ответь мне: как ты решилась на это? Какой тебя ветер подхватил?

— Не знаю. Ничего я не знаю. Все это так странно. И ты, и я — все странно, — несколько раз повторила Варька, отнимая руки. — Я тебя как-то нехорошо во сне увидела, жалким ты каким-то пришел ко мне. Вот, собственно, и все. А потом телеграмма от тебя. Мать в слезы, отец говорит: поезжай.

Веригин невольно вспомнил вечеринку у дяди Пети, ту ленивую смиренницу, которая, словно напророча, посмеялась над ним: «Я думала, ты мужчина», зябко поежился: «Фу ты черт, а ведь и верно — жалкий» — и только тогда сказал в сторону:

— Хорошо, что ты приехала. Только скучно тебе тут будет.

Варька насторожилась:

— Почему?

Веригин помолчал.

— Не знаю. Сумею ли сегодня еще на часок вырваться, а завтра уже точно не вырвусь.

— Но почему?

— Потому, что в ночь уйдем в море.

— Куда? — чего-то не поняла Варька.

— Не все ли равно — куда. В море.

— Но как же так?

— Так уж, Варь. — Он хотел сказать: «милая моя женушка», но не сказал, язык не повернулся. — Такая уж у нас судьба...

— Что же мне-то, так все и бежать вслед за тобой?

— Не надо, Варь, бегать. Обживайся здесь, привыкай, потом чего-нибудь сообразим.

— Потом? А ты знаешь, что я взяла в институте отпуск всего на две недели? У меня этого «потом» может и не быть.

— Будет, Варь, все у нас будет: и простой отпуск, и очередной, и еще какой-нибудь.

— Ах, Андрей, Андрей, ты на самом деле непутевый.

— Сперва — неловкий, потом — смешной, теперь — непутевый. Интересно бы знать, каким я буду через минуту, через пять.

— Боже мой, разве это так важно? Главное, что ты есть, а какой ты — это второстепенное, хотя, может, тоже главное, но все-таки второстепенное.

Он засмеялся над ее лукавой наивностью или наивной лукавостью, что было одно и то же, поднялся, с шумом отодвинув стул, и, подхватив Варьку на руки, перенес ее на кушетку, стал на колени, зажмурился, на ощупь нашел ее губы. Она освободилась не сразу, тихо спросила, словно подтолкнув:

— Ну что же ты?

Веригин занервничал, не зная, что нужно делать. «А вдруг она обидится? — подумал он растерянно. — А вдруг я ее обижу?» И пока он думал, во дворе хлопнула калитка, послышались голоса — мужской и женский, — Варька быстро опустила ноги на пол, поправила прическу и пересела к столу, лениво и грустно улыбнулась, словно ушла в себя.

— Ах ты, муж ты, муж...

Веригин смущенно шагнул навстречу вошедшим Алевтине Павловне и Першину, засуетился, начал переставлять стулья.

—Некогда, некогда, э-э... Веригин, — нарочито грассируя, заговорил Першин и тотчас без всякого перехода обратился к Варьке: — Ну вот и вы. Ну, здравствуйте. Веригин прожужжал нам о вас все уши. Сочтем за честь, если пригласите нас, почтенных холостяков, на новоселье. — И опять без перехода Веригину: — А с тебя, э-э... Веригин, коньячишко. Еле уломал коменданта. Документ я уже вручил Алевтине Павловне. Так что считай себя законным совладельцем этой милой светелки, правда, только на срок, оговоренный джентльменским контрактом. Но это уже так, житейские мелочи, на которые не стоит обращать внимание. А теперь, если угодно, прошу в машину. К обеду велено быть на борту.

— Уже? — спросила Варька и, невольно подперев ладонью щеку, растерянно посмотрела в сторону Алевтины Павловны: верить мужчинам не хотелось. Алевтина Павловна молча склонила голову: «Что поделаешь, голубушка».

— Представьте себе — уже. — И Першин вышел.

Варька помогла Веригину одеться: застегнула пуговицы, поправила кашне, схватилась за лацканы, спрятав в них лицо.

— Вырывайся побыстрее. Я ведь не думала, что вас сразу погонят в море.

Когда машина ушла и Варька вернулась в комнату, Алевтина Павловна устало и просто, по-бабьи, посоветовала:

— Милая моя, привыкайте. Правда, я так и не успела привыкнуть: мой навсегда остался там... Теперь вот хожу на свидание, постою, послушаю прибой — и все.

— Он был моряком?

— И не только моряком, но еще и георгиевским кавалером. По нынешним понятиям — это почти Герой.

А Веригин сидел рядом с Першиным, в разговоры не вступал, переживая мучительный стыд перед Варькой, что получилось у него что-то не так, а как надо бы, он не знал.

— Одобряю твой выбор, э-э... Веригин. Весьма, — говорил между тем Першин, впрочем, больше по привычке, потому что был занят своими мыслями и думал о том, что лопухам вроде Веригина всегда везет, что хорошо бы отвертеться от похода, в котором ему и делать-то нечего, но больше думал о той блондиночке, которую высмотрел вчера на танцах и которую Самогорнов бессовестно увел в буфет из-под самого носа, — словом, думал он о вещах необременительных, но в высшей степени заманчивых. С тем оба и поднялись на борт, и каждый приступил к своим обязанностям.

Першин пошел доложиться адмиралу, а Веригин, наскоро пообедав, заступил на вахту, решив испросить у комдива «добро» и в адмиральский час сыграть для башни боевую тревогу. Дел было много, а времени оставалось всего ничего, и лишний час не помешал бы, но сразу же выяснилось, что всех строевых матросов старпом заберет на верхнюю палубу. Он был дальновиднее Веригина и еще вчера за обедом договорился с командиром корабля о палубных работах. Веригин послал рассыльного за Медовиковым, и, пока тот ходил в малую кают-компанию для мичманов и главных старшин, его самого потребовал к телефону Кожемякин и напустился:

— Ты что, голубь, сходишь на берег и не докладываешься?

— Видит бог, товарищ капитан-лейтенант, меня старпом отпустил.

— У тебя кто комдив: старпом или я?

Веригин промолчал: отвечать Кожемякину не имело смысла, только подлил бы масла в огонь.

— Ты что в молчанки играешь? Большой замполит сделал втык, что занятия проводил Медовиков, а не ты. Считай, что я тоже выражаю свое неудовольствие, и учти на будущее.

«Плакал бережок, — встревожился Веригин. — Что же теперь делать? Ведь у меня же Варька там. Варька!..»

— После обеда распорядитесь, чтоб никакого адмиральского часа. (Веригин просиял: комдив, голубчик, в гроб, в дышло, сам догадался, что у Веригина туго со временем.) Надо успеть поставить стволики. Часов в пятнадцать подойдет некалибровый боезапас. Немного, по два ящика на орудие, но все-таки — снаряды. Понимаю, что ты на вахте, но постарайся присмотреть сам. Сам, понимаешь?

— Так точно.

— Кстати, кто там к тебе приехал? Старпом говорит — невеста, Самогорнов — жена. Темнишь что-то, Андрей Степанович.

— Товарищ капитан-лейтенант, разрешите на этот вопрос ответить в следующий раз?

Кожемякин хмыкнул и повесил трубку. «Балбес я, балбес, — выругался Веригин, — сказал бы сразу, глядишь, на часок-другой и отпустил бы после вахты», — с досады махнул рукой и обернулся: перед ним стоял Медовиков.

— По вашему...

— Да ладно тебе. Поднимай команду и ставь стволики. В пятнадцать подойдет боезапас.

— Строевых матросов брать?

— Бери пока и строевых.

— Сегодня самим людей мало, а тут еще палубные работы придумали.

— Скажи об этом старпому. Может, он тебя послушается.

— Успеть бы наводчиков погонять.

— Ночью на походе погоняем.

— Разве что ночью. Будут еще приказания, Андрей Степанович?

— Да нет, чего там, иди. Ставь стволики.

Стволики — сорокапятимиллиметровые орудия, сорокапятки, — может быть, и представляли собой в полевых условиях грозное оружие, но применительно к крейсеру, с могучей дальнобойностью его главного калибра и колоссальной разрушительной силой, напоминали детские игрушки. Чтобы не швыряться попусту калибровыми снарядами и в то же время придать учениям условия, максимально приближенные к боевым, конструкторы и приспособили для учебных стрельб стволики, убрав станину, прицельные устройства и системы наведения, оставив только сам ствол с казенником и замком. Стволики эти крепились на башенные орудия и являли с ними как бы единое целое. Управление

стрельбой, наведение башни и орудий по горизонту и вертикали полностью соответствовали принципам калибровых стрельб — поправку на дальнобойность заранее вводили в автомат стрельбы, — заряжали же стволики снаружи, подвесив на лобовую броню возле каждого орудия специальную площадку — мостик. Безусловно, в стволиковых стрельбах было больше игры, чем настоящего дела, но такой игры, в которой оттачивалось мастерство комендоров-наводчиков, визирщиков, дальномерщиков, специалистов автомата стрельбы, но прежде всего артиллеристов, управляющих огнем. Впрочем, и от комендоров — замочных, командиров орудий, старшины огневой команды, — непосредственного расчета стволиков, в не меньшей мере зависел исход стрельбы, оценку которой посредники вели по школьной, пятибалльной, системе.

В конечном счете венцом всему должна была стать эта физически неосязаемая оценка, и Веригину казалось, что он готов разорваться на части: думал о Варьке, о том, что могло произойти в их отношениях в связи с ее приездом, и в то же время тревожился, как-то без него поставят стволики и хорошо ли их отцентруют, и снова думал о Варьке, и вместе с тем о предстоящем походе и о стрельбах, и черт знает о чем он только не думал в эти минуты, когда верхняя команда, нарушив священный адмиральский час, растревоженным муравейником копошилась на палубе: матросы что-то волокли, найтовили, подкрашивали, перекручивали, — словом, это была обычная работа обычного корабельного дня, если бы в воздухе не витали магические слова — поход и стрельбы.

Только Веригин, наэлектризованный до предела — дотронься, и полетят голубые искры, — внешне являл собой в этой веселой предпраздничной кутерьме спокойствие и невозмутимость. По существу, ему надо было бы сейчас быть на улочке Трех Аистов, а он стоял вахту, старательно отмечая в журнале все важные и не очень важные события — а кто знает, что важное и что не важное? — корабельной жизни: музыкальная команда сошла на берег, к левому порту пришвартовался водолей, в четырнадцать ноль-ноль начались палубные работы; давал команды по распорядку дня, словом, делал то, что должен делать вахтенный офицер на якорной стоянке. Ему бы сейчас вместе с командой ставить стволики, центровать их, чтобы — упаси боже! — при стрельбах не произошло чего-нибудь, а он тем временем ходил провожать адмирала на берег, за адмиралом — командира, занимался важными для вахтенного офицера и совер-

шенно необязательными, с точки зрения командира башни, делами.

И когда наконец и адмирал с командиром съехали на берег, и водолей начал перекачивать из своего чрева в цистерны крейсера питьевую и котловую воду, подошла баржа с продуктами и наверх было вызвано расходное подразделение, иначе говоря, когда были учтены десятки мелочей, из которых складывается рабочий быт корабля, Веригин урвал минуту и, оставив за себя вахтенного старшину, наказав, чтобы в случае нужды немедленно слал за ним рассыльного, скучающей походкой — вахтенному офицеру спешить некуда — отправился на полубак в расположение первой башни, якобы проверить посты, а сам тем временем зорко поглядывал на берег, откуда могло объявиться начальство.

На шкафуте Веригин постоял, протер окуляры бинокля и долго смотрел на причальную стенку, не подадут ли знак крючковые, что возвращается каперанг или адмирал, поискал улочку Трех Аистов, даже, кажется, разглядел дом Алевтины Павловны, мысленно подбодрил Варьку: держись, дескать, родненькая, мы еще повоюем, и только после этого поднялся на полубак, чтобы все видели — вахтенный офицер проверяет на палубе порядок.

Ясное дело, можно было бы попусту и не мельтешить перед башней, Медовикову ставить стволики не впервые, но однажды Веригин уже обжегся, понадеявшись на Медовикова. Прогулял в Питере, а Медовиков только в море схватился, что не проверили мамеринец. Дело, казалось бы, плевое, а вон все как обернулось...

Мостики для стрельб уже принайтовили, стволик на среднем орудии отцентровали и закрепили, матросы возились возле правого: снимали смазку с кронштейнов, готовили прокладки.

— Успеем до баржи с боезапасом? — озабоченно спросил он Медовикова.

— Должны успеть, Андрей Степаныч. Людей маловато, ну да успеем, — повторил Медовиков больше для себя, чем для Веригина.

— Да, слушай, комдив мне за политзанятие «неудовольствие выразил». Что там произошло?

Медовиков невинно посмотрел на Веригина, усмехнулся.

— А-а, пустое... Я среднее орудие (Веригин машинально уточнил для себя: «расчет среднего орудия») послал стволики разнайтовить, а тут большой замполит кубрики обходил. Ну и спросил, дескать, почему народу мало. Я ему отвечаю в том роде, что, дескать, в расходе. А он опять:

«Где Веригин?» Ну я ему, естественно: «Вахта и все такое прочее».

— Ох, Медовиков, Медовиков, подведешь ты меня...

Медовиков удивился, даже деланно обиделся:

— Это я-то? Да ни в жисть. Только он появился, я дневальному мигнул, тот наверх, шепнул, что следовало, старшине. Старшина, не будь лопух, всех в башню упрятал. У нас все шито-крыто.

Веригин покачал головой, и Медовиков не понял, одобрил он его действия или осудил, сказал, чтобы успокоить:

— Половину-то народу старпом забрал, а что б я с оставшимися успел? Да и тему эту мы уже проходили.

Веригин опять покрутил головой, так и не решив, выказать ли Медовикову свое неудовольствие или не выказывать, и промолчал. Он все-таки успел проверить и средний стволик и отцентровать правый, и, когда прибежал рассыльный сказать, что его зовет старпом, Веригин уже надел шинель и снова превратился в вахтенного офицера.

Пологов встретил его ворчливо, догадываясь, что Веригин ходил к башне:

— Поменьше гуляйте, побольше службой занимайтесь. Тут штабные циркачи то и дело на берег снуют, так что будьте с ними построже. — И спросил: — Семафора не было, что баржа с боезапасом отвалила?

— Никак нет.

— Глядите в оба. Чуть заметите, сразу играйте боевую тревогу для первого дивизиона.

Боезапас для стволиков — каких-нибудь шесть-семь ящиков на погреб, — с точки зрения артиллериста главного калибра, был плевый, но порядок есть порядок, и старпом скрепя сердце дал «добро» на боевую тревогу для первого дивизиона. Придется отпустить с палубных работ строевых матросов, а дел еще оставалось невпроворот, все шло както не так, как хотелось бы, и хорошо бы еще на сутки отложить выход, но командир уже согласовал приказ с адмиралом, адмирал — со штабом флота, маховики раскрутились, и легче было задержать солнце на горизонте, чем отложить выход крейсера в море. Старпом это понимал лучше, чем кто-либо другой, но хоть понимать-то и понимал и ничего переделать или изменить не мог, однако всякий раз сердился, что командир путал ему все карты, и так же, как Медовиков по отношению к Веригину, считал, что, будь он на месте командира, вел бы корабельное хозяйство куда как лучше. А то вот и это еще недоделано, и это не готово, и третье, и четвертое... Впрочем, для подсчета всех недоделок

у старпома не хватало на руках пальцев, но, вместо того чтобы возражать командиру, он налево и направо пушил подчиненных. Ничего не попишешь — такова служба...

— Впрочем, — передумал старпом, — прежде доложите мне, а потом уже будем играть тревогу. — Он рассудил правильно: тревогу можно играть, когда баржа только-только отвалит от пирса, а можно да и нужно — в этом старпом был уверен, — когда она подойдет к борту, и тогда для работ останутся в запасе полчаса. — Вы меня поняли, Веригин?

— Так точно, товарищ капитан второго ранга.

«Ни черта ты не понял, — лукаво подумал старпом, — ну и ладно. Понял или не понял — не в этом дело. Главное, что теперь эти полчаса у меня в кармане».

Семафор с поста СНИС пришел через четверть часа, а спустя еще минут двадцать пять старпом Пологов приказал поднять сигнал «Принимаю боезапас», и Веригин объявил первому дивизиону — по сути, самому себе — боевую тревогу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как бы там дело ни шло, но к ужину стволики во всех башнях были установлены и отцентрованы, боезапас в снарядные погреба принят, артиллерийский дозор усилен, — словом, корабль, не снимаясь с якоря, приобрел новое качество, и первый дивизион весь в целом и каждый в отдельности из его команды: Кожемякин, Веригин с Самогорновым, Медовиков, Остапенко — чувствовали себя именинниками, потому что с этого часа весь слаженный организм корабля, все его многочисленные боевые части, службы и команды подчинялись единому целому — предстоящим стрельбам.

Все это так, но есть одна удивительная тонкость в корабельной жизни, которая порой смещает понятия, накладывая их одно на другое: ради артиллеристов созданы корабли, но они же, повелители огня, боги войны, покрывшие неувядаемой славой бело-голубой флаг в Севастополе и Кронштадте, Полярном и Одессе, на всех видимых и невидимых морских дорогах, в мирные дни прибирают палубу, красят борта, швартуют к стенке корабль и грузят продукты на потребу всей команде.

Может быть, поэтому на отборочных комиссиях призывники охотно идут в электромеханическую школу, в школу

связи, даже в объединенную школу, в которой помимо сигнальщиков и рулевых готовят еще и коков и хлебопеков, и очень неохотно определяются в школу оружия. Машинист и на гражданке машинист, боцман пойдет работать такелажником, а комендор, отслужив установленный срок, оставляет свою специальность на корабле. Но, бог мой, стоит ли говорить об этом! Ради тех упоительных минут, которые испытывает комендор на стрельбах, когда он почувствует себя громовержцем, можно многим поступиться.

Веригин минутами уже забывал, что в старинном городе за дюнами, на странной улочке Трех Аистов, его ждет Варька. Забывал и Медовиков, которого тоже ждали, но, в отличие от Веригина, на берег он не рвался, годил, набивая себе цену, но годил зря, потому что хотя решающего слова там, в доме мастера-земляка, и не было сказано, но дело это было уже сговоренное, тем более что сестра мастера, Наталья, уже отправила матери письмо, в котором сообщала, что повстречала серьезного человека и, кажется, готова разделить с ним судьбу, а то, что у него лицо слегка побито оспой, так с этим мириться можно. Медовиков опять-таки ничего этого не знал и применял тактику выжидания. Он долго служил и знал, что эта тактика во всех сложных случаях самая правильная.

Может быть, обостреннее других ощущал приближение стрельб Остапенко, которому последнее время решительно не везло, а это свое невезение он хотел поправить стрельбами и ждал, даже надеялся отличиться и получить на погончик первую лычку старшего матроса, а от старшего матроса до старшины второй статьи рукой подать. Бывалые люди говаривали, что на войне за отличия присваивали даже офицерское звание, но то ж на войне, а теперь бы и старший матрос сгодился.

Самогорнов, командир второй башни, тоже вынашивал честолюбивые планы, потому что после стрельб ожидалась его аттестация на капитан-лейтенанта, и с присвоением этого звания он надеялся получить под свое начало дивизион на новом крейсере, который — он сам видел — уже заложили на стапеле. Кожемякину, принявшему дивизион в конце минувшей летней кампании, не терпелось посмотреть своих людей в деле, а командир боевой части Студеницын, составивший новые задачи стрельб, хотел проверить их и при надобности кое-что уточнить. Больше всего в артиллерии он ценил ее научную сторону и в скором времени предполагал перейти на преподавательскую работу в училище. Словом, при общей цели предстоящих учений каждый уча-

стник преследовал еще и свою, что ли, личную цель, но так как эти личные цели все же в конечном счете не расходились, а шли в едином направлении, то и люди дивизиона главного калибра не рассыпались на зерна, а словно бы единились в нечто целое, подобное, скажем, сжатому кулаку, которым впору дробить кирпичи.

Веригин верил в свою счастливую звезду и давно уже мысленно проследил все учения от начала до конца, от той, самой долгожданной минуты, когда ему в башню поступит команда «Открыть огонь» и он, собранный, немного взволнованный — немного, самую малость, — возьмет у дальномерщиков дистанцию, уточнит курсовые углы — свои и цели, — внесет поправки на скорость, качку, деривацию, температуру атмосферного воздуха и температуру порохового погреба — последнее не обязательно, стрельбы-то стволиковые — и:

— Товсь! Залп!

Всякий раз, когда он подходил к этому моменту, у него холодела спина и между лопаток пробегал озноб. В эти минуты он мнил себя великим артиллеристом и даже жалел — чего уж скрывать! — что Варьке никогда не суждено увидеть его в деле и, значит, никогда она не сможет по-настоящему оценить. Все-таки мир устроен неблагодарно: артистов любимые видят на сцене, певцов слушают, даже корабелам проще — спустил на воду коробку и ходи потом хвастай: это я построил, совсем как в «Лягушке-путешественнице»: «Это я придумала», а каково-то моряку, тем более артиллеристу, которому даже рассказывать не положено о том, что он делал в море. И все-таки любил свое дело Веригин и — что греха таить! — любил и себя в этом деле.

Командир боевой части Студеницын и комдив Кожемякин самолично проверяли постановку стволиков и не без умысла начали с первой башни, хотя головными в дивизионе считались вторая и третья; и когда все было проверено и опробовано, комдив Кожемякин отвел Веригина в сторону и, покрутив на его шинели пуговицу, сказал небрежно, будто бы к слову:

— Увольнение сегодня на берег нежелательно, но часа три у тебя в запасе есть, так что действуй по своему усмотрению.

Веригин рванулся на ют и попал к отходу рейсового катера. Пока они ныряли в волнах, добираясь до причальной стенки, корабль со своими сегодняшними и завтрашними заботами отошел в сторону, стушевался в синей вечерней полумгле, пометив себя якорными огнями, и на смену ему

из той же синевы выплыла Варька, смущенная, смеющаяся, радостная и в то же время какая-то испуганная, и Веригин глухо взмолился: «Ну, прости меня, Варька, я не знал, что все так получится и мне придется оставлять тебя все одну и одну».

Он метнулся в цветочный магазин и купил дюжину роз, хотя продавщица и говорила, что розы примяты и следовало бы подождать часок — с базы обещали привезти свежие. Веригин только улыбнулся и молча отсчитал деньги, оттуда бросился в кондитерскую — и все бегом, бегом, как-то несолидно для офицера, пусть даже младшего, — накупил ворох коробок и кульков и, обвешанный этими кульками и коробками, раскрасневшийся, почти взмыленный, ввалился в дом Алевтины Павловны теперь уже на правах хозяина, пусть временного, но — хозяина!

Варька обрадовалась, заметалась от стола к Веригину, сгребла с него все эти кульки и коробки, уткнула нос в розы, укололась, ойкнула и, неожиданно бросив их на стол, обхватила Веригина за шею.

— Какой же ты хороший, — говорила она. — Какой же ты противный!

Веригин как-то особенно близко ощутил литую Варькину грудь, плечи, тепло, исходящее от ее тела, нюхал ее волосы и шалел от радости и возбуждения.

Алевтина Павловна благоразумно не показывалась из своей комнаты, и Варька хозяйничала за столом. Она была в тесной шерстяной кофточке без рукавов, и Веригин, как там, в Питере, следил за ее полными ловкими руками с ямочками на локтях и оспинами возле плеча, бессознательно думал, что все получилось именно так, как он мечтал, и не удержался, начал целовать ее и в эту ямочку, и в оспинки, а она гладила его свободной рукой по голове и, смущенно улыбаясь, приговаривала:

— Ну погоди же, погоди... — И, как-то сразу осмелев и еще больше смущаясь своей смелости, покорно и тихо сказала: — Ночь-то, она длинная. — И Веригин понял, что Варька все уже продумала и решила и ему, следовательно, нечего уже ни решать, ни думать.

Он как-то сразу отрезвел от Варьки, сказал поникшим голосом:

— Варь, а ночи-то не будет. В ночь мы уйдем в море.

— О господи, — одним вздохом отозвалась Варька, и глаза ее засеребрились. — О господи, — повторила она. — А как же я? А как же ты? Как же мы-то с тобой?

Веригин начал быстро, почти захлебываясь, говорить,

что завтра, самое позднее послезавтра, учения кончатся, и тогда он отпросится на сутки — да не на сутки, на двое суток! — и они славно проведут время: куда-нибудь сходят, где-нибудь посидят, и Варька слушала, верила и не верила, но больше все-таки верила, потому что ей хотелось верить, но, когда он начал собираться, тревожно повела бровью, и лицо ее гневно побледнело:

— Зачем ты заманил меня в эту дыру?

Опешив, Веригин невольно отшатнулся. Бог мой, он никого не заманивал в эту дыру. И вообще никакая это не дыра, а прекрасный во всех отношениях город. Моряки считают его раем по сравнению с Кронштадтом, не говоря уже о Порккалла-Удде. Ничего этого Варьке он не сказал, только тихо, словно винясь, попросил:

— Варь, не надо. Слышишь, Варь.

Но Варька и сама уже поняла, что сердиться грешно, потому что Веригин на самом деле не волен себе, но и смирить сразу гнев не смогла, сказала с попреком:

— Я думала, ты здесь будешь другим. А ты и здесь такой же: все снаряды, заряды, все вахты, учения, мучения.

— Не все, Варь, ей-богу не все, — обрадовался Веригин, что Варька обмякла и, значит, в море можно уходить с легкой душой, хотя — к черту! — какая же она легкая, если с Варькой удалось только словом перемолвиться. — Ты не ходи провожать, — сказал он, заметив, что Варька тоже собирается. — Незнакомый город, темень, а тебе одной возвращаться.

— Ну и пусть незнакомый город, — заупрямилась Варька, — ну и пусть темень. Ну и пусть слякоть, а я все равно пойду.

Алевтина Павловна ждала их в прихожей и тоже собралась проводить Веригина, но Варька глазами попросила — разве не поймет женщина женщину с полунамека? — не делать этого и первой сбежала с крыльца, дождалась Веригина:

— Муж... — и, взяв под руку, крепко прижалась к нему.

«Объелся груш», — невесело досказал про себя Веригин.

Они шли тихими улочками, скупо освещенными желтыми вздрагивающими фонарями; было безлюдно, только изредка, погромыхивая и покачиваясь, катился трамвай, крохотный, открытый, похожий на дилижанс. Варька с удивлением провожала его взглядом, и ей все казалось, что она попала в какой-то иной мир. Небо низко нависло над горо-

дом, крапал ленивый дождь и плавил последний снег, серевший тощими, обглоданными сугробами, и эта ранняя весна в чужом городе тоже была из иного мира.

— У нас еще зима, — сказала Варька, — а тут уже дожди и снега почти нет.

— Тут и никогда-то не бывает настоящего снега.

И они снова замолчали, как будто все уже было говорено и переговорено, хотя по-настоящему они еще и не перемолвились, и тогда Веригин, словно опомнясь, между прочим, заметил:

— Там на подоконнике я оставил деньги.

— Спасибо, я видела. Только что мне с ними делать?

— Купи чего-нибудь себе.

— Но мне, кажется, ничего не надо, — прикинув, сказала Варька.

— Тогда купи что-нибудь по хозяйству.

— А будет оно у нас, хозяйство-то?

— Будет. Все у нас будет.

— Кончится отпуск, и никакого хозяйства у нас не будет, — грустно промолвила Варька. — И все мы с тобой только придумали, а ничего такого нет.

— Пройдет весна, и у тебя наступят каникулы. И ты снова приедешь ко мне, и будет у нас свое хозяйство.

— А у нас не будет весны-то, Андрюша, милый. Не будет весны-то. У всех будет, а у нас не будет.

— Все у нас будет, — бодрясь, сказал Веригин и как-то словно бы мельком подумал, что зима у них и в самом деле была, хорошая питерская зима с Новым годом под дремучей, еще петровских времен елью на Кировских островах, с финскими санями; тогда они впервые целовались открыто, не стесняясь прежде всего самих себя; и лето, наверное, будет, а вот весна — это уже точно — прошелестит мимо. — Не может того быть, чтобы не было, — с нажимом повторил он. — Ты возьмешь и не уедешь.

— Смешной ты, ведь у меня же последний курс. Ты хоть думаешь, когда говоришь?

— Не помню, — признался он. — Наверное, думаю, только медленно, как в немом кино. Сперва скажу, а потом титры появятся.

— Вот и я не знаю. И ничего-то мы с тобой не знаем.

Веригин хотел возразить в том роде, что все-таки что-то они знают, и неожиданно похолодел: ему показалось, что навстречу им шла та ленивая смиренница, имени которой он даже не помнил; невольно тушуясь, замедлил шаг, чтобы выгадать время, но, слава богу, это была не она, но все

равно ему стало не по себе: она, не она — гадай теперь, а если она, да если к тому же подойдет и скажет: «Здравствуйте-пожалуйста, мое вам с кисточкой». Ну мало ли что она еще может сказать...

«За каким чертом я пошел в ту дурацкую компашку? Ну что я там забыл? — стыдясь перед Варькой, но в то же время ничем и не обнаруживая своего стыда, подумал Веригин. — За каким чертом, спрашивается?»

— Это кто? — настороженно спросила Варька, почувствовав что-то неладное, хотя встречная женщина даже не взглянула в их сторону.

— Не знаю, — мужественно соврал Веригин, потому что, говоря правду, он все-таки был не прав, а будучи неправым, ему уже подсознательно хотелось казаться мужественным.

Дальше Варька шла уже молча, покорно держа его под руку, но Веригину все думалось, что она противится и не хочет идти. «Ну, Варька, — молча молил он. — Ну, не надо. Ну ничего же не было».

Улица уперлась в море, словно оборвалась, и внизу слева высветились огнями угольная и рыбная гавани, а справа, очертясь брекватором, возле которого, пенясь, кипел прибой, молчаливо и загадочно темнел рейд с редкими якорными огнями, зажженными на кораблях. Время до рейсового катера еще оставалось, и Веригин, придержав Варьку, начал грубо целовать ее в губы, в щеки, и она не противилась, но и не отвечала, покорно ждала, когда он нацелуется. Только потом отстранилась, тихо, почти бесстрастно спросила:

— По привычке или впрок?

Веригин даже зубами скрипнул.

— Я люблю тебя, — он хотел прибавить: «дура», но, помолчав и переждав обиду, сказал: — Разве ты не видишь этого?

— Не видела бы, не приехала, но я хочу видеть это не урывками, а постоянно.

— Дальше не ходи. Пропуска и все такое прочее. — Веригин помолчал, кивнул на рейд. — Видишь, самый высокий огонь на мачте? Это зажег мой крейсерюга. Утром его уже не будет. И меня не будет. Будешь только ты.

— Я дождусь тебя, — негромко, с вызовом, как будто наперекор судьбе, сказала Варька, потому что на какое-то мгновение ей показалось, что Веригин уходит надолго — не на войну, конечно, но надолго! — и даже поверила в это.

— Завтра вечером, самое крайнее — послезавтра он опять загорится на этом же месте. — Веригин усмехнулся в темноту, поняв, что Варька что-то вообразила и даже нарисовала какую-то романтическую картинку.

«Ох, уж эти милые, восторженные души, им просто так ничего не надо, а вот чтобы побольше розового туману да голубого флеру, а море — оно ведь служба, с туманами или без туманов, с флерами или без флеров. И хочешь — идешь, и не хочешь — тоже идешь. Как это в песне:

Нынче в море качка высока.
Не жалей, морячка, моряка.

А пожалеть иногда надо бы. Ох как надо иногда пожалеть».

— Ты что-то сказал? — спросила Варька, зябко пряча ладони в рукава, хотя вечер пусть и дождливый, но был теплый и ветер с моря дул легко и не раздражал.

— Да нет, я только сказал то, что сказал. Тебе, видимо, послышалось, — пробормотал Веригин, крепко ругнув себя за дурную — теперь уже стало ясно, что за дурную, — привычку мысленно, даже в присутствии Варьки, вести с нею долгие разговоры. — Ты тут не скучай, слышишь?

— Буду скучать, — сердито, но и не совсем сердито, а словно бы капризно-сердито отозвалась Варька. — И что б ты ни говорил, все равно буду скучать. Это мое право.

— Да бог с тобой, Варь. Я ведь и сам буду скучать.

— Когда тебе скучать... Тебе скучать некогда.

— Некогда, а все равно время для этого найдется. — Веригин мельком, чтобы не обидеть Варьку, глянул на часы: — Варь...

— Я знаю... Иди.

Она выпростала ладонь из рукава, погладила его по щеке, повернулась и быстро, почти бегом, пошла прочь.

— Варь, слышишь?

Она обернулась, махнула рукой:

— Слышу.

На катере уже ждали Веригина, тотчас завели мотор, и берег с пирсами и причальными стенками, вместе с древним городом покачнулся и, покачиваясь из стороны в сторону, торопливо и грустно побрел в ночь. «А была ли Варька-то? — подумал Веригин. — Была. И нет. И есть. Вот и руки пахнут ее духами». И все-таки Варьки опять не было и самого его уже не было, осталась только ночь с огнями по всей излучине горизонта, и эти огни жили своей жизнью,

кучно сплетались, потом снова разбегались в разные стороны.

В каюте он быстро переоделся в рабочие брюки и китель и прилег вздремнуть часок. Длинный выдался день и суматошный, и ему сквозь дремоту показалось, что за эти часы он проделал огромный путь. Странно все это получилось: никуда он не уезжал и никуда не приехал, но что-то изменилось, как в дальней дороге, одно угасло, а другое пришло на смену, и теперь прежним ему, Веригину, не быть, хотя все окружающее — прежнее, и сам он — прежний, но поди разберись, где это прежнее, а где не прежнее.

С вахты пришел Самогорнов, бесцеремонно растолкал Веригина, сел у него в ногах.

— Удивляюсь, братец, — деланно-будничным тоном начал он. — На берегу — Дульцинея, завтра — стрельбы, а он спит себе и в ус не дует.

— А? Что? — не понял Веригин, растирая веки, под которые, казалось, насыпали песку.

— Да нет, братец, я-то ничего. Завидки только берут: с такими, братец, нервишками далече пойдешь.

— Какие к черту нервишки — сутки почти не спал.

— Укатали Сивку крутые горки?

— Не было горок-то, Самогорнов. Могли бы быть, а не было.

— Раз могли, то и будут. Завидую я тебе, братец. Человек-то я, в общем, не завистливый, а тебе завидую.

— Нашел чему завидовать, — пробурчал Веригин, вспомнив, как еще днем разрывался на части, пытался что-то делать и, казалось, даже делал, а на поверку, если повнимательней разобраться, то все это одна видимость, дымовая завеса, за которую сам же и хотел спрятаться. — Нашел чему завидовать, — в другой раз сказал Веригин и только теперь неожиданно открыл для себя, что завидовать ему можно: на берегу у него Варька, а завтра стрельбы, и он непременно хорошо отстреляется, жизнь, словом, складывается так, что человеку в его-то лейтенантском звании и желать лучшего грешно, и он, довольный, заулыбался, постарался скрыть свои чувства, но вместо этого улыбка получилась еще шире.

«Как у глупого поросенка, — подумал Самогорнов и поправился для вящей убедительности: — У розового, умытого, счастливого, восторженного и глупого поросенка».

— Ты чему усмехаешься? — насторожился Веригин, догадываясь, что выглядел со своей радостью в эти минуты не слишком умным.

— Нет, братец, я не усмехаюсь, это ты розовые пузыри пускаешь, а я завидую.

— Нашел чему завидовать, — суеверно, в третий раз, повторил Веригин.

В каюту без стука ввалился Першин, сияющий и, как всегда, лощеный, и принес жданную — он уже знал — для Самогорнова и огорчительную для Веригина весть:

— Мореходы, шлепаемся в Энск. Стреляем там.

— Не может этого быть, — не поверил Веригин. — Это же черт знает что такое.

— Не только не может, э-э... Веригин, но именно так и будет. Соболезную тебе и все такое прочее. Супруга у тебя очаровательная. Несколько полновата, но это на вкус. В Герценовском отхватил? — полюбопытствовал Першин тоном человека, знающего не только что́ покупать, но и где это можно сделать хорошо.

Дело в том, что институт имени Герцена в Питере издавна славился своими невестами и многие из них выходили замуж за выпускников военно-морских училищ. Это была своего рода традиция, и Веригин не нарушил ее.

— Вы догадливы, но, к сожалению, пока что невеста.

— И не жалейте, э-э... Веригин. Жена ли, невеста ли — не в этом суть. Важно другое: любит или не любит, а она вас, Веригин, любит. Я это установил по глазам. Вообще-то у женщин глаза лживые, но у любящих — нет. У любящих, Веригин, они стыдливые.

— Лопушок, откуда ты это все знаешь? — спросил Самогорнов. — Скажи, в каких романах вычитал, и тогда я решу: верить тебе или погодить.

— Практика, дорогой мой, — возразил Першин. — Практика, Самогорнов, и ты, товарищ Веригин. Она посильнее всех романов будет. Впрочем, на сей счет есть прелестное свидетельство классика: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». И далее по тексту.

«Пошляк, — раздражаясь, подумал Веригин, забыв, что этот пошляк не далее чем сегодня утром оказал ему бесценную услугу. — Ну что он все мелет!»

— Не поднимайте э-э... Веригин, раньше времени пары, — меж тем небрежно сказал Першин.

— Послушайте...

— И рад бы, да некогда. Адью, мореходы. — Першин нахлобучил мичманку под Ванюшку-дурачка. — До встречи на штормовых широтах Балтики, — и, посмеиваясь, вышел.

— Пошляк, — все же сказал Веригин.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сразу после полуночи пробили колокола громкого боя, этакие многократно усиленные домашние звонки, установленные в кубриках, коридорах, на переходах, на всех боевых постах и командных пунктах, и, где бы ни находился матрос, старшина или офицер, колокола обрушивали на них свою металлическую дробь и только что не в буквальном смысле поднимали всех живых и мертвых. И не успели смолкнуть колокола, как загремели палубы и трапы, послышались голоса:

— Шевелись!

— Братва, быстрее!..

Бесстрастный голос вахтенного офицера оповестил, говоря языком устава, «отрепетовал команду», чтобы ни у кого не оставалось сомнения:

— Боевая тревога! Корабль к бою и походу изготовить!

Когда Веригин рывком поднялся в башню и матрос задраил за ним броневую, пудов в шесть, дверь, орудия уже стояли на углу заряжания, замочные открыли зевы казенников, по лоткам с нарастающим рыком заскользили цепи Галля, имитируя досылку снарядов, и Медовиков принимал доклады командиров орудий.

— Правое орудие к бою готово.

— Среднее орудие к бою...

— Левое...

Не дослушав командира левого орудия, Медовиков доложил сам:

— Огневая команда...

Свистнуло в переговорной трубе из подбашенного отделения, и послышался голос, искаженный медью:

— Команда подачи к бою...

Веригин кашлянул в кулак, прочистив горло и волнуясь, — он все еще волновался, когда подавал команду или докладывал, — крикнул в трубку прямой связи:

— Первая башня к бою готова!..

Эти доклады с постов, определенных каждому матросу и старшине боевым расписанием, собирались на командных пунктах башен, групп, дивизионов, боевых частей, оттуда незримыми нитями протягивались на главный командный пункт — в боевую рубку корабля, к старпому Пологову, и, когда Пологов понял, что все нити завязались в узелок и этот узелок оказался в его руках, он взял под козырек и, сделав бесстрастно-холодное лицо, доложил:

— Товарищ командир, корабль к бою готов!

Командир посмотрел на секундомер и, довольный, крякнул: на этот раз корабль был изготовлен на двенадцать секунд раньше отпущенных на эти цели нормативом, и, пусть в погребах не было калибрового боезапаса, а в торпедных аппаратах прикорнули сигары без боеголовок, он все равно знал, что корабль к бою готов.

— Добро, — сказал он будничным тоном, но с тем оттенком в голосе, который говорил, что он все понял и берет власть в свои руки, а вместе с нею и всю полноту ответственности. — Справьтесь в боевой части пять, в каком состоянии находятся главные механизмы.

Вперед выступил командир электромеханической боевой части, стармех:

— Все котлы станут под давление через два часа.

— Так, так, так, — сказал командир, сделав вид, что не догадывается о маленькой хитрости стармеха, которая заключалась в том, что тот распорядился поднимать пары несколько раньше, чем была объявлена боевая готовность. Командир мог бы выразить стармеху свое неудовольствие, но тогда бы корабль вышел в море часа на два позже, а это его никак не устраивало, и он сделал вид, что ничего не заметил. — Так, так, — прибавил он машинально и перешел в штурманскую рубку, за ним последовали старпом и командиры боевых частей, командные пункты которых находились в боевой рубке. — Та-ак, — снова промолвил командир, мельком взглянув на карту, и обратился к стармеху: — Рандеву назначено на семь ноль-ноль. Мне бы хотелось сняться с якоря часов около двух.

— Постараемся. С вашего позволения, спущусь в машину.

— Сделайте одолжение.

И если духи — котельные, турбинные, трюмные и прочие машинисты — трудились в поте лица, превращая бункер и воду в огонь и пар, чтобы тот, в свою очередь, ударил по лопаткам турбин и привел во вращение гребной вал, этот всесильный движитель корабля, то в первой башне, как в общем-то и во всем первом дивизионе, и во втором, и в третьем, уже начали изнывать от скуки. Работали в основном наводчики, гоняя башню по горизонту и орудия по вертикали, но и тем скоро поступила команда:

— Дробь. Белое поле. Башню и орудия на ноль.

Веригин еще с минуту посидел за визиром, поглазел на старый город, рассыпавшийся по берегу бусинками огней, и, пожелав Варьке спокойной ночи, томясь, потянулся. Эта ночь могла стать их первой ночью, и Варька, видимо, ре-

шилась на это, и как бы все это было мило, хорошо и трепетно, он уже много раз представлял себе, как это произойдет, но первая их ночь не стала ни первой, ни второй, и ночи-то, если рассудить по существу, не получилось, а вместо нее сыграли боевую тревогу, и сиди теперь в броневом мешке, словом, «кукуй, кукушечка, кукуй...».

— А что, товарищ лейтенант, — на людях Медовиков величал Веригина только по званию. — Похоже, что стрелять-то будем в Энске?

«В районе Энска», — мысленно уточнил Веригин, удивясь, что в кубриках и каютах уже знали примерно, куда командир поведет крейсер и где они будут стрелять, хотя об этом еще не оповещалось, и он сам-то случайно узнал об Энске, так сказать, с самых верхов, от Першина, который в свою очередь явно был информирован адмиралом.

— С чего ты взял? По крайней мере, мне ничего не известно, — слукавил он.

— Тут и брать не с чего. У меня земляк работает на судоверфи, так они сейчас щиты ремонтируют, один и другой, а «цель» для стволиковых стрельб нам не дадут. Слишком большая роскошь. Значит, щит пришлют из Энска, и не он к нам — этакую даль тащиться на буксире! — а мы к нему пойдем на рандеву. Опять же штурмана должны обживать театр. Так? — спросил Медовиков.

— Так, — согласился Веригин.

— А с какой стати духам велели поднимать пары после вечернего чая? Значит, дело-то спешное. Так или не так?

— Дошлый ты мужик, Медовиков, — посмеялся Веригин и как-то по-новому посмотрел на своего старшину огневой команды, подумав, что послал его в башню не иначе как сам господь бог вместе с товарищем комдивом, чтобы было Веригину на первых порах на кого опереться, и, видимо, не зря Самогорнов положил на него глаз, давно разглядел, что Медовиков — мужик тертый и перетертый. За таким, как за каменной стеной, — не пропадешь.

Медовиков тоже посмеялся — а лейтенантик-то не промах, начинает кое-что соображать — и попросил:

— Песню бы, товарищ лейтенант, а то куксятся матросики. Спать хочется матросикам. К ним, матросикам-то, девушки должны прийти во сне на свидание. А спать не велят. Скоро с якорей сниматься. Так хоть бы уж песню... А?

— Только не слишком громко. И возле дверей поставь кого-нибудь.

— Это мы могем. Ну-ка ты, Остапенко, ты помоложе, покарауль, а мы споем.

Остапенко тоже хотелось петь, скажем: «...и может быть, поющему в награду «Люблю тебя» сквозь сон произнесешь» или: «Распрягайте, хлопцы, коней, да лягайте спочивать...» Он просительно поглядел на Веригина, дескать, что вам стоит, товарищ лейтенант, посадить к двери кого-нибудь другого, но Веригин уже мало-помалу терял интерес к Остапенко, да и Медовикову не хотелось перечить, и он отвернулся, всем видом давая понять, что хоть он и лейтенант, и командир башни, но мичман Медовиков тоже тут лицо не стороннее и слушаться его надо безусловно.

— Ну и добре, — сказал Медовиков, заменив «добро» на «добре», как бы говоря тем самым, что перед песней все равны. — Братва, а что будем петь? — Он не спрашивал, будет ли братва петь, он спросил, что́ будет петь братва, и сам же повел песню:

Плещут холодные волны,
Бьются о берег крутой.
Мечутся чайки над морем,
Крики их полны тоской.

Матросы один по одному ладно вступили в песню, ей сразу тесно стало в башне, и Медовиков понял это и опустил голос. Лицо его в неярком свете стало торжественным, и Веригин невольно залюбовался им.

Мы ни пред кем не спустили
Славный андреевский флаг.
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг».

«Ах ты, боже мой, хорошо-то как», — подумал Веригин, а Медовиков тем временем уже заводил «Варяга», но не так, как в строю, когда шаг печатает слово или, вернее, слово печатает шаг, а грустно и широко, скорбя по павшим и зовя живых к самоотречению.

Не скажут ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.
Лишь волны морские расскажут одни
Геройскую гибель «Варяга».

У Веригина по спине побежали мурашки и предательски защипало в уголках глаз, ему даже показалось, что эта песня о нем, геройском и безвестном моряке, над могилой которого нет ни камня, ни креста, и, чтобы не выдать себя и не обнаружить перед матросами свою слабость, свою боль, свою мечту, он начал опять настраивать визир.

По прямой связи — э, черт, забыли выключить! — спросил комдив Кожемякин:

— Это у тебя, что ли, поют?

Голос Веригину показался сердитым, и он повинился:

— Так точно, у меня.

— Хорошо поют, — сказал комдив Кожемякин. — Распорядись, чтобы погромче пели. Я тоже послушаю.

Но слушать не пришлось, снова прозвенели колокола громкого боя, и голос старпома, помноженный сотнями динамиков, потребовал:

— Баковые — на бак! Ютовые — на ют! С якоря и швартовов сниматься!

Снимались в кромешной мгле. Ворчал главный боцман, что-де можно было бы и посветить, все равно утром в городе узнают, что крейсер ушел в море; ворчали Самогорнов с Веригиным — их башни входили в баковую команду, — что все сидят в тепле, а им приходится уродоваться с ледяными концами; ворчал капитан рейдового буксира, которому надлежало вывести крейсер на внешний рейд, а навигационная обстановка в ночь стала плохой, — словом, все понемногу ворчали, но не жаловались — жаловаться было некому, — а между тем работа на полубаке спорилась, швартовы наматывались на вьюшки словно бы сами собой, пошел шпиль, и скоро тот же главный боцман, ворчливый и дотошный, как старый свекор, докладывал на ходовой мостик:

— Якорь чист. (Это значило, что он уже не держал корабль на привязи.) Якорь стал. (Какое к дьяволу чист, если на нем было пудов восемь грунта! Но он не задел кабелей, не потревожил со дна никакую железяку, забытую минувшей войной, а это-то и считалось чистотой по всем морским понятиям. Грязь не сало, помыл — и отстала.)

Крейсер вздрогнул, стальные концы, заведенные на буксир, натянулись, зазвенели, роняя в темную воду жемчужины капель, пронизываемые гакобортным огнем с буксира. Они вспыхивали, как искры от костра, и тотчас гасли.

Полчаса назад Веригин еще тешил себя призрачной надеждой, что выход почему-либо могут перенести, он даже вынашивал ее и берег в тайне и тогда, когда Першин сообщил, что стрельбы назначены в районе Энска, и тогда, когда сыграли боевую тревогу, и даже слушая матросское пение и рисуя себя в том великом, трагическом бою — ну, не Рудневым, разумеется, но тоже заметным командиром,— все еще надеялся на чудо, но чуда не случилось. Медленно пройдя сквозь ворота и миновав фарватер, крейсер коротким гудком поблагодарил буксир и отпустил его восвояси досматривать прерванные сны.

— Подвахтенные вниз, — приказали с ходового мостика.

Веригин с Самогорновым, отпустив матросов, пристроились в затишке покурить — еще не начало, — помолчали, провожая глазами берег. Города ночью спят, но если смотреть на них с моря, то они и ночью бодрствуют. Огни сперва, выйдя к самой полосе прибоя, выстроились в неровную цепочку, начали блекнуть, рассыпаться на звенья; вскоре потухли и звенья, и там, где еще недавно стоял город, туманясь, светилась теперь белесая полоска, да сбоку от нее вздрагивал и подмигивал в темноту маячный огонь.

— Вот так-то, братец Веригин, была база, и нет базы. Да ты не хандри. Будем мы, будет и база.

— Творится со мной что-то этакое, — пожаловался Веригин. — Будто что-то потерял или кого-то близкого похоронил.

— С таким настроением и на берегу делать нечего, а в море и подавно. Говорил тебе — повремени.

— Так ведь... — начал было Веригин и осекся: «Это же здорово, что Варька приехала! — захотелось крикнуть ему. — Самогорнов, миленький, как же ты этого не поймешь». — Так ведь я к тому, что теперь этот город для меня самый родной.

— Так-то лучше, а то: «потерял, похоронил». — И Самогорнов, затушив папиросу, полез на надстройку — вторая башня была выше первой. Веригин еще постоял, пытаясь припомнить что-нибудь хорошее о Варьке и продлить себе наслаждение, но на память не шло ни хорошее, ни плохое, и он тоже отправился в башню. Матросы уже не пели, лениво переговаривались — сон властно давал о себе знать, и вскоре все примолкли, кое-кто уже задремал вполглаза, только в подбашенном отделении тосковал одинокий голос:

Неужели снег не стает,
С гор не скатится вода...

Слова дальше в частушке шли слишком уж выразительные, и Веригин возмутился:

— Эй, в подбашенном, а ну прекратите!

— Скушно, товарищ лейтенант.

— Потерпи до утра, а то поднимайся в огневое отделение, я тебя быстро развеселю. Будешь всю ночь болванки в погребе перебирать.

Угроза подействовала, и голос перестал тосковать.

Веригин тоже начал устраиваться поудобнее, чтобы вздремнуть, огляделся для солидности и увидел, что Медовиков успел раньше его прикорнуть возле левого толкача, нахлобучив на глаза мичманку и привалясь спиной к сту-

деной башенной броне. Спал он простецки, даже всхрапывал и поминутно облизывал губы, и Веригин не стал будить его, поискал глазами, чем бы заняться — таблицы стрельб лежали рядом, но они уже осточертели, — и прильнул к окулярам визира.

Темно было в море и неуютно. Веригин долго не мог понять, где собственно море, а где небо. Корабль переваливался с борта на борт, и все качалось, казалось вязким и зыбким, и они с трудом продирались через эту зыбкую вязкость, а может быть, и не продирались, давно смирясь со своей участью. Но, присмотревшись, Веригин различил сперва волны с острыми опадающими гребнями, полудужьем набегавшие на борт, а за ними и бледный, едва означенный, край небес, и сразу как-то все стало на свои места: и море, и небо, и крейсер среди этих двух безбрежных унылых стихий, и сам Веригин. В эти минуты он казался себе началом и концом всего мироздания, все исходило из него, и все в нем сходилось, и он одновременно был и вольным пленником, и невольным повелителем, как Саваоф из Ветхого завета. «...Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, — сказал тот самый бог Саваоф. — И стало так».

На небе засветилась голубовато-колючая звезда, за ней открылась вторая и третья, потом звезды зароились гуще, и облака стали рваться на клочья, словно дым на ветру, и Веригин повеселел, замурлыкал себе под нос:

Там за волнами,
Бурей полными,
Моряка родимый дом.

Его легонько тронули за плечо и несмело позвали:

— Товарищ лейтенант...

Веригин смутился и, чтобы побороть свое смущение, дескать, человек делом занят, уже громче допел до конца:

Над крылечками
Дым колечками,
И черемуха под окном.

И только после этого обернулся, сделав вид, что оторвался от важного занятия, и, увидев позади себя Остапенко, стал еще более серьезным, даже сердитым:

— Ну так что?

— Да это самое, прочел я про вашего Маринеско. Все хотел с вами поговорить, да вы все шибко занятой.

— Ну так что Маринеско?

— Геройский человек, — подумав, сказал Остапенко.— Как он их шандарахнул!

— Не те слова, Остапенко, — поправил его Веригин.— Операция Маринеско в Данцигской бухте войдет во все военные хрестоматии. Ее станут изучать, как, скажем, древнюю битву при Каннах, потому что... — Свободной темой на экзаменах в училище Веригин избрал именно эту операцию, хотя Маринеско был подводником, а Веригин готовился к надводной службе, и говорил теперь не для одного Остапенко. — Потому что удар Маринеско имел стратегические последствия.

— А что же Маринеско? — спросил Остапенко.

Веригин потускнел, не желая развивать перед Остапенко свое понимание судьбы Маринеско — надо ли? — и он сказал:

— Остапенко, оставьте высокие материи для высоких чинов. А наше с вами дело завтра, вернее, уже сегодня — стрелять. Стрелять, слышите? Стрелять.

— Так точно, слышу: стрелять.

Проснулся Медовиков, бесцеремонно потеснил Остапенко плечом.

— Поспали бы вы, товарищ лейтенант, — посоветовал, словно приказал, Медовиков. — А то под утро как пить дать сыграют тревогу. А каково стрелять-то несвежему?

— И то, — согласился Веригин. — А ведь и верно, — повторил он и обратился к Остапенко: — Иди и ты вздремни. Нынче от вашего брата-наводчика многое зависит.

Когда Остапенко ушел, Веригин сказал, казалось бы, без видимой связи:

— Чудесную я сегодня картину видел, Медовиков: мрак, хаос, и в этом хаосе рождались море, и небо, и звезды, и я словно бы заново родился. А ты говоришь — спать.

— Во сне тоже можно кое-чего увидеть. Кого что интересует. Вас, к примеру, мрак с хаосом, а я человек земной, мне и во сне бабу подавай.

— Подают?

— В том-то и дело, что не подают. Да ведь я не нищий. Мне подаяний на нюх не надо. Я свое сам возьму.

— Так возьмешь или со свадьбой?

— Чужое — за так, а свое — со свадьбой. Я человек старинных правил. У меня чтоб все по закону.

— На свадьбу-то позовешь?

— Красное место твое, Андрей Степаныч.

«Странно как-то все получается, — наконец и о себе подумал Веригин. — Поговоришь с Остапенко — есть какой-то стерженек в человеке. Поговоришь с Медовиковым — обстоятельность появляется. Но ведь Остапенко и Медовиков — это нечто обособленное одно от другого. Это что-то разное. У кого это: «Чтобы выделить главное, нужен характер»? Блюди себя, Веригин, иначе свихнешься».

— Ты что-то сказал, Андрей Степаныч?

— Хотел сказать, что на свадьбе буду непременно.

Медовиков улыбнулся одними глазами:

— Отстреляемся, Андрей Степаныч, тогда и кутнем. Эх, и кутнем же мы, Андрей Степаныч!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К утру совсем разведрило, ветер размел облака, и они свалялись, как старая немытая шерсть, грязнея, нависли над седой россыпью волн. Желтая заря прорезалась легко, словно ее широко и размашисто вывели кистью; выкатилось припухшее солнце, бросив на воду золотые нити, и сразу ободняло.

Ветер был свежий, волна поднялась устойчивая, и крейсер, подставив правую скулу набегавшим гребням, словно приминал их, пропуская под киль. При каждом ударе корпус его легонько вздрагивал, кренился, и на палубу с грохотом обрушивалась зеленовато-стеклянная вода и, омыв надстройки и башни, скатывалась к фальшборту и выплескивалась в море. Казалось, крейсер, забавляясь, черпал пригоршнями эту бесконечную зыбкую воду, которой не было ни конца ни края.

Штурманы вывели корабль на рандеву точно: около семи, сразу после раннего завтрака, на горизонте объявился буксировщик со щитом, и командир распорядился играть тревогу.

Колокола громкого боя застали Веригина в башне. Он ждал эту тревожную дробь давно, быть может, с той самой минуты, когда училищный баталер выдал ему первую, сурового полотна, робу, а дождавшись, как будто чего-то испугался, с минуту сидел в оцепенении, собираясь с мыслями, но мысли ушли, словно вода в песок, и Веригин ощутил какую-то странную тяжелую пустоту. Нехорошее что-то стало за спиной, он даже украдкой оглянулся и беззвучно выругался: «Дьявольщина!» Почти пять лет со дня присяги, по сути дела, были прожиты ради этого мгновения,

и оно наступило вместе с будничным голосом комдива Кожемякина:

— Первая башня, ложимся на боевой курс.

— Есть! — тихо, едва справляясь с мерзким ознобом, ответил Веригин и уже окрепшим голосом подал команду: — Медовиков, с расчетами стволиков — на башню!

Жужжа шестеренками, отъехала в сторону броневая дверь — броняшка, — пропустив на палубу старшин и матросов. В открытом проеме показался треугольник неба с оранжевым пером посредине, послышался грохот волн и запах свежего рассола, броняшка с тем же жужжанием села на место, и не стало ни неба с оранжевым пером, ни волн с рассолом, даже как будто потемнело в башне, и опять Веригин почувствовал, как кто-то пристроился за его спиной. Он прильнул к окулярам визира, поймал в перекрестие щит. «Ладно, — обозлясь на того, невидимого и неосязаемого, притаившегося за его спиной, подумал Веригин. — Сейчас так шандарахну, только щепки полетят. Так шандарахну. Так шандар...»

На полуслове его прервал Кожемякин:

— Первая башня, открыть огонь!

И сразу стало хорошо и покойно, только это треклятое «так шандарахну» все выскакивало и выскакивало, как железный чертик из адской машины.

— Башня... Заряд... Снаряд бронебойный. — Веригин мог бы назвать и фугасный, и ныряющий, все равно это было бы правдой и неправдой — стволики-то, он знал, давно уже заряжены, но без этой команды: «Заряд... Снаряд...» — чего-то уже недоставало бы. — Начать подачу. — И, как назло, выскочил чертик: «как шандарахну». — Дальномерщик, дистанцию... Больше пять... Больше полтора... Лево три... — А чертик все маячил и маячил в подсознании: «как шандарахну». — Больше три с половиной... — Он вводил в автомат стрельбы поправки на скорость ветра, на скорость всего корабля, на скорость буксировщика со щитом (впрочем, щит был противником: «как шандарахну») и вдруг почувствовал, как что-то ускользнуло из его внимания, словно бы он потерял ведущую нить. Она еще маячила где-то перед глазами, и он лихорадочно соображал, что же он упустил, терял драгоценные секунды, а чертик все выскакивал и дразнил: «как шандарахну», — и наконец Веригин фатально решил, что чему быть, того не миновать, подал самую жданную, родную команду:

— Товсь! — Он даже зажмурился и с силой нажал на ревун: — Залп!

Тотчас звонко ударило по ушам, словно треснула и раскололась лобовая броня, и в глазах потемнело, и поплыли оранжевые круги. Веригин, казалось, слился с визиром, став с ним одним всевидящим оком, взиравшим на пустынное, изрытое волнами пространство, среди которого утицей переваливался щит, и верил — верил, черт побери! — что первый же залп накроет цель, и неожиданно помертвел: снаряды, не долетев до щита примерно, на глазок, около трети дистанции, выплеснули из воды три аккуратных серебристых столбика, и они, постояв какое-то время, скрылись в волнах. Веригин был неопытным артиллеристом, но он был артиллеристом и безошибочно определил, что в поправках, которые он передавал на автомат стрельбы, произошла ужасная путаница, в которой повинен только он, лейтенант Веригин, и разобраться в этой обстановке должен он сам, сейчас же, сию минуту. Впрочем, минута при стрельбе слишком большая роскошь: ему отводились считанные секунды, и он очертя голову словно бы бросился в омут.

— Дальномер... А, черт! Больше пять. То-овсь! — И с надеждой, почти с мольбой, он нажал на ревун. — Залп!

Броня опять треснула, и опять, не долетев до щита, снаряды выметнули из воды три чертика — «как шандарахну», — которые, постояв секунду и озарясь на солнце, бесследно пропали.

— Больше пять! — закричал Веригин, входя в азарт.

— Первая башня, дробь! Орудия на ноль, — приказал из боевой рубки комдив Кожемякин и, подождав, сказал безлично: — Командира башни — к командиру корабля.

Пошатываясь, Веригин выбрался из-за визира и направился к выходу, боясь сочувственных взглядов, но матросы приводили орудия, дальномер, визиры в нулевое положение и, казалось, были заняты своим делом.

«Как же это я? — тоскливо подумал Веригин. — Как же мне теперь быть-то? Позор-то какой...»

На палубе было много света, играло солнце, и в вентиляционных грибках свистел ветер. Все оставалось прежним, нарядным и праздничным, какой бывает южная Балтика только в марте, в солнечный ветреный день, и Веригин почувствовал, что в глазах у него снова темнеет, и на душе стало совсем гадко.

Его тронул за рукав Медовиков:

— Андрей Степаныч, не кисни. Все образуется.

— Я ничего, — сказал Веригин и вяло махнул рукой,

дескать, поди ты со своими соболезнованиями знаешь куда. — Перед ребятами стыдно. Они-то при чем.

Сердитый, невыспавшийся, с помятым лицом, но хорошо выбритый командир встретил его, брезгливо оттопырив нижнюю губу:

— В чем дело, Веригин?

Веригин не знал, в чем дело, вернее, он знал, но тогда пришлось бы рассказывать длинно и долго, припоминая все житейские мелочи, которые обрушились на него в последние дни, потому что в конечном счете из этих мелочей начало нагромождаться бог знает что, и он деликатно промолчал.

— А я знаю, в чем дело, Веригин. За вас знаю. Вы дали автомату не те поправки. Куда вы смотрели и чем вы думали?

Веригин хотел сказать, что смотрел-то он в таблицы и думал головой, но ему в то время почему-то мерещилась какая-то дьявольщина. Он невольно жалко улыбнулся, вспомнив «как шандарахну», и опять промолчал.

— Плакать надо, а не улыбаться. Идите в башню и смотрите, как другие будут стрелять. Это вам полезно, а потом я подумаю, что с вами делать. — Командир уже отпустил Веригина, но, словно бы что-то вспомнив, спросил: — Да, вы вчера были на берегу?

— Так точно, был.

Командир резко обернулся к старпому Пологову:

— Я же просил вас никого не отпускать на берег. Это что такое? Старшие офицеры — на борту, лейтенантики, видите ли, гуляют. Мне самому, что ли, прикажете наводить порядок?

Старпом Пологов исподтишка страдальчески подмигивал Веригину, подбадривал его, говори, дескать, говори, только не молчи, но Веригин словно онемел и совсем стушевался, не поняв, чего от него хочет Пологов.

— Пили, что ли?

— Никак нет, товарищ командир. Ко мне жена приехала.

Пологов облегченно вздохнул и отошел в сторону.

— Жена? — гневно спросил командир. — Ах, жена, — более миролюбиво повторил он. — Да-да, жена, — уже спокойно сказал командир. — Так на крыльях летал бы, а то раскис как мокрая курица. Знал же, что учения на носу, мог бы и погодить.

— Бывает, что годилка-то и не годит, — пошутил стар-

пом Пологов, безошибочно угадав, что командир отмяк и гроза на сей раз миновала.

— А ты не защищай. В наше время сперва учились стрелять, а потом женихались, а теперь, видишь ли, все наоборот. Ступайте, Веригин. Мы без вас подумаем...

Командир боевой части Студеницын вывел Веригина на ходовой мостик и там коротко, но вразумительно сказал:

— На коленях выпрошу для тебя еще один галс, но если и на этот раз запорешь — пеняй на себя. Больше в башню не пущу. Мальчишка!

Веригин вжал голову в плечи и круто повернулся — «через левое плечо кругом марш», — съехал на поручнях на полубак, огляделся. Он и не заметил, в какой день и в какой час по-весеннему посветлела вода и небо будто бы стало глубже, приветливее. Как это в школьной хрестоматии у Фета? «Чиста небесная лазурь, светлей и ярче солнце стало». «А ведь Варька-то права, — подумал Веригин. — Права Варька-то. Не будет у нас весны. Все будет, а весна минет и не задержится на нашем полустанке».

Крейсер выходил на боевой курс, и Веригин заспешил к себе, скользя на мокрой палубе и невольно опасаясь нового поворота, хотя и знал, что, пока не отстреляется Самогорнов — командир изменил порядок стрельб, — никакой эволюции не будет, но после случая с Остапенко уж лучше поберечься, чем потом всю жизнь каяться. «Поздно беречься-то, Веригин, — словно кого-то другого попрекнул он, так все-таки было легче. — Беречься-то поздно теперь... — И мысль его сама потекла дальше, к острову Гогланду, к матросу Остапенко. — Как же он ухитрился выпасть? — И опять попенял, теперь уже прямо обращаясь к себе: — А ты-то чем лучше? Он первый раз в море, растерялся, не сообразил, а ты-то... ты-то... Гордость курса, прирожденный артиллерист... Курица мокрая! — И оттого, что эти нехорошие слова сказал ему командир, Веригин неожиданно, только здесь, на палубе, смертельно обиделся, почувствовал себя несчастным, забытым людьми и богом, этаким казанским сиротой, которого и пожалеть-то некому. — Возьму и брошусь за борт, и думайте потом что хотите». Ему представилось, как будет убиваться Варька и как командир начнет жалеть его, такого способного и молодого, но дальше думать не оставалось времени: вторая башня пошла на курсовой угол.

Его встретил Медовиков, вопросительно вскинул брови, видимо встревожившись не на шутку, но Веригин только нехотя мотнул головой: нашел, мол, время для сантиментов, сел за визир, и тотчас вторая башня громыхнула коротко и

звонко, словно шарахнула по броне дубиной. Прямо перед щитом выскочили три столбика. Веригин, и радуясь, что у Самогорнова получился такой верный залп, и завидуя, что залп получился у Самогорнова, а не у него, Веригина, мысленно отсчитал десять секунд, необходимых Самогорнову для поправки — «больше полтора», подумал Веригин, — и не ошибся: ахнул залп — и столбики выросли за щитом.

Классически стрелял Самогорнов, командир башни, старший лейтенант, без двух минут комдив, вторым залпом взял щит в вилку, третьим накрыл цель и перешел на поражение. «А ведь и я так могу, — ожесточился на себя Веригин. — Могу, черт подери! — И уже больше не завидовал удачливому Самогорнову: — Давай, Самогорнов, жми, Самогорнов, чтобы щепочки летели».

Третья и четвертая башни отстрелялись несколько хуже. Хуже только потому, что прямо-таки здорово стрелял Самогорнов, словно и не стрелял, а решал в артиллерийском классе задачи, где все ясно как божий день и даже есть готовый ответ.

Веригин позвонил Самогорнову, восторженно закричал:

— Слушай, ты — бог. Поражаюсь, восхищаюсь и преклоняюсь!

— Не надо так много, — весело сказал Самогорнов, которому командир только что выразил свое удовольствие. — Усек, как надо палить? Ляжем на боевой курс — не мельтеши. Лучше потеряй на подготовке секунд десять — пятнадцать, верней придешь к поражению.

— Попробую, — осторожно ответил Веригин, не очень-то веря, что в этом походе ему придется «мельтешить» или вообще что-то делать. Он, правда, еще надеялся, что ему могут разрешить повторную стрельбу, но надежды эти были скорее отчаянием человека, которому уже не на что надеяться. Теряясь в догадках — разрешат или не разрешат? — и негодуя на себя, что одной оплошностью, одним неверным шагом он мог перечеркнуть всю свою карьеру и все свои мечты обратить в химеру, Веригин сжался весь, притаился за визиром, как будто ушел от людей и даже от себя скрылся. Ему хотелось сорваться с места, бежать на ходовой мостик, что-то там доказывать, просить, если хотите, умолять, а он вынужден был, вперясь в окуляры, вслед за другими командирами башен учитывать все эти перелеты, недолеты, выносы влево и выносы вправо, делить их, прибавлять и убавлять, чтобы привести потом стрельбу к столь желанной вилке, накрытию и поражению. Это же так было просто, когда стреляли другие башни, и почему-то все по-

лучилось так постыдно, нелепо, когда стрелял он сам. Теперь Веригину казалось, что это какое-то наваждение, рок, что ли, сотворил над ним злую шутку, и если бы он в последнее время не нервничал, не переживал и не мельтешил, по словам Самогорнова, попусту, то все было бы хорошо, но и нервничал он, и переживал, и мельтешил в основном из-за Варьки, а Варька не могла сыграть роковую роль — не могла, и все тут, — и, значит, все приходилось валить на наваждение, на кого-то третьего или четвертого, хоть и понимал, что этим наваждением, и третьим, и четвертым, был он сам. Но как не хотелось повиниться даже перед самим собой. Мог же ведь ошибиться и матрос, обслуживающий автомат, могла попасть негодная партия снарядов, могло же ведь...

—Первая башня, ложимся на боевой курс...

«О господи, — подумал Веригин, но как-то спокойно и трезво, словно заранее знал, что должно получиться, и был готов к этому. — Ну что ж ты, господи, в бога мать, товарищ командир вместе со Студеницыным и комдивом Кожемякиным!» Он начал распалять себя, но тотчас до него дошло, что это бесполезно — он успел перегореть, и все ему как-то сразу стало безразлично: только скорей бы кончилось, а там будь что будет.

— Медовиков, — машинально позвал он. — С командами стволиков — на башню.

— Есть, на башню, — весело, как бы работая на настроение Веригина, отозвался Медовиков. — Живей, братцы. Мы им сейчас дадим жару и копоти.

— Андрей Степанович, — негромко, видимо прикрыв микрофон ладонью, просипел по прямой связи комдив Кожемякин. — Спокойнее. Возьми себя в руки.

— Я — в норме, товарищ капитан-лейтенант.

— Добро. — И после минутной паузы: — Первая башня, открыть огонь!

Что-то подступило под сердце — вот оно! — отозвалось слабой дрожью в руках, тотчас отлегло, и сразу все стало понятным: там щит, здесь Веригин, а между ними десятки кабельтовых, расстояние плевое, если учесть скорость снарядов. Значит, там щит, который буксирует тральщик, а здесь Веригин, живой комок человеческих нервов. Дурея от сознания, что с этого мгновения он — и только он! — хозяин положения и никто не волен помешать ему, Веригин окрепшим, словно налитым голосом подал первую команду:

— Башня, курсовой... Дальномер, дистанцию...

Веригин священнодействовал и ликовал, хотя делал все

почти механически, но где-то глубоко в подсознании была твердая ясность, что он делает правильно, с точностью выверенного часового механизма, и ошибки быть не может.

— Больше полтора... больше один... Лево три... Товсь!

Он помедлил, вернее, ему показалось, что он помедлил, хотя ничего уже изменить или переиначить было нельзя: он забыл, какие величины поправок он ввел в автомат стрельбы. Человек продиктовал свою волю машине, и теперь машина сама диктовала свою волю человеку. Если они поняли друг друга, то все должно сложиться хорошо и просто, как дважды два — четыре, если не поняли, то...

— Залп! — Веригин бережно, словно лаская, нажал на ревун, и за лобовой броней ударили орудия. «Пошли, милые, пошли», — словно заклиная, напутствовал их Веригин, и они пошли, три куска стали с медными ободками, которым — и стали, и медным ободкам — рабочие руки придали законченную форму, чтобы они надежнее ввинчивались в воздух и, елико возможно, не отклонялись от заданной им траектории. И они не отклонились, но всплесков не последовало, и чертики — «как шандарахну» — не выскочили. Что-то колыхнулось на щите, но что именно, Веригин не успел разглядеть и ждал долго — это «долго» длилось считанные мгновения — серебристых, аккуратных, словно точеных, столбиков и, когда понял, что они не появятся, обреченно вытер со лба холодную испарину.

— Товарищ лейтенант, накрытие! — закричал дальномерщик, веря и в то же время словно бы сомневаясь в том, что это произошло. Он-то видел, как колыхнулся щит, и всплески видел за сеткой реек, кургузые, словно бы ополовиненные, не мог, по его мнению, обмануться, но час назад все получилось иначе, и снаряды упали возле борта, и стрельбу прекратили, поэтому сразу поверить было как-то страшновато.

— Дальномерщик, точнее дистанцию. Поражение. Товсь... — Веригин не сдерживал радость — она рвалась из него вместе с голосом — и чувствовал, что все в нем поет и ликует и несет его на крыльях за теми снарядами, которые прошили щит. — Залп!

Веригин уже не слышал выстрела и вообще ничего не слышал — «как шандарахну, как шандарахну», — и безобидный, безответный щит, ныряющий на буксире в волнах, казался ему тем злом, которое еще совсем недавно могло вконец опозорить и унизить его, и он, переживший и позор, и унижение, азартничая, как бесшабашный игрок, жаждал, чтобы снаряды накрыли корпус и отправили к праотцам,

к той груде железа, которое оставила минувшая война в море, и это громоздкое, нелепое сооружение.

— Товсь! Залп!..

«Так его, так его, в гроб, в дышло! — О такой удаче он даже не мечтал, хотя нет — мечтать-то мечтал, но не очень-то верил, что она найдет именно его, лейтенанта Веригина. — Братишечки, родные, даешь».

— Товсь!.. Залп!

Снаряды со звоном выплескивались из стволиков и, невидимо прочертив небо, безжалостно терзали безобидное сооружение из стоек и реек, которое при всей своей простоте, как сельские прясла, и, казалось бы, никчемности, как те же прясла посреди моря, тоже чего-то стоили. Но какое было дело Веригину до тех жалких рублей, если на карту поставили его честь, достоинство, умение, в конечном счете — военную карьеру, а следовательно, и всю жизнь. И как тот же бесшабашный игрок, он с каждым залпом отыгрывал все, что так недавно и безнадежно едва не потерял. Пока снаряды с зарядами покоятся в погребах, можно быть прекрасным теоретиком, но, когда эти же снаряды и заряды попадают в казенники орудий, теория уступает место практике, и тут уж не спасет никакое красноречие, не вывезут никакие аттестации и характеристики.

— Товсь!..

— Первая башня, дробь. Белое поле. Орудие на ноль.

— Залп!..

— Веригин, какого черта вы устраиваете самодеятельность! Кто за щит будет платить? Вы, что ли?

И Веригин, словно отрезвев, неожиданно обостренно почувствовал, что не щит он терзал, этакого призрачного безответного врага, а своего же двойника расстреливал, вернее, какую-то дорогую, но в общем-то лишнюю частицу самого себя, ненужную и вредную в бранном деле. Азартничая и отстаивая свое право быть равным среди подобных себе, он утверждал силу и мужество, неосознанно в те минуты стараясь убить в себе сострадание к слабости, не столь уж ненужное качество человеческого характера. Минут годы, и, может быть, он вспомнит этот светлый мартовский день, и эти тревожные часы, и эти радостные, счастливые минуты, и, кто знает, какими-то словами подумает он о них.

— Дробь, — устало сказал он. — Белое поле. Башню и орудия на ноль.

— Первая башня, — объявил по боевой связи командир. — Выражаю свое удовлетворение. Благодарю за стрельбу.

Крейсер спустил со стеньги государственный флаг — флаг на стеньге, выражаясь языком свода сигналов, означал: «Вступаю в бой, погибаю, но не сдаюсь», — тральщик, буксировавший щит, поднял сигнал: «Счастливого плавания» — и, как пахарь после работы, повернул в сторону Энска.

Там, на ходовом мостике, командир закурил; помяв дым во рту, блаженно затянулся и, почувствовав, как в грудь толкнуло, поморщился и выпустил дым. Он был доволен, хотя Веригин — «Вот черт, это же у него матросы валятся за борт» — чуть было не испортил всю песню. Правда, потом стрелял удачно, накрыл щит с пристрелочного залпа, но в первый-то раз, в первый-то... ухитрился же снаряды возле борта положить. Так что жирную троицу вывести ему следует или, может, четверкой пометить? Да нет, жирная троица в самый раз: неудача — удача, плюс — минус, так что троица прямо на золотую середину приходится. Тут и без посредников все ясно.

За командиром, но уже не так откровенно, а словно бы исподтишка, закурили и старпом Пологов, и командир боевой части два Студеницын, и Пологов сказал Студеницыну:

— Вот, дьявол, Веригин-то, а? Не ожидал я от него, не ожидал...

— Да-а, — отозвался Студеницын. — Впрочем, я тоже первый раз не лучшим образом отстрелялся.

— Но как потом повезло. С первого залпа — накрытие.

— Может, повезло, а может, и еще что.

— Но пятерку ставить нельзя. Не проходит пятерик.

— К сожалению...

— А Самогорнов — это классика. Далеко пойдет.

— Далеко.

...А здесь, в башне, матросы приводили орудия на ноль и, разгоряченные недавней стрельбой, удачей Веригина, своей собственной и подогретые еще больше похвалой командира, шумели и весело перекликались в переговорные трубы. Зачехлив стволики и собрав гильзы, в башню явился Медовиков с расчетами стволиков, скучновато спросил:

— Что невеселый, Андрей Степаныч?

— Устал. Просто взял и устал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ни старпом с командирами боевых частей, ни Самогорнов с Веригиным, не говоря уже о старшинах и матросах, не знали, что старый город за дюнами для крейсера — это

нечто временное и командование флотом давно уже определило ему для постоянного базирования Энск. Но так как многие причалы в Энске были еще завалены битой и жженой немецкой техникой и, чтобы разобрать весь этот металлолом, в который превратились «пантеры», «тигры», «фердинанды» и прочие бронированные и небронированные создания рук человеческих, требовалось время, свободные руки и не менее свободные транспорты, и как раз на это время крейсер и приписали к старой базе. Зная об этом и понимая, что швартовка в Энске несколько отличительная, скажем, от швартовки в Кронштадте или в Таллине, командир крейсера испросил у адмирала «добро» на заход с суточной стоянкой в Энске, чтобы познакомить штурманов с тамошней навигационной обстановкой, а боцманскую и верхнюю команды — с условиями швартовки.

Адмирал дал свое «добро» и в свою очередь испросил разрешение у командующего флотом. Приказы и распоряжения рождаются не только в верхах. Иногда их вынашивают командиры кораблей или даже командиры боевых частей, и потом они, эти выношенные и выстраданные мысли, в форме рапортов поднимаются по иерархической лестнице, чтобы в штабных кабинетах быть отвергнутыми как ненужные или несвоевременные или обрести там силу закона и спуститься вниз, к тому же лицу, от которого началось это восхождение, с магическим, не терпящим возражения или просто сомнения словом — «приказ».

Сразу после полудня — обеда, как такового, не было: матросы и старшины по двое, по трое после стрельб спускались в кубрик и наспех перекусывали — радисты приняли сообщение: «Следовать в Энск согласно данным мною указаниям». Командир корабля принял эту депешу с видимым равнодушием и, созвав на мостик командиров боевых частей и служб, между прочим сказал им, что в общем и целом доволен действиями всех подразделений во время артиллерийских учений, подробный разбор которых он поручает провести старшему артиллеристу капитану третьего ранга Студеницыну сразу же после швартовки и ужина. Он выждал паузу и подчеркнул голосом, чтобы ни у кого не оставалось неясностей:

— В Энске.

— Вот тебе, бабушка, и юрьев день, — присвистнул стармех, командир боевой части пять, уверенный, что капитан первого ранга дал команду взять курс на старую базу. И посмотрел на старпома Пологова: дескать, милый-хороший, как все это понимать — «после швартовки в Энске»?

Старпом Пологов сам был удивлен: одно дело стрелять в районе Энска, и совсем другой коленкор ошвартоваться там на стоянку, но сделал вид, что знает все давным-давно, молча пожал плечами: так, милый-хороший, и понимай.

— А я, дело прошлое, хотел уже квартиру для семьи подыскивать, — собственно, больше для себя, в воздух, огорчился стармех.

— С семьями придется погодить, чтобы не вышло накладно. А то у нас кое-какие зеленые лейтенантики уже сказали гоп. А говорить-то надо, положим, погодить.

— Энск — это постоянно или?..

— Не исключено, — сказал Пологов, тем самым дав понять, что если он что-то и знает — а он непременно что-то знает, — то говорить об этом преждевременно, и офицеры разошлись по своим командным пунктам, и тотчас с одного командного пункта на другой последовали звонки, и скоро многие уже знали, что крейсер через час, максимум через два, возьмет курс на Энск вслед за изрядно побитым и им же самим потрепанным щитом.

Веригин узнал об этом, может быть, последним. Он спустился в зарядный погреб под благовидным предлогом проверить там температурный режим, а больше для того, чтобы подальше от любопытных глаз еще раз пережить свое столь нежданное бесславие и свою столь же жданную славу, но, как ни пытался он воскресить в памяти перипетии стрельбы, ничего из этого не получилось. Сопереживать было и стыдно, и больно, во всем теле чувствовалась пустота, он как будто постоянно что-то терял и никак не мог найти или находил что-то другое, но совсем не то, что потерял.

Сверху, из подбашенного отделения, по переговорной трубе его начал окликать Медовиков:

— Товарищ лейтенант.

Медь глухо булькала и бухала: «...оварищ ...тенант».

«Да ну вас всех, — легонько, больше для своего спокойствия выругался Веригин. — Больной я вам, что ли?» Но Медовиков неистовствовал, и пришлось подойти.

— Что там у вас?

— У нас-то ничего, а вас чего-то Самогорнов разыскивает.

«Да ну его», — опять подумал Веригин.

— А что там такое?

— Говорит, получено радио — идем в Энск. — Медовиков явно был огорчен.

— Как в Энск?

— Обыкновенно. Все по морю, все по широкому, — говорил Медовиков, явно копируя Самогорнова.

— Чепуха какая-то, — не поверил Виригин. Ему почему-то втемяшилось в голову, что после того, как со стеньги корабля убрали флаг, крейсер тотчас же повернул на базу: буксировщик со щитом взял курс на зюйд-вест (SW), а они на зюйд-ост (SO). — Мы приписаны к старой базе, и никакой Энск нас ни с того ни с сего на довольствие не возьмет.

Но на всякий случай позвонил Самогорнову:

— Ты чего там баламутишь вверенных мне боевых наших сограждан?

— Не баламучу, братец, а скорблю по поводу безвременно осиротевших наших ветреных подругах, коих мы оставили в прекрасном древнем городе.

— От кого слышал? — деловито поинтересовался Веригин.

— Самолично, причем от уважаемого нашего командира дивизиона — звание прописью — капитан-лейтенанта Кожемякина. Так что, братец, прими мои соболезнования и все такое прочее.

— Как же так? — Веригин чуть было не спросил: «А как же Варька-то? — И меланхолически досказал весь ряд: — Милый домик Алевтины Павловны, гравюрки на стенах с видами Питера и черт те знает еще что? А?» — Это кто же придумал?

— Это, братец, придумало высокое начальство, приказы коего, как тебе известно, не обсуждаются. Так что все-таки прими соболезнования и смирись, гордый человек.

«Так, — подумал Веригин, и стало у него на душе как-то горько и нехорошо. — Так, — повторил он, соображая, что бы предпринять в этой поганой ситуации. — Так», — сказал он и в третий раз, потому что ничего в этой поганой ситуации предпринять было нельзя: Энск — не рейд старой базы, из него на три часа к Варьке не вырвешься. Он полез наверх в огневое отделение — черт ли толку в переживаниях, когда впереди все туманило, накричал в нижнем перегрузочном отделении на старшину подачи, что у него-де и ветошь по углам валяется, и палуба плохо протерта, и вообще... Когда он выбрался к орудиям, на душе стало совсем скверно, и Медовиков это понял и не полез к нему с разговорами, а Остапенко не понял. Остапенко спросил:

— Товарищ лейтенант, а что, в Энске мы надолго застрянем или как?

— Товарищ Остапенко, — сказал Веригин, — когда вы

наконец поймете, что вопросы на службе задают старшие, и когда вам наконец станет ясно, что говорить люди учатся только до пяти лет, а всю последующую жизнь они учатся молчать и слушать.

Остапенко хотелось поговорить по душам, с этим он и сунулся к Веригину, а тот почему-то одернул его, и Остапенко растерялся, глаза у него забегали, а руки непроизвольно вытянулись по швам, и весь он стал какой-то испуганно-глуповатый, словно уличили его в мелкой непотребности.

И вдруг понял Веригин, что Остапенко ждет от него самой малости — дружеского слова, но Веригин промолчал, даже подумал, что Остапенко уже раздражает его, и упрекнул себя — не сердцем, а трезвым, холодным рассудком, — что мог подумать такое о тишайшем, безответном матросе, и тотчас забыл об этом. Бывает ранней осенью, безжалостный холодок коснется теплой земли и растает, оставив невидимый след. «Что это со мной? — удивился Веригин, но и удивился спокойно, словно подумал теперь уже не о себе, не о втором или третьем лице, а по крайней мере о десятом, о котором и думать-то не имеет смысла. — А ничего... Притомился малость. Отосплюсь, и все пройдет. Все пройдет, Веригин. Это хорошо, когда все проходит».

Остапенко все стоял и чего-то ждал, хотя ждать было уже нечего, и Веригин сказал ему:

— Ну, ступай. Займись своим делом.

Остапенко сглотнул, дернув кадыком, повернулся, а из правого отсека кто-то отчаянно и радостно крикнул:

— Слышь, Остапенко, ты писал своей?

— Ну, писал, — чуть слышно отозвался Остапенко.

— А письмо отправил?.. Слышь, друг, не отправляй! Дай списать.

— Дак оно же...

— А ничего, — сказал все тот же веселый и отчаянный голос. — Я имя переставлю, ну там слово заменю, а то у меня три заочницы. Ей-богу, и писать уже не знаю чего.

«Ну и правильно, — подумал Веригин, — пишите, братцы, письма. Только зачем же списывать? Списывать — это нехорошо». И усмехнулся: тут власть его кончалась, и он знал, что матросы будут писать, списывать и переписывать письма своим любимым, знакомым и незнакомым девчонкам и будут напропалую сочинять красивые небылицы, а девчонки, читая эти письма, станут ахать и восхищаться, верить, а больше не верить тому, что прочтут, и сотни этих писем пойдут на растопку, а в сто первом, может, и откроются ис-

тинные чувства, и ради этого, сто первого, стоит писать сто остальных.

— Резвятся, — сказал Медовиков, чутко следивший за выражением лица Веригина, и вовремя догадался, что тот начал отходить и готов теперь для дружеской беседы.

— А пусть их...

— Чем бы дитя ни тешилось, Андрей Степаныч, только бы не плакало.

— Плачут наши невесты-то, Медовиков.

— Плачут, Андрей Степаныч.

— Хоть бы послезавтра вернуться в базу.

— Послезавтра-то вернемся, Андрей Степаныч.

Они словно бы со значением перебрасывались словами, но не было в их словах значения, потому что все значения умчались вместе с последним снарядом, который полыхнул по щиту, и осталась после этого немая пустота. Случается же вот так: и дело сделано, а кажется, и не сделано, и радость не в радость, и черт те знает, чего еще хочется, потому что если смотреть в корень, то уже ничего и не хочется, и Веригин обрадовался новому звонку Самогорнова:

— Слушай, братец, мы тут междусобойчик нарисовали по поводу, так сказать, наших некоторых достижений. Если хочешь, присоединяйся.

— Это где?

— Топай в каюту.

— Готовность же на корабле..

— Наша, братец, готовность закончилась до самого города Энска. Впрочем, не неволю.

— Чего уж там — приду. — Веригин повесил трубку, словно раздумывая, принимать ли ему приглашение или остаться в башне, и, посидев так и минуту, и другую, позвал: — Слушай, Медовиков, я отлучусь в каюту, так ты в случае чего...

— Будет сделано.

— Ты только не звони, а лучше подошли кого-нибудь.

Медовиков даже как будто обиделся:

— Что я, первый год замужем, что ли...

Веригин выбрался на палубу, но броняшку за собой не стал задраивать — пусть и в башне глотнут свежего воздуха — и сам радостно вздохнул: день расстоялся и в море было просторно и свежо. Голубели небеса, голубели и волны, и воздух казался тоже голубым, и в этой бескрайней и бесконечной голубени шел крейсер, бело вспарывая притомившиеся, с блестящими, словно отлакированными, боками волны. Свистел в вантах ветер, однообразно, на одной ноте,

как будто в музыкальном инструменте разладились все струны и осталась только эта одна, и она-то и вела свою нехитрую, монотонную мелодию. Послушал-послушал Веригин, и расхотелось ему спускаться в каюту, появилось грустное желание побыть одному, помечтать, ну, к примеру, о том, что он уже не тот Веригин, который волею судьбы сегодня так низко пал, а потом все-таки поднялся, а какой-то другой, уверенный в себе, повидавший на своем веку всякого, которому и падать-то уже некуда да и незачем это делать, потому что осталось в жизни ему только лететь, забираясь все выше, чтобы где-то там, в недосягаемой голубизне, воспарить над грешным миром, холодно и мудро взирая оттуда на человеческие страстишки. Ах, как бы ему хорошо мечталось, трогательно и мило, и думал бы он, конечно, не столько о себе, сколько о Варьке, иначе всем бы этим красивым воздушным замкам была бы грош цена в базарный день. Он и всегда-то рисовал себя хорошим и обаятельным только для нее, чтобы она знала, с кем имеет дело, и даже немного восхищалась им: дескать, вот он какой, Веригин-то, Андрей Степанович, лейтенант флота и командир башни главного калибра.

«Ау, Варька! — мысленно сложив ладони и мысленно же прокричал Веригин, словно заблудился в лесу или, вернее, заблудилась она. — Варька, ау! Что же ты, Варька. Ах, Варька ты, Варька», — и нехотя спустился на шкафут, прошел в офицерский коридор и, миновав еще один трап, спустился на вторую жилую палубу, где испокон веку каюты отводились безусым лейтенантам и тем, кто засиделся в своих должностях.

Его встретили оглушительным ревом.

— Веригину, свет болярину... — речитативом завел Самогорнов.

— ...Слава! — нестройно и не враз подхватили остальные. В каюте горела только настольная лампа, и свет от нее исходил какой-то желтовато-пепельный, почти серый, и лица в этом свете казались какими-то нездоровыми, желтовато-серыми, но Веригин тотчас разглядел собравшихся: и Першина, и командиров кормовых башен и групп управления стрельбой первого дивизиона.

— Болярыне его же, досточтимой... — повел Самогорнов.

— ...Слава! — теперь уж дружно, входя в раж, рявкнули остальные.

— Охота же вам, бугаям, — буркнул Веригин, остерегаясь подвоха.

— Виночерпий, — распорядился Самогорнов, — кубок мальвазии болярину.

Веригину сунули в руки стаканчик для бритья с чем-то коричневым, похожим на деготь, — вот черти, рому припасли! — и все весело закричали:

— Пей до дна! Пей до дна!

Отчаявшись, Веригин передохнул, поискал глазами на столе, чем бы зажевать, но ничего не нашел и обреченно начал лить в рот холодный, липкий, словно сироп... чай.

— Сволочи! — сказал он беззлобно, потрафляя общему настроению.

— А бывало-то, — неожиданно погрустнел Самогорнов. — Бывало, по поводу стрельб стопарь очищенной полагался.

Его поддержали:

— Мельчает флот, — хотя меньше всего эти безусые лейтенанты печалились о том, что флот мельчает, и верили в себя как в богов, и знали — ах, как верили и знали, попивая чаек вместо ямайского рома! — что они-то флоту измельчать не дадут, потому что каждый второй из них — Нахимов и каждый третий — Бутаков. И тогда Самогорнов принял весь кувшин с чаем, чтобы держать речь согласно ритуалу, утвержденному для офицерских собраний:

— Товарищи офицеры, будущие полные и неполные адмиралы, с отличиями и без оных, други мои, позвольте поднять эту пенную круговую чашу за наш достославный бело-голубой флаг, перед которым мы, коленопреклоненные, смиряем свои срамные головы, ибо нетленный дух наших великих пращуров, освятивший его полотнище, был, есть и пребудет вечно нашим утешением и нашей надеждой.

— Я что-то плохо тебя понимаю, Самогорнов. — Першин усмехнулся, немного кокетничая и привлекая к себе всеобщее внимание. — Какой флаг? Какой дух, каких пращуров? Тех самых, которых история смахнула со своих скрижалей?

Самогорнов подумал, словно примеряясь к тому, что сейчас произнесет, и сухо, почти официально сказал:

— Изволь. Пращуры — это, безусловно, история, но история — не выгребная яма. Военная мысль, как составная часть национальной культуры, не может быть прервана или уничтожена. Она может быть только развита и усовершенствована, поэтому, не являясь в прямом смысле наследниками старого российского флота с его доктринами, мы наследуем военно-морскую мысль Петра Великого, Сенявина, Бутакова, Ушакова, Нахимова, Макарова, становимся с ними в один ряд. Это я и имел в виду, когда предложил на круг пенную чашу. Так как, други мои?

— Пьем, — весело и согласно закричали лейтенанты.

— Присоединяюсь, — вслед за всеми нехотя сказал Першин.

Самогорнов помолчал, словно готовясь говорить еще долго, но неожиданно тихо промолвил:

— Памяти павших, памяти тех, кто ни при каких условиях не менял курс и до конца дней хранил верность нашему рабоче-крестьянскому флагу, — и отпил глоток. Кувшин принял Веригин, ему захотелось сказать что-нибудь этакое значительное, чтобы и самому удивиться, и других удивить, но мысли накатывались одна на другую, и были они одна банальнее другой, и тогда он, отчаявшись вообще что-либо связать воедино, сказал:

— Мир тем, кого уже нет, и мир нам, потому что мы есть, ибо павшие живут памятью живых.

Последним по кругу принял кувшин Першин и уже сказал:

— Милые мои лопушки, — но тут ударили колокола громкого боя, и вахтенный офицер потребовал:

— По местам стоять. На якорь и швартовы становиться.

— Я заканчиваю, господа присяжные заседатели, — пробормотал Першин, оттеснив себя в сторону и давая возможность другим разобрать мичманки и шинели, и впервые искренне пожалел себя, что вот у других-де команды и у этих команд есть строгие обязанности при постановке крейсера на якорь, а у него только адмирал... Першин завидовал в эти минуты и Самогорнову, которому служба так и шла в руки, и Веригину, у которого, по мнению Першина, служба еще не шла, но могла пойти, и с этой завистью он и пошел на мостик, чтоб быть поближе к патрону, но, когда поднялся на левое крыло, оглядел палубу и увидел на ней черные фигуры матросов и офицеров среди них, выделявшихся разве что только мичманками да шинелями, зависть сама по себе потухла, и он уже решил провести вечер в Доме офицеров и никому больше не завидовал. В конце концов пусть лучше ему завидуют.

А между тем, пока матросы разносили швартовые концы и снимали с якоря стопора, Веригин подошел к Самогорнову и опять-таки между делом сказал:

— А поганая службишка у нашего щеголя.

— Не говори, — отозвался Самогорнов. — Пока мы тут с тобой по-хорошему будем уродоваться на палубе, он тем временем по-поганому смотается в Дом офицеров. Впрочем, каждому свое.

Энск открылся сразу щербатыми рядами домов, по которым резко и хлестко прогулялся кулак войны. Война была и при входе в бухту, поставив себе могильный крест из мачты затопленного немецкого транспорта, и на причалах, на которых, уткнув носа орудий в землю и опустив очи долу, сморщились обгорелые и полуобгорелые танки с едва заметными крестами на броне башен.

— Сколько их тут... — невольно подумал вслух матрос Остапенко.

— Сколько было, мы их все тут приголубили, — лихо откликнулся Медовиков и, предвкушая горячую швартовую работенку и, как всегда, шалея от этого предчувствия, потому что если в башне непреклонный хозяин Веригин, то на палубе это право обычно уступалось ему, оборвал себя на полуслове: дескать, нечего попусту отвлекаться, что было, то и быльем поросло, а надо думать о том, что будет. — А ну, ходом, ходом!

— Отдать левый якорь, — негромко подал с мостика команду капитан первого ранга.

— Пошел левый! — тотчас закричал главный боцман и, перегнувшись через леера, увидел, как пятитонная адмиралтейская игрушка, отлитая из чистейшего чугуна, с плеском шлепнулась в воду и в клюзе с грохотом и лязгом, высекая искры, запрыгала и забилась цепь: — На клюзе десять.

Десять марок — двести с лишним метров якорь-цепи — вылетели за борт в считанные секунды.

— Вытравить еще пять, — распорядился с мостика командир.

— Пошел пять, — повторил главный боцман, и, все еще грохоча, но уже без прежнего остервенения, в клюзе снова заиграла якорь-цепь, и, когда якорь полностью лег на грунт и погасил инерцию, по которой еще двигался крейсер, на стенку полетели бросательные концы, и через полчаса корабль намертво привязался к причалу, перешел на береговое электропитание и, казалось, уснул.

Командир снял фуражку, провел по залысинам платком и облегченно вздохнул: то, чего он больше всего страшился сегодня — швартовки в Энске, произошло как-то само собой, и он оглянулся, увидел сумрачно-сиющее лицо старпома Пологова и кротко, по-домашнему сказал:

— С прибытием, товарищи офицеры. На двадцать ноль-ноль назначаю разбор артиллерийских учений. Увольнение команды на берег произвести согласно расписанию смен. — И, подумав, обратился уже непосредственно к старпому: —

Позаботься сам, голубчик, а то как бы наши сорванцы чего-нибудь не отмочили в городе...

— Есть! — громко и немного важно, даже более важно, чем того требовала обстановка, сказал Пологов, подчеркнув голосом, что все понимает и сделает так, как положено.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Ничего хорошего для себя на разборе учений Веригин не ждал, и если бы можно было не идти, то и не пошел бы, но в подобных обстоятельствах слово «можно» исключалось категорически. Веригин все же не спешил, потолкался в вестибюле, спустился к себе в каюту и, когда до двадцати ноль-ноль оставалось не более пяти минут, поднялся в салон. Комдив Кожемякин, комдивы два и три, командиры башен, батарей и групп управления огнем уже собрались, переговаривались вполголоса, не курили — словом, старались вести себя степенно и солидно, как и подобает на разборе учений. Но то ли потому, что они слишком старались, а не просто вели, и то ли потому, что ни солидности, ни степенности они еще не нажили, в салоне чувствовалось этакое школярское усердие, когда уже ясно, что экзамен сдан, но еще неизвестно, какой у кого балл. Заметив в дверях Веригина, Самогорнов незаметно подмигнул ему и тихо, стараясь не перебивать говоривших, произнес:

— Товарищи офицеры! — но его услышали все, опять-таки по той же простой причине, что старались вести себя, а не вели, и дружно поднялись.

— Вольно,— сказал Веригин, не заметив ни Кожемякина, ни комдивов два и три. — Сам рядовой.

— Самогорнов, — напустив на себя строгость, окликнул комдив Кожемякин. — Выражаю вам свое неудовольствие. Кажется, вам не дивизион светит и не санаторий в виде ареста при каюте, а в самую натуральную величину светлейшая гарнизонная гауптвахта. И вам, Веригин, мое неудовольствие. С каких это пор командиры башен стали приходить в офицерское собрание после комдивов?

— Рады стараться, — за себя и за Веригина ответил Самогорнов.

— И я тоже, — невозмутимо заметил Кожемякин. — Сегодня выпрошу для вас у командира пару суток ареста при каюте с исполнением служебных обязанностей. Поделите сами, а когда поделите, доложите мне.

— Есть, — сказал Самогорнов и невинно потупился, дескать, помилуйте, за что же это нас-то, мы — хорошие.

— Есть, — следом растерянно промолвил и Веригин, досадуя и на себя, и на Самогорнова, и на комдива Кожемякина, но в основном все-таки на Самогорнова и Кожемякина, потому что виноват был Самогорнов, а Кожемякин не захотел в этом разбираться, и, сообразив, что отсиживать придется в старой базе, разнервничался, покраснел и, не найдясь, что сказать в свое оправдание, повторил: — Есть.

— Так-то оно вернее будет.

— Товарищ капитан-лейтенант, — все с той же невинностью (мы такие, мы сякие, мы хорошие) сказал Самогорнов, — мы поделились: завтра отсиживает Веригин, послезавтра — я, то есть Самогорнов.

Комдив Кожемякин уже хотел сказать: «Дудки, товарищ старший лейтенант Самогорнов, мы сами образованные: оба отсидите в старой базе», но, вспомнив, что у Веригина кто-то приехал — жена не жена, ну да не в этом дело, — нехотя согласился:

— Добро, — и не удержался, начал развивать свою мысль в той последовательности, что младшим надлежит слушаться старших, потому что рано или поздно младшие сами станут старшими и тогда уже учиться будет поздно, но не успел ее закончить: в дверях в сопровождении старпома Пологова, замполита Иконникова и командира боевой части два Студеницына показался капитан первого ранга, и комдив Кожемякин, любуясь своим строгим голосом, скомандовал: — Товарищи офицеры!

Командир нехотя махнул рукой, как бы говоря, что по нему хоть бы и совсем не вставали, но уж коли такой порядок, — а порядок есть порядок, и тут уж ничего не попишешь, — то будьте добры вставать, и, пройдя между офицерами со страдальческим лицом, чувствуя свое превосходство и в то же время тяготясь им, даже как будто завидуя зеленой молодости, сквозь которую он проходил и у которой все еще впереди, сел за стол, дождался, пока усядутся другие, и кивнул старшему артиллеристу Студеницыну:

— Начинайте.

— Есть, — сказал Студеницын и помедлил, как записной оратор, хотя с трибуны говорить не умел и не любил, выражаясь по этому поводу в том смысле, что за него говорят корабельные орудия всех калибров.

— По единодушному мнению командира корабля и посредников, высшей оценки заслуживает Самогорнов.

Все невольно повернулись к нему, а Самогорнов — ох уж этот Самогорнов! — расправил несуществующие усы, ткнул себя пальцем в грудь, чтобы ненароком его не спутали с кем-нибудь, и комдив Кожемякин сердито пошевелил бровями, предупреждая, что и победную голову меч сечет, и Самогорнов понял, даже как будто присмирел.

— Самогорнов стрелял хрестоматийно. Правда, уже вторым залпом он мог накрыть цель и перейти на поражение. Так ведь, старший лейтенант Самогорнов?

— Так точно.

— А почему не перешли? — спросил командир.

Самогорнов поднялся, неприметно, заученным движением одернул китель, сухое его лицо словно бы вытянулось, став еще суше, и побледнело на синеватых скулах. Это был уже другой Самогорнов, жесткий, собранный, уверенный в себе.

— После первого залпа я понял, что если дам поправку больше один, то смело могу рассчитывать на накрытие, но, откровенно говоря, мне хотелось взять цель в вилки, и поэтому я дал поправку больше полтора.

— Разумно, — сказал командир.

— Разумно, — повторил Студеницын. — Если вы так же проведете и калибровые стрельбы, то после окончания кампании мы смело можем аттестовать вас на должность командира дивизиона.

— Разумно, — еще раз сказал командир.

Скулы у Самогорнова, потеряв бледность, легонько зарделись, он словно бы окаменел, потом почти неуловимым движением склонил голову — дескать, все понял и благодарю — и, недолго помедлив, сел.

Студеницын проследил за ним глазами, выдержал паузу и начал разбирать стрельбу третьей и четвертой башен, упирая главным образом на допущенные ошибки управляющих огнем — явные и скрытые. Явных ошибок было немного, и они сводились к тому, что третья башня сделала недолет и вынесла залп далеко влево, а четвертая, опять-таки при недолете, послала снаряды вправо, и поэтому на пристрелку каждая из них израсходовала снарядов больше, чем хотелось бы...

— Это то, что отмечено визуально и зафиксировано на пленку. Тут, как говорится, все ясно, но за этой ясностью мне видится один, притом основной, порок: излишняя нервозность, а отсюда спешка и несобранность. Запомните, товарищи офицеры, у артиллеристов во время стрельбы нет и не должно быть нервов. Нервы — это нечто слишком рос-

кошное в нашем деле. Сожалею, что приходится повторять прописные истины, и согласен отнести все это на счет первых стрельб, но, сколько бы я ни сожалел и сколько бы я ни соглашался, опыт войны учит нас тому, что мы должны раз и навсегда забыть в своей практике порядковые числительные: первые, вторые... Для нас может и должно быть только одно понятие — единственные. Итак: единственные, а за ними или слава, или бесчестие. При этом бром пить не рекомендую. Бром для офицера — по утрам ледяной душ для тела и постоянная гимнастика ума. В результате всей вашей спешки и несобранности третьей башне — четверка с минусом, четвертой башне — четверка с двумя минусами.

Это было хуже, чем ожидали, но это было все-таки неплохо, потому что еще оставался Веригин, и теперь всем стало ясно, что дела у него — швах, и он сам это понял, хотя до последней минуты на что-то еще надеялся, и это, видимо, хорошо, что человеку свойственно даже в худшем искать лучшее, иначе жизнь с ее вечными качелями, приступками и порожками, за которые цепляются не только пьяные, могла бы стать невыносимой. И так ему стало паршиво, таким все вокруг показалось чуждым, словно бы тесным, как будто он неожиданно очутился в клетке, и некуда было бежать из этой клетки, оставалось только терпеть.

Самогорнов поймал его за локоть, больно сжал:

— Держись, братец...

Высвобождая локоть, Веригин недовольно сказал:

— Да я держусь.

— Ну и держись.

— Держусь, — злым шепотом снова отозвался Веригин.

— Так-то лучше.

— Самогорнов с Веригиным, будьте так любезны, поделитесь с нами вашими интересными соображениями, — недовольно обратился к ним командир боевой части Студеницын. — Надеюсь, у вас нет секретов от офицерского собрания.

Комдив Кожемякин усмехнулся и подал свой голос:

— Они, видимо, делят сутки, которые я хотел выпросить для них у командира.

Студеницын не понял, о каких сутках речь, но на всякий случай сказал:

— А... — и пожевал губами, словно ища утраченную мысль. — Ну-ну... — И неожиданно вскипел: — Черт знает что! — и тотчас успокоился, как будто для полного кипения не хватило огня. — Так вот, переходим к самому нелепому и курьезному случаю, иначе стрельбу первой башни не на-

зовешь. Не ведаю, уж что там подвело Веригина — нервишки ли, или еще что, пусть это останется на его совести. Артиллеристу, повторяю, должно быть неведомо медицинское понятие — нервы. Вы слышите меня, Веригин?

— Так точно.

— Я не спрашиваю вас, почему первый залп лег у собственного же борта. Не спрашиваю только потому, что это лежит за гранью нормальной логики, хотя, как вам известно, принципы боевых учений покоятся на двух незыблемых основаниях: теории стрельбы и железной — не просто нормальной, а железной — логике мышления. При огромном желании я нашел бы и обоснование вашей грязной стрельбе в первом варианте, и оправдание этой стрельбы, но я не сделаю ни того ни другого. Не сделаю, исходя из ваших же интересов, потому что вы должны зарубить себе на носу раз и навсегда: все ахи и вздохи и прочая лирическая дребедень должны идти с вами не дальше причала. Как только нога ступила на катер, тем более на корабельный трап, у вас должна оставаться только одна забота — служба. Если вы поймете это, и не только поймете, но и возьмете себе за правило, тогда из вас выработается артиллерийский офицер. В противном случае ваша судьба остается для меня неясной. На этот раз мы с командиром взяли грех на свою душу, — Студеницын повернулся в сторону командира, и тот, заметив это, покивал головой, дескать, что было, то было, но больше чтобы этого не было, — и доложили адмиралу, что это всего лишь пристрелка стволиков, за что оба получили от него неудовольствие. Благодарите своего ангела-хранителя, — а он у вас, кажется, есть, — что вторая стрельба для вас сложилась удачно. Не просто удачно, а дьявольски удачно. Но простите, мне, артиллеристу, за плечами которого не только сотни учений, а четыре полновесных года войны на море, хотелось бы видеть стабильные классические результаты, а не артистические пируэты.

— Он не артист, Веригин-то, — подал свой голос Самогорнов. — Он — поэт.

— Тем более. А впрочем, Самогорнов, кажется, я вас ни о чем не спрашивал.

— Так точно.

— Ну и помолчите. Иначе нам придется вашу аттестацию положить на годик под сукно. — Угроза эта была пустой, потому что уже строились новые корабли, которые нуждались в новых комдивах, и Студеницын с Самогорновым знали это. — Но вернемся к Веригину. За первую стрельбу, — Студеницын поднял руку и, сложив в баранку

большой с указательным пальцем, наглядно показал, что заслуживает первая стрельба Веригина. — Овальный, прямой, строгий — ноль. За вторую, с некоторыми оговорками, можно вывести пять. В итоге два с плюсом или три с минусом.

Командир боевой части помолчал сам и потомил офицерское собрание: два, хоть и с плюсом, не зачет, три, пусть даже с минусом, уже зачет, а это совсем другой оборот. Веригин ждал, и Самогорнов ждал, ждали и другие офицеры дивизиона и боевой части, и как-то нехорошо, напряженно стало в салоне.

— Полно тебе, — по-отечески сказал командир, которому, как на грех, захотелось чаю: он не спал ночь, весь день провел на ногах, и теперь все тело словно бы деформировалось, нависло над столом.

— Так вот: Веригину за стрельбу три с двумя плюсами.

Это была не ахти какая оценка, но все-таки лучше, чем можно было предполагать после того, как третьей и четвертой башне выставили довольно-таки сомнительные четверки, и теперь уже обиделись кормовые офицеры, посчитав себя несправедливо обойденными, и как-то само собой случилось, что Веригин стал героем дня, едва не обойдя Самогорнова: три с двумя плюсами — это почти верная четверка. Сидевший в сторонке замполит Иконников тоже решил посчитаться с Веригиным.

— Товарищ Веригин, а как вы объясните, что политзанятия в башне проводите не вы, а мичман Медовиков? Это что, тоже поэтические вольности?

— Да не пишу я стихов, товарищ капитан второго ранга, — взмолился Веригин. — Это все Самогорнов придумал. И вообще, в тот день мне позарез надо было быть на берегу.

— Вот те раз! Я спрашиваю, кто разрешил Медовикову проводить занятия, а Веригин заявляет, что ему надо было съехать на берег. Логика, как в той погудке: в огороде бузина, а в Киеве дядька.

— Виноват, товарищ капитан второго ранга.

— Виноватых бьют, — сказал командир корабля. — А впрочем, интересный у вас сюжет получается: возле Гогланда матрос вашей башни валится за борт (Веригин подумал: «Что же, я его должен за руку водить?»), на берег уходите в рабочее время («А меня старпом отпустил»), женитесь тоже черт знает как («Я еще Варьку об этом не спрашивал»), а теперь вот еще стрельбы чуть не завалили («Так ведь не завалил же!»). Как все это понимать?

«А на самом деле, как все это понимать?» — с досадой

недоумевал Веригин, словно речь шла о Самогорнове, или, вернее сказать, о Медовикове, или о ком-то еще, но если уж и себя-то он не мог понять, то думать за кого-то было выше его сил, хотя этот кто-то другой и был он сам.

— Виноват, — с тупым раздражением сказал опять Веригин.

Все-таки это хорошо, когда виноват один, а не все, и этот один стоит и цепенеет на глазах, потому что не знает, что еще свалится на его буйную голову, а другие сидят и вроде бы даже сожалеют, что вот-де они такие все хорошие, и надо же случиться, что в их честную компанию затесался этот самый, которого, мягко говоря, из-за угла пыльным мешком шлепнули.

Командир первым понял, что в салоне произошло нечто странное и неладное.

— Ну, добро, Веригин, нечего вам строить из себя глупенького. Садитесь. — Он кивнул Веригину, дождался, когда тот сядет, и неожиданно шея у него начала бугриться и раздуваться. — Не понимаю, товарищи офицеры, не понимаю. Вашему товарищу плохо, а вы вроде бы даже радуетесь. Чему же здесь радоваться? Только тому, что это случилось с Веригиным, а не с вами? Помилуйте, а кто мне даст гарантию, что подобное не случится с другим или с третьим? Лично я такой гарантии дать не могу, но думаю, что лучше быть жестоким по отношению к себе и уметь прощать другому маленькие слабости и погрешения, чем закрывать глаза на собственные деяния и поступки. Может быть, я идеалист, но мне представляется, что честнее и мужественнее найти в плохом какую-то частицу хорошего, чем плохим, как дегтем, мазать все хорошее. Последнее проще и доступнее, но офицеру, который является не только командиром, но и воспитателем, эта доступная простота должна стать просто недоступной...

Командира шепотом окликнул старпом Пологов, тот поднял глаза и, заметив в дверях адмирала, поднялся сам и властным окриком «Товарищи офицеры!» поднял за собой остальных, сделал шаг вперед:

— Товарищ контр-адмирал...

— Продолжайте разбор, — сказал адмирал.

— Собственно, мы уже закончили.

— Вот и славненько. Старпом попоит нас чайком, и совсем будет хорошо. Кстати, познакомьте меня с Самогорновым, — обратился адмирал к командиру корабля.

Самогорнов шагнул вперед.

— Классически стреляете. Молодцом. Впрочем, вам стре-

лять плохо нельзя. И дед ваш, и отец — народ на флотах известный. Вам плохо стрелять категорически запрещается.

— Так точно, запрещается.

— А Веригин кто? — Он поискал глазами среди офицеров Веригина и не ошибся, указал именно на него. — Вы Веригин?

— Так точно.

— Вон вы какой, прямо-таки готовый загребной на призовую шлюпку, а я вас субтильненьким представлял. — Адмирал смерил глазами Веригина с головы до ног и остался довольным. — Мне ваша стрельба, э... не будем вдаваться в детали, понравилась. Вдохновение чувствуется в почерке. Это, батенька, великое дело — вдохновение. Будет из вас толк.

— Рад стараться! — по-матросски отсалютовал Веригин, не ожидавший похвалы.

— Мы его тут поругали немного, — усмехнулся капитан первого ранга, выгораживая Веригина с его старомодным «рад стараться». — Вот он до сих пор и не придет в себя.

— Не без этого... Не без этого, — как-то вскользь, не придав значения словам командира корабля, заметил адмирал. — На службу не обижаются, — и первым прошел в кают-компанию.

За ним, соблюдая субординацию, тронулись командир, замполит, старпом, и только потом уже потянулись остальные офицеры, опять-таки соблюдая старшинство.

Веригин тихонько выскользнул в вестибюль, оттуда на поручнях съехал на свою палубу. Наверное, следовало бы радоваться, что все обошлось благополучно, но радости не было, и где-то в потаенном углу уже копилась и зрела обида: «За что?» В каюте он быстро разделся, разобрал койку и, нырнув под одеяло, блаженно потянулся и понял, что не уснет, хотя спать хотелось со вчерашнего дня, но такова уж загадка человеческой природы: чаще всего желания идут вразрез с возможностями, и в зависимости от того, что подавляет — желания возможности или возможности желания, — яснее проступают те или иные грани характера. В эти минуты у Веригина все соответствовало одно другому, но спать он не мог, лежал с закрытыми глазами, даже пробовал считать и до ста, и до трехсот, но мысли наплывали сами, бесшумно и быстро, как облака в непастье, и на душе было и нехорошо, и неспокойно. Ему даже казалось, что он видит свои же мысли, тяжелые, с молочно-сизыми краями, из которых в любую минуту мог пролиться

дождь. Он невольно провел по глазам и по подушке, но и глаза, и подушка оставались сухими, и Веригин не сразу сообразил, что минутой назад он плакал горько и безутешно, и эти слезы, хотя они так и не пролились, он тоже видел, и ему стало страшновато за себя, но он даже не пошевелился, словно бы оцепенел.

Сколько он так лежал — час, два? — он не знал и все думал, думал, вернее, вглядывался в свои мысли, и они ровно и безмолвно плыли от горизонта к горизонту, и мир уже казался не округлым, а прямоугольным. «Да что это со мной?» — вяло спрашивал себя Веригин и, не в силах уже ответить, неожиданно провалился, но и проваливаясь, он все еще ощущал себя в яви, чувствовал немоту своего голоса, пока дали не озарились, и он увидел перед собой ромашковый луг и посреди этих ромашек — Варьку, а потом все смешалось, померкло, и на месте многих ромашек появилась одна, с мохнатыми лепестками, окружившими золотистый венчик, среди которого были еще и розовый, и голубой, и Веригин догадался, что это не ромашка, а Варька, и, шалея от радости, побежал, взбрыкивая ногами и крича: «Варька! Ва-арька...» — и проснулся. За столом сидел Самогорнов и внимательно наблюдал за ним.

— Ты чего? — спросил Веригин, с трудом соображая, что явь-то — вот она, в лице Самогорнова, а ромашковый луг с Варькой всего лишь сон.

— Я-то ничего, а вот ты-то что?

— А что я, кричал?

— Кричал, родной, кричал, желанный. Сперва, правда, улыбался, хорошо так, светло, а потом как гаркнешь: «Варька!» Я, братец, чуть со стула не слетел и понял, ясное дело, в какие дали тебя унесло.

— Тяжко мне, — помолчав, пожаловался Веригин.

— А кому, братец, не тяжко?

— Тебе, к примеру.

— Ошибаешься, братец. Ты думаешь, меня из другого теста лепили? Да нет, братец, меня человеки на свет произвели, и я, стало быть, человек, а человеку, если у него голова на плечах, а не печной горшок, ох как часто бывает тяжко. Мы артиллеристы и давай-ка оглядимся окрест с нашей колокольни. Оно как-то попроще будет. На чем мы основываем свою стрельбу? А на том самом, что и мы не движемся и неприятель стоит на ровнехоньком киле со всеми застопоренными машинами. Вот какие мы паиньки: мы стоим, неприятель стоит, стрельнул — и попал. Ан нет, потому что и мы куда-то идем, и неприятель зачем-то шканды-

бает, не хочет, стервец, стоять на одном месте. И нас качает, и его качает. Он в одну сторону прет, а мы — в другую. А там еще ветер, деривация, температурный режим воздуха и температурный режим погребов, курсовые углы и вся прочая мура. Вот мы и начинаем вносить поправки: одну, другую и третью. Глядишь, оно и ладно получится. Так что смотри на все это как на необходимые поправки.

— Жизнь-то — она ведь не стрельба, — возразил Веригин.

— А разве я тебе говорю, что стрельба — это жизнь? Стрельба — это всего лишь проверка наших качеств, если хочешь — характера. Тут уж без обмана, все проверяется на излом. Не сломали — будешь жить; сломали — ищи себе местечка поукромнее, где и ветры не дуют, куда и волны не достают, только хотел бы я знать, где это самое место находится? Нет, Веригин, для нас такого места, а поэтому вноси поправки, корректируй стрельбу, бей так, чтобы щепки летели. Мы с тобой, братец, сильные, а сильные всегда выживут.

— Твоими бы устами да мед пить.

— Нет, моими устами только водку хлестать, а мед пусть пьют чистенькие. Только учти, не люблю я чистеньких, от них розовым мылом воняет.

— Ты хочешь сказать, что и от меня воняет? — обиделся Веригин.

— Воняет, только не розовым мылом, а здоровым мужицким потом. Когда пойдешь на берег, не забудь ноги помыть, а то негоже с такими ногами в чистую постель укладываться.

— А и верно, схожу-ка я в душ, — неожиданно подумал вслух Веригин.

— Сходи, братец. Духи пресную воду дали, а здешняя водица, говорят, шелковая...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В Энске простояли сутки и вторые, и только на исходе третьих сыграли боевую тревогу и начали готовить корабль к походу. Веригин, смирясь со всем, бродил хмурый, хотя и понимал отлично, что в случившемся меньше всего его вины, и все же чувствовал себя виноватым перед Варькой, сбегал на почту отбить телеграмму и только там выяснил, что напрочь забыл и номер дома, и фамилию Алевтины Павловны. Но он все-таки упросил телеграфистку принять

бланк с довольно-таки сомнительным адресом: «Улица Трех Аистов, в собственный дом Алевтины Павловны».

— У вас совсем как у Ваньки Жукова: «На деревню дедушке, Константину Макарычу», — пошутила телеграфистка.

— Все мы в своем роде Ваньки Жуковы, — сказал Веригин, страшно довольный, что телеграмму приняли, а уж раз приняли, то и доставят. Казалось бы, пустячок — взяли телеграмму с идиотским адресом, а на душе потеплело, и мир сразу предстал этаким добреньким, голубым и розовым, хочешь — плескайся в нем золотой рыбкой, а хочешь — воспари над ним. Это же здорово, когда можно плескаться и воспарять.

На причале дивизиона гвардейских тральщиков матросы занимались строевой подготовкой, с удовольствием и даже озорством печатая шаг на бетонных плитах, и молодецки пели, подсвистывая, ухарски заканчивая каждую фразу: «Эх да!»

Привет морскому ветру, сбылись мои желанья.
Об этом и гармоника поет.
Подруга, до свиданья, мамаша, до свиданья —
Иду я моряком в Балтийский флот.

Веригин остановился, но, чтобы не вышло, будто он праздно глазеет — не к лицу морскому офицеру пустяками заниматься, — начал закуривать, ломая второпях спички, и слышал, как сердце радостно млеет: и сам недавно ходил в строю, и шаг печатал, и пел, и подсвистывал, но позвольте — когда все это было?

На соседнем причале, перекрывая первых, рявкнули:

В гавани, в кронштадтской гавани
Пары подняли боевые корабли на полный ход.
Уходят в плаванье с кронштадтской гавани,
Чтоб стать на стражу Советской страны.

На первом не остались в долгу:

Чтоб мирно колыхалась у берегов Отчизны
Соленая балтийская вода...

Веригин ходил в строю на правом фланге, ходил-ходил по набережной Лейтенанта Шмидта, по ровным — в линейку — линиям Васильевского острова, будто бы и не замечал никого, и все-таки ухитрился высмотреть Варьку, — они на вечернюю прогулку, и она с подружками проветриться, — и Варька высмотрела его, а потом и познакомились на танцах. Варька тогда училась на третьем курсе Герценовского института, а он — на четвертом, и было у

Варьки в то время много знакомых из их училища, из училища имени Дзержинского — Дзержинки, — из Пограничного военно-морского, а у него — она одна, а потом осыпались ее знакомства, как листья по осени, и остался он у Варьки тоже один.

— Варька у нас бедовая, — доверительно говаривал ее отец, угощая Веригина на кухне чайком, а сам пробавляясь водочкой, пока Варька готовилась к показательному уроку. — Сколько к ней моряков в гости переходило, а выбрала тебя одного.

Веригину не нравились эти разговоры — получалось, что не он, а его выбрали, — грустнел, обижался, а когда Варька шла провожать его, дотошно и сварливо выспрашивал ее о всех знакомых и незнакомых курсантах и готов был ревновать Варьку к первому попавшемуся столбу, которых в Питере, как известно, несметное множество. Варька только хохотала:

— Погоди, родненький, придет время, сам все узнаешь.

Вот и дождался он, а толку-то в этом: он — здесь, Варька — там, а вернется он, то, как знать, может, Варьки-то и след уже простынет.

— Веригин, ты, что ли? — окликнули его. Он обернулся и увидел однокашника по училищу, удивился, обрадовался и, смутясь, начал оправдываться, что вот-де ходил на почту и задержался покурить на воле.

— А я гляжу: ты или не ты. Хорошо, что ты. — Они обнялись, похлопали один другого ладонями по спинам, и однокашник спросил: — Ты на крейсерюге?

— На нем.

— А я на дивизионе гвардейских. Вчера таскали для вас щит. Кстати, кто последним палил?

— Да я и палил.

— Ну, даешь... Весь щит в щепки. Теперь неделю будут приводить в порядок, — восхитился однокашник и озабоченно полюбопытствовал: — Влетело?

— Малость было, — сказал Веригин, но уточнять не стал, за что ему влетело.

— За такую пальбу и пострадать не грех. Ну, а что Варя, пишет?

— Варя в городе за дюнами среди готических соборов, — словно бы пошутил, но в общем-то довольно грустно сказал Веригин.

— Поженились?

Веригин помялся:

— Вроде бы и поженились, а вроде бы и нет. — И, чтобы больше не касаться этого, спросил: — Что это вы строевой занимаетесь? К параду будто бы рано готовиться.

— Какое там — к параду. В воскресенье двенадцать апостолов замечания получили от комендантской службы: у того бескозырка слишком на затылке, тот честь не с того конца отдает. Комдив и рассвирепел.

— То-то они стараются.

— Не постараешься — на берег не пойдешь. Служба-то как?

— Да что служба — сам видел. А у тебя?

Однокашника позвали к строю, он только рукой махнул и затрусил восвояси. Веригин посетовал: год почти не виделись, а встретились — слова разумного не нашли, почесали языки, как бабы у колодца: что? да где? да почему? Эх, жизнь...

«Черствеем мы, что ли? — подумал Веригин. — Чувств своих стыдимся, все куда-то торопимся, все с налету, слово ласковое боимся сказать». Он уже хотел окликнуть однокашника — строй там рассыпался, — поспрошать его о том о сем, чтобы хоть какая-то искорка пробежала, пригласить в гости, но пригласишь, а там, кто знает, как пойдет разговор: одних в каюте не оставят, придется о стрельбах речь держать. «О боже, сперва Остапенко, теперь вот стрельба, а завтра — что?» — Веригин даже поежился и побрел к себе на крейсер. И ничего тут не поделаешь: видимо, одни дорожки сходятся, а другие расходятся, и приобретения всегда чреваты потерями, и хорошо бы только приобретать, а не терять, но ведь не получается так.

В каюте он переоделся в рабочее, позвонил в башню.

— Дежурный артиллерийского дозора матрос Остапенко.

«Легок на помине». — Веригин усмехнулся и, все еще усмехаясь — он явно кому-то подражал, но не мог вспомнить кому, — спросил:

— Ну что, матрос Остапенко, идет служба?

— Так точно, товарищ лейтенант!

Вот все как просто, оказывается, кому-то ты — «так точно», кто-то тебе — «так точно», а ведь прав командир: очень часто и не так все, и не точно, а как-то иначе.

— Медовиков в башне?

— Так точно.

Медовиков подошел тотчас, в двух словах доложил, что работы идут полным ходом, из начальства никто не появлялся и все, значит, спокойно.

— Ну и добро... Добро, Медовиков. Если что, я в каюте.

Медовиков пошутил:

— В своей?

— Ну а в чьей же?

— Если хочешь жить в уюте, спи всегда в чужой каюте.

— Не хочу я уюта, Медовиков, и спать не хочу. Решил таблицы стрельбы просмотреть, — невольно сказал он как бы в свое оправдание, что он-де тоже делом занят, хотя оправдываться перед подчиненным было нелепо, и, поняв всю нелепость и досадуя на себя за эту нелепость, положил трубку. Еще минуту назад он не думал и не вспоминал ни о каких таблицах, но, не желая быть неверным в словах, он достал таблицы, разложил их в той последовательности, в какой положено вводить поправки в автомат стрельбы, и неожиданно нашел свою ошибку. До этого ему казалось, что его ошибки не было и не могло быть, а случилось нечто непредвиденное, скажем, попался некачественный порох, замешкались наводчики или — и это тоже не исключалось — матрос перепутал поправки, но теперь-то он видел, что ошибка была. Как хорошо, когда повинен кто-то другой, пусть даже неизвестно кто, и как гнусно становится, когда виновным оказываешься сам.

Веригина даже пробил холодный пот, словно он в темноте споткнулся и поддел носком что-то живое, и он на самом деле и споткнулся, и поддел, но этим живым и был он сам. «В душу... в гроб... в дышло...» — сквозь зубы выругался Веригин и начал затравленно метаться по каюте, понимая, что нельзя это утаивать, но и не утаить как-то тоже вроде бы накладно получалось, что ли... Буря-то миновала, ну, может, поругают еще разок-другой, а там и совсем перестанут, как это говорится: тело заплывчиво, дело забывчиво. Ну, забудут, ну ладно, а как ему самому-то жить дальше, ведь это он же пытался свалить на кого-то свою вину, пусть молча, пусть только думал об этом, но уж раз думал, то, значит, и пытался.

Веригин позвонил комдиву.

— Кожемякин слушает.

— Товарищ капитан-лейтенант, я только что проанализировал по таблицам свою первую стрельбу и нашел ошибку.

— Очень мило. Надеюсь, вы теперь понимаете, что на вас не собак вешали, а пытались вывести на путь истины.

— Так точно. Я ввел в автомат не те данные.

— А вы разве в этом сомневались?

— Считаю, что заслуживаю самой низкой оценки, — косвенно, чтобы не говорить ни да ни нет, ответил комдиву Веригин.

— А вот рефлексия уже ни к чему. Неважно, что считаете вы, лейтенант Веригин. Важно, что считает командование. Вперед и выше. У вас все?

Веригин хотел сказать, что у него еще не все, потому что он скрытый негодяй, каких не видел белый свет, сам наделал дел да еще пытался свалить все с больной головы на здоровую, но пытался сделать это не явно, а тайно, душой, если так можно сказать, подличал.

— Тебя спрашиваю, Андрей Степанович. Все?

— Так точно, все.

— Будь здоров.

«Лучше бы я не искал эту ошибку, — огорченно и растерянно подумал Веригин. — Кому какое дело, что я пытался что-то на кого-то свалить? Но ведь не свалил, даже не заикнулся о своих сомнениях. Подумал — и точка. Мало ли кто и что на своем веку передумал. Ясно только одно: ошибка была, и ясно, что она моя, и — баста».

Может быть, впервые в жизни Веригину захотелось обнажить тайное тайных своей души и покопаться в ней, посмотреть, что там хорошо и что плохо, и неожиданно его осенило: подлость, пусть сокрытая от людских глаз, пусть даже спрятанная в темных уголках, рано или поздно, словно ржа, проточит любые запоры и всплывет на свет божий, и тогда уже поздно будет искать себе оправдание. Сподличал в душе, смалодушничал, затаил зерно чертополоха, а оно взяло да и проросло в самый неподходящий момент, а впрочем, у малодушия и подлости нет подходящих или неподходящих моментов — для них все моменты хороши. «Вот так-то, товарищ лейтенант, Андрей Степанович. Прорастут, и тогда-то уже точно — баста, и будь здоров, а там гадай, с чего началось да как случилось».

Без стука, толкнув дверь ладонью, влетел Першин:

— Слушай, э-э... а где Самогорнов?

— А я тебе не нужен?

— Пока не нужен.

— В таком случае, не мог бы ты закрыть дверь с той стороны?

— Это что-то новое, но, если быть точным, не могу. Видишь ли, как бы тебе поделикатнее сказать, хотя какие еще к черту деликатесы. Понимаешь, мне на некоторое время необходима некая экономическая помощь в виде твердого советского рубля.

— А у меня его нет, — сказал Веригин. У него на самом деле насчитывались какие-то жалкие крохи — деньги

он оставил Варьке на подоконнике, где должна была стоять геранька в горшочке на тарелочке с голубой каемочкой.

— Догадывался, но теперь почему-то начал сумлеваться.

— А не надо сумлеваться. Сам же знаешь, что у меня гостья.

— Правильно, у тебя гостья. Об этом я как-то не подумал. Кстати, очаровательная, я тебе уже говорил, но прими еще раз мои поздравления, а хочешь, то и сожаления.

— Но почему же сожаления?

— Да потому, милый юный друг, что очаровательная женщина для нашего брата — золотая клетка. Сиди в ней, простись с друзьями-товарищами и посапывай в две дырочки. А выбрался на свет божий, клетку-то, глядишь, и уволокли. Охотников на золотые клетки — пропасть. А нам бы кого попроще, оно как-то спокойнее.

— То-то ты бросаешься на кого попало... Видел я тебя с одной в клубе. Это не то что золотая — платиновая клетка-то.

— Плохо смотришь, юный друг. Это не клетка. Это ходовой товар. Знаешь, как в песне: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». Значит, денег у тебя нет?

— Денег у меня нет. И у Самогорнова их, кажется, тоже нет.

— А что же делать? Бытие, понимаешь ли, до сих пор определяет сознание, а как определить это самое сознание, если нет бытия? Скажи мне, юный мой философ.

— Если ты еще раз употребишь слово «юный», я вынужден буду стукнуть тебя стулой.

— Резонно... Так, говоришь, денег у тебя все-таки нет?

— Денег у меня нет.

— Но у кого-то они должны быть?

— Видимо, у того, кто уже определил свое сознание бытием. — Веригин помялся и заново, но как-то уж очень неуверенно спросил: — А много ли тебе надо?

— Сотняшки полторы-две, оно бы впору пришлось.

Оказавший единожды услугу сам порой нуждается в услужении, и Веригин, понимая это, не мог оставить Першина в затруднении, — в конце концов, тот навел Веригина на Алевтину Павловну. И не только навел, но и раздобыл разрешение коменданта.

Веригин начал названивать в башню и тотчас напал на Медовикова.

— Такие-то дела, Василий Васильевич, — не то чтобы заискивая, но и не совсем твердо сказал Веригин. — Поспрошай-ка там у ребят, не найдется ли у кого взаймы.

— А много ли надо? — равнодушно и как-то весьма обыденно, словно они одалживались каждодневно, спросил Медовиков.

— Проси три, — шепнул Першин, слышавший их разговор.

— Три, — вслед за Першиным обреченно повторил Веригин, невольно думая, что сумма эта весьма и весьма значительная, если учесть месячное содержание того же Медовикова, не говоря уже о матросах, и зря он ввязался в эту сомнительную операцию, потому что в его отношениях с Медовиковым теперь может появиться панибратство, и та разумная дистанция, на которой они держались до сих пор, как бы сама собой исчезнет, но деваться было некуда. Варька-то стараниями того же Першина находилась под теплым крылышком Алевтины Павловны, а это тоже что-нибудь да значило.

— Добро, — подумав и, видимо, подсчитав что-то в уме, промолвил Медовиков. — Через десять минут буду.

Першин облегченно вздохнул.

— Ты гений, Веригин. — Он даже забыл про свое излюбленное «э-э...». — На кой черт ты пошел на флот. Твое место в государственном банке на самой вершине иерархической лестницы. Там, и только там, ты способен творить чудеса.

— Слушай, оставь свои чудеса до другого раза, а мне, ей-богу, тошно. Если тебя интересует, то я впервые занимаю у подчиненного. По сути дела, вступил с ним в отношения, противные службе.

— Ай-яй-яй. — Першин деланно-горестно покачал головой. — Какие мы славные и примерные. Так вот тебе откровенность за откровенность. Устав — это именно тот свод воинских добродетелей, которые мы только и делаем, что нарушаем. Человеки мы, Веригин, и, чем ближе к совершенству, тем больше грешим. Людям несовершенным трудно грешить: они и рождены в грехе, и живут в грехе. Так что для них и грех уже не грех, а нечто вроде развлечения. А совершенству иную пищу подавай, как, скажем, нектар богам. Совершенство, Веригин, — тяжкая ноша для человека.

— Ты поделись этими мыслями с адмиралом. Он быстрее тебя поймет.

— К сожалению, ему трудно до нашего брата снизойти. Время мелких страстишек, а следовательно, и мелких грешков для него миновало. Крупные люди и грешат по-крупному. Так что у нас все впереди.

Постучали в дверь, резко, по-хозяйски, уверенные, что их ждут, и следом вошел Медовиков; увидев офицера из окружения адмирала, даже бровью не повел, ловко вскинул к козырьку руку:

— По вашему приказанию...

— Отставить, Медовиков... Принесли?

— Так точно. Сколько просили.

Першин просиял, и Медовиков понял, для кого старался Веригин, но деньги все-таки передал своему командиру. Усмехаясь, спросил:

— Можно идти?

— Вполне.

Медовиков ушел так же проворно и лихо, как и появился, и Першин, не глядя, сунул деньги в боковой карман, облегченно, словно бы с завистью, вздохнул.

— Все-таки недурственно иногда иметь подчиненных.

— Просись на строевую службу.

— Уволь. Подчиненные — это неволя, а я безумно обожаю эту самую свободу. Наш классик весьма правильно по этому поводу заметил:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы...

— Ты неплохо читаешь, — скупо похвалил Веригин — Першин на самом деле читал хорошо, — но похвалил-то он только потому, что неожиданно почувствовал раздражение: опять поступил не лучшим образом, словно бы нечестно, и уже само присутствие Першина в каюте стало ему противным.

— Моя восторженная мамочка жаждала меня видеть на сцене и в школьные годы вынудила меня брать уроки декламации. Это звучит немножко торжественно: де-кла-мация. Увы, не получилось.

— Не горюй. — Веригин понял, что сдерживать далее себя невмоготу, и холодно так, расчетливо сказал: — Со временем из тебя кое-чего получится.

— Могу обидеться.

— Беру свои слова обратно.

— Принимаю к сведению. Честь имею. — И Першин, сухо щелкнув каблуками, вышел и хлопнул дверью.

А потом наконец ввалился Самогорнов, сбросил с себя фуражку, китель, стянул тельняшку, долго, отфыркиваясь, полоскался под краном и также долго растирался полотенцем.

— Где тебя черти носили?

— Там же, где и тебя. В башне. Снарядную подачу регулировал. На носу калибровые стрельбы.

— Я-то, положим, на почту ходил, — лениво сказал Веригин.

— Правильно. Назвался груздем — полезай в кузов. А чего это от нас Першин вылетел как ошпаренный? Ты особенно-то на него не налетай и уму-разуму не учи. Он сам знает, в какую дверь войти и в какую выйти.

— За деньгами приходил, а потом маленечко поцапались.

— Скажите-ка... У Веригина деньги объявились. Веригин под проценты ссужает.

— Нет у меня никаких денег. Матери пошлешь, сестрам, а тут еще Варька приехала. Перехватил у Медовикова.

— Как это — у Медовикова? — поинтересовался Самогорнов, влезая в чистую тельняшку и от удовольствия шевеля лопатками.

— Это что — допрос?

— Нет. Товарищеское любопытство. И потом: я все-таки старший в носовой группе.

— Занял для него у Медовикова.

— Шляпа же ты, братец.

— Это почему?

— Сейчас объясню. — Самогорнов не спеша причесался, надел выходной китель, но, заметив, что пуговицы поблекли, снова снял, достал чистоль, досочку для чистки, бархотку, потеснив Веригина, сел к столу. Веригин ждал. — Заруби себе на носу: никогда не занимай ни у начальства, ни у подчиненных. Начальство подумает, что ты развратник и пьяница, раз не имеешь карманных денег. А что подумает начальство — берегись, это почти готовая аттестация. Подчиненные сочтут тебя крохобором, и тогда прости-прощай твой драгоценный авторитет. Уяснил?

— Хотел порадеть...

— Похвально, но научись радеть за свой счет, а не за счет ближнего. Тем более что ближний — он еще и подчиненный.

— Нехорошо-то как. — Веригин почувствовал, что лицу стало жарко, а ворот у кителя оказался туговат. Он расстегнул крючки. — Ума не приложу, что теперь делать.

— Пора бы и знать, что делать. Сколько? — спросил Самогорнов.

— Что — сколько?

— Сколько занял? — повысил голос Самогорнов, сердясь на непонятливость Веригина.

— Порядочно. Три сотенных.

— Открой мой ящик, там, под документами, найдешь деньги. Положишь в получку, потому как милостыню не подаю. Милостыня оскорбляет — не обижает, а оскорбляет человека. И тотчас же разыщи Медовикова. Придумай, что сказать, ну, для примера, держал пари, что у тебя старшина огневой команды парень хоть куда, если попросишь, в лепешку разобьется. Словом, сам сочиняй, но извиниться перед Медовиковым в любом случае не забудь. Шевели, братец, мозгами, это пользительно.

— Чего там сочинять, скажу все, как было.

— Дело хозяйское, но и Медовикова при этом не обижай. Тебе с ним служить еще, как медному котелку. Мужик он многотрудный, умный, впрочем, не столько умный, сколько хитрый. Смотри — вмиг обротает, и станешь ты, братец, английской королевой, будешь читать тронные речи. Он даже шлейф за тобой станет носить, но и править будет он. А ведь для нас башня — первый университет. Постигнешь азы — поймешь всю науку, не постигнешь — будешь потом пребывать не в должности, а при должности. Смекай и Медовикова попусту не дергай. Обидишь его — считай, что себя обидел.

— Спасибо за науку, — пробормотал Веригин, — только что-то многонько учителей у меня развелось.

— Во-первых, всех слушай, но не всех слушайся. Во-вторых, для кого-то и ты учитель. В-третьих, благодари бога, что пока учат. Придет время, учить кончат, и тогда уж пощады не жди. Достаточно — или?..

— Завидую тебе, Самогорнов. Честно, по-человечески завидую и никак не могу понять, что тебя роднит с Першиным?

Самогорнов лукаво усмехнулся:

— Во-первых, спрашиваешь вторично. Во-вторых, как прикажешь отвечать: по пунктам или вразброс?

— Давай вразброс.

— Прежде всего то, что и нас с тобой. Мы носим форму, которая освящена памятью многих поколений наших знаменитых, незнаменитых и вовсе безымянных пращуров. Посмотри внимательно на свой тельник, и ты увидишь на нем кровь. Он весь пробит, изрешечен, исполосован. Я привык с детства уважать людей в тельняшках. Ну, а если ты

подходишь к человеку с уважением, то с ним легко и поладить. Кроме того, я усвоил малюсенькую истину, что безгрешных людей не бывает. Святоши есть, а святых нет. Святыми становятся после смерти, когда грешить уже невозможно. А раз уж усвоил, то и научился прощать ближним эти самые мелкие грешки.

— Допустим. А как ты объяснишь, почему Першин к тебе тянется?

— Он не ко мне тянется, — смеясь, сказал Самогорнов, — к фамилии моей, которая прочно вцементировалась в историю отечественного флота, а Першин любит все звучное. Ну и пусть его. Он не знает малой малости, что эта фамилия только светит и даже меня не греет.

— Давеча мне хотелось назвать его пошляком.

— Хотелось или назвал? — живо поинтересовался Самогорнов.

Веригин решил порассуждать о чести и товариществе — стих такой нашел, — которыми неизменно гордился флот, он и начал хорошо и говорил хорошо, но скоро получилось так, что сам-то Веригин, не в пример некоторым, и честен, и порядочен, а это уж было похоже на чистой воды хвастовство, к тому же память вытащила из своего тайника ту встречную женщину, которую Веригин издалека принял за ленивую смиренницу, вспомнил он и свою мужественную ложь, понял, что запутался в собственных же тенетах, — не Першина следовало бы костерить, а обратиться бы к собственной персоне, — и совсем потерял нить своих рассуждений.

Самогорнов терпеливо скучал и, когда Веригин умолк, безжалостно спросил:

— Хотел или назвал?

— А разве это так важно?

— Если бы только хотел, то я оставлю это на твоей совести. Пусть она сама разберется, где лево и где право. Но если ты назвал, то в равной мере будешь иметь дело и с Першиным, и со мною, потому что я не приучен к тому, чтобы оскорбляли моих товарищей, какими бы они ни были. Мой товарищ — это в некотором роде я сам.

— Не назвал, только намекнул.

— Дурак в кубе, — вразумительно произнес Самогорнов. — Есть просто дурак. Есть дурак в квадрате, а ты дурак в кубе.

— Почему же в кубе? — опешив, спросил Веригин.

— Подумай на досуге.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

И опять ушли в ночь, тихо, погасив огни, словно крадучись, — и Энск с его благоустроенными причалами, с грудами искореженного металла, который в свое время тоже куда-то крался, а теперь лежал старой рухлядью, до которой не дошли руки, с чистеньким, умытым, как корабельная палуба, ровнехоньким — в струнку — проспектом, помаячил в темноте желтым светом фонарей и исчез.

Все-таки тем-то и хороша флотская житуха, что, куда бы ни шел моряк, в какие бы широты ни забредал и в каких бы гаванях ни отдавал якорь, он, словно черепаха в своем панцире, всегда и неизменно дома: и в Энске, и на траверзе старой базы, и бог весть где еще, а главное, и на походе — дома, и в дрейфе — дома, и возле причальной стенки — дома, и стреляет-то он — дома, и все вокруг знакомое и родное до последней заклепки. Меняются за кормой краски, и ветер приносит новые запахи и звуки, но и краски и звуки постепенно начинают казаться прежними, потому что, изменясь в частностях, в целом-то они, подобно людям, остаются неизменными.

В подбашенном отделении снова пели матросы, ладно, красиво, что называется — с душой, и даже не пели, а рассказывали о себе в надежде, что кто-то услышит их, и поймет, и пожалеет, и оправдает, и позавидует.

Мы вернулись домой,
В Севастополь родной...

А вот у Веригина появился еще один дом, там, на улочке Трех Аистов, и знал же ведь он, что не дом это, а временное пристанище вроде бивачного очага: погасил его, растаял дым, и нет уже ничего, только, может быть, что-то со временем и забрезжит в ветхой памяти, затлеет уголек, подернутый сизым пеплом, а вернее всего, и не забрезжит, и не затлеет, но не все ли равно, что там будет в непроглядной дали. Главное, что теперь-то ждут, а где ждут, там тоже дом.

«Слышь, Варька, домой», — молча всем своим существом ликовал Веригин, и благостно было ему в эти минуты, он взирал на мир в окуляры визира, и мир перед ним распахивался широко, пенился волнами; где-то над ними, купаясь в мохнатых облаках, плыла бездомная луна и скупо лила на гребни свою холодную позолоту. Там, за тяжелой броней, метался промозглый ветер, выл в вентиляционных грибках, срывал с труб клочья дыма, бесновался как хотел

и как только мог, а тут, в башне, бабушкиными веретенами жужжали приборы управления стрельбой, покойно и мягко сияли лампы, щелкали контакты, и не надо было печалиться о том, что назавтра назначены стрельбы, и завтрашний день не обещал никаких хлопот и треволнений. Всему в этом суетном мире есть предел, и, казалось, предел этот наступил.

Веригин подремал за визиром и снова поглядел на море, даже помечтал о том, как будет хорошо, когда Варька завтра встретит его на причале, и они побредут по озябшим весенним улицам, давя в лужицах молодое стекло, и незачем будет спешить и терзать себя мыслями, что где-то что-то не сделано, и уже не верилось, что это желанное завтра придет и обернется вполне реальным сегодня, и все случится так, как он себе это представляет. А может, и не так все будет, и Варька не встретит его, да и Варьки-то самой, может, нет, а есть только мираж, сон, что ли, пусть светлый, сладостный, едва ли не ощутимый, но лишь сон.

«А все равно Варька есть, — себе же возразил Веригин. — Есть Варька-то. Понял?» — и, смутясь, оглянулся: дремал Медовиков, дремали командиры орудий и сами орудия, безобидные на вид, тончайшей, мастерской работы мужские игрушки, и весь корабль, казалось, погрузился в эту настороженную противоестественную дрему, но так только казалось, потому что корабль-то шел, вспарывая крутые волны, и в котельных отделениях возле форсунок полуголым кочегарам было не до сна, и машинисты в турбинном отделении не дремали, бодрствовали штурманы, рулевые внимали немым командам репиторов гирокомпаса, и десятки других людей в разных отсеках на боевых постах и командных пунктах были, что называется, на страже, а значит, дрема эта была относительной.

Над головой у Веригина щелкнул динамик, и невидимый Кожемякин свежим голосом окликнул:

— Первая башня!

— Есть, первая. Лейтенант Веригин.

— Вторая...

— Старший лейтенант Самогорнов.

— Третья... Четвертая... Стрельба по береговым целям через центральный автомат.

— Есть, стрельба по береговым целям, — весело отозвался Веригин, поняв, что комдив решил потренироваться сам: «Пусть-ка его». — Медовиков!

— Есть, Медовиков.

— Башню на левый борт. Орудия на угол заряжания. Начать подачу.

— Есть, башню... орудия... подачу...

Взревели моторы, мягко отозвались им муфты «Дженни», башня покачнулась и поплыла на борт, и следом залязгали элеваторы снарядной и зарядной подачи, с нарастающим гулом побежали по лоткам толкачи, башня наполнилась гулом, словно в бездонную железную трубу опрокинули ящик болтов, гаек и прочей металлической ерунды.

— Товсь!.. Залп... Первая башня, на среднем орудии пропуск.

— А чтоб вас! — выругался Веригин. — Медовиков!

— Есть, Медовиков! — крикнул Медовиков. — Остапенко, тебя спрашивают, куда гляделки уставил?

«Держись, Остапенко, — дурачась, подумал Веригин. — Берегись, Остапенко. Шевелись, Остапенко. Я для тебя командир башни, а бог, царь и Марья Ивановна для тебя — Медовиков».

— Товсь!.. Залп!.. Переходим на скорострельность. Третья башня — пропуск.

Нет горше, обиднее и позорнее этого слова — «пропуск». Все, казалось бы, хорошо и выверено как часы: и снаряды с зарядами в казенниках, и запальные трубки в замках, и орудия смотрят на цель, и дело только за управляющим огнем, но в самое решительное — единственное! — мгновение кто-то из наводчиков обманулся, не совместил на шкале точной наводки блуждающую стрелку с неподвижным индексом, и не замкнулась цепь, не пробежала искра в запальной трубке, не вспыхнул порох, и, значит, все эти часы ночных бдений и дневных тренировок летят в тартарары. В мирное время еще так-сяк, не зачтут стрельбу, напишут приказ, ну, мало ли еще какое сверх того придумают наказание, а в бою, когда на горизонте неприятель и у него тоже снаряды с зарядами в казенниках, и запальные трубки в замках, и за визиром свой управляющий стрельбой, а наводчики при всем при том окажутся поудачливее, тогда что?

Чтобы не возникал этот роковой вопрос — быть или не быть? — в боевой организации корабля должна учитываться любая мелочь, — впрочем, мелочей, как таковых, не существует, потому что боевое обеспечение в конечном счете и слагается из этих каверзных мелочей, как сама жизнь: кирпич по кирпичу вырастает все мироздание, и, чем крепче кирпич, чем плотнее они подогнаны один к другому, тем надежнее кладка. В Корабельном уставе об этом самом сказано точнее и проще: «Действия каждого матроса и стар-

шины на боевом посту должны быть доведены до автоматизма».

— Товсь!.. Залп!..

До автоматизма — и никаких гвоздей. Пусть над миром беснуются вешние грозы, льют грибные дожди, падает молодой иней, цветут радуги, и пусть где-то завязывается новая жизнь, а старая умирает, все это — пусть, потому что в Корабельном уставе нет места эмоциям, и железная его логика своим острием упирается в единую точку: либо ты, либо тебя.

— Товсь!.. Залп!

Так было вчера, позавчера, так пребудет завтра и послезавтра. Пока существует военный флот, он не может жить иначе, как, скажем, не может птица не летать, рыба не плавать, потому что бездеятельность была бы противоестественной, а если говорить начистоту, то и преступной.

— Товсь!.. Залп!

В Корабельном уставе об эмоциях ничего не сказано, на то он и устав, но если о чем-то нельзя говорить, то думать-то ведь об этом можно, и Остапенко, гоняя орудие по вертикали: угол заряжания — красная лампочка, угол наведения — зеленая (она загоралась, когда острие стрелки приходилось на острие индекса, и она должна гореть, иначе случится пропуск, и лейтенант Веригин — это еще так-сяк, и мичман Медовиков — это уже хуже, если не совсем плохо, опять станут ругаться), — Остапенко тосковал по матери, сломавшейся безвременно, и думал об отце, который в письмах хотя и печалился, но строил прозрачные намеки, что он еще мужик, и мужик в силах, и сын должен это понимать.

— Товсь!.. Залп!

Одно дело — боевые стрельбы, когда орудия изрыгают огонь и металл, совсем другое — тренировка «на матчасти», как это записано в планах боевой учебы. При всей важности, серьезности и необходимости — это все-таки что-то несерьезное, одним словом — игрушки, и мичман Медовиков неусыпно, но в общем-то машинально следил по прибору — те же красные и зеленые лампочки — за действиями наводчиков, кажется, был доволен ими, а сам между тем соображал, как ему лучше устроиться со свадьбой. Сестра мастера-земляка Наталья дала понять, что согласна: «Ну уж, ну уж...», и годить резону не было. «Туда-сюда, человек двадцать пять наберется, — думал Медовиков. — Клади на каждый нос полторы сотни. И сверх того еще тыщонку. Та-ак. Пили, ели — веселились, подсчитали —прослезились.

А Верегин-то — гусь лапчатый — хорош. Мы-де пари с «флажком» заключили. А мы вам что — лошади, чтобы на нас пари заключать? Знаем мы эти пари. Обидел ты меня, Андрей Степаныч. А за что, Андрей Степаныч? Ну да ладно, Андрей Степаныч. Мы люди маленькие, обиды долго не таим. Вот и на свадьбу позовем, в красный угол посадим. Не надо бы, Андрей Степаныч, обижать-то нас. Нехорошо это, Андрей Степаныч».

А ночь прошла свой зенит и покатилась в зарю. Пала предрассветная темнота, густая, тяжелая, словно весомая, на востоке вспыхнуло и озарилось облачко, и восток начал в муках разгораться. Видимо, дровишки за ночь отсырели и неохотно занимались, ветер дул на них и дул, и, наконец, заалел край небес, и сразу посветлело и похорошело море, стало уже не черным, а синим, сменив колер на своем безмерном полотне.

«Хорошо-то как», — подумал Веригин. Он да еще визирщики с дальномерщиком из нескольких десятков человек, определенных в башню конструкторской мыслью и боевой организацией, могли только видеть эту красотищу, и Веригин спросил:

— Дальномерщик, что видели?

И дальномерщик догадался о состоянии командира башни, а может быть, сам в эти минуты переживал нечто похожее и понял, почему тот спросил его, зрячего, а не кого-то другого, скажем мичмана Медовикова, и тихо, зная, что эти данные автомату стрельбы не перепроверить, отозвался:

— Чудо, товарищ лейтенант.

— Добро. А заметили, как сизое облачко парусом упало на зарю?

— Это не парус, товарищ лейтенант, это крыло чайки.

— А мне думается, что все-таки это парус. Я даже разглядел у него задние шкаторины, совсем как у чайного клипера. По всей видимости, он спешит с Цейлона и в трюмах у него ароматнейший лист.

Дальномерщик не согласился:

— Нет, это чайка. Она даже крылами машет.

Заря медленно разгоралась, вплетая в свою основу все новые и новые нити: розовые, малиновые, желтые и даже голубые, и облачко начало меркнуть и растекаться по горизонту сизым жгутом.

— Улетела ваша чайка.

— И ваш клипер уплыл.

— Мой-то еще вернется, — вкладывая в слова особый смысл, сказал Веригин.

— И моя прилетит, — тоже не без смысла отозвался дальномерщик.

И, словно подслушав их разговор, комдив Кожемякин усталым, осипшим голосом дал отбой:

— Дробь. Белое поле. Орудия на ноль.

Веригин позвонил на командно-дальномерный пункт, аистово гнездо, сплетенное на самой маковке фок-мачты, откуда неусыпно взирали на мир главные дальномеры и визиры крейсера и где даже в штиль качало, позвал комдива Кожемякина и, когда тот вышел на связь, лукаво, но стараясь придать своему голосу солидность, спросил:

— Товарищ капитан-лейтенант, это вы расстреляли мой чайный клипер?

— Не дурите, Веригин, — помолчав, нехотя ответил Кожемякин. — Это был летучий голландец. Он еще до сих пор блуждает по морям.

— Чайный клипер, — уточнил Веригин.

— Летучий голландец, — поправил его комдив Кожемякин. — И вот что, голубчик, — подтяните наводчиков. При скорострельности допускают непростительно много пропусков. Черт знает что такое. Займитесь лично. В ближайшее время стрельнем калибром. Вы отдаете себе отчет, что это такое?

— Так точно.

— В плане боевой подготовки отведите на эти цели не менее двух часов ежедневно. Вы поняли меня?

— Так точно.

— Добро. — И Кожемякин там, в аистовом гнезде, повесил трубку.

Веригин повернулся вместе с крутящимся сиденьем, потянулся так, что хрустнули позвонки и по всему телу пошла приятная истома, и только теперь понял, что устал безмерно, попытался встать, но ноги онемели и плохо слушались, словно из них вынули жесткий каркас.

— Слушаю, товарищ лейтенант, — сдвигая на затылок мичманку и делая вид, что он и не дремал и не собирался дремать, подал голос Медовиков. Впрочем, Медовикову не надо было что-то делать или казаться: лицо его, избитое оспинками и лишенное игры, неизменно оставалось плутовато-спокойным, словно высеченным из камня, по которому хлестко прогулялись дожди и ветры.

— А слушать-то, Медовиков, собственно, нечего. Ноги отсидел. Вот еще напасть. Будто ватные. А, Медовиков, бывает?

— Бывает. Чего и не бывает, а все равно бывает.

— Это как понимать?

— А так и понимайте. — Медовиков был хмур и сверх меры неразговорчив. Он не видел зарождения дня и даже не знал, что день уже зародился, со всех сторон его окружала броня, суровая и угрюмая, и он только что плохо подумал о Веригине, который в его представлении хотя и набирал силу — матерел, но еще много лопушил, что называется, давал петуха, и не мог так сразу освободиться от своих мыслей.

«Устал, — пожалел его Веригин. — В такой круговерти железо устанет, а что уж говорить о человеке. Человек — он и есть человек, из него железа не сделаешь, хоть бы кто там что ни говорил».

— Вернемся в базу — отдохнем.

— Как сказать. — Голос у Медовикова словно бы немного отмяк, и он усмехнулся, легонько опустив уголки губ, но подумал сурово, даже осуждающе: «Подлизываешься? А ты не подлизывайся, Андрей Степаныч. Я этого не люблю, Андрей Степаныч. Я не лошадь, Андрей Степаныч».— В базе будет не до отдыха, то да се, а там и к невестам пора. Невесты любят, когда к ним ходят.

— Любят, говоришь?

— А то нет. Живые же они люди, а живому живое требуется.

— Может, это иначе называется, Медовиков? Может, это любовью называется?

— А уж это кому как нравится. Слова — они слова и есть. Один тыщу раз скажет «люблю», а сам толком и не понимает, что это такое. А другой только один раз произнесет... — Медовиков помолчал, как бы говоря при этом, что этот другой-то — он, Медовиков, и есть, и Веригин понимающе кивнул ему, чтобы показать, что и он-де тоже такой.— Зато уж на всю жизнь. Любовь-то не понимать надо, а чувствовать. Если чувствуешь, то и слов не потребуется.

— Медовиков, а ты любишь? — спросил Веригин, словно забыв, что они только что выделили себя из среды подобных себе, понимающих, но не чувствующих, и как бы побуждая Медовикова продолжить разговор.

Медовиков хитро сощурился и тотчас погасил усмешку.

— На службе, слов нет, ты, Андрей Степаныч, командир для меня, и тут я по всем статьям не волен. Что прикажешь, то и стану исполнять. Прикажешь говорить — горло прочищу, прикажешь замолчать — замолчу. А в любви меня не пытай. Я в своей любви даже себе не подотчетен. Поэтому — ша! Есть она — береги, нет — ищи. Без любви-то

как жить? Вот ты скажи мне, Андрей Степаныч, ты грамотней меня. Я неполных шесть классов перед войной закончил, а ты училище в мирное время. Ты теорию стрельбы досконально изучил...

Веригин поморщился и сердито округлил глаза, подумав, что Медовиков имеет в виду минувшие стрельбы, но Медовиков быстро поправился:

— Я те два залпа не считаю. То ошибка была. Это с каждым может случиться. Я в принципе говорю, что ты ученее меня. Книжек больше прочел, в оперу ходишь, а я если говорить начистоту, то в операх ни бельмеса не смыслю. Мне песня ближе будет. Темнота я.

— Не унижайся, Медовиков.

— А я и не унижаюсь. Я правду про себя говорю. Мне унижаться нечего: что знаю, то знаю, а чего не знаю, то, может, еще и узнаю, поэтому вот и от тебя охота услышать — согласился бы без любви жить или не согласился? Положат, скажем, тебе адмиральский чин, сам всему голова, хочу виню, хочу милую, а любви не отпустят. Или наоборот: будет у тебя одна любовь, а больше ничего. Что ты возьмешь?

— Все возьму, Медовиков, и адмирала, и любовь. Не хочу делиться ни с кем.

— Это как же понимать? — озадачился и даже как-то опешил Медовиков, туго соображая, что тема его — или то, или это — развития не получит.

— А вот так: или все мое, или ничего. Меня любовь греет, значит, и я должен любовь греть. Вернемся мы в базу, пойду я к своей милой Варьке и, ты думаешь, скажу, поплачусь, что опростоволосился с первой стрельбой? Как же, держи карман шире! Я скажу, что стрелял как бог, потому что любви бог нужен, а не слюнтяй. И не совру, в следующий раз отстреляюсь как бог.

— Это-то я и хотел слышать, — довольный таким оборотом дела, сказал Медовиков. — Выходит, что не было б у тебя, Андрей Степаныч, товарищ лейтенант, любви, незачем, стало бы, и богом себя чувствовать. Бог-то — он для чего-то нужен, а сам-то по себе бог еще и не бог, а одно недоразумение.

— А ты, оказывается, у меня философ.

— Какой к черту философ. Жениться собрался, вот и оглядываю себя со всех сторон.

— Оглядел?

— Оглядел не оглядел, а по всему получается, что не прошибаюсь. А не прошибусь, так и сам сотворю бога. —

Медовиков опять сощурился и опять прогнал усмешку. — А хочешь знать, Андрей Степаныч, чего я на сверхсрочную остался?

— А верно, почему ты на сверхсрочной?

— В другой бы раз не сказал, а сейчас стих на меня такой напал, потому скажу. Форма мне офицерская к лицу. В любой другой одежонке я словно идол, а в этой — хоть картинку пиши. Подумал я, подумал — и решился. Службу я знаю, кителек на мне ладно сидит. Это тоже не последнее дело. Любая бабенка должна своим мужиком гордиться, а как же мной гордиться, если физиономия у меня на разрезанную головку голландского сыра смахивает? А так я хоть на фотографию и негож, зато остальное все чин по чину.

— А в рапорте небось другое написал?

— Писал и тоже, как и вы, не соврал. Может, у вас, — Медовиков перешел на субординацию, — какие претензии по службе есть?

— Претензий, Медовиков, нет. Дело ты знаешь и обязанности исполняешь на совесть. Но уж если мы перешли на откровенность, то скажу, чего, может, в другой бы раз не сказал. Побольше бы тебе человечности, Медовиков, и было бы самый раз.

— Человечностью меня не попрекай, Андрей Степаныч. У меня ее сверх меры. Только человечность-то человечностью, да ведь на службе надо прежде всего приказ исполнять, а в приказе, сами знаете, одно слово: приказываю. Тут уж как хочешь, так и похохочешь, да и не ко всем я строг. Чего тех строжить, которые службу знают? Тех строжить нечего. А вот Остапенко приходится строжить — опять пропуска делал. Я не против человечности, Андрей Степаныч, только одной человечностью орудия на цель не наведешь.

— Однако особенно-то не свирепствуй, — для приличия сказал Веригин, — и не только Остапенко, а всех наводчиков надо подтянуть. Комдив предупредил, что скоро калибровые.

— До калибровых подтянем, — прикинув что-то в уме, промолвил Медовиков таким тоном, что дело, дескать, плевое, а раз плевое, то и говорить об этом деле нет смысла.— Подтянем как миленьких.

Ободняло совсем, и по кораблю объявили вторую готовность, а там подали команду и на завтрак. Веригин оставил башню на попечение Медовикова, уверенный, что Медовиков поступит равным образом и посадит вместо себя

кого-нибудь из командиров орудий. Видимо, так и следовало бы поступить с самого начала, чтобы не выстраивать лесенку, но весь фокус заключался в том, что в присутствии Медовикова Веригин не мог поручить башню кому-то из командиров орудий, а Медовиков в отсутствие Веригина мог так поступить. Он, собственно, так и поступил, и оба они — Веригин и Медовиков — отправились на завтрак, только Веригин выбрал себе правый, парадный борт, а Медовиков — левый, рабочий.

На палубе было свежо, и Веригин, все еще мысленно рассуждая с Медовиковым на милую и дорогую ему тему, но не вообще, а со смыслом, имея в виду Варьку и себя, не стал задерживаться наверху, а сразу прошел в кают-компанию и там, привычно пробормотав «прошу прощения» и получив в ответ величественный кивок старпома Пологова, тотчас уселся на своем лейтенантском конце стола, потянул к себе масленку и начал густо намазывать хлеб.

— Мы хорошенькие, мы послушные, — насмешливо сказал Самогорнов, — мы проголодались и хотим кушать.

— Не мешай ему, — с напускной серьезностью посоветовал Першин. — Они — которые стрелямши. Они голодные. Им надо есть.

— Ошибаешься. Мы — это которые дискутировали о любви, — возразил Веригин.

— Смотрите-ка на нас, какие мы чувствительные, — снисходительно, словно похлопав по плечу, заметил Першин, а Самогорнов живо, с интересом спросил: — Позволь, с кем же? Уж не с Остапенко ли?

— Представь себе — с Медовиковым, и пришли мы с ним к обоюдному согласию, что любовь — это, так сказать, первооснова человеческого духа.

— Э-э... Веригин, брось трепаться, — осадил его Першин. — Любовь — это химера, некая дымовая завеса на подступах к сладострастию.

— Не понимаю, — сказал Самогорнов.

— Не понимаю, — сказал за ним и Веригин. — А как же жена?

— Милые мои лопухи, жена, как ни странно, та же женщина, и, подобно всякой женщине, она требует к себе внимания, подарков, чулок, цветов, духов, всяких там брошек. Я не говорю о материальном обеспечении семьи. Это само собой разумеется. А что такое цветы, духи, чулки? Вы назовете всю эту мишуру знаками внимания, любви. А если я назову это иначе? Скажем так: деньги, товар, расположение.

Першин говорил ровно, без интонаций, но что-то пакостливое было в его словах... Веригин заерзал на стуле, отодвигаясь к краю стола, и, краснея, громко сказал:

— Как ты смеешь! Как ты смеешь...

Улыбаясь, Самогорнов придержал Веригина за рукав, обернулся к Першину:

— Скажи мне, где правда: ты обижал женщин или женщины часто обижали тебя?

— Разве это так важно?

На лейтенантском конце стола вопреки неписаным, но почитаемым правилам заговорили слишком горячо. Старпом Пологов поднял глаза на командира боевой части Студеницына, молча спросил: «Что там у них?» «Да, что там у них?» — так же молча, одними глазами спросил Студеницын у комдива Кожемякина, сидевшего посреди стола и одинаково хорошо слышавшего, что творится у старших офицеров и у младших.

— Спорят о любви.

— Ну да, ну да, — сказал Пологов и неожиданно возмутился: — На шкентеле, а нельзя ли потише? Пора бы уяснить, что кают-компания не Новгородское вече. — И, обратясь к Студеницыну, как ни в чем не бывало спросил: — Успеешь погрузить боезапас за двое суток?

— Вполне.

— Я так командиру и доложу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В базу вернулись к исходу дня. Пока стали на бочку, прибрались и скатили водой палубу, пока приняли водолей, баржу с продуктами и вызвали наверх расходное подразделение, совсем завечерело, и город снова вызвездился шпалерами ночных огней и протянул к кораблю пепельные, едва приметные на воде дорожки. Крепко пахло йодом, рассолом, провозвестившими, что и в вечных водах, как в деревьях, начался свой вешний ток.

Веригин изнывал от нетерпения, бесцельно слонялся по кораблю, и все ему стало как-то нелюбо, и сам он себе был нелюб, неожиданно почувствовав себя лишним, таким, до которого никому нет дела на этом празднике будничной сутолоки. Он спустился в каюту, но там Самогорнов по просьбе комдива Кожемякина сочинял наставления для вертикальных наводчиков, которые минувшей ночью работали неважно, и грубовато попросил:

— Братец, хоть на голове ходи, только не приставай с разговорами. А лучше уйди с глаз. Для тебя же стараюсь.

Веригин послушался и поволок свое бренное тело в кубрик. Медовиков со старшиной подачи готовились к большой приборке и воскресному смотру по форме двадцать и устроили такой ералаш, что впору было святых выносить: проверяли койки, рундуки, шкафчики, сундуки большие и сундуки малые, и в кубрике стоял шум и гвалт, как в общественной бане. Веригин принял доклад дневального, постоял возле трапа, не решаясь ступить дальше, чтобы не нарушить в этом бедламе какой-то свой особый порядок, да и не дело было вмешиваться командиру башни в хозяйственные вопросы, которыми ведали старшины команд. Все же Веригин улучил минуту, позвал Медовикова, чтобы хоть как-то оправдать свое пребывание в кубрике, спросил:

— Такие-то дела, Василий Васильевич. Тебе надо на берег, и мне позарез там же следует быть. Как же поступим?

— Воля ваша, как поступите, так и будет.

— Да знаю, что моя воля, — сердясь, сказал Веригин, поняв, что на этой самой воле попал в дурацкое положение. — А если бы твоя воля была, как бы ты решил?

— Воля ваша, — повторил Медовиков, глядя в сторону и всем своим видом выражая досаду и нетерпение.

«Если я сегодня не пойду на берег, то Варька подумает черт те что, — потерянно подумал Веригин, — но если не пойдет Медовиков, то черт те что у него получится».

— Твоя еще долго пробудет здесь? — спросил он, стараясь найти хотя бы какой-то компромисс и не очень-то веря, что компромисс этот вообще возможен.

— Не ловчите, Андрей Степаныч, поступайте как знаете, — с обидой сказал Медовиков, и эта обида вконец расстроила Веригина, но, расстраиваясь, он начал злиться и уже не хотел поступаться собой, пусть даже ради Медовикова.

— Порешим так: сегодня иду я, завтра, после большой приборки, пойдешь ты.

— Добро, — сказал Медовиков, хотя никакого добра для себя в этом не видел, и сказал так, потому что в конце разговора младшему по званию и по должности положено это говорить, чтобы у старшего не возникло впечатления, что его не поняли.

— Остаетесь за меня.

— Есть, оставаться за вас.

— Добро.

Веригин вернулся в каюту. Гаденьким почувствовал он себя, как будто решил за счет ближнего своего построить собственное благополучие, и готов был уже не съезжать на берег — будь что будет, — но Самогорнов охладил его благородный порыв:

— Брось-ка, парень, разводить розовую демократию и по каждому поводу советоваться с подчиненным. К подчиненному ты должен идти с готовым решением. Так-то оно вернее будет. Комдив звонил и разрешил тебе сойти на берег. Слышишь: тебе, а не Медовикову. И нечего строить из себя новоявленного Гамлета. И еще учти: катер отойдет минут через десять, а другой скорой оказии может и не быть.

Веригин схватил портфель, в который загодя уложил остатки дополнительного пайка: шпроты, воблу, сгущенку, печенье, рванулся из каюты и поступил правильно, потому что катер тотчас отвалил от борта. Вахтенный офицер прокричал сверху, что старпом распорядился, чтобы товарищи офицеры прибыли на корабль не к подъему флага, а к началу большой приборки, то есть к семи ноль-ноль, но это уже не имело значения: впереди был еще куцый вечер, наполовину съеденный корабельными работами, и была еще вся ночь, о которой Веригин думал с неясной тревогой, и желал ее, и не желал, и даже, откровенно говоря, побаивался.

И чем дальше уходил от крейсера катер, тем стремительнее отодвигались одни заботы и надвигались другие, не менее важные и обязательные, и Веригин с каким-то тихим ужасом думал, что в его жизни что-то пошло не так: на корабле он неотступно всеми своими мыслями был с Варькой, даже видел ее словно бы наяву, чувствовал запах ее волос, слышал интонацию голоса, а теперь вдруг все исчезло: и видение, и запах, и голос, и он уже начал беспокоиться, что, обидевшись, Медовиков сделает что-то не то и не так и, наверное, все-таки надо было отпустить его на берег, а самому пойти завтра прямо после обеда, чтобы весь день пробыть вместе с Варькой, сходить куда-нибудь, ну, скажем, в ресторацию. А то, чего доброго, Варька решит, что он специально подгадал к ночи, хотя ничего он не подгадывал, и все получилось само собой. Но ведь как объяснишь, а если объяснишь, то еще вопрос — поверит ли она.

На пирс он сошел последним, безрадостный и темный, будто по принуждению, и все думал, думал, как ему теперь быть с Варькой: не жена она еще, да уже и не просто любимая, и прежняя еще и уже не прежняя, и сам он другой. «Господи! — неожиданно взмолился Веригин. — Скорей бы уж к одному берегу...»

Он миновал иллюминированную проходную и, очутившись в темноте, ослеп, сделал на ощупь и шаг, и другой, и тут его окликнула Варька:

— Андрюша, господи...

Он шагнул на голос, опустил портфель на землю, приобнял Варьку за плечи и, стараясь сдержать себя, начал гладить ее по спине, но не сдержался, рывком приблизил ее лицо к своему, мельком оглядел его и стал целовать Варьку в мокрые солоноватые глаза.

— Слышь, Варь. Не надо, Варь.

Она тихонько всхлипнула, словно выдохнула:

— О господи. Я уже думала, ты не придешь сегодня.

— Ты давно здесь?

— Часов с пяти. Видела, как вы с моря шли, как на якорь стали, — быстро, словно бы оправдываясь, проговорила она и засмеялась, весело и беззаботно. — Какой-то ты взъерошенный. У тебя все в порядке?

— Спрашиваешь... — Он снова приобнял Варьку, подхватил портфель и, сразу обретя уверенность и даже став немного нахальным, повел за собой Варьку и начал рассказывать, безбожно мешая грешную правду со святой ложью, и скоро уже сам поверил в то, что рассказывал, даже подивился легкости, с какой давалась ему служба. — Да что это я все о себе? Ты-то как тут? Давай я погрею твои руки.

Варька поежилась — что-то тревожило ее, она и сама не понимала что, — пошла тише, невольно сдерживая Веригина, и он словно бы споткнулся после хорошей рыси, побрел медленно, придерживая Варьку за локоть и придерживаясь сам. Сразу обоим стало неловко, и боже, какой мерзкой показалась улица: и небо с низкими облаками, и слякоть на тротуаре, и мелкий ленивый дождь, который никак не мог разойтись, и промозглый ветер со взморья, захотелось подальше от всего этого, в светлое, обихоженное тепло, и Веригин впервые по-настоящему возблагодарил Першина, ниспославшего ему Алевтину Павловну с ее ухоженной светелкой, совсем не похожей на меблирашку.

— Что же мы замолчали? Давай поговорим, ну хотя бы о том, чем мы займемся в эти часы. Можно, разумеется, сходить в кино, но лучше посидеть дома за бутылкой доброго вина.

— Можно и в кино, — упавшим голосом сказала Варька и, высвободившись, сунула руки в рукава, как в муфту.

— Ты что?

— Я ничего... Странно у нас как-то все получается. Ждала тебя, ждала, как дурочка каждый день бегала к морю,

все высматривала твой корабль, а ты пришел — и в кино. Смешно.

— Варька, я же думал как лучше.

— А ты поменьше думай. Чувства особых мыслей не требуют, на то они и чувства, — тускло, даже без иронии, заметила Варька и начала наконец выговаривать свои обиды: — Выпросила у декана отпуск, наврала ему тысячу коробов, приехала — и нате вам: «Милый мой живет в Казани, а я на Москве-реке». Нет, Веригин, ты, кажется, голову от любви не потеряешь.

«Черт побери, — возмутился Веригин. — Это я-то не потерял голову? Может, это не я по твоей милости чуть не запорол стрельбу? Может, это не я живу как помешанный? А кто ж тогда, спрашивается, сбился с панталыку?» Но возмущение свое постарался скрыть — Варька, кажется, и без того взвинтилась до предела, — сказал миролюбиво, даже со слезой в голосе:

— Может, я и говорю так, потому что голова кругом идет. Тут — ты, там — командир, подвалил учения...

— Хорошо, я уеду, — покорно и почти равнодушно сказала Варька.

— Варь! — Веригин даже остановился. — Что ты говоришь?! — И безжалостно подумал: «Ну и уезжай, если приспичило. Валяться в ногах не буду».

— Скажи, что мы с тобой все ссоримся? — Варька неожиданно хлюпнула носом и уткнулась лицом ему в грудь, вцепилась в борта шинели. — Это не мы, слышишь, не мы.

— А кто же тогда, если не мы? — удивился Веригин.

— Ах ты боже мой, какой ты непутевый. Не мы — и все, а кто-то другой.

— Алевтина Павловна, да? — ерничая, спросил Веригин, хотя и понимал, что ерничать-то не надо бы, и все-таки ерничал.

— При чем тут Алевтина Павловна?! Конечно же мы, но мы — плохие, а есть еще мы — хорошие.

— В том-то и дело, что хороших нас нет, а есть только плохие.

— Андрей, что ты говоришь! Ты на что-то обиделся и теперь говоришь не ты, а твоя обида.

— Та-ак, — сказал Веригин и повторил: — Та-ак. Тогда говорили не мы хорошие, а мы плохие, теперь, выходит, заговорил не я, а моя обида, а где же я сам-то, позволь спросить? Ну где я сам-то? А по-моему, и мы плохие, и наши обиды — это все мы, а там уж какие есть — судить не нам.

— И долго мы так будет стоять? — полувопросила, полуобиделась Варька.

— Всю ночь, — сварливо проговорил Веригин, решаясь скорее поссориться, чем сдвинуться с места.

— С тобой, Веригин, на самом деле не заскучаешь. — Смеясь, Варька потянулась на цыпочках и чмокнула его в щеку. — Колючий-то ты какой, небритый...

— Вот, — торжествующе проговорил Веригин, — даже побриться забыл, а ты утверждаешь, что я голову не в состоянии потерять.

— Не знаю уж, у кого из нас не хватает времени...

Веригин не дал ей досказать, нашел ее теплые, мягкие губы. Проходивший мимо пехотный патруль негромко, соблюдая приличие, окликнул:

— Эй, морячок, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?

Веригин хотел было огрызнуться, дескать, проваливай, друг, не до тебя, но перед ним стоял вылощенный майор, видимо, один из чинов общевойсковой комендатуры, и Веригин машинально присмирел, стесняясь Варьки и стыдясь самого себя, пробормотал:

— Виноват, товарищ майор.

— Что-то много вас, виноватых, развелось на кораблях.

Препираться с ним не имело смысла, в некотором роде было даже опасно, и Веригин снова сказал:

— Виноват.

— Товарищ майор, — вмешалась Варька, — а вам случайно не доводилось слышать такое, в общем-то, довольно известное слово — любовь?

Майор как будто слегка опешил, затравленно посмотрел на Варьку, но тотчас нашелся и сказал довольно грубовато:

— Мадам, я слышал это слово. Но еще я слышал и другие слова, которые оскорбляют это слово. Честь имею. — Он щелкнул каблуками и, кивнув солдатам, сопровождавшим его, пошел дальше по своим обременительным делам, имеющим прямое касательство к военной службе, но по существу не являющимся собственно самой службой.

Варька подхватила Веригина под руку, спросила, заглянув ему сбоку в лицо:

— Что ж, тебе на улице и целоваться нельзя?

— У нас говорят: не положено. И еще есть много чего такого, что не положено. Заходить в ресторацию, например, заводить знакомства с женщинами свободной профессии...

— А что — и такие есть?

— Так это же Европа.

— Послушай, — изумилась Варька, — только сейчас до меня дошло, что тут все дворники — мужчины, и вагоновожатые — мужчины, и кондукторы — мужчины, и за прилавками полно мужчин.

— Когда-то все эти профессии считались мужскими, — меланхолически заметил Веригин. — А потом мужички наши пошли на войны, и пришлось бабонькам полноправствовать, а уж куда бабоньку пустили, оттуда ее никаким калачом не выманишь.

— Между прочим, я имею честь относиться к этим самым бабонькам, так что учти это обстоятельство на будущее.

— Считай, что уже учел.

Они долго брели людными и безлюдными улицами и наконец пришли к ладному светлому домику Алевтины Павловны.

Варька привычно просунула руку между штакетником и, нащупав крючок, скинула его, и калитка беззвучно распахнулась.

— Ты не находишь, что в мире все относительно? Неделю назад я входил сюда хозяином, а ты гостьей. Теперь хозяйка ты, а мне, бедному скитальцу морей, видимо, сам бог велел на берегу быть гостем.

— Не печалься и не хмурь бровей, — ответила Варька и первой взошла на крыльцо, отперла дверь и пропустила Веригина в дремотное, устоявшееся тепло. — Алевтина Павловна, ау! Вот и мы! — крикнула она, зная, что их ждут и тотчас же отзовутся.

Веригин принял от Варьки пальто, сам разделся и неожиданно понял, что не знает, куда деть руки, машинально провел ладонями по волосам и совсем почувствовал себя неловким, словно бы деревянным. Ему даже показалось, что если он переступит, то в ногах у него непременно что-нибудь скрипнет, как скрипит рассохшаяся, несмазанная дверь. Варька все поняла, улыбнулась ему, взяла за руку, дескать, ну что же ты, Веригин, экий ты, право, неловкий.

— Вот и вы, — сказала и Алевтина Павловна, выходя на свет и оглядывая настороженным взглядом Веригина, а потом и Варьку. Была она все такая же ухоженная, ладная, как старая учительница. Веригин даже исподволь полюбовался ею: «Совсем как мать». — Вот и хорошо, что это вы, — и в другой раз сказала Алевтина Павловна. — Что в море? В эту пору, должно быть, свежо.

— В море как в море, Алевтина Павловна. Слева — вода,

и справа — вода, и волны, и ветер, а сверху небо, а с неба то дождик, то солнце.

— Это прекрасно, — не слушая его, сказала Алевтина Павловна. — По-моему, последние рыцари остались только на море. А на берегу бродят какие-то подобия мужчин, но далеко не мужчины.

— Алевтина Павловна, что вы говорите! — Веригин деланно усмехнулся, как будто ему было безразлично замечание Алевтины Павловны, но где-то в душе все-таки принял комплимент и в свой адрес и слегка зарделся. — И на берегу есть рыцари, и в море не каждый рыцарь.

Варька ревниво следила за ними.

— Я, грешная, люблю море и люблю моряков. — Она скупо, одними уголками губ, улыбнулась и, перехватив настороженный взгляд Варьки, поспешила поправиться: — Нет, скорее всего, я люблю моряков, а потом уже и море.

— По-моему, важно не кого, а как любить, — с вызовом сказала Варька, черт те знает почему усмотрев в Алевтине Павловне соперницу.

— Может, ты и права, голубушка, может, и права. Я ведь живу не настоящим, а прошлым. Не всегда рассмотришь-то, что там было. Память, она нет-нет да и подведет.

Они пришли в комнату, «в свою комнату», придирчиво-мелочно уточнил Веригин и, ослепленный, зажмурился: стол сиял белизной скатерти и салфеток, вдетых в серебряные кольца, торжеством старого хрусталя, тусклым блеском не менее старых приборов, и среди этого безмолвия плотоядно розовела ветчина, дразнили глаз прибалтийские копченья, которые раньше широко шли к великосветскому столу, и бог ведает что там было еще. Проглотив комок, Веригин не стал разглядывать стол, привлек к себе за плечи Варьку и спрятал лицо в ее волосах, пахнущих римской ромашкой, а может быть, и не ромашкой, а чем-то другим, по крайней мере, ему так казалось.

— Варька, ты чудо!

— Если ты имеешь в виду стол, то чудо — Алевтина Павловна, а я ничто, сбоку припека.

— К чертям стол с его серебром и хрусталями. Все это можно выбросить и вместо скатерти постелить газету. Чудо-то все равно останется. Понимаешь ты это?

К ним зашла Алевтина Павловна, они чинно расселись и, помянув пращуров, молча выпили по первой, а потом налили по второй, и Алевтина Павловна немного чопорно сказала:

— Ты, Варенька, и ты, Андрей, не буду вас величать по

отчеству, будьте дружны в любви и научитесь прощать друг другу мелочные обиды, тогда вам откроется большое счастье, а к маленькому, укромному, не стремитесь. В укромном счастье чаще всего человек бывает несчастлив. — Она лихо выпила, порозовела и предложила, а скорее попросила: — Позвольте, я вам спою, милые вы мои, хорошие.

— Андрюша, сходи за гитарой, — подсказала Варька, — она там, в коридоре.

Веригин наконец-то понял, что Варька уже начала смотреть на него как на собственность, движимую и недвижимую, за которую дали дорого, и подчинился, даже обрадовался, что так легко подчинился, сходил за гитарой и снова всем налил.

— Я спою вам песню, которая весьма почиталась флотскими офицерами. Когда-то мы ее пели вместе с мужем. — Алевтина Павловна закрыла глаза, ударила по струнам, прислушалась, снова ударила и, поборов легкую хрипотцу в голосе, тихо запела:

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною
И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею.

Так громче, музыка, играй победу.
Мы победили, и враг бежит, бежит...

Она передохнула и, сделав паузу, открыла глаза. Голос ее зазвучал в полную силу.

Волхвы не боятся могучих владык,
И княжеский дар им не нужен.
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

Так громче, музыка, играй победу...

Глаза у Алевтины Павловны повлажнели, она молча поднялась и, прижав гитару к груди, слепой походкой вышла из комнаты. Веригин тоже привстал, но Варька властно потянула его за руку, посадила на место:

— Не трогай ее. Есть минуты, когда человеку надо оглянуться в прошлое.

Они остались одни и неожиданно почувствовали отчуждение, как будто что-то сблизившее их испуганно вспорхнуло и улетело. Варька расставила руки на локтях, сложила веером ладони, уткнулась в них подбородком и долго, недвижно смотрела перед собой.

— Андрюша, если ты бросишь меня, бог тебя не простит, — одними губами прошелестела она.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

А потом была ночь, и Варька была рядом, покорная и дерзкая, какой он не знал ее, и все было: и Варька, испуганная, притихшая, жалась к нему и что-то лепетала, а он, словно бы отстранясь от нее, глуповато и бесшабашно думал: «Оказывается, все это так просто. До смешного просто. Так стоило ли из-за этого мучаться?» И его как будто озарило: а как же иначе-то? Если бы не Варька, не ее мудрое спокойствие, ничего этого могло бы и не быть, и тогда, наверное, его жизнь стала бы лишней, потому что зачем жить, если самое великое таинство, дарованное природой людям, превратилось бы в мучительную, изнуряющую бессмыслицу. Случилась, казалось бы, обыденная малая малость, а Веригин вдруг воспрянул, и радость, и хвастовство, и бог весть еще что подхватили его и понесли в далекие дали, и он уже ничего не стеснялся, гладил Варьку по шелковой коже и чувствовал себя способным повелевать целым миром. Варька, эта безмерно слабенькая, теперь уже женщина, обессилев сама, сделала его всесильным, и он мог поклясться, что теперь, что бы с ним ни произошло, это ощущение собственной силы уже не покинет его.

Ему казалось, что обо всем этом он говорил Варьке, и она слушала, и понимала его, и соглашалась с ним, и радовалась вместе, но все это только мелькнуло в его странно-легкой, какой-то звонкой голове, и Варька неожиданно для Веригина уткнулась ему под мышку и хлюпнула носом.

— Ну что ты, глупенькая, что ты?..

— Господи, — плача, сказала она. — Какой ты чурбан! Ну что ты молчишь?

— Родная моя, я же тебе все сказал. Пусть в мыслях, но сказал.

— Откуда мне знать твои мысли? И неужели ты не понимаешь, что женщине слова нужны, а не мысли. Ты же не в кают-компании, пойми. Ну кто я тебе такая? — с тоской, почти с отчаянной злостью спросила Варька.

Веригин даже ошалел: ему казалось, что и так все ясно, кто она такая ему, и не надо никаких слов, и можно молча чувствовать и понимать друг друга, но что-то, видимо, было не так, и он не знал, как должно быть иначе, и начал в уме складывать фразы...

— Ты все для меня. Все, понимаешь? Любимая, жена, любовница, мать, друг и недруг, радость моя и горе мое, совесть и боль, песня моя. Понимаешь ты хоть это?

Она помотала по подушке головой и сказала веселеющим голосом:

— Не понимаю. А ты говори, говори, говори. Только не так громко, — закрыла ему рот ладошкой, и он начал целовать ее. — Нет, лучше молчи, молчи... молчи...

А за стеной не спала Алевтина Павловна и, всхлипывая, перебирала в темноте страницы пухлой потрепанно-прожитой книги, и виделись ей и своя ночь, и свой рассвет, и свои сумерки, и — боже! — как это страшно, что у человека есть сумерки.

И опять была ночь, длинная, словно николаевская верста, и короткая, как сама жизнь, и пришел жиденький серый рассвет, даже не сам рассвет, а нечто сизо-мглистое, стало слышно, как тикают ходики, на кухне под скользящими шагами Алевтины Павловны поскрипывают, или, как еще говорят, играют, рассохшиеся половицы, и далеко за домами, сотрясая сырой воздух, трубит рейдовый буксир, встречая, а может, и провожая кого-то спозаранку. Веригин слушал, что говорила Варька, и кажется, говорил сам, а потом как-то сразу ненадолго забылся, словно в одно мгновение в его послушном, отлаженном организме разошлась контактная цепь, и приснилась ему Варька, и все сразу смешалось. Веригин кинулся искать ее и проснулся. Варьки рядом не было, и он, не веря, что ее нет, испугался и быстро начал шарить возле себя. Постель еще хранила ее тепло, и на подушке он нашел чуть ощутимое мокрое пятнышко, прижался к нему губами. Видимо, Варька тоже спала, уткнувшись лицом в подушку, и сразу успокоился: значит, была она, и есть, и пребудет. Потом он уловил неясный шепот Варьки с Алевтиной Павловной, на плите зашипело, запахло крепким кофе. На кухне что-то кипятили, подогревали, жарили, и это что-то — он догадался — делалось для него, и Веригин впервые в жизни почувствовал себя сибаритом, этаким баловнем судьбы, которому все можно и все позволено.

Он бросил взгляд на ходики и ужаснулся: стрелки показывали полчаса седьмого, и, чтобы успеть к завтраку, как об этом просил старпом, не оставалось времени не только посибаритствовать, но даже некогда было ополоснуться, и он скатился с постели, натянул брюки, тельняшку, китель, быстро обулся и с воплем ворвался в кухню:

— Что же ты меня не растолкала, Варь? — Он подхватил Варьку, закружился с нею, целуя ее в сонные еще глаза. — Вот тебе за это! Вот тебе...

Алевтина Павловна нагнулась над плитой, улыбаясь сухими, бескровными губами, и, когда поняла, что за спиной нацеловались и Варька уже успела поправить волосы, обернулась и торжественным голосом сказала:

— Андрей Степанович, для полного сознания, что вы человек счастливый и пропащий, вам не хватает такой мелочи, как полчаса? За эти полчаса вы могли бы почувствовать себя солидным мужем, а Варенька заботливой женой. Не так ли, Андрей Степанович, и ты, Варенька?

— Увы, — сказал Веригин. — Можно по этому поводу произносить пышные речи, но время неумолимо диктует нам: увы!

Варька как-то сникла, будто повяла, безучастно смотрела, как на плите безжалостно подгорает и дымится яичница, и только теперь начала соображать, что кроме нее у Веригина в жизни должно быть еще что-то, над чем она не вольна, и, значит, не Веригин, теперь уже бесповоротно ее Андрей, должен подлаживаться к ней, а она к Веригину, и не он будет приходить к ней на увольнение, а она станет в эти редкие часы увольняться к нему.

— Боже, Андрюша, а ты не можешь немного опоздать?

— Увы...

— Слушай меня, Варенька, внимательно. Андрей Степанович может не слушать. Вчера, до вашего прихода, я подвела стрелки ровно на шесть цифр вперед. Сверьтесь по своему хронометру, если таковой у вас имеется, Андрей Степанович.

Хронометром Веригин еще не обзавелся, но у него была довольно приличная «Победа» с суточной точностью хода плюс-минус одна минута, и эта «Победа», выверенная по корабельному хронометру, показывала пять минут седьмого.

— Ура! — сказал Веригин. — Так как там у вас, Алевтина Павловна: «Мы победили, и враг бежит, бежит...»

— У нас так было... — Алевтина Павловна поджала губы, возле которых тотчас безжалостно высветились сиротские морщинки, и Веригину подумалось, что, в сущности, перед ними старая, одинокая женщина, жизнь, кажется, уже не оставила ей никаких радостей и потушила свой последний костерок, и теперь, чтобы отогреть зябнувшие руки, надо все время тянуться к чужому огню, но этот чужой-то, по всей видимости, чаще всего только светит. Они вернулись в комнату.

— А знаешь... — начал было он и тотчас раздумал, чтобы не будить в Варьке мнительное воображение. — А знаешь, что мы с тобой сделаем? У тебя лето — каникулы, а я

возьму отпуск, и катанем мы к моей матушке в Старую Руссу. Городишко он сейчас так себе, есть, правда, курорт с минеральными водами и грязями, еще кое-что по мелочи, а был когда-то в отечественной истории заметной величиной и славился своим непокорным нравом и великим вольнодумством. Ну, может, и не великим, — поправился Веригин, поняв, что хватил лишку: жил там одно недолгое время Федор Достоевский, наезжал Николай Добролюбов, потом Максим Горький, кажется, и все, не считая титулованных и нетитулованных сиятельств, но и этого было достаточно для районного городка. — И он опять поправил себя: — Нет, все-таки великим. «Братья Карамазовы» — это, Варь, моя родина. А еще зовется она Голубой Русью. И будем мы с тобой купать босые ноги в целебной росе, пить по утрам волшебное парное молоко. И никакой цивилизации! Здорово это я придумал?

— Хорошо, — согласилась Варька, ревниво наблюдая, как он ест, и подкладывая ему новый кусок. — А все-таки это большое наслаждение кормить мужчин. Ты у меня мужик? — спросила она и сама же ответила: — Мужик. — И повторила, растягивая слово и любуясь его звучанием: — Му-жик. И поедем мы к твоей матушке, и будем пить молоко, и купаться в росе, а сказать-то ты хотел не это...

— А если это?

— Только не надо божиться, Андрейка. Ты не умеешь ни божиться, ни врать, и слава богу, что не умеешь этого делать.

— Я на самом деле хотел что-то сказать об Алевтине Павловне, но она так напомнила мне матушку, что мне до смерти захотелось показать тебе наш унылый и все-таки прелестный городишко.

— Какая-то она, Алевтина Павловна, словно не наша. По всему русская, и будто и не русская. Чужая она уж, Андрюша.

— А по-моему, не наша не потому, что чужая. За то время, что она жила здесь, мы стали иными.

— Ты хочешь сказать, что мы — чужие?

— Не хочу я этого сказать. Все эти годы она жила прошлым, словно бы законсервировав себя в одном состоянии, а нашим отцам и дедам, когда трещало и ломалось одно здание и строилось другое, было не до консервации.

— Му-жик, — неожиданно сказала Варька и неловко засмеялась, скрывая и свою радость, и смущение. — Подожди, я мигом оденусь, — попросила она, перехватив его беспокойный взгляд. Ей опять приходилось с кем-то делить Ве-

ригина, а делить его после тревожной ночи было страшно, и она впервые за него испугалась, а может быть, за себя, и все-таки за него. Если бы теперь с ним что-то случилось, это случилось бы с нею, и все как-то сразу переменилось, и Варька уж не знала, где она, а где он. И вдруг поняла, что он тоже делит себя между нею и тем, что до этой ночи составляло его жизнь, и ему тоже не хочется уходить, и это «не хочется» примирило ее с тем, что он беспокоится и нервничает, и она сказала: — Ладно, ты беги. Я приду тебя встречать.

— Часов около девятнадцати, — подсказал Веригин шепотом, как будто выдавал ей свой секрет.

— Хорошо, в семь я буду на причале.

Она все-таки придержала его, помогла одеться и проводила до двери, опять на минуту помешкала, положив на плечи руки, пристально посмотрела в глаза, как бы спрашивая: «Понимаешь ли ты, что мне страшно?» И Веригин не понял ее, напряженно, словно глухой, ждал, что она скажет еще, чтобы по движению губ понять ее, но Варька промолчала, бережно поправила кашне на его шее.

— Варь, ты что-то хотела сказать?

Она грустно покачала головой:

— Я не хотела. Я уже сказала.

И Веригина как будто осенило, что он не должен больше ничего спрашивать, пробормотал первое пришедшее на ум:

— Ты только ничего не бойся. Я сильный.

Она засмеялась и лукаво толкнула его:

— Беги, мужик, а я буду учиться ждать тебя. Алевтина Павловна говорит: это целое искусство — ждать.

На катер он опоздал и заметался по причалу, проклиная весь белый свет: себя — за то, что рассиропился и не поспешил, хотя знал же, что времени в обрез, а старпом своих решений не меняет, и если уж сказал, что катер отойдет в семь ноль-ноль, то он отойдет ровно в семь, и ни секундой позже; Варьку, которой вдруг приспичило что-то сказать, но так и не сказала ничего путного; товарища старпома, опять-таки отдавшего нелепое приказание явиться на корабль не к подъему флага, а к завтраку, и еще кого-то в единственном и множественном числе...

Купаясь в сиреневой дымке, крейсер безмолвно резал волны и казался вытравленным на мутноватом стекле небосклона, как очень похожий на настоящий, но все-таки не настоящий. «Бывает же такое, — смирясь (а что еще оставалось делать?), подумал Веригин. — То подделку примешь за подлинник, а тут подлинник кажется мистификацией».

Он был чертовски красив, их крейсер первой послевоенной постройки, внушителен и прост, когда все доведено до совершенства и последний штрих лег именно там, где ему следовало лечь... «Пройдут годы, и явятся новые корабли, и все в них снова будет доведено до совершенства, — думал Веригин, слоняясь по причалу и стараясь умиротворить себя. — Но то совершенство станет иным совершенством, какими совершенными, скажем, были фрегаты, бригантины и клипера. — Он споткнулся, зацепив ботинком за конец швартова, чертыхаясь, смахнул перчаткой пыль с носка, и мысли его неожиданно приняли другой оборот: — Должно быть, влетит мне от старпома, — и глуповато и счастливо заулыбался: — Ну и пусть влетит, — и беззвучно запел: — Ну и пусть влетит, ну и пусть влетит. А у меня есть Варька... А у меня есть Варька».

С поста службы наблюдения и связи его окликнул дежурный офицер:

— Лейтенант, ты чего танцуешь? С крейсера, что ли?

— С него самого, с него, родимого.

— Дуй на второй причал. Оттуда сейчас водолей к вам пойдет. Моли бога, что я тебя заметил.

— Молю, родной, век не забуду.

— Давай жми. Я подержу водолея, а то от вас пришел семафор, чтобы после семи без особого разрешения к вам никакую посудину не пускали.

— Чего это?

— Дома узнаешь.

Шкипер водолея встретил Веригина угрюмо: «Ходють тут всякие, а мне потом отдуваться», — но, угостившись у Веригина папиросой и разглядев его счастливое лицо, потеплел:

— Становись в рубку да фуражку сыми, чтобы сызднли не заметили. Я тебя в аккурат на борт переправлю...

Вахту стоял Самогорнов, он сам спустил на водолей штормтрап, подал Веригину руку:

— Где тебя черти носят?

— А что?

— В десять начнем принимать боезапас.

Веригин присвистнул:

— Вот это номер!

— Я сказал комдиву, что ты уже на борту, так что смекай сам.

— А что с приборкой?

— Приборку велено свернуть к девяти часам.

Веригин надвинул фуражку на лоб, ожесточенно поскреб

в затылке: все рушилось и летело в тартарары. Он спустился в каюту, переоделся в рабочее платье — опять его дом был здесь, а там, на улочке Трех Аистов, он только гостил, — низами прошел в кубрик своей башни. Матросы мыли подволоки и переборки — краску, — драили медь, и в кубрике было парно и пахло содой и мылом, как в прачечной.

Из-за рундуков и коек появился Медовиков, сосредоточенный и важный, как будто то, что сейчас творилось в кубрике, было главное, а все остальное так себе. Впрочем, Веригин давно уже заметил, что Медовиков с одинаковым усердием стрелял, стоял вахту, ходил на берег, жучил матросов, а теперь вот распоряжался приборкой; видимо, подумалось Веригину, он и за невестой своей ухаживал так же ровно и усердно.

— Новость слышал, Василий Васильевич?

— Так точно.

— Тем не менее уговор остается в силе: при первой возможности твоя очередь идти на берег.

— И за это спасибо.

— В большем и сам не волен. И вот еще что: в кубрике и на палубе оставь людей самую малость. Остальных — в погреба. Начнем с зарядного.

— Как вам угодно, Андрей Степаныч, только я все уже осмотрел и проверил.

— Обиды оставь на потом. В нашем деле лишний глаз никогда не лишний.

А в динамиках звенел весьма плутовской голос, сетовал и насмехался, больше насмехался, чем сетовал:

Ми-лый лю-бит и не лю-бит,
Только времечко идет...

— Идет времечко-то, Медовиков? — улыбаясь голосом, спросил Веригин: его времечко шло-шло и наконец-то пришло, и все стало простым и разумным, но это разумное и простое оказалось выше всех его представлений, и он мог теперь поклясться, что с этим родился и наперед знал, что все будет именно так, а не иначе.

— Идет, Андрей Степаныч. — И Медовиков тоже потаенно усмехнулся, подумав, что Веригин, по всему похоже, прогулял за одну ночь всю свою дурь и явился новым человеком и, пока теперь та старая дурь не вылезет снова наружу, с этим новым человеком служить станет проще. По укоренившейся привычке Медовиков разграничивал своих начальников по нехитрому, но железному принципу: «С этим проще, с тем похуже, а с тем-то и совсем плохо».

Впрочем, принцип этот не был благоприобретенным, скорее всего, он незримо передавался от одного поколения старшин другому и стал своего рода неписаным законом, потому что помимо уставов существуют еще традиции, а традиции свои флот берег испокон веку, как будто кто единожды и навечно начертал: так было и так пребудет. — Времечко-то идет, Андрей Степаныч, — повторил Медовиков, — только кто за нас свадьбы-то играть будет?

— Что так?

— Никто нас с боезапасом держать тут не станет. Как пить дать погонят куда-нибудь подальше.

— А и мудер же ты, Медовиков!

— Послужите с мое, Андрей Степаныч, побольше моего этой мудрости нахватаетесь. Помню, готовились мы на День Флота в Питер, а боезапас не весь расстреляли, так нас с боезапасом-то не пустили. Дошли до Кронштадта — и баста.

— Осадка, видимо, не позволила.

— Какая там осадка, если в погребах было по двадцать комплектов. Не-е, все дело в боезапасе. Я этого боезапаса пуще огня боюсь. Без него куда как спокойнее, а с ним артиллерийский дозор переведут на положение караульной службы, тревоги к месту и не к месту начнут играть. По мне, этого боезапаса хоть бы и вовсе не было. Ходили бы себе тихонько-мирненько по морям-окиянам и горюшка не знали.

— Так недолго крейсерюгу в купца перекрасить. Те ведь тоже по морям-океанам шлендают, может, побольше нашего. Только мне той службы, Медовиков, и на дух не надо. Я артиллерист, и подавай мне стрельбы, дьявол бы их побрал, а какие же стрельбы без боезапаса!

— Все бы тебе воевать, Андрей Степаныч, а я уже навоевался по самые ноздри. Мне войны от пуза досталось.

— Шел бы себе на гражданку.

— Нечего мне делать на гражданке, — тихо сказал Медовиков. — Поженил меня военком на этом самом флоте. Теперь и быть моей жизни здесь.

— Смирно! — закричал дневальный матрос Остапенко, заметив вверху на трапе надраенные до зеркального блеска полуботинки и брюки дорогого сукна, явно принадлежавшие кому-то из старших офицеров, и тотчас понял свою оплошность: во время больших приборок и авральных работ предписывалось команды не подавать. Медовиков показал ему свой внушительный кулак, дескать, что же ты такой-сякой, немазаный, опять ворон считаешь, забыл, как полагается службу править? Ну, я ж тебя...

Веригин отстранил Медовикова и дневального Остапенко, коротко бросив: «Продолжать работы», выступил вперед.

Медовиков сделал шаг назад и влево и указал глазами матросам, чтобы продолжали работы: где надо — скребли, где — мыли, а где — драили. Командир боевой части Студеницын наконец спустился вниз, следом легонько сошел комдив Кожемякин. Веригин, а за ним и Медовиков приложили руки к козырькам.

— Товарищ капитан третьего ранга, первая башня...

— Ладно, ладно, — перебил его Студеницын, — вижу, что первая башня. — И, обратясь к Кожемякину, иронически полувопросил: — А ты говорил, что Веригин на берегу задержался. А он — вот он.

Комдив Кожемякин тонко усмехнулся, словно бы винясь, что и на старуху бывает проруха, и тоже, как недавно Медовиков Остапенко, погрозил Веригину кулаком: «Хитер, братец, да ведь и я не лыком шит», и тихо спросил:

— Водолеем пришел?

— Так точно.

— Что это вы там шепчетесь? — недоверчиво заинтересовался Студеницын.

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга, был на берегу.

— Ну был, ну и что из того. Все там когда-то были, и все там будем. Эка невидаль. Ведите-ка нас, Веригин, попачалу в пороховой погреб, потом в снарядный. Посмотрим, что там у вас деется.

Веригин уже с неделю не спускался в зарядный погреб, забеспокоился, искоса глянул на Медовикова: «Как там у нас?» Медовиков старательно моргнул и для верности, чтобы его правильно поняли, моргнул еще раз: «Полный ажур», и тогда Веригин кивнул Медовикову, чтобы тот лез первым, а сам, загородив люк в шахту, страдальческим голосом произнес:

— Отлично понимаю, что вопрос мой неуместен, товарищ капитан третьего ранга, но у меня тут жена.

— Ну и что? Это даже очень похвально. Холостяцкие компании не всегда благородно действуют на молодых людей.

— Жена все-таки или невеста? — поняв тактический ход Веригина, который выгадывал для Медовикова несколько минут, спросил Кожемякин.

— Ах, Кожемякин, — отечески пожурил его Студеницын. — Невесты рано или поздно становятся женами. К сожалению, в этом правиле нет обратимости. А что, соб-

ственно, вас волнует? Я как-то плохо улавливаю связь между пороховым погребом и вашей женой.

— По моему разумению, с боезапасом нас тут держать не станут?

— Резонно.

— Поэтому я и подумал, не лучше ли отправить ее к родителям в Ленинград.

— Это тоже не лишено резонности. Как мне думается, с жильем в Энске дело обстоит скверно, а в старую базу мы можем и не вернуться.

«Медовиков опять прав, — подумал Веригин. — Этот рябой дьявол видит на две сажени сквозь землю», — и сказал с оттенком почтительности и благодарности за дельный совет:

— Все понял.

— Двойное попадание одним залпом, — меланхолически заметил комдив Кожемякин и мягко толкнул кулаком Веригина в бок: «А ты, братец, оказывается, фрукт».

— Вы о чем, Кожемякин?

— Почему-то вспомнились недавние стрельбы.

— Ах да, стрельбы. Я долго анализировал вашу неудачу с последующей удачей, Веригин. Если бы не досадный срыв, какая бы вышла прелестная стрельба. — И командир боевой части, отстранив Веригина от люка, схватился руками за скобы и проворно опустил ноги на трап. — Мне думается, Медовикову трех минут было достаточно, чтобы навести марафет, — весело сказал он из шахты, дав понять, что давно раскусил хитрость Веригина, которому умело подыграл Кожемякин: «Ну что с них возьмешь...»

В зарядном погребе стояла влажная прохлада, слегка пахло эфиром, как в операционной, да и само помещение, в отличие от кубриков, было просторное, свободное, с высоким, стерильно белым подволоком и стерильно же белыми переборками, вдоль которых снизу доверху правильными рядами застыли соты, окрашенные в цвет раннего салата. Командир боевой части оглядел системы орошения и затопления на случай аварийного состояния погреба, проверил одно, другое и третье крепления пеналов, заглянул во все уголки и, кажется, остался доволен.

— Чье заведование? — спросил он, ни к кому прямо не обращаясь и все-таки обращаясь только к одному человеку, которого он еще не выделил среди других и благодаря стараниям которого царила здесь эта стерильная чистота.

— Командир зарядного погреба старшина второй статьи...

— Товарищ Веригин, объявите старшине погреба от моего имени увольнение на берег вне очереди.

Лицо, мочки ушей и даже шея у старшины вспыхнули и стали пунцовыми.

— Когда прикажете уволить?

— После приемки боезапаса, — недовольно сказал Студеницын. — Впрочем, вам виднее.

«В базу ты, друг, уже не попадаешь, — подумал Веригин, — а в Энск тебе и самому не захочется».

— Ведите в снарядный.

— Есть.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ближе к одиннадцати часам на стеньге взвился сигнал: «Принимаю боезапас», и на крейсере сыграли боевую тревогу. Из всех авральных работ погрузка боезапаса, пожалуй, самая трудная и безрадостная, потому что, сколько бы на корабле ни было погрузочно-разгрузочных механизмов, основная тяжесть ложится на матросские плечи, когда кроме умения и смекалки вступает в силу нехитрое старинное правило: «Круглое — катать, плоское — таскать», с одной только поправкой, что и круглое подчас тоже приходится таскать.

Грузиться решили правым бортом, открыли шахты погребов, поставили над ними треноги, навесили тали, загремела на средней надстройке — спардеке — лебедка, и пошло:

— Полундра! Вира...

По правому, парадному, борту муравьями потянулись матросы, взвалив себе на плечи по нескольку пудов металла, сваренного уральскими или бог весть еще какими умельцами. Когда-то этот металл лежал рудным телом в чреве праматери-земли, его извлекли, обогатили, сварили чугун, выплавили сталь, отлили ее в готовых формах, начинили неким бризантным веществом, и только тогда он, словно новорожденный, получил свое истинное имя — артиллерийский снаряд. Кто знает, какую роль уготовила ему судьба. Может быть, пролежав положенный срок, вернется он в мартеновскую печь с прочим металлоломом, который раскидала минувшая война по городам и весям необозримой России, а может быть, в один прекрасный момент изрыгнет его в дыму и пламени корабельное орудие, и он, просверлив невидимую

дыру в вечном своде, грохнется оземь — и там поди знай, кого писать за здравие, а кого за упокой...

Веригин тоже подставил плечо и, когда металл, опалубленный деревянными рейками, лег плотно и надежно, почувствовал, как, треснув, заныла спина, а ноги, о существовании которых он не помнил, налились чугунной тяжестью, прогнулись и поехали в разные стороны, но он шагнул и раз, и другой, и пошел, радуясь, что не так страшен черт, как его малюют, у трапа на полубак передохнул и начал считать металлические ступени, окантованные медью, — балясины: одна, другая, третья, насчитал десять, переступил невысокий порожек — комингс — и опять пошел, шаркая по палубе тяжкими ногами.

Возле башни к нему подскочили матросы и ловко, даже с какой-то нежностью, сняли с плеча это адово изобретение, и Веригин вздохнул, ощутив себя легким и свободным, как птица, готовая к полету, и только во рту стало сухо и жарко. Он потянулся за кружкой, но Медовиков отвел его руку в сторону:

— А вот это после первой ноши негоже. И после второй, и после третьей тоже не следует пить. И вообще, Андрей Степаныч, не ваше дело таскать игрушки.

— Мое или не мое — мне знать, Медовиков, — буркнул Веригин, обидевшись, что Медовиков не только не принял его помощи, но даже как бы счел эту помощь пустой затеей, и по левому борту прошел на шкафут, снова подставил плечо под снаряд, присел, поводя лопатками, чтобы тот сел плотнее, и, огрузневший, словно налитой, муравьем вполз в матросский хоровод, сам став звеном этой нескончаемой замкнутой цепи: правым шкафутом по трапу на полубак к своей башне, оттуда левым полубаком и по трапу на шкафут к правому борту, к которому пришвартовалась баржа. Пить уж не так хотелось, и во рту стало будто бы попросторнее, но, как на грех, заныло плечо, видимо, стер его до крови, подумал было уже разомкнуть цепь и изъять свое звено как ненадежное, чтобы не сбивать другим темп, даже оправдывая себя, мысленно сподличал: «Матросам что, их служба — пять календарных лет, а тут крутись-вертись всю жизнь с этими бандурами. Успею еще наиграться, вот как успею».

Цепь распалась сама собой, матросы сгрудились и зашумели, окружив кряжистого мужика в драной телогрейке, и этот крепко сбитый мужик, к удивлению Веригина, оказался командиром. Веригин видел его только в форме, немного оплывшего уже, но подчеркнуто строгого, впрочем,

больше-то всего строгость подчеркивала форма с солидными знаками различия. Тот был недосягаем, как небожитель, а на этого хотелось по-свойски прикрикнуть: «Ну, ты, раз-зява...»

— Товарищ капитан первого ранга. — Веригин хотел доложить, что первая башня, как, впрочем, и весь дивизион, грузит боезапас, хотя и дураку было видно, что они заняты боезапасом, а не астраханским заломом, но командир отмахнулся от него, как от надоедливой мухи.

— Будет вам церемонии-то разводить, Веригин. — Командир пружинисто присел и, выпрямясь, кивнул на левое плечо. — Кидай на левое. — Ему положили. Он кивнул вправо: — Кидай на правое.

— Хватит одного, товарищ командир.

— А ты, Веригин, не мельтеши. Не мельтеши, говорю. Мои деды и прадеды крючниками на Волге ходили.

Ему взгромоздили второй снаряд и с опаской посмотрели, как он побагровел и пошатнулся, но устоял и хрипло спросил:

— Куда нести?

— В первую! — дружно закричали со всех сторон.

Из сострадания к возрасту и почтения к званию и должности надо было бы указать на третью башню — идти ровнехонько, ни трапов, ни комингсов, — но матросы раззадорились, как дети, и играть в поддавки не собирались.

— В первую так в первую. — И командир пошел, сильно косолапя и тяжело дыша, но ровно, словно по одной половице. У трапа постоял, полез вверх, приставляя на балясинах одну ногу к другой, и, когда поднялся на полубак и опять передохнул, кто-то не выдержал:

— Вó дает батя...

Командир вернулся, посмеиваясь, хотя было видно, что нелегко дался ему этот вояж — он то и дело вытирал со лба испарину.

— Ну, мамкино молоко, кто хочет со мной тягаться?! — И он, пожилой, в общем-то, человек, с солидным положением, неожиданно начал хвалиться: — Думаете, брюшко отпустил, так меня и в обоз? Мой покойный родитель по четыре куля соли или по шести пшеницы нашивал. А нам теперь тужить нечего: за нас механизмы работают. А ну, молодцы, навали еще парочку.

— Дает батя...

Командир услышал и спрятал довольную усмешку, потому что чины можно выслужить и должности получать, а «батю» надо заслужить, и он, кажется, заслужил.

Собравшийся на берег Першин, в свежей рубашке, при

белых лайковых перчатках, подошел к Веригину, одетому по случаю погрузки в ветхий кителишко с плеча Медовикова — свои еще не пришли в ветхость, — и полюбопытствовал:

— По какому поводу сей балаган?

— Да не балаган, — не поняв иронии, сказал Веригин. — Батя решил стариной тряхнуть.

— Понятно. Зарабатываем авторитет.

— Послушай, у тебя есть что-нибудь святое?

— Не держим. Хлопотно, да и ни к чему.

— Тогда катись, а то катер отойдет.

— Погляжу я на вас, присахаренных купидонов, и сердце слезами обливается: такие вы все милые и хорошие, что хоть в еловую рамочку вставляй да в красный угол вешай.

— Ты что — не с той ноги встал? Или адмиралу ботинки не тем гуталином почистил?

— Не хами, э-э... Веригин.

— А может, это ты хамишь.

— Проехало...

К ним подошел Самогорнов, тоже принаряженный в китель и брюки бог весть какого срока.

— О чем витийствуем?

— Видишь ли, э-э... Веригину не нравится, что я иду на берег в белых перчатках, а по-моему — ничего.

Самогорнов засмеялся:

— Ничего-то ничего, только постовым милиционером отдает.

— Изволь. Я сниму.

Першин небрежно стянул с рук перчатки, сложил их пополам и легким, почти неуловимым, движением швырнул на баржу.

— Инцидент исчерпан, други мои. «Рожденный ползать — летать не может!..» Я вам завидую, боги войны, но меня на берегу ждет дама. Точность — вежливость королей. Не правда ли, Веригин?

Веригин молча подставил плечо, на которое тотчас же услужливо матросы положили снаряд; покачался, в буквальном смысле пробуя прочность ног, и, поняв, что второй снаряд ему не выдюжить, а если и выдюжит, то уж, во всяком случае, по трапу на полубак не поднимется, он, опять став звеном, замкнул разорвавшуюся цепь.

Командир распорядился вывести на шкафут оркестр, и, когда медные трубы, звеня и ликуя, грянули гвардейский марш:

Морская гвардия идет уверенно,
Любой опасности глядит она в глаза... —

что-то незримо изменилось в природе: солнце ли освободилось из тенет или задул легкий бриз, пройдясь опахалом по разгоряченным лицам, а может быть, то и другое вместе, но работа повеселела и даже стала какой-то нарядной, что ли. И Веригин, негодуя на Першина с его лайковыми перчатками, таскал снаряды наравне с другими, боясь сначала, что не выдержит, а потом втянулся и уже радовался, что все так хорошо получилось и он такой же, как все, трудяга.

Ближе к обеду оркестр устал, и работы пошли вяло. Комдив Кожемякин собрал офицеров дивизиона и посулил:

— Та башня, которая погрузит снаряды к ужину, уволит на берег одну боевую смену.

— А если управятся все башни?

— Тогда, независимо от авральных работ, увольнение будет произведено по спискам субботнего дня.

— Ура! — сказал за всех Самогорнов.

— Не говори «гоп»! И второе. Попрошу товарищей офицеров не особенно увлекаться. Показали пример — и будет. Прежде всего это относится к вам, Веригин.

— Командир тоже таскал снаряды наравне со всеми.

— Между прочим, к командиру вызвали врача. — Комдив Кожемякин едва приметно — одними уголками губ — улыбнулся. — И потом: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вопросы есть?

Вопросов не последовало. Самогорнов отвел Веригина в сторону, спросил:

— Предложения есть?

— А у тебя?

— Есть. Сейчас объявим общий перекур, а потом скооперируем усилия: загрузим сперва твой погреб, потом мой. Отпускать на обед будем по два бачка с башни. Стимул — великая вещь в наше время. Годится?

— Годится.

— Объявляй перекур и не багровей. Все-таки в носовой группе старший я, — смеясь, сказал Самогорнов. — К тому же без пяти минут комдив.

— Будет тебе, — без обиды заметил Веригин, принявший первенство Самогорнова, еще после стрельб поняв наконец, что Самогорнов уже постиг то, что ему-то, Веригину, еще предстояло постигнуть. Он сложил рупором ладони и

гаркнул: — Первая и вторая башни — общий перекур! Всем собраться в помещении носовых шпилей.

...К ужину со снарядными погребами управились. Баржи, освободившись от бремени, неожиданно оказались вровень с бортами крейсера, и маленький паровой буксиришко, азартно дымя длинной тонкой трубой, играючи повел их за собой в сторону артиллерийского причала. Выставили дозор, спустили сигнал «Принимаю боезапас», скатили палубу — и крейсер принял будничный вид.

За ужином, в окружении крахмальных салфеток и грубоватого, но девственно-чистого фарфора, Веригин почувствовал, что устал безмерно: плечи саднило, словно с них содрали кожу, низ живота стал тяжелым, руки сделались как у тряпичной куклы, он с трудом держал ложку и почти не слышал, о чем говорили за столом. Голоса, лица прыгали, все сливалось в сплошной туман, в котором изредка проглядывали какие-то очертания, и тотчас снова стушевывались.

— Что с тобой? — спросил Самогорнов.

— Устал дьявольски.

— Ну, устал... А как же на берег пойдешь?

— Я Медовикова отпустил.

— А я тебя отпускаю.

— Мне с часу ночи на вахту.

— Черт с тобой, отстою и на этот раз за тебя, а ты иди, плодись и размножайся. Иди, — скучно и словно бы растерянно повторил Самогорнов. — Мне-то все равно деваться некуда. Пассию мою вчера видели с Першиным.

— И ты не потребовал сатисфакции? — изумился и оскорбился за Самогорнова Веригин.

— Нет, братец, не потребовал. И не потребую. Требуют только тогда, когда что-то настоящее, а если это не настоящее, то и сатисфакция будет не настоящей, так, что-то вроде петушиного боя.

— Какой же он все-таки...

— И опять ты ошибаешься, братец. Он не какой-то, он ворон, который издали чует падаль, а ворон — птица вещая, к тому же необходимая, как, скажем, ассенизатор в городском муравейнике.

Веригин уткнулся в тарелку, поковырялся вилкой, но есть не стал, поднял голову:

— Ты прости меня, что я одно время плохо о тебе думал. Теперь-то я понимаю, что без тебя мне пришлось бы туго.

— Пользуйся, братец, и не спеши первого встречного

съездить по сусалам. Занятие это пустое, а порой и вредное. В спешке ненароком праведника с грешником спутаешь.

И странное случилось с Веригиным, сидел словно опущенный в воду, и ничего уже не хотелось и не желалось, даже как будто тихо радовался, что на берег идти не его очередь, тем самым мысленно и унижался, и оправдывался перед Варькой, дескать, что поделаешь, служба, она такая, поперек нее не попрешь, но все обернулось по-другому, и желание появилось, и плечи уже не саднили — да черт с ними, с плечами, были б кости, а мясо с кожей нарастут! — и туман рассеялся, и сладко-сладко так екнуло и замерло сердце от одной только мысли, что снова будет ночь и будет Варька. Ах, да что там говорить!..

— Прошу разрешения, товарищ капитан второго ранга, — обратился он к старпому Пологову.

Пологов понимающе посмотрел на него и... не кивнул, нет, а как-то величественно склонил и поднял голову, дав «добро», и по-хозяйски предупредил:

— Завтра загружаем зарядные с семи ноль-ноль. Прошу всех артиллерийских офицеров это иметь в виду. — Многозначительно помолчал: — И не только артиллерийских.

— Помилуй, — возразил стармех, — мои-то тут при чем?

— Сие от меня не зависит. — И Пологов выразительно ткнул пальцем в подволок, где в роскошной своей каюте в одиночестве маялся радикулитом командир крейсера, которому корабельный врач прописал постельный режим, и троекратно проклинал свою запоздалую прыть.

— А... Ну тогда что ж... — смешался стармех. Ему не хотелось ставить себя в зависимость от прихотей верхней команды, а и со старпомом попусту спорить было не с руки. — Тогда, значит, так и есть.

— Выходит, завтра бережок команде не светит? — спросил командир минно-торпедной боевой части, пуски торпед которому и постановка учебных мин планировались на более позднюю пору, и он, таким образом, чувствовал себя, что называется, человеком не при деле.

— Все зависит от того, как управимся с боезапасом. Тем не менее списки на увольнение советую подать загодя. Веригин, вы свободны. — Старпом Пологов еще раз кивнул Веригину, который замешкался за столом. — Как, впрочем, и все остальные, у кого есть дела.

Официальная часть ужина закончилась, и наступил час неторопливой дружеской беседы за стаканом чаю, когда и

о делах можно поговорить как бы между прочим, невзирая на должности и звания, и помянуть добрым словом былых товарищей, о которых, выражаясь словами горькой песни, «не скажут ни камень, ни крест, где легли», и, само собой, поговорить о политике.

— День сегодня выдался какой-то колготной, — посетовал старпом Пологов, когда Веригин, а за ним и еще пять-шесть офицеров вышли из застолья, и в кают-компании опять все примолкли. — Даже газету в руках не держал. Что хоть там пишут? — обратился он к замполиту Иконникову.

Иконников приготовился говорить, прокашлялся, посуровел, но, видимо поняв, что малость переборщил, махнул рукой:

— Пишут и так, пишут и этак, а в общем и целом мир тревожится. Неспокойно живет мир. Хоть и велено орудия держать в чехлах, а порох-то все равно должен быть сухим.

— Тем и живем... — сказал стармех.

— Похоже, что все-таки нас передадут в состав Северного флота, — подумал вслух старпом. — Иначе откуда бы у артиллерийского управления такая щедрость. Бывало, снаряда не выпросишь, а теперь стреляй — не хочу, и щит в любой момент, и корабль-цель.

— Неужто на корабль-цель расщедрились?

— Как говорят дипломаты, на высшем уровне. А тут еще любопытная бумаженция пришла из кадров: списать не отвечающих требованиям боевой подготовки матросов и старшин в экипаж и подать сведенья на полную доукомплектацию.

— Бумага серьезная, — сказал Иконников. — Кадры бумажками не балуются. Все сходится.

— Давай-то бог, а то надоела эта Маркизова лужа до чертиков. Не плаванья — одни швартовки.

— С каких это пор вся Балтика стала Маркизовой лужей?

— Не знаю уж с каких, а только Российскому флоту Петр заказал быть на океане. Нам дорожка туда уже проторена.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В комнате было покойно и тепло; на кухне размеренно, словно заученно, шаркала ногами Алевтина Павловна, но шарканье уже не раздражало и не настораживало, впро-

чем, все это теперь не имело никакого смысла, и ночничок на столе возле кровати — чугунный гном с добрым безобразным лицом — цедил мягкий ленивый свет. Неожиданно Варьку как будто что толкнуло, она поднялась, поправила бретельку и, придирчиво оглядев плечи Веригина, растерянно и ревниво спросила:

— Боже, что это у тебя?

— Снаряды таскал, — беспечно сказал Веригин и блаженно потянулся, ощутив ласковую ткань простыни.

— Зачем?

— Как зачем? Затем, чтобы стрелять.

— А зачем стрелять?

— Затем, чтобы уметь стрелять. В этом отличие военных от невоенных. Невоенные делают, чтобы что-то сделать, а военные делают для того, чтобы уметь хорошо делать.

— Я что-то плохо тебя понимаю. — Варька наклонилась над ним, провела пальцем по его бровям, как бы успокаиваясь. — Делать только для того, чтобы лучше уметь делать? Значит, убивать?

— Точнее сказать: уметь воевать.

— Неужели после той войны кто-то может хотеть новой?

— Честно говоря, мы — ни я, ни ты — не хотим войны, но — увы! Я военный, свой путь избрал сознательно, а военный должен учиться воевать, иначе может повториться то, о чем ты говоришь. Военный флот создан не для парадов.

— Андрюша, я на самом деле тебя плохо понимаю, — пожаловалась Варька. — Ты — и вдруг война. Ведь это что-то несовместимое.

Варька помолчала, уставясь в потолок; найдя там одну только ей видимую точку, тихо спросила:

— А тебе не страшно за того человека?

— За какого? — не сразу понял Веригин.

— А мне страшно. — Варька всхлипнула, прикрыв ладонью глаза, и Веригин наконец-то понял, что ей на самом деле страшно и за себя, и за того человека, которого еще нет и поэтому о нем рано говорить, но который может быть, и Варька же, конечно, первой почувствует его приближение и уже теперь, когда еще ничего нет, невесть чего страшится.

Веригин погладил Варьку по холодному плечу, согрел его.

— Ты уже тревожишься, а, наверное, еще ничего нет.

— Я и тревожусь-то потому, что, наверное, все уже

есть, — тихо, одними губами ответила Варька, и ему показалось, что она растерянно и застенчиво, как будто стыдясь, но в то же время и гордясь собою, что все это могло произойти, улыбнулась. — И не надо пока больше об этом. Я суеверная.

Мудрый уродливый гномик, приподняв над головой фонарик — гнилушку, повернулся к ним спиной и кого-то высматривал в углу, и, засыпая, Варька подумала, что хорошо бы выпросить этот забавный ночничок у Алевтины Павловны — гномы к счастью, — он такой милый и добрый, и все вокруг такое милое и доброе, и уже не было у нее настороженной неприязни к Алевтине Павловне, в которой было много непонятного, а все непонятное в другой женщине вызывало в Варьке потаенную ревность. Но бог с ней, с Алевтиной Павловной. В конце концов, каждый остается тем, кем он должен быть, и не судьба правит человеком, а человек сам волен в своей судьбе.

...За синими окнами проплывали серые тени, шуршал сеном в подполье еж, поскрипывали, рассыхаясь, половицы, и весь дом был полон смутных шорохов и движений, понятных разве что одному гномику. Веригин прислушивался к ровному, безмятежному дыханию Варьки — он тотчас же поправился: «Жены, о боги», он никак не мог привыкнуть к этому слову и тихо радовался этому уютному мирку, в который залетел сам и затащил с собой Варьку. И вдруг понял, что этот-то обжитой мир реален, он был до них и будет после них, и этой кроватью, наверное, пользовалась не одна супружеская пара — а может быть, и не супружеская, какое это имеет значение, — потому что кровать тоже нечто реальное, и только он с Варькой какие-то беспредметные, бестелесные, что ли, уйдут, и вместе с ними уйдет все, что связано с ними. Чужой кров, и сами они чужие этому крову, но даже и этот призрачный кров завтра или послезавтра рухнет. Надо было бы сказать Варьке, что в любой день их крейсер могут перебазировать, но будить Варьку и говорить ей об этом теперь, когда им обоим так хорошо, было бы грешно, и, засыпая, Веригин решил, что обязательно сделает это утром, потому что держать Варьку в неведении не менее грешно. И так было нехорошо, и так выходило плохо, и Веригин совсем запутался, почувствовав, что в отношения с Варькой, жалеючи и оберегая ее, он внес что-то ложное, и это что-то, подобно снежному кому, могло увеличиться в размерах и стать настоящей ложью, и тогда кто знает, как-то сложится их жизнь.

Он спал тревожно и часто просыпался, поглядывал на

часы; и все-таки они проспали, и времени для разговоров уже не осталось.

— Ты опять бежишь? Сегодня же воскресенье.

— У нас аврал, а когда аврал, тогда все остальное летит в преисподнюю, и остается опять-таки один аврал.

— Но сегодня-то тебя можно ждать?

— Сегодня можно.

— А завтра?

— Что тебе сказать о завтра? Завтра-то для нас, Варь, милая, может и не быть. Я все тебе вечером скажу.

Уже светало, и гномик со своей гнилушкой стал не нужен, в комнате было неприбрано, на столе в чашках стыл недопитый с вечера чай — до чаю ли! — черствела в тарелках колбаса с хлебом, а ломтики желтого сыра, слезясь, загнули края и сморщились, как осенние листья.

— Все-таки что случилось? — встревожилась Варька.— Я ничего не понимаю. — Она спустила ноги на пол и машинально прикрыла руками грудь.

— Ничего не случилось. — «Ведь и на самом деле ничего не случилось, — подумал Веригин. — А может, все-таки случилось?» — У нашего ротного старшины в училище любимой командой было: «По трапу только бегом». Так вот, применительно ко мне эта команда приобрела теперь особый смысл: «По жизни только бегом».

— Оставь ты своего дурацкого старшину со своей дурацкой командой в покое!

— Варь, это был умнейший парень.

— Мне нет никакого дела до твоих умнейших парней. Я хочу знать, что случилось? — в третий раз спросила Варька, и голос ее стал звонким.

— Хорошо, Варь. Слушай меня внимательно. — Веригин присел на краешек кровати. — На днях мы уйдем в море, и, кажется, теперь надолго. Я не хотел тебе говорить об этом вчера.

— Ты пожалел меня?

Веригин, винясь, согласно покачал головой.

— Глупый, слышишь, не делай больше этого. А теперь беги и по трапу, и по жизни. Как говорят французы: ведь жизнь — это так мало.

И Веригин, не очень-то поняв, поругались они или расстались до вечера с миром, рванул с вешалки шинель и фуражку и подумал второпях, что надо держать себя с Варькой построже и не очень-то распространяться о делах службы. Но, отойдя шагов триста от дому, он уже начал раскаи-

ваться, что обошелся с Варькой грубовато, и на борт взошел невеселый и даже злой.

Медовиков уже хлопотал возле башни, дружелюбно покрикивая на матросов, и, заметив издали Веригина, пошел навстречу, радостно и хмельно поглядывая на него. Был он ладный и свежий, и казалось, вчерашний день прошел для него бесследно: эка невидаль — аврал. «Вот черт рябой»,— беззлобно выругался Веригин и невольно сам подобрался.

— Все в порядке, Андрей Степаныч, — козырнув для приличия, сказал Медовиков с оттенком доброй снисходительности. — Увольняющиеся вернулись вовремя, замечаний нет.

— Да был ли ты сам-то на берегу? — спросил Веригин.

Лицо Медовикова замаслилось, словно ядреный блин.

— Как не быть — был. Не знаю, как живым вырвался.

— По тебе не заметно, что вырывался.

— А зачем замечать-то? Я в этом деле человек свычный. Какую хочешь сам уморю.

— Ну, Медовиков, ты даешь. Не успел от невесты уйти, а уже черт те что говоришь, — осуждая Медовикова и словно бы брезгуя этим разговором, сказал Веригин. Он не притворялся, даже представить себе не мог, чтобы кто-то — пусть там друг или недруг — хотя бы одним глазом, как в замочную скважину, глянул на его отношения с Варькой.

— Так не невеста уже, — вполне серьезно и строго поправил Медовиков.

— Жена, я полагаю, это все.

Медовиков ухмыльнулся:

— Все, да не все, Андрей Степаныч.

Веригин начал сердиться, думая, что Медовиков дразнит его. Впрочем, в большей мере раздражало его то, что он ушел из «дому», даже не поцеловав Варьку, и теперь казнился, и чем больше казнился, тем сильнее раздражался и уже готов был ко всему относиться нетерпимо, если не враждебно. Он и Медовикову сказал как бы между прочим, хотя и знал, что бьет больно:

— А тебе не кажется, дорогой Василий Васильевич, что от этой твоей любовно-житейской мудрости веет дремучей пошлостью?

— Нет, Андрей Степаныч, — сделав непроницаемое лицо, твердо проговорил Медовиков. — Я словами-то этими, может, хочу заслониться от всего света.

И он не лгал, Медовиков, и ничего не сочинял, скорее

всего мстил себе, узнав ночью, что он всего лишь второй: не первый, не третий и не десятый, а только второй, и той радости, которую пережил Веригин, он не испытал, и если бы Веригин пристальнее вгляделся в Медовикова, то он, может быть, не все, но что-то и понял бы; но Веригин сам мучился и даже не придал значения тому, что Медовиков с первым катером объявился на крейсере, хотя в другом случае, наверное, постарался бы быть точным и вернулся бы с берега к семи часам, как они об этом накануне и договорились. Но, к сожалению, очень часто человеку свойственно видеть только себя, и даже в неприятности или в горе другого он понимает опять-таки самого же себя. Наверное, трудно с этим согласиться, но что поделаешь — такова жизнь, как говорят французы, а они великие мастера по части сочинения всевозможных максим, сентенций и парадоксов. И все-таки Веригин заметил что-то в лице Медовикова, словно бы он на какое-то мгновение оскопился, что ли, хотя ничего подобного и не было; лицо у Медовикова, как маска, продолжало оставаться замкнуто-бесстрастным.

— Прости, если я тебя ненароком ударил. На душе у меня беспокойно. Тревожусь я, Медовиков.

— Не будем считаться. У меня у самого не все ладно,— признался Медовиков и, пожалев об этом, тотчас сказал: — Вы бы лучше послушали, что матросы в кубрике говорят. Уши вянут, а ведь, почитай, каждый из них живьем и бабу-то не видел, не говоря о прочем. У них во всех этих делах самый главный работник — язык, а язык-то — он ведь без костей. А чего с них возьмешь, парни-то в самой силе, кровь играет, вот и плетут невесть что. Не дело, конечно, мужику по бабам таскаться, а без бабы-то как быть? Это ж насилие над самой природой.

— Может, ты и прав, — согласился Веригин, хотя никакой особой правды в словах Медовикова он не нашел.— Может, ты и прав, — повторил он. — Но что бы там ни требовала природа, служить-то надо. По трапу ведь только бегом. Не правда ли, Медовиков?

— Да уж, видно, так, по трапу только бегом.

Объявили боевую готовность номер один для первого дивизиона, по сути дела, сыграли боевую тревогу, а для всех прочих дивизионов, частей, служб и команд дали сигнал «Движение вперед», и воскресный день, который так ждали всю неделю, стал днем авральным.

— Куда гонют? — недоумевали одни. — Будто будних дней не хватает!

— Туда и гонют, — мудро отвечали другие.

Самогорнов созвал, как он выразился, деловой междусобойчик носовой группы — старшины команд, он сам с Веригиным — и сжато, в двух словах, — Самогорнов заметно входил в роль комдива, и это ему удавалось, — изложил свою программу: заряды не таскать на плечах, чтобы не устраивать толчею, а передавать по цепочке, и для этой цели поделить борта или — на левом борту цепочка выйдет человека на четыре длиннее — грузиться сообща, и тогда не будет никаких обид.

— Заряды-то не мячики, — засомневался Веригин. — В них пудика...

— Да и матросы не красны девицы, — возразил Самогорнов.

На том и порешили, и снова оркестр играл «Морскую гвардию» и «Прощание славянки», заглушая громом меди посторонние звуки, и, если бы не сигнал на стеньге «Принимаю боезапас», со стороны всякий бы решил, что на корабле — «разлюли малина»; собственно, в городе, куда долетали только глухие, утробные вздохи барабана, так и думали: «Лафа матросикам. До обеда потанцуют, потаскают канат туда-сюда, а после обеда на берег сойдут. Служи — не хочу». А матросы, притопывая в такт парадных маршей, бережно — черт возьми, все-таки отборнейший порох! — перекидывали с рук на руки футляры с зарядами, и, чем выше поднимала баржа борта, тем плотнее заполнялись соты в пороховых погребах.

На ходовом мостике стоял командир, придерживая поясницу рукой — радикулит совсем загрыз, — и, поглядывая сверху вниз, посмеивался над вчерашним своим лихачеством. Сегодня он был в полной форме, и никто уже не мог даже помыслить, чтобы простецки сказать ему: «Ну ты, раззява», он снова стал небожителем, и только ему одному беспрекословно подчинялся этот сложный организм, который в литерных списках значился как крейсер такой-то. И он-то, командир, знал, что матросикам совсем не лафа, и, может быть, по-своему и пожалел бы их, но из разговора с адмиралом за утренним чаем он сделал для себя вывод, что переход на Север вполне реален, хотя адмирал об этой реальности не обмолвился ни одним словом, и поэтому понятие жалость, как равно и другие, подобные ему, были в это утро начисто вытравлены из его сознания. Иначе было нельзя: силе должна противостоять сила, и только сила может победить силу. Командир это знал не с чужих слов, не понаслышке, он сам все это испытал на своей шкуре в жесточайшем сорок первом году, когда флот покидал Таллин,

взяв курс на Кронштадт. По натуре капитан первого ранга не был жестоким, но обстоятельства могли высветить в его характере жестокость, и, когда на шкафуте оркестр решил передохнуть и уже было отложил трубы, он властно крикнул:

— Работы продолжать. Оркестру играть «Варяга».

Над рейдом гуляло маловетрие, бросая горстями на серебристую воду мелкую синюю рябь, и тогда казалось, что с поднебесья сыплется молодая листва; было много солнца, и город, освещенный им, вознеся колокольни, как мачты, плыл белой армадой в неразгаданные дали. И, поглядывая на берег, не один, наверное, матрос думал, что если уж и есть где праздник, то это там, среди белых парусов, и скорей бы кончалась эта каторжная работа.

Но у праздников есть одна любопытная особенность: они хорошо смотрятся со стороны, а при самом-то празднике порой бывает очень неуютно. По крайней мере, так считал Остапенко. Вчера ему выпала очередь уволиться на берег, и он часа два добросовестно слонялся по улицам, съел три порции мороженого, съел бы и больше, но следовало поберечь деньги, и Остапенко поберег их, мечтая познакомиться с какой-нибудь приезжей девчонкой — местные на знакомства не шли, — и опять послонялся, исправно козыряя встречным офицерам; попался ему участковый милиционер, он и тому козырнул на всякий случай. Участковый сразу даже не понял, кому козыряет матросик, а потом, догадавшись, заулыбался и пробасил: «Здравия желаю». Матросы посмеялись, что Остапенко-де железнодорожников приветствует, но лучше все-таки перестраховаться, чем недостраховаться, да и некогда было разбираться в этих тонкостях, а там пришла пора возвращаться на борт, и только на пирсе Остапенко узнал, что надо было идти в Базовый матросский клуб, девчонок там пруд пруди, но время было потеряно, и теперь он, глядя на берег, мечтал отличиться и сходить в увольнение вне очереди.

— Раззява, — сказал ему старшина орудия, подавая заряд. — Куда гляделки-то уставил?

— Дак никуда, — ответил Остапенко.

— Ну и держи крепче, а то уронишь за борт, всю жизнь отрабатывать придется.

— Спишут...

— Я тебе такое «спишут» покажу, что быстро забудешь, на каком месте мамка велела сидеть. Держи, раззява. — Старшина не хотел обидеть Остапенко, но в глазах от зарядов уже рябило, и мало-помалу у него в душе начала ко-

питься обида, хотя, казалось бы, чего уж проще: кидай себе и кидай, только по сторонам не глазей, не нарушай общего порядка: — Держи... Дер-р-жи... Дер-р-р-жи...

Заряды плыли и плыли, обласканные матросскими руками, но Самогорнов неожиданно уловил, что в отлаженной цепочке не сработало какое-то звено.

— Стоп! — крикнул он матросам на барже. — Общий перекур...

— Рановато. — Веригин все еще чувствовал раздражение, хотя видимых причин уже не находилось — погрузка шла ровно, и, положась на Самогорнова с Медовиковым, он мог считать себя за ними как за каменной стеной, но он думал о Варьке, почему-то ругался с нею, и уже не хотелось ему никаких каменных стен. — Рановато, говорю, — повысил он голос.

— Что с тобой, братец? Нехороший ты сегодня какой-то, — миролюбиво заметил Самогорнов, догадываясь, что с Веригиным творится что-то неладное. — А работать на износ нельзя. Нельзя, понимаешь ты это?

— Да я понимаю, — досадуя на себя, сказал Веригин. — На износ работать, разумеется, нельзя, но тогда мы к ужину не управимся.

— В том-то и дело, что если не сломаем людей, то управимся. И учти: нам с этими людьми идти на стрельбы. Других-то нам никто не даст. А впрочем, это к делу не относится, но вот вчера после твоего ухода в кают-компании состоялся интереснейший диалог между Пологовым и Иконниковым. По их предположениям, предстоит нам скорая дорога.

— Мой Медовиков давно уже нагадал. Он убежден, что с боезапасом держать нас тут не станут, а как пить дать шурапут в Энск.

— Твой Медовиков со своим Энском — вьюноша, а ты слушай мужей умудренных: дорога-то нам предстоит благословенная, проливами Малый Бельт, Каттегатом да Скагерраком, вокруг Скандинавии аж до самой Кольской губы.

— Ты думаешь? — насторожился Веригин.

— Да разве я так думаю? Это, братец, Пологов с Иконниковым такую погудку придумали, а они на кофейной гуще не привыкли гадать. Так что поспеши со свадьбой. И еще: есть директива доукомплектовать нас.

— Это меня не касается. У меня полный комплект.

— Слушай сюда: если хочешь от кого избавиться — действуй. Дело верное и нешутейное, но язык держи за зубами.

Веригин мысленно перебрал орудийные расчеты, остановился на Остапенко, мысленно же спустился в перегрузочные отделения, в погреба и снова вернулся в огневое отделение, представил себе Остапенко и опять же мысленно махнул рукой.

— Я уж будто породнился с ними. Всех жалко.

— Волю-то чувствам особенно не давай. Не мы жестокие — время и обстоятельства требуют жесткости. Тут уж ничего не попишешь. Давай команду.

— Первая и вторая башни, кончай курить! — крикнул Веригин, хотя даже смешно было подумать, чтобы кто-то мог закурить на верхней палубе. — Движение вперед.

Оркестр грянул, ликуя медью труб, звеня тарелками и бухая барабаном:

И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»
Подобен кромешному аду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На устройство личных дел Веригина, как, впрочем, и Медовикова, стараниями Самогорнова и комдива Кожемякина — знай наших! — отпустили до восемнадцати часов понедельника, и это в тех условиях было неслыханной щедростью. Они и сошли на берег вдвоем — на командирском катере, — и это, если хотите, было второй щедростью. На третью щедрость скуповатого Пологова просто не хватило, хотя командир и предоставил в распоряжение Веригина и Медовикова свой катер на весь понедельник.

— Им небось свадебный выезд потребуется, а у меня троек нет, — сказал командир, отдавая распоряжения старпому на понедельник. — Так пусть возьмут мой катер, покатают невест, что ли... — Морщась, он потер ладонью поясницу.

— Болит? — участливо спросил старпом Пологов.

— Проходит, кажется. Так и есть — проходит. А впрочем, с катером решай, как тебе будет с руки.

Это «впрочем» поставило старпома Пологова перед дилеммой: давать или совсем не давать катер, и он принял соломоново решение — свезти женихов на берег с шиком, а на берегу пусть сами устраиваются как знают. Будь бы его воля, он и вовсе бы никого не отпустил — работ на борту непочатый край, — но уж раз такова воля командира, то и быть по сему, но немного при этом должно же быть и по-старпомовски, и это «по-старпомовски», если добираться до

сути, было все, а на долю командира оставались только благие порывы и намерения.

Но Веригин с Медовиковым ничего этого не знали, и слава богу, что не знали, развалясь на диванах в командирском салоне, покуривали — путь был долог, командирский катер приставал прямо в городе, — словом, кейфовали и вели между собой неторопливую беседу о всякой всячине.

— Медовиков, а Медовиков, ты как решил: расписываться или погодить? — спрашивал Веригин. Вопрос этот был для него немаловажный, тем более что раньше он както не приходил в голову, и Веригин теперь не знал, как поступить и куда обратиться. Другие, собственно, с этого и начинают, и все у них получается ладно, а у него все вышло с другого конца.

Медовиков меньше всего сейчас думал об этом, переживая и мучаясь весь день, что он не первый. Он-то знал, что Наталья у него тоже не первая, смысл был только в том, что одно дело — полюбовница, и совсем другое — жена. И отбой давать не хотелось — «уж больно девка-то хороша!» — и все-то у него получилось шиворот-навыворот.

— А погожу, — сказал он весело, решив наконец повременить и с загсом, и со свадьбой. — Погожу, — добавил он решительнее. — С этим всегда поспеется: надо мной не каплет.

— Как же так... — растерялся Веригин. — Вроде бы говорил, что тебе завтра в загс? Нехорошо получается-то: выходит, меня обманул, я — комдива, а он, стало быть, командира?

— На борту я никого не обманул — все так и должно было быть, — упрямо сказал Медовиков, — да вот случилась одна закавыка, будто заноза в сердце попала. Тащу ее, проклятую, тащу, а вытянуть не могу.

— Что-то не пойму тебя. Ты бы как-нибудь попроще объяснил, попредметнее.

— В этом деле предметнее никак нельзя. Предметность в этом деле, Андрей Степаныч, пошлостью может обернуться. А это куда как неинтересно.

— Большого интереса, конечно, нет, — согласился Веригин, — только для пользы дела иногда и гальюн голыми руками чистят.

— А не надо чистить, — сказал Медовиков, подчеркнув голосом, что все это ему в высшей степени неприятно. — Чистить-то не надо. Всяк по-своему с ума сходит.

— Дело хозяйское.

— Это верно, хозяин — барин.

Они помолчали и послушали, как по бортам шлепают мелкие волны, которые на крейсере даже не чувствовались, но оказывается, они есть, и ладошки-то, оказывается, у них крепкие и звонкие. «Должно быть, и у него не будет весны, — подумал о Медовикове Веригин, но подумал так, словно бы о себе. — И ничем уж тут не поможешь, и ничего не попишешь. Может, это и верно, что всяк по-своему с ума сходит».

— А что, Андрей Степаныч, на Севера́ нас скоро пошлют? — спросил после молчания Медовиков. — Вот, говорят, где служба-то: семь месяцев в году — ночь, остальное — день, гуляй — не хочу.

— Не слышал... — Веригин свято чтил кают-компанские законы, а законы те взывали к молчанию, и он не мог поделиться новостью, слышанной от Самогорнова, даже с Медовиковым. Не мог, и все тут, поэтому и ответ свой не считал ложью, даже посмеялся: — На каждый роток, Василий Васильевич, не накинешь платок, хотя, наверное, и стоило бы это делать. Помнишь, как на плакате: «Болтун — находка для шпиона», — и повторил на свой лад: — Для шпиёна.

— Будет вам, Андрей Степаныч. Весь крейсер об этом говорит. А еще был слушо́к, что кое-кого перед тем в экипаж спишут.

— Кажется, бумага такая есть, но старпом ее еще не обнародовал.

— Спишите меня, — попросил Медовиков.

— Что уж сразу так-то?

— Не сразу, Андрей Степаныч. Холост был, куда ни шло, а теперь как родную жену на чужих людей оставишь?

— Ты же решил погодить с этим делом!

— А это уж так.

— Ты как тот оракул: «Не помрет, так жив будет», — опять начал сердиться Веригин. — Что ж ты, без любви, выходит, к человеку идешь или обидели тебя чем?

— Эхма! Любовь-то, Андрей Степаныч, была, да вся вышла, остались одни слова, словно чешуя от рыбы. А из нее, чешуи-то, клей варят. Это тоже надо понимать.

— Ну, любовь любовью — дело это тонкое, а на берег, Медовиков, не надейся, не спишу. До командира дойду, если Кожемякина подговоришь, драться за тебя буду. Мне без тебя как без рук.

— Тогда Остапенко спиши.

— И Остапенко не спишу. Никого не спишу. И что тебе дался Остапенко?

— Нелюбовный он какой-то. — Медовиков не сказал, что с того памятного часа, когда Остапенко вывалился за борт и он, Медовиков, побудил его, Остапенко, сочинить рапорт ради общего же, как думалось Медовикову, благополучия, он суеверно начал остерегаться Остапенко, как, скажем, черных кошек. — Не лежит у меня к нему душа.

— А кого ты на наводку посадишь? И потом, что это за дамские разговоры: «нелюбовный», «не лежит душа». Матрос только-только начал службу понимать!..

— Богом прошу, спиши либо меня, либо его, — твердо, даже как-то зло, повторил Медовиков, и Веригин, не желая спорить и портить настроение и себе, и Медовикову, быстро согласился:

— Ну, хорошо, хорошо, я подумаю, — и тотчас обругал себя скотиной и за поспешность, и за то, что последнее время стал слишком уж уступчив и безропотно соглашался во всем и с Самогорновым, и с тем же Медовиковым. — Я подумаю, — уже с угрозой сказал он, дав тем самым понять Медовикову, что он может подумать и так, а может подумать и этак, но Медовиков остался доволен ответом, и в командирском салоне воцарился мир и покой, как в компании милых, добрых друзей, которым незачем попусту щекотать друг другу нервы и которые в равной мере умеют щадить и чужое самолюбие, и свое, но в большей степени все-таки свое.

— Лет через пятнадцать — двадцать заматереешь ты, Андрей Степаныч, получишь для своего личного удовольствия такой вот катеришко и будешь катать на нем свое благочестивое семейство, — польстил Веригину Медовиков.

— А не будет этого, Василий Васильевич.

— Это почему же? — спросил тот с интересом, поднялся и начал застегивать шинель: город, еще недавно игрушечный и далекий, надвигался громадами домов и портовых сооружений и придавил своей тяжестью и величием катер, пусть даже командирский.

— А потому и не будет, — прощаясь, сказал Веригин, — что катер-то носит Военно-морской флаг на корме, сиречь он военное судно, а на военном судне штатским, пусть даже они ближайшие родственники самого Саваофа, быть не положено.

— Не положено так не положено, — по-хорошему так согласился Медовиков и, тоже прощаясь, напомнил: — Так

что к двадцати одному прошу. Свадьба не свадьба, а ужин закачу.

— Так будет свадьба или не будет? — спросил вконец сбитый с толку Веригин.

— Видать по всему — будет.

Веригин решил не ходить к Медовикову на свадьбу там или не на свадьбу, неприятный какой-то осадок оставил их невольный разговор в катере, и продолжать его хотя бы молчаливым присутствием не хотелось. Поди знай, что потом подумает Медовиков, вдруг да и расценит, что Веригин тем самым согласился списать Остапенко на берег, а Веригин не то чтобы из самолюбия заупрямился, а вроде бы опять почувствовал к Остапенко едва ли не отеческую нежность, даже как будто бы духовное родство, хотя Остапенко и его чем-то раздражал, покорностью, что ли, или пришибленностью. Веригин не мог этого объяснить, ему однажды даже привиделось что-то роковое, обреченное в лице Остапенко, отличительное от других, — словом, нуждался Остапенко в участии, и Веригин это понимал, но понимать-то понимал, да в не меньшей мере и о себе думал, потому что крутиться приходилось как белке в колесе. Ах, да не до Остапенко ему было, накатились свои заботы и обрадовали, оглушили, повлекли за собой в новую, неизведанную жизнь. И кто знает, чем-то все это обернется, ну да уж теперь деваться некуда, и Варька оказалась такой беззащитной, как думалось ему, что впору было бросить все и тетенькаться с нею, как с ребенком. «Глупость, конечно, все это, — трезво подумал Веригин, — и Варька не ребенок, и нас самих, видимо, скоро пропрут на Северá, так уж какое там к черту тетенькание. Распишемся завтра — и пусть к богу в рай едет себе в Питер или к матери в Старую Руссу».

Он и Варьке сказал об этом прямо с порога, и она как будто немного опешила и растерялась, но перечить не стала и покорно согласилась:

— Хорошо.

— Хорошо или плохо — не в этом дело. Нет у нас с тобой иного выхода, — сварливо (впрочем, ему-то думалось, что говорит он решительно, как и подобает мужчине и мужу) сказал Веригин. — Оставлять тут тебя одну я не могу.

— Хорошо, — сказала Варька, которая еще позавчера сама рвалась отсюда, а сегодня уже не хотела никуда уезжать. — Но ты говоришь так, словно я кругом виноватая.

Если тебе... — И Веригину послышались в ее голосе слезы.

— Только, ради бога, ничего не придумывай. Изменилась ситуация, и пришла пора действовать. А то слова-то какие: «кругом виноватая...» Ах ты, Варька, Варька... Да если бы я за тебя не отвечал, разве бы я позволил себе так разговаривать!

— А ты разговаривай, разговаривай... — потребовала Варька счастливым голосом, и Веригин даже опешил: «Поди знай теперь, как вести себя. Нашумишь — она радуется. Приласкаешь — запечалится, а то еще злиться начинает». Но путаться в этих мыслях не хотелось, потому что главное решилось как-то просто и естественно, в считанные минуты, и сразу словно бы образовалась пустота, в которую Веригин с нервозным смешком начал валить и неудачника Остапенко — «парень он так себе, но поди ты, взъелись на него старшины», — и Самогорнова, неожиданно ставшего для них ангелом-хранителем, — «никогда бы не подумал, что у него такая чуткая душа», — и Медовикова, этого исподтишника, взбунтовавшегося против собственной же свадьбы, — «что с ним случилось, ума не приложу». Волей-неволей пришлось сказать ей о приглашении Медовикова; и как ни не хотелось ему плестись в дождь, по слякоти через весь город к судоверфи, но надо было соглашаться: Варька не просто обрадовалась, она даже как будто возликовала, сразу стала деятельной, перерыла весь свой немудреный скарб, поминутно спрашивая:

— Андрюша, я пойду в этом — хорошо? Оно идет мне? А что все-таки лучше: потемнее или посветлее? Как ты считаешь?

Сперва Веригин с интересом наблюдал за Варькиными справами, потом неожиданно взгрустнул и устало махнул рукой:

— Посоветуйся лучше с Алевтиной Павловной. У нее на это — нюх, а по мне, ей-богу, в чем пойдешь, в том и ладно.

— Андрей, не смей так! Я могу обидеться.

— Нет, право, посоветуйся с Алевтиной Павловной, — смеясь, сказал Веригин. — Все едино я в этих делах — круглое бревно.

Позвали Алевтину Павловну, и та, пробежав цепким взглядом по Варькиным нарядам, разбросанным по стульям, указала на скромное платье темной шерсти с белой кружевной отделкой.

— Варенька, — сказала она при этом, — запомни, мой друг, что на свадьбу лучше одеваться поизящнее, но попро-

ще. Главная-то дама там невеста, и это следует учитывать.

Извозчика не нашлось, и они ехали сперва трамваем, потом долго плутали по притемненным переулкам, и, когда нашли и дом, и дверь, свадьба уже была в полной красе. Медовиков сидел во главе стола в парадной тужурке при всех орденах и медалях, и эти ордена и медали, о которых Веригин, правда, и раньше знал, но не видел их, а значит, и не помнил, ужасно смутили его, и он не сразу сообразил, как себя вести. Видя его растерянность, растерялась и Варька, и, хотя места их по правую руку от жениха оставались свободными, они начали было усаживаться с краешку, но Медовиков не дал им сесть и, нарушая ритуал, запрещающий жениху главенствовать за столом, громко сказал, невольно пугая установившуюся тишину:

— А ну, полундра. Отцу-командиру — красное место.

И отец-командир, он же Веригин, проклиная все на свете, начал пробираться вдоль стены, ведя за руку Варьку, как будто они тут были главными виновниками, и это, наверное, со стороны было смешно, но никто не смеялся, и Веригин успел мельком глянуть на невесту, найдя ее хорошенькой, и заметить рядом с нею сморщенную старушку и кого-то еще усатого и хмельного, одного-двух мичманов с их крейсера и двух-трех мичманов незнакомых, и все эти мичманы тоже были при орденах и медалях, и среди них Веригину с его пустой грудью стало совсем неуютно. Ему и Варьке тоже налили, и Веригин сразу же брякнул:

— Горько!

Это получилось неожиданно, и многие в застолье стыдливо потупили глаза, но мичмана в пять-шесть глоток дружно и крепко гаркнули: «Горько!», и Медовиков с невестой поднялись и поцеловались, и тогда закричали остальные: «Горько!», зашумели, засмеялись, захлопали в ладоши, и свадьба, утратившая некоторую плавность с появлением Веригиных, пошла своим чередом.

— Ты все-таки скажи что-нибудь, — шепнула Варька. Она чувствовала, что ее оглядывают со всех сторон, примеряя к себе: все-таки офицерша, хотя мужик-то еще и лейтенантик, но ведь и все большие чины начинали с лейтенантов. И Варька старалась держаться ровно, чтобы не выдать себя, будто это льстит ее самолюбию, и все-таки медленно краснела и тушевалась под пристальными взглядами и неслышно подталкивала Веригина.

Говорить Веригину не хотелось, но он догадался, что это надо прежде всего Варьке, поднялся и налил себе из первой подвернувшейся бутылки, в которой оказался чис-

тейший ректификат, припасенный другом Медовикова, мичманом-баталером, начал не очень твердо:

— Не мне бы сегодня держать речь, потому что не я ходил с Медовиковым на минные поля, не я проливал с ним кровь, но уж коли мне выпала честь служить в одной башне и делить наши общие заботы и радости, то скажу, что лучшего себе напарника-наставника я не пожелал бы...

За столом притихли и уже смотрели только на него, как будто он, этот не очень складный по молодости лейтенант, которому для складности необходимо было еще заматереть, единственный мог открыть в Медовикове что-то такое, чего они сами не рассмотрели, и он, кажется, открывал для них это самое что-то. По крайней мере и невеста, и старушка возле нее, внимая Веригину, млели, и даже Медовиков и его дружки-мичмана едва заметно кивали головами: дескать, все правда, едрена корень, валяй шпарь дальше. Варьке тоже нравилось, как он говорит, ей даже думалось, что она говорит вместе с ним, и она согласно, молча поддакивала, перебирая на коленях кисти от скатерти, и верила, что ничего неловкого он не скажет, и если только что смущалась всем, то теперь сразу как-то освоилась, и уже не рдела под любопытными взглядами, и спокойно, даже гордо, сносила их.

— ...И пусть я говорю только от себя, но верю, что любой из нас, — Веригин повел глазами по застолью, выделяя среди прочих только мичманов, и те, построжав, словно по команде «Смирно», становились важными и значительными, и женщины, сидевшие возле них, тоже каменели и старались не отставать от своих мичманов, — снова пошел бы с Медовиковым и на минные поля, и кровь бы пролил на благо Отечества.

Мичмана гаркнули «ура!» и ловко, как будто сговорившись заранее, рванули Волховскую застольную:

Выпьем и чокнемся кружкой, бокалами,
Вспомним друзей боевых.
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых.

Пели они строго, видимо, не впервые, потому что каждый голос знал свое место, не забегал вперед и не тянулся за другими.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

Веригина прошибла невольная слеза, он потянулся к стакану, но Медовиков легонько придержал его за локоть:

— Не пей, Андрей Степаныч, у тебя гольный спирт. С непривычки сойдешь с катушек. Дай-ка я плесну тебе чего-либо полегче.

Веригин опешил — гляди-ка, спирт, — но виду не подал, молодецки крякнул — была не была, повидалася! — но тут встряла Варька:

— Не пил бы ты, Андрюша.

— Да что я вам, — возмутился Веригин, — на свадьбе да не выпить!

— Андрей, — сказала Варька, и Веригин как-то не к месту подумал: дескать, вот был он человек как человек, что хотел, то и делал, а теперь извольте-ка подчиняться; можно бы, конечно, и не подчиниться, но как не подчинишься, если на них уже обратили внимание, и он покорно, хотя и бунтуя против своей же покорности, отставил стакан в сторону, принял из рук Медовикова другой, осушил его одним махом, поднялся и начал дирижировать песней. И когда мичмана допели и, довольные собой, помолчали, всплыл над столом дребезжащий тенорок старушенции, теперь уже законной и основательной тещи Медовикова, как думалось в дружном застолье и как вовсе не думал Медовиков. «Это еще бабушка надвое сказала, — все еще хорохорился он, впрочем уже сильно сомневаясь в своей правоте: в подвенечном наряде Наталья была на диво хороша, печально-ласковая и смущенно-испуганная, и Медовикову льстило, что все в ней ладно, но он же мысленно и поучал ее: «А ты потерпи, не терпела раньше, так теперь потерпи». А меж тем старушенция разливалась соловьем залетным:

Все отдал бы за ласки взора,
Лишь ты владела бы мной одна...

Мичмана подхватили и эту песню, и Веригин опять начал дирижировать, подпевая:

...За ласки взора огневые
Я награжу тебя конем, —
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом.

— Андрей, — в другой раз сказала Варька, и Веригин словно споткнулся, сел и ошалело посмотрел на Варьку, — ты же отец-командир!

— Давай поцелуемся.

— Чудной ты пьяненький. Свадьба-то ведь не наша!

— Это верно, — трезво согласился Веригин. — Ну и что,

«не наша»? — опять хмелея, спросил он. — Не наша, так будет наша. — И привлек к себе Варьку, сочно поцеловал ее в губы, почувствовав, что она не противится.

В застолье обрадовались, закричали на разные голоса «Горько!», и все смешалось, потому что одни кричали Веригину с Варькой, другие Медовикову и его суженой, и, когда шум и разговоры поутихли, ответную речь стал держать Медовиков:

— Ты говорил, Андрей Степаныч, что пошел бы со мной на минное поле. Спасибо тебе на этом, потому что выше этих слов у нас нет и не может быть. Кто ходил по минным полям, тот понимает, что это такое. Так знай, Андрей Степаныч, и я пойду с тобой на минное поле. Пойду, потому что поверил в тебя. Наш брат, хлебнувший войны по ноздри, не больно жалует вас, молоденьких, оперившихся не под вражеским огнем, а в учебных классах, где хоть и учат войне, да самой-то войной и не пахнет. Больно чистый воздух там для войны. А вот постреляли мы с тобой, и понял я, что у тебя и глаз верный, и рука, в случае чего, не дрогнет. Так и знай: и начало твое над собой принимаю с открытой душой, и под началом твоим пойду, куда прикажешь.

Выпито Медовиковым было много, но хмельным он не выглядел, слова ронял твердо, размеренно, как будто стучал кувалдой по кирпичной кладке, и от этой твердости и размеренности Веригину стало неуютно, словно Медовиков обличал его в чем-то или чему-то поучал, и захотелось ему подняться и сказать: «Все это конечно, хорошо, Медовиков, и в классах у нас был чистый воздух, и войне мы учились не на войне, но жизнь-то, будь она неладна, прет своей чередой, и минных полей уже нет, и горло пока некому ломать. И совсем не в этом дело». И сказал бы он, наверное, но Варька, видимо, заметила, как потемнело его лицо и сузились глаза, доверчиво прижалась к нему, нашла руку: «Вон ты, оказывается, какой ершистый, лейтенант Веригин, дорогой Андрей Степанович, милый Андрюшка. Вон какой ты!..» А тут, как на грех, вспомнился еще Самогорнов. Ах Самогорнов, Самогорнов... Он ведь тоже учился войне не на войне, а непременно бы нашелся, что ответить Медовикову, так ведь это он тогда говорил Веригину: «Нам, братец, чтобы понять службу, должно пройти академию Медовиковых». И не поднялся Веригин и ничего не сказал, только погладил в ответ Варькину руку, дескать, такой уж я, раз никаким не быть нельзя.

А потом снова пели, и Веригин пел вместе со всеми, но

больше не дирижировал и отплясывал вместе с Варькой русскую: «Барыня, барыня, сударыня-барыня»; но общее веселье уже пошло на убыль, все разошлись по углам, словно разделив свадьбу, как пирог, на разные куски. Неприступный и торжественный Медовиков обносил всех водкой и закуской:

— Что ж ты, друг сердешный, а? По одной еще, а? А там, глядишь, и еще по одной. Все равно на Севера́ уходить.

По пятам за ним ходила красивая и грустная Наталья, мужняя жена, и, потупясь, тоже говорила:

— Ну что же вы? Ну, пожалуйста.

Варьке безотчетно стало жалко ее, она рывком поднялась с места, оставив обескураженного Веригина, подошла к ней, приобняла за плечи, повела подальше от гостей.

— Какая ты красивая, Наташа, — лепетала Варька, — какая красивая.

— Господи, Варенька,— сказала та, неожиданно всхлипнув по-бабьи. — Скажите Андрею Степановичу, чтоб он приструнил моего-то.

— А что он?

— И говорить стыдно. Ругается все.

Варенька в растерянности остановилась:

— Может, уйти от него, пока не поздно?

— Как можно! — испугалась Наталья. — Этого никак нельзя. Вы только словечко замолвите. Он, мой-то, уважает Андрея Степановича. Он его послушает.

— Да уж бог с тобою, замолвлю. — Варенька провела ладонью по гладким и скользким волосам Натальи, быстро, почти крадучись, спросила: — Что же ты, любишь его?

— Он рассудительный, умный, — подумав, сказала Наталья.

— Да любишь ли ты его?

— Надо полагать — люблю, — тихо промолвила Наталья и опять беззвучно всхлипнула.

А Веригин тем временем все еще сидел за столом, возвышаясь над коренастыми, крепко сбитыми мичманами, чувствовал себя человеком весьма солидным и весьма же обстоятельно и внушительно рассуждал о Севера́х:

— Вопрос это решенный, это во-первых. Во-вторых, велено доукомплектоваться. В-третьих, Севера́ — это круглогодичное плавание...

Мичмана молча внимали ему и время от времени важно кивали, как на военном совете. К столу подошел Медовиков с подносом:

— По одной еще, а? Все равно на Северá уходить.
Стало ясно, что пора собираться домой.

Город уже спал, они шли не торопясь — нельзя же спешить всю жизнь, и неожиданно Варька обиженно попросила:

— Андрюша, не будь жестоким.

— То есть? — не понял он.

— Я догадываюсь, что Медовиков твой — личность, но эта личность вроде остывшего камня. Возле нее, наверное, очень зябко.

— Почему же... Медовиков — это наша академия, как утверждает Самогорнов.

— Андрюша, не учись в этой академии. Ты не видел, а я видела, как всхлипывала Наташа. Это ужасно — лить слезы на своей свадьбе.

— Варь, а ведь не было свадьбы-то...

— Как это не было, когда была!

— А вот так: была и не была.

— Чудной ты, когда пьяненький. Что-то тебе все мерещится, чем-то ты все недоволен.

— Ошибаешься, Варь, я весьма даже всем доволен.

— Чем же, например?

— Например, тем, что у нас не будет свадьбы. — Веригин поправился: — Такой свадьбы, и нам не придется лгать, что-то выдумывать, и тебе не придется плакать, а мне изображать из себя некую добродетель. Жизнь не подмостки, да и люди не актеры.

— Но ведь что-то должно же у нас быть?

— Будем мы с тобой, а вернее, будешь ты и буду я.

— Хорошо, будешь ты, и буду я, и все-таки будем мы с тобой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Утро прошло в беготне и хлопотах, и, когда наконец все было улажено и строгая попечительница записей актов гражданского состояния согласилась пропустить их вне очереди, попросту: соблюдая законность, сочла возможным обойти эту законность, выяснилось, что необходимы при этом два свидетеля, по одному со стороны невесты и жениха, и уж тут она уперлась и, что называется, легла костьми.

— У меня не частная лавочка, — неожиданно разволновалась попечительница, — а государственное учреждение, и я вам не поп-расстрига, который скуки ради мог повенчать молодых под первой попавшейся сосной.

Обращаться к Медовиковым после вчерашнего не хотелось, идти на корабль не оставалось времени, да еще и неизвестно, как там к этому бы отнеслись, пришлось броситься в ноги Алевтине Павловне, и Алевтина Павловна не ударила в грязь лицом, тотчас приневестила Варьку, собралась и сама, сбегала к кому-то из знакомых, и вскоре на улочку Трех Аистов подкатил свадебный кабриолет и пароконный извозчик — коренной горожанин, не связанный с заводами или портом, отчаянно цеплявшийся за обломки патриархального девятнадцатого века, который дотлевал и угасал на глазах.

Веригин подсадил Варьку в кабриолет и сам уже ступил на подножку, но тут же сообразил, что офицеру, да еще флотскому, как-то не с руки выставлять себя на обозрение всему городу, и они пересели на пароконного извозчика, попросив опустить кожаный, видевший три революции и три войны верх. В кабриолет довольно уверенно влезла Алевтина Павловна, а с нею плечистый дядя в темном пальто с бархатным воротником и широкополой шляпе, в усах и густо заросший — по самые брови — бородой; и это пальто, и шляпа, и усы с бородой смутили Веригина, но делать было нечего, водители конной тяги разобрали ременные вожжи, гикнули — и они покатили, цепляясь за каждый переулок, чтобы миновать людные улицы.

Варька глянула на Веригина и захохотала:

— Андрей, куда ты меня везешь? Ведь это же уму непостижимо. Скажу своим девчонкам — не поверят.

Веригин, красный, набегавшийся за утро и не очень твердо соображавший, что из этого может получиться, обозлился на Варьку и закричал:

— Куда надо, туда и везу!

— Что? — спросил пароконный водитель, важно поворачиваясь к ним грубоватым лицом.

— Ладно, дядя, правь, куда велено.

Веригин совсем ошалел и чувствовал себя весьма скверно. «Не приведи господи повстречаться с кем-нибудь из своих, с тем же Першиным или Медовиковым, — молил он, проклиная и себя, и вместе с собою и Алевтину Павловну, снарядившую этот нелепый выезд. — Тогда разговоров не оберешься. Ведь засмеют, жеребцы». Но, к счастью, извозчики знали свое дело — и прокатили их глухими переулка-

ми, и остановились возле обшарпанной, неказистой двери. Через нее, минуя парадный вход, можно было попасть в учреждение, ведавшее регистрацией тех, кто вступал в брак, готовясь приумножить свой род, и тех, кто только что появился на свет, не ведая, что без соответствующей записи в соответствующей книге сам факт его рождения еще ничего не значит для общества, равным образом как и тех, кто уже все изведал и ни к чему не готовился, оставив разбираться в своих и чужих грехах весь прочий человеческий род.

Попечительница долго разглядывала их документы, что-то ей не понравилось, и она вышла в соседнюю комнату. Все это было досадно, и Варька уже начала нервничать и хлюпать носом, как будто за то время, что они кружили по переулкам, ее прохватил злейший насморк.

— Андрюша, зачем все это?

— Надо, — сказал Веригин, не очень уверенный в том, что это на самом деле надо.

Попечительница вскоре вернулась, пошелестела увесистой амбарной книгой, поставила на документы штампы и, приняв важный вид, чтобы все соответствовало торжественной минуте, произнесла:

— Именем... Объявляю... Желаю... — Веригин и Варька напряженно смотрели на нее, чего-то ждали и совсем не воспринимали ее слова — они шелестели так же нудно и обреченно, как и страницы амбарной книги, в которую только что занесли их фамилии. — Будьте счастливы! — И вдруг застенчиво улыбнулась Варьке и грустно сказала: — Не стесняйтесь, любите друг друга, не бойтесь красивых слов. Ведь любовь — это так мало и так много, милые вы мои.

Алевтина Павловна и бородатый дядя скрепили акт своими подписями, Веригину вручили документы, и свадебный поезд, кружа теми же переулками, двинулся вспять на улочку Трех Аистов, и все как будто встало на свои места: и у Варьки прошел насморк, и Веригин уже не отводил глаза от прохожих, и все было чинно и благородно, совсем как в допотопном девятнадцатом веке.

— Андрюша, тебе не кажется, что мы сели не в свои сани и все это ужасно глупо?

— Не кажется, — сказал Веригин, который и натерпелся за это утро, и намучился, а теперь успокоился и словно бы отрешился ото всего и наконец-то почувствовал, что и пароконный выезд — вещь не слишком дурная, и лошади резвые, и сидеть покойно, и хорошо бы так вот ехать и ехать, и ни о чем не думать, и не гадать, что с ними ста-

нется завтра или послезавтра. — Варь, это же чудо! Мы с тобой даже не мечтали о таком.

— Где уж нам уж, — обиделась Варька, которая тоже настрадалась, но, в отличие от Веригина, не умиротворилась, а словно бы ожесточилась и даже стала как-то отчуждена от него. — У нас — не у Медовиковых, — передразнила она. — Нам подавай все шиворот-навыворот. Ох, Веригин, и почему ты такой нескладный?

— А перед кем, собственно, я должен складываться? И почему шиворот-навыворот? Все очень даже хорошо.

— С тобой не заскучаешь.

«Конечно, — подумал Веригин, — все это, может, и нелепо, но попробуй сунься в чужой монастырь со своим уставом. Тут свои порядки и обычаи», — но перечить Варьке не стал и даже как будто согласился:

— А зачем скучать? Скучать не надо, Варвара Веригина. Так прикажете величать?

Варька вздрогнула и, кажется, только теперь поняла, что таинство свершилось и обрело в глазах обывателя, скажем той же Алевтины Павловны и толстомордого бородача, непреложную силу закона, хотя в самом этом свершении и было что-то казенное, скрипучее, словно чиновник размашисто и заученно расписался на их жизни, как на деловой бумаге, предварительно обмакнув перо «86» в фиолетовые чернила.

Цокали по булыжной мостовой копыта, пели и повизгивали рессоры и увозили Варьку из одной жизни в другую, и эта новая жизнь почему-то виделась ей беспокойной, под стать цыганской, и ей стало страшновато и неуютно.

— Андрюша, не покидай меня.

— Ну что ты, что ты, — пробормотал Веригин, отчетливо понимая, что просьба ее невыполнима.

Возле дома он начал было расплачиваться с извозчиками, но бородач легонько отстранил его и, сильно окая, пробасил:

— Не положено жениху. Не положено. Ступайте в дом, а мы тут сами разберемся.

Алевтина Павловна первой юркнула в калитку, распахнула настежь двери, и Варька с Веригиным вступили в комнаты, оглядели друг друга словно впервые и, не таясь, обнялись. Варька сбросила с себя белую наколку, устало опустилась на стул и тихо вымолвила:

— Господи, — и повторила: — Господи, Андрюша, как же это все?

— А вот так. Как-никак, а все-таки вот так. — Он ви-

дел, что говорит нелепость, но сказать что-то значительное, соответствующее настроению, не было ни сил, ни желания. — Так, значит, и будет.

Алевтина Павловна накрыла стол у себя, зажгла люстру, хотя и без того было светло; заиграл хрусталь, тускло заискрилось серебро, и Веригин с Варькой поняли, что праздник наступил. Их заставили поцеловаться, и они поцеловались, чтобы не лишать других удовольствия, и бородач опять пробасил:

— Вот как хорошо-то... Хорошо-то как. Благочестиво и мудро.

Алевтина Павловна поставила перед Варенькой гномика — «пусть хранит он вашу любовь», — а бородач выложил на тарелку старинный хронометр в темном серебряном корпусе с крышкой, по которой тускло сверкнул золотой ободок — «Любовь, как и служба, требует точности», — скромно уточнил:

— С «Пересвета».

— Вы что же, служили там? — учтиво спросил Веригин.

— И не только служил, но и присутствовал при последнем сражении, и бог сподобил проводить к вечному порогу командира его, капитана первого ранга Степана Петровича Меньшикова.

— Моего мужа, — потупясь, вставила Алевтина Павловна.

— Да, Алевтина Павловна, и еще раз свидетельствую, что Степан Петрович был человек великой отваги и честности, дай-то каждому из нас такой кончины на благо любезного нам Отечества.

— Вы тоже в прошлом морской офицер?

— Простите, не понял?

— Константин Иоакинфович служил на «Пересвете» корабельным священником, — уточнила Алевтина Павловна.

Такой оборот Варьке очень понравился, и она изумленно спросила:

— Выходит, вы — поп?

— Священник, — поправила Алевтина Павловна. — К тому же бывший, дети мои. Бывший священник бывшего императорского флота. Так что с этой стороны, дети мои, вам ничего не грозит. А теперь Константин Иоакинфович преподает словесность.

— И весьма успешно, — пророкотал Константин Иоакинфович, бывший священник бывшего крейсера «Пересвет». — Не надо печалиться, Алевтина Павловна: что было, то и быльем поросло, а российский флот есть и пребу-

дет, так выпьем, хорошие мои, за святое морское братство и воздадим ему должное и ныне, и присно, и во веки веков!

Они выпили и порозовели, тушуясь и не зная, как вести себя дальше. Надо было что-то делать, вернее — говорить, впрочем, разговоры в застолье — это и есть первостатейное дело, но никто из них дела этого не находил, сидели, помалкивали, работая ножами и вилками, и даже, казалось, стыдились поглядеть друг на друга. Пользуясь паузой, Константин Иоакинфович откашлялся, помял ладонью бороду, и снова покашлял в кулак, и только потом начал тихим, будничным голосом, словно что-то припоминая или пытаясь вспомнить:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

— Господа, — забывшись, сказала Алевтина Павловна. — Блок — это так прекрасно, — и прочитала сама:

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче, —

и словно уйдя в себя, она повторила: — Как это поразительно: «белое платье пело в луче».

Константин Иоакинфович возвысил голос, стараясь придать ему некую строгость, даже торжественность:

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

— Нет, — упав на ладони лицом, всхлипнула Алевтина Павловна. — Нет, нет...

Голос у Константина Иоакинфовича стал печален:

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Он помолчал, как будто прислушиваясь к отголоскам, которые еще звучали в нем самом. Алевтина Павловна опять всхлипнула.

Варька погладила ее по плечу и сама пригорюнилась:

— Алевтина Павловна, голубушка, не плачьте.

— Да-да, Варенька, я больше не буду. Спасибо вам, хорошие мои, что залетели на наш гаснущий огонек. Пусть

будет вам большое счастье. Константин Иоакинфович, давайте споем вместо нашего благословения. Извините уж нас, стариков.

— Мы только что хотели вас об этом просить, — как-то хорошо, в один голос, сказали Варя с Веригиным.

— Весьма и весьма, — согласился Константин Иоакинфович, принял от Веригина гитару, взял первый аккорд и, дождавшись, пока он, затухая, не угас совсем, перебрал струны еще раз и запел:

Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звезды блеснут в небесах,
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса...

Алевтина Павловна стала за его спиной и, когда он допел и сделал паузу, начала первой:

Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий сад, словно тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень.

Все примолкли, и в комнате осталось звучание только этого грустного романса, пришедшего откуда-то издалека, почти из другого мира, и вдруг Веригин понял, что не ради них стараются Алевтина Павловна с Константином Иоакинфовичем. Глядючи на золото его погон, на кортик, они, наверное, вспоминали себя и другую жизнь, и, быть может, именно в это мгновение им думалось, что эта другая жизнь, утраченная безвозвратно, есть нечто осязаемое, и Веригину вдруг показалось, что все они тут, сидящие за столом, заглянули в прошлое, которое безвозвратно кануло и которое тем не менее еще жило: для Веригина с Варей этим прошлым были Алевтина Павловна с Константином Иоакинфовичем; для Алевтины Павловны с Константином Иоакинфовичем таким прошлым стали Варенька с Веригиным.

Веригину стало как-то нехорошо, даже страшновато. Он украдкой посмотрел на Варьку и по безмятежному выражению ее лица, по тому, как она улыбалась, понял, что она-то никуда не смотрела и была счастлива этой минутой. И он тоже заулыбался и повеселел.

— Да, — сказал Веригин, когда они вернулись в свою комнату. — Святое морское братство — это, безусловно, прекрасно, но, если это дойдет до Иконникова, мне плохо придется.

— Да, — повторила за ним Варька, — все ж это ужасно нелепо. Вокруг нас какое-то все бывшее, бывшее, бывшее. Но кроме этого бывшего есть ты и есть еще я, и на дворе-то у нас не девятнадцатый век, а зенит двадцатого, и над нами только что отгрохотала война.

— Да, — вернулся к своему Веригин, потому что приближалась пора закруглять одни дела и приниматься за другие. — Все это прекрасно, но иметь в своих свидетелях попа — предприятие несколько рискованное.

— Да, — соглашалась с Веригиным, но в то же время отвечая и своим мыслям, Варька. — Тем не менее в этом бывшем есть что-то и наше: твое и мое. Андрюша, а ведь ты здорово придумал!

— Ничего я не придумывал, — невесело буркнул Веригин, — все само по себе сошлось одно к другому. Но если ты рада, то, значит, и на самом деле все здорово. — Он помолчал, посмотрел на гномика, застывшего на столе, перевел глаза на Варьку, счастливую и немного смущенную, и понял: если он сейчас же не скажет ей, что эта комната и этот дом вместе с Алевтиной Павловной, вся улица Трех Аистов тоже уже их бывшее, не ставшее даже настоящим, то обманет ее, а если скажет, то огорчит и в своем роде тоже обманет; опять помедлил, глянул на гномика, чугунного идола с чугунным безобразным лицом, мимоходом подумал, что люди едва ли не на равных стараются окружить себя совершенным и уродливым, потому что первое слишком недоступно, а второе слишком понятно и, значит, тоже недоступно, и все-таки осмелился: — Варь, слушай меня внимательно. Сегодня мы, наверное, уйдем в море и, наверное, уже не вернемся. Подожди меня дня три-четыре. Четыре максимум. Потом я прошу, даже настаиваю, чтобы ты возвращалась в Питер.

— Как же так, Андрюша? Вдруг вы вернетесь на пятый, а меня здесь уже не будет?!

— Вряд ли... Случайностей в нашем деле почти не бывает.

— Как же так, Андрюша, — повторила Варька. — Вот ты, и вот я, и не надо никуда уходить. Это же нелепо — уходить. В конце концов — это глупо.

— Варь, а уходить-то надо... Не об этом бы сейчас говорить, да уж ладно. Может, нам и не скоро удастся поговорить. Ты же знаешь: я принял присягу, и в этой присяге есть суровые слова, которые я не могу нарушить.

— Этой клятвой ты связан на всю жизнь?

— Представь себе...

— И эта черта легла и между нами?
— Нет, эта черта легла теперь за нами.
— И тебе уже пора идти?
— И нам уже пора идти.
— Слушаюсь, товарищ командир.
— Да не слушаюсь, а есть, — сказал Веригин, досадуя, что Варька вставила общевойсковое «слушаюсь», а не флотское «есть», и на весь этот в общем-то пустой разговор, когда времени уже осталось малая малость и надо, видимо, поговорить о чем-то более важном, но вот о чем, он не знал и поэтому тоже досадовал, и эту свою досаду он не сумел скрыть. Варька как-то померкла, начала молча собирать его, поправила кашне и убрала под мичманку прядь волос, чтобы на улице Веригин выглядел пристойно.

Им попался тот же самый — «наш», сказала Варька,— пароконный извозчик и вызвался подвезти. Веригин с минуту поколебался, но, видя, что Варьке хочется прокатиться, махнул рукой — «семь бед, один ответ», — они взобрались на кожаные подушки; негоже, конечно, флотскому офицеру поощрять частную инициативу, но как не потрафить даме в такой день, когда она и дамой-то на полных основаниях стала каких-то часа три назад.

— Эх, милые! — закричал извозчик, дергая ременными вожжами, и дома закачались, поплыли, убегая назад, замелькали витрины, лица, сливаясь в неровные пьяные линии, глухо простучали копыта по деревянному настилу моста, отозвались гулом перила, шалая галка сорвалась с карниза и, чертя крылом золотистый воздух, облетела пролетку и скрылась в подворотне.

Тряслась и поскрипывала на выбоинах рессорная пролетка, как будто подгоняя себя: «Скорей, скорей, скорей»; покрикивал и посвистывал извозчик: «А ну, милые, а ну, залетные!»; и Варька всем своим существом, легкой, блуждающей улыбкой, смеющимися хмельными глазами, открытыми встречному ветру, немо и восторженно кричала: «Андрей, Андрей, Андрей!..» А Веригин печально и тревожно думал, что если Самогорнов прав и их погонят на Севера́, то с Варькой ему удастся свидеться не скоро, и, значит, эти резвые кони мчат их навстречу долгой разлуке, и что-то будет там, в тревожной дали, никому не ведомо, и нелегкое предчувствие схватило сердце и сжало его в трепещущий комок. Он полуобернулся к Варьке, прижался к ее щеке, бессвязно забормотал, чтобы не слышал извозчик:

— Слышь, Варь, ты жди меня. Жди, что бы ни было. Не здесь жди! Здесь не надо! Там меня жди. В Питере.

— Что с тобой, Андрей? — испуганно спросила Варька. — Тебе подумалось что-то плохое?

— Нет, ничего. Все хорошо. Только ты научись ждать, а то мне без тебя будет очень скверно.

— Прикажете прямо к причалу или как? — не оборачиваясь, чтобы не смущать седоков, через плечо, деликатно — так казалось ему — спросил возница.

— Остановите тут, — жестко сказал Веригин, сунул извозчику мятый червонец («Хватит с лихвой», — подумал он), помог сойти Варьке, и пролетка укатила. — Вот как у нас нескладно получилось. Нескладно получилось-то, а?

— Хорошо-то как все, Андрюша, — по-бабьи, нараспев сказала Варька, жалеючи глядя на него. — Хорошо-то как все. Ты только не трави себя. — Она подумала, собираясь сказать что-то важное и для себя, но больше для него. — Ты давеча хорошие слова нашел: теперь эта черта легла за нами. Верь, что это так и есть. Ты только верь, и тогда нам обоим будет легче.

— Варя, я верю. — Веригин заглянул ей в глаза и, увидев в них, как в зеркале, самого себя, скользнул по ее губам, чтобы не травить ни ее, ни себя жалостью последней минуты, отстранился и взял под козырек: — Я пошел, и ты иди. Варь, ты иди.

— Хорошо, — промолвила она, не трогаясь с места, и тогда он повернулся и, крупно шагая, пошел вниз к причалу, решив не оглядываться, и до самого катера не оглянулся.

Он остался на корме, закурил, пустыми глазами посмотрел на город, машинально отметив, что красная фабричная труба пустила в небо синие кольца дыма, похоже, будто кто-то лежал на спине и баловался, и это было смешно; украдкой от себя перевел взгляд на взгорок, где оставил Варьку, и увидел ее, взъерошенную ветром, похожую на одинокую ветлу в поле; раздалась команда «Отваливай», заработал мотор, стуча цилиндрами, и катер, пройдя между плашкоутами и баржами, вырвался на чистую воду, и Варька затерялась в чужом городе среди чужих людей. Веригин незримо рванулся назад, к берегу, тотчас застыл, и слово — последнее слово, — которое он хотел крикнуть Варьке, тоже застыло в его сознании.

Он успел к ужину, без пяти девятнадцать вышел на развод вахты, и в девятнадцать ноль-ноль, с первым ударом склянок, принял обязанности вахтенного офицера. Первый час выдался хлопотливым и беспокойным: только-только отвалила баржа, передавшая на борт продукты, как к другому

борту пришвартовался водолей, за ним подгреб буксир со шкиперским имуществом, краской и ветошью для протирки стволов, потом оружейник в сопровождении караульного наряда на командирском катере доставил боезапас — патроны и гранаты — на случай десанта, — и все это надо было принять, доложить по команде и записать в вахтенный журнал, и Веригин принимал, и докладывал, и записывал, и между всеми этими делами неотвязно и ревниво думал о Варьке, страдая за нее и страшась, что она растеряется одна и поступит как-то не так, как следовало бы, по его мнению, поступить. А потом сразу поутихло страдание, запряталось подальше от его же недремлющего ока, и он почувствовал себя попроще, посвободнее, словно у него сами собой развязались руки.

Сменясь с вахты, он долго пил чай, лениво щурясь на свет, и не принимал участия в общем разговоре, даже как будто не слышал, о чем говорят за столом, хотя и выхватывал отдельные фразы и реплики, фиксируя их в своей памяти, и мало-помалу уяснил, что рандеву с кораблем-целью назначено на утро в безлюдном квадрате. Чудак, кто думает и верит, будто море пустынно и необжито во все стороны, — дескать, иди куда душеньке пожелается и делай кому что вздумается. Может быть, в океанах и отыщутся еще белые пятна, но моря, подобные Балтийскому, Северному, Черному, Средиземному, давным-давно исхожены вдоль и поперек и обжиты моряками всех стран, как собственный корабль. Есть в этих морях столбовые дороги, есть проселки и есть пешеходные тропинки, есть места рыбных промыслов, где в путину в глазах рябит от траулеров и шхун и куда солидным «купцам» и стройным, подтянутым, словно выхоленным на парад, военным кораблям заходить не велено, не говоря уже о том, чтобы палить там из пушек. Для того существуют безлюдные квадраты, именуемые полигонами, и в одном из них и надлежало завтра им встретиться с кораблем-целью. Пакет с указанием широты и долготы этого квадрата еще утром доставили секретчики, и теперь он, запечатанный сургучом, сохранялся в корабельном сейфе, неусыпно охраняемом часовым.

Но не это беспокоило старпома Пологова и старшего артиллериста Студеницына; в конце концов, вскроет после полуночи командир пакет, перенесет координаты на карту, штурманы уточнят курс, кочегары и машинисты переведут воду в пар и дадут главным валам необходимое количество оборотов, и — берите свое слово, артиллеристы, говорите с миром на своем громоподобном языке. Главная закавыка

заключалась в том, что для этих стрельб требовалась волна не менее шестибалльной, потому что приборы упреждения залпов получили задачу именно на эту качку или на большую, но уж, во всяком случае, не на меньшую. Это значило, что стрельбы предстояли не шутейные и штаб флота не от щедростей своих раскошелился на боезапас: большие чины хотели знать, в какой готовности находится крейсер и может ли он в случае величайшей нужды сказать свое весомое слово, или этот красавец, уставленный оружием, не более чем щеголь, вырядившийся на прогулку.

— Синоптики-то что говорят? — в который уже раз спрашивал Студеницын Пологова, и в который уже раз Пологов отвечал:

— Что синоптики... У синоптиков одна песня: не помрет, так жив будет.

— Ну да, ну да, — говорил Студеницын. — Помню, прошлым летом эту волну мы недели две искали. Вот ведь как бывает: не надо — штормит, надо — ветра не досвистишься.

— Тебе что, — пошутил стармех, — заставь своих рогатых, они не то что ветер, ураган тебе насвистят.

— Ладно тебе, дед, — сказал Студеницын. — Я же не говорю, чего твои маслопупые духи могут насвиристеть.

— Моим что: держи пар на марке и в ус не дуй. Тепло, светло, и мухи не кусают.— Стармех бодрился, а у самого на душе скребли кошки: черт те знает, где тот квадрат, который артиллеристы в штабе указали для стрельб, и не прикажет ли командир идти самым полным ходом, а если прикажет, то как-то поведут себя котлы, главные и вспомогательные механизмы, а там ахнет главный калибр всем бортом—опять нервничай и переживай, что, да где, да как.— Моим что, — повторил он. — Мои свое дело знают.

— За моих тоже не болей.

— Ну да, ну да, — сказал теперь старпом Пологов, и все замолчали, потому что, сколько ни говори, дела не убавится, а новые сомнения на душу лягут.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На рандеву вышли вовремя, и тотчас же на горизонте объявился корабль-цель, а море предательски-бесстыдно голубело и было ровным, как стол, застланный свежей нарядной клеенкой: дескать, здравствуйте, дорогие гостюшки, долгонько вас не было, так что не обессудьте, чем богаты, тем и рады. И солнца было вволю, день разгорался празднич-

ный, хороводы бы водить в такой день, но ведь не хороводы же водить шли в этакую даль. Серьезное дело затевалось, но будь неладны синоптики со всей их метеорологической службой: шторм, миновав квадрат, прошел стороной — в пересчете с морских миль на привычную метрическую систему километрах так в трехстах к востоку — к осту. Тут уж ничего не попишешь, хоть плачь, хоть криком кричи, хоть свисти во все пальцы, а раз нет ветра, то и нет его.

Командир крейсера раздосадовался, наговорил старпому много неприятных слов, что у него-де и леера не все срублены — все леера срубили еще ночью, — и матросы без дела шляются по надстройкам — сигнальщики набирали флаги по международному коду, — и чай команде подали с опозданием, — словом, когда начальство не в духе, оно найдет повод, к чему придраться, и старпом Пологов, старый тертый «марсофлотец», понимал это и молчал, чтобы не вызвать новый приступ неудовольствия командира. В свою очередь он сделал втык командирам боевых частей, служб и команд, в заведованиях которых тоже обнаружились какие-то промахи — какие именно, Пологов не стал уточнять, — те обрушили свой гнев на комдивов, командиров башен и групп. Неудовольствие, вспыхнувшее на ходовом мостике, покатилось вниз, но, в отличие от снежного кома, не увеличивалось в размере, а ровнехонько растекалось по всем закоулкам, и, когда растеклось, стало ясно, что гневаться-то, в общем, нечего и не на кого. Не захотели Илья пророк с Николаем Мирликейским, чтобы в этом квадрате был шторм, а пожелали, чтобы стояло вёдро, и все синоптики флота с их отлаженной службой оказались бессильными что-либо изменить. Пока командир запрашивал штаб и пока там решали, что делать дальше — идти ли крейсеру в новый квадрат или дожидаться волны в этом, — Веригину позвонил Самогорнов:

— Братец, а если мы всю эту бодягу перекурим?

— Кожемякин чего-то не в духе.

— А мы, братец, потихонечку, возле моей башни. Нас там, братец, ни один локатор не засечет.

— Если не засечет, то лады... — согласился Веригин, которому и курить хотелось, и выходить было лень, и если бы не позвал Самогорнов, то он и не пошел бы. — Медовиков, в случае чего, шумни мне. Я возле башни буду.

— Добро, — сказал Медовиков, тоже хотевший курить, но раньше Веригина он не мог оставить башню. После свадебной пирушки у Медовикова они не только не сблизились, что, казалось, было бы естественным — худо-бедно, а за-

столье вместе провели, — а словно бы стали стесняться друг друга и даже избегать: Медовикову казалось, что Веригин кинется к нему с расспросами, дескать, что, да как, да почему, а что и почему — Медовиков и сам-то толком не знал, даже старался не бередить память — «водица отстоится, тогда уж и пить ее»; Веригину же было стыдно и за свое дирижерство, и за что-то еще такое, чего он не помнил, но что-то, наверное, было, и они держались один от другого на почтительном расстоянии.

— Рассказывай,—потребовал Самогорнов, когда они сошлись у башни и закурили. — У меня, братец, полное разделение труда, как у капиталиста Форда: один чего-то там делает и рассказывает, другой чего-то там не делает, зато слушает.

— А чего рассказывать? — переспросил Веригин. — Рассказывать-то нечего. — Он вспомнил Алевтину Павловну и бывшего священника с «Пересвета» и усмехнулся, покрутил головой. — Правда, историйка у меня все-таки приключилась. Свадьбу-то с попом сыграли.

— Ну-ка, ну-ка, — оживился Самогорнов.

— Сам понимаешь, загс, нужны свидетели, тары-бары-растабары, туда-сюда. Хозяйка и приволокла этакого бородатого, мордастого дядю. Бородатый, черт с ним, мордастый — тоже туда, а за столом выясняется: бывший священник с бывшего «Пересвета».

— Ну-ка, ну-ка! — побуждая на откровенность, повторил Самогорнов. — С «Пересвета» — это даже ничего. Помнится, «Пересвет» такую встряску немчуре задал, что они долго от него бегали, а потом взяли и изловили всей эскадрой. Так что батюшка-то глаголил?

— Когда глаголить-то было? Вернулись, пропустили по рюмочке, а там бежать пора.

— Ну-ка, ну-ка...

— Подарил он мне хронометр. Я сдуру-то и взял, кажется, даже «благодарю» не сказал. Черт! Спешишь все, спешишь, из-за этой спешки скоро медвежьей шерстью обрастешь.

Самогорнов принял из рук Веригина хронометр, повертел его, щелкнул крышкой.

— Занятная вещица. Если бы не на свадьбе даренный, обязательно бы выменял у тебя.

— А на что бы ты у меня его выменял? — полюбопытствовал Веригин.

— Отдал бы тебе лоцию.

— У меня своя есть.

— Трубку бы презентовал из отцовской коллекции.

— Так я же папиросы курю!

— Трубка более впечатляет. А то купил бы тебе портсигар, — начал горячиться Самогорнов, как будто они на самом деле решили меняться. — Нашел бы чем отблагодарить. Тут я как-то в комиссионном занятную вещицу видел —купидона. Вот я его тебе и презентую. — Самогорнов словно бы споткнулся и помолчал, разглядывая хронометр. — Гляди-ка, хронометр-то именной: «Благочинному о. Константину за мужество в бою. Капитан первого ранга Меньшиков. «Пересвет». Братец, ты должен познакомить меня с этим самым благочинным. Чую смиренной душой, что это тебе не дед дядя Петя. Дед дядя Петя, ну его к аллаху, исторический анахронизм, так сказать, человек со свалки, а твой благочинный может кладезем оказаться.

— Полагаешь?

— А почему бы и нет? Он представитель андреевского флага — все так, но он воевал на том же самом театре, который и мы с тобой утюжим. Наша, братец, общая родословная уходит корнями к новгородским ушкуйникам. Ботик Петра Великого — это потом, а прежде были еще и ушкуйники, и «твой щит на вратах Цареграда». Вон где наши первые морские походы. «Меркурий» и «Варяг» — это тоже мы. И «Пересвет», братец, — тоже наша с тобой история. А ведь благочинный твой присутствовал, говоришь, при последнем сражении.

— Послушай, — возликовал Веригин, — так я же самый потомственный моряк. Ушкуйниками-то были мои пращуры. Новгородские гости, Мурман и Медвежий, Мангазея, «великий путь из варяг в греки». Понимаешь ты, что все это мое? Мое все.

— Бери, я не жадный, — усмехнулся Самогорнов, но сказал жестко: — Но уж коли берешь, то «володей им, береги и приумножай, — писал мне мой дед, скончавшийся, к сожалению, непризнанным философом. — Сама по себе земля—пустой звук». Тут мы, братец, опять на традициях спотыкаемся. Что ни город, то норов, что ни село, то обычай... И еще из того же письма — цитирую по памяти: «Уничтожь традиции, и не станет тебе России, а ведь и земля будет прежняя, и березки на ней, голубушки, будут те же самые произрастать».

— И долго твой дед думал над этим?

— Долго, братец, всю жизнь, и мне завещал думать... Иначе, говорил он, зачем бы в одной знаменитой речи были такие слова: «Пусть осенит вас победоносное знамя наших

великих предков»... и далее по тексту. Я это просто понимаю: были деяния, стали традициями — так помните о них. Ничто из ничего не возникает.

— Ты и матросам на политзанятиях об этом говоришь?

— А разве это не дозволено?

— Нет, почему же, — смутился Веригин. — Просто об этом как-то не принято говорить. Это словно бы само собой разумеющееся.

— Позволь тебе задать вопрос: а почему?

— Что — почему? — не понял Веригин и еще больше смутился.

— Почему не принято говорить и почему вдруг история наша стала чем-то таким, что само собою разумеется?

— Я тебе не философ и не адмирал, как твой дед, — начал сердиться Веригин, — а всего лишь командир башни. Где уж мне ответить на эти вопросы. Не принято как-то — и все тут.

— Не все, а ничего, братец, — с сожалением сказал Самогорнов. — Интересно получается, если следовать твоей логике.

— Не моей, — слабо запротестовал Веригин.

— Я же с тобой, братец, веду речь, а не с башней. — Самогорнов для убедительности ткнул кулаком в броню. — Следовательно, чьей бы ты логике ни следовал, она становится твоей, если ты ей следуешь.

— Допустим.

— Вот так-то будет лучше. Тогда скажи мне, почему так интересно получается: когда надвигаются исторические потрясения, мы тотчас же вспоминаем о величии нашей истории, а на празднике жизни она что же — лишняя? Ты как думаешь?

— Ничего я не думаю.

Самогорнов усмехнулся.

— Может, ты считаешь, что голова дана природой для того, чтобы орехи колоть?

— Ничего я не считаю, — разозлился Веригин, сбитый с толку.

— А вот это уже скверно, — сказал Самогорнов.—Скверно это, братец, — повторил он. — Ужасно скверно, когда одна и та же голова думает и так, и этак. — Он посучил пальцами, словно покатал какое-то слово, пробуя его на ощупь. — Так-то вот двурушники и рождаются.

— Позволь...

— Не тебя имел в виду, поэтому и не позволяю. А часики спрячь. Углядит кто-нибудь — шуму не оберешься.

— Думаешь?

— Береженого и бог бережет. А вон и «флажок» чешет. Здорово, кум, — балагуря, сказал Самогорнов.

— Мир честной компании, — подходя, поздоровался Першин. — Я думал, где вы, а вы, оказывается, вот где. Благодать, как я посмотрю.

— Что нового на верхних этажах?

— А что нового? — переспросил по инерции Першин.— На Балтике штиль, а над Балтикой светит мирное солнце, как недавно писала наша газета. На мостике крейсера — название по этическим соображениям пропускаю — командир устроил по этому поводу вклей старпому, старпом — старшим специалистам, и так далее, скоро докатится и до вас.

— Проехало, — сказал Самогорнов. — Нам скоро стрелять, нас нельзя трогать, а то мы разнервничаемся. Тогда плохо будет. Мы можем кое-чего пропустить.

Веригин засмеялся, представив себе, как это может «разнервничаться» Самогорнов.

— А стрелять-то вам не скоро. Командир запросил «добро» у адмирала на новый квадрат. Тот дал радио в штаб флота, а там пока то да се, так что, братцы, загорайте, благо солнышка вволю, а небо над Балтикой мирное.

Высоко в небе, в самом зените, распластав крылья, белой пташкой плыл самолет, вспарывая голубую нетронутую пашню и оставляя за собой ребристый, расходящийся след, а когда пташка превратилась в точку, а потом и точка эта исчезла, круто взмывая ввысь, пронеслись два реактивных треугольника и, накрыв море ревом и гулом своих двигателей, тоже затерялись в голубой бездне.

С опозданием загрохотали колокола громкого боя, потребовав, чтобы все неотлучно находились на своих боевых постах и командных пунктах; корабль-цель, помигав клотиковым огнем, пожелал счастливого пути, и несколько часов спустя, ближе к сумеркам, крейсер отдал якоря на внешнем рейде базы в Энске.

За ужином старпом Пологов шептался о чем-то с замполитом Иконниковым и старшим артиллеристом Студеницыным, но о чем они шептались и почему надо было шептаться, лейтенантский конец стола остался в святом неведенье. После ужина в каюту к Самогорнову с Веригиным пришел Першин, и все разъяснилось: днем крейсер высматривал чей-то разведчик.

— Не может быть, — в один голос сказали Самогорнов с Веригиным. — Небо-то над Балтикой мирное.

Развалясь на диване и закурив, Першин с наслаждением затянулся, пустил кольца пирамидой, совсем как та фабричная труба, и только теперь Веригин сообразил, что тогда она напоминала ему Першина, облюбовавшего их диван, и он не догадался об этом, а тут неожиданно сообразил и не обрадовался своей сообразительности.

— Э-э... Мальчики, не надо пузырей, как говорила моя мама. Я случайно подслушал разговор адмирала с вашим командиром...

— Подслушивать разговоры, а равно как и заглядывать в замочную скважину — страстишки мелкие и пагубные, объяснимые разве что для определенного возраста, — менторским тоном начал Самогорнов. — Боюсь, что это станет привычкой, и тогда я тебе не завидую.

Першин лениво скосил глаза на Самогорнова, щелчком сбил с папиросы пепел. Веригин поморщился, но смолчал.

— Но как бы тогда вы узнали о том, что я сейчас вам рассказал, — полувопросительно возразил Першин. — Надо отличать болезненный интерес старых салопниц от вполне здорового стремления получить точнейшую информацию.

— Суть разная, а методы одни, — сказал Веригин. — Но методы в конечном счете могут стать сутью.

— Ба, наш вьюноша на пороге психологических открытий. Поздравляю.

— Послушайте, Першин, кажется, не я у вас в гостях, а вы у меня, так что...

— Не задирайтесь,—поспешил вмешаться Самогорнов.— Каждый выбирает то, что ему ближе.

— Проехали, — сказал Веригин.

— Принимаю к сведенью. — Першин загасил папиросу и закурил другую. — Новость под номером два. На днях адмирал снимает с вашего постылого крейсера свой доблестный флаг. Прошу учесть: это я не подслушал, а получил, как говорится, из первых рук с подробнейшими указаниями, что мне надлежит совершить в связи с этим столь торжественным актом.

— Вот это уже интересно.

— Милые вы мои лопухи, я завидую вам. Вы получите в свое распоряжение прекраснейший морской театр вместе с необозримыми служебными возможностями. Но я же и жалею вас. Любимый город больше не посветит вам своим немеркнущим в ночи маяком. Вы, счастливые, будете в дни увольнений ловить в горных реках царскую форель, но вы, несчастные, забудете запах тончайших женских духов.

— Все-таки, выходит, Северá? — спросил Самогорнов.

— Говорят, — беспечно сказал Першин.

— Смекай, Веригин.

— Я уже смекнул. Сказал Варе, чтобы ждала не долее четырех суток, а там брала бы курс на Питер.

— А где свадьба, спрашивается, а где медовый месяц, спрашивается? — дурачась, закричал Першин.

— Кина не будет.

— Жаль.

— Не надо жалеть,—философски заметил Самогорнов.— Жалость не украшает жизнь, а делает ее тоскливо-невыносимой, скорбной какой-то, а нашему брату не до скорби. Вперед и выше, Веригин, на Северáх нас ждут великие дела.

— Кстати, квартирка-то еще за тобой? — поинтересовался у Веригина Першин.

— А черт ее знает, за мной она или не за мной. Да и зачем она соломенному вдовцу! Мне и на корабле светло и тепло.

— Утешься, соломенный вдовец. У соломенных вдовцов есть отличнейшие приятели, а у приятелей найдутся не менее отличнейшие подруги. За сколько месяцев вперед ты уплатил добрейшей и милейшей Алевтине Павловне?

— Кажется, за три.

— Прекрасно, когда у человека свой дом!

— Дом-то есть, только чужой.

— Милый ты мой, желанный. Приняв присягу, ты тем самым подписал с обществом контракт пожизненно, по крайней мере на двадцать пять календарных лет, не иметь собственного дома. Твой дом там, куда ты вошел и где ты снял шинель и возложил на вешалку фуражку. Кстати, я тебе должен несколько сотенных.

— Был такой грех.

Першин достал из нагрудного кармана деньги, небрежно положил их с краешку стола, потом щелчком отбросил подальше:

— Прими, друг, презренную бумагу. К великому сожалению, она не понадобилась мне.

Веригин отодвинул самогорновский ящик стола, смахнул в него сторублевки и с шумом задвинул его на место:

— Пусть полежат, авось когда-нибудь пригодятся.

— Эх, други мои, настроение такое, что надраться бы сейчас до положения риз, — вдруг оживился Першин. — А командирский катер у трапа, — сказал он мечтательно, — а мой патрон любит на ночь почитать газетки. Прикажите,

мигом доставлю и то, и, если разрешите, другое. Уважаю, старики, делать приятное.

— Нам не велят, мы паиньки. Мы с Веригиным послушные. — Самогорнов усмехнулся. — И потом, что значит в нашем деле настроение? Так, мираж, розовая дымка, которая была — и нет уже ее.

— Воля ваша, — как-то искренне потускнел Першин. — А жаль. Старик так любит читать газеты на ночь.

— Если нет денег, возьми, — предложил Самогорнов. — Гора с горой не сходится...

— Не в деньгах счастье. Деньги, как ты только что соизволил выразиться, мираж. Хорошая компашка пропадает, вот о чем скорбеть надо, други мои.

— Мы послушные, мы хорошие, — опять сказал Самогорнов, и погрустневший Першин начал приводить себя в порядок, пробежал по пуговицам кителя, махнул по волосам расческой и скоро ушел.

— Сорвалось, — безжалостно сказал ему вслед Веригин.

— Не будь жестоким по пустякам, — перебил его Самогорнов. — Неспокойно на душе у человека, неприкаянный он, вот и мечется.

— А мы с тобой прикаянные?

— Тебе-то теперь не следовало бы плакаться.

— А может, мне теперь в самую пору плакаться. Я — тут, жена — бог весть где. А нам бы сейчас с ней — медовый месяц, а нам бы сейчас в голубушку Старую Руссу, а нам бы сейчас одним побыть. Это как, по-твоему, плакаться или не плакаться?

— Плачься, черт с тобой. Только мир-то слезам не верит, только у мира-то своих слез полно...

— Завидую я тебе, Самогорнов, — просто и как-то очень хорошо, без зависти, промолвил Веригин. — Одержимый ты, что ли... Такие от своего не отступаются. Помнишь протопопа Аввакума? «Инда пойдем»...

— «Инда пойдем», — повторил за ним Самогорнов и помолчал.— А я уважаю одержимых. Из одержимых подвижники рождаются, а без подвижничества любое дело омертвеет. И наше с тобой тоже... — Впрочем, развить мысль Самогорнову не дали, в дверь стукнули, и вошел Медовиков, помахивая папкой, но, застав в каюте помимо Веригина еще и Самогорнова, невольно отступил и пробормотал:

— Может, мне погодить?

— Заходи, братец, — на правах старшего пригласил Самогорнов. — Мы тут с твоим командиром маленько в теорию

ударились, но, кажется, уже все порешили. — И он вопросительно посмотрел на Веригина.

— Порешили. Это у тебя — что?

— Личное дело Остапенко. Так что прикажете готовить?

Веригин махнул рукой.

— Готовь, — но тотчас передумал. — Впрочем, оставь на столе. Сам полистаю.

— Есть. — Медовиков сухо козырнул и вышел.

— Списываешь?

— Медовиков настаивает, а мне жалко Остапенко. Только-только у мужика стала служба налаживаться.

— Не разводи сантименты. Раз Медовиков настаивает, значит, у него есть основания.

— Сам же говорил, что, дашь ему волю, быстро превратишься в английскую королеву.

— Волю-то давай, но и правь сам, — жестко сказал Самогорнов. — Не станешь давать воли, будешь сам все делать.

— Мудрено это.

— Не мудренее нас с тобой...

А там наверху, в командирской каюте, отделанной светлым ясенем, сошлись на чашку чая адмирал с командиром крейсера, и адмирал, прихлебывая с ложечки, тихо говорил:

— Видишь, как все далеко и близко: в сорок третьем, казалось, разошлись наши дорожки, а нынче, как прежде, сидим в твоей каюте и чаи гоняем. Только каюта-то должна быть побольше и пороскошнее.

— Сидим вдвоем и каюта побольше — это верно, и чаи гоняем — опять-таки верно, — согласился капитан первого ранга, тоже стараясь говорить негромко. — А только гляжу я на тебя и думаю о себе: «Постарел ты, брат, постарел».

Адмирал снова прихлебнул с ложечки и раз, и другой:

— Тут уж мы с тобой не вольны. Такова суровая логика жизни: год от году берем все меньше, отдаем все больше. Пришла, видно, и наша золотая пора возвращать долги и давать в долг.

— За первым дело не станет. Свои долги мы всю жизнь платили исправно. Было бы кому теперь давать в долг.

— Или некому? — прищурясь, спросил адмирал.

— Нет, почему же, есть кому. — Командир крейсера тоже прищурился. — Кожемякин, Самогорнов... Эти мужики надежные.

— Веригина ты, кажется, не жалуешь?

— Что значит «не жалуешь»? Я ему мирволю, если ты хочешь знать.

— Да уж знаю... Иначе не дал бы повторить стрельбу.

— Есть в нем изюминка. Порывистый он. У него если удача — то удача, а если неудача — то уж неудача. Такие люди быстро сгорают, но след-то оставляют яркий. — Командир на правах хозяина подлил чаю адмиралу, нацедил и себе, долго примерялись, какого варенья отпробовать — было тут и вишневое, и яблочное, и смородиновое, — и разговор принял иной оборот. — Значит, решил перенести свой флаг?

— Что значит «решил»? Я только выполняю указание.

— А я думал, на Севера́ с нами прогуляешься.

— Сами дойдете, не маленькие. Помнится, ты этим путем уже хаживал на «Комсомольце».

— Было дело.

— Ну, и в добрый путь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ждали шторма и сутки, и вторые, и ожидание это, само по себе столь обычное в другое время, в преддверии калибровых стрельб, которые определялись командующим флотом и, следовательно, венчали собою весеннюю кампанию, мало-помалу стало для первого дивизиона невыносимым. Капитан-лейтенант Кожемякин почувствовал это по настроению командиров башни и групп управления стрельбой, когда проводил с ними офицерскую учебу, и понял, что если их хорошенько не встряхнуть, то они, подобно гирокомпасу, от безделья могут выйти из меридиана, и поди потом знай, как они поведут себя во время стрельб!

Кожемякин, как и следовало ожидать, доложил о своих сомнениях командиру боевой части, капитану третьего ранга Студеницыну. Студеницын побарабанил пальцами по столу — разговор проходил в его каюте, — взглянул на Кожемякина и снова побарабанил, как будто проверял в памяти забытую мелодию, и только потом спросил:

— Говоришь, нервничают?

— Не то чтобы нервничают — они у нас не барышни, но... Настроение, знаете ли... Перегорят, потом как зажжешь?

— Перегорят, говоришь?

— Не то чтобы перегорят, но...

— Ты не виляй. — Студеницын поднялся наконец и стал

вровень с Кожемякиным, такой же высокий, только более грузный. — Не виляй. Говори прямо, с чем пришел?

— На шлюпочках бы им походить, товарищ капитан третьего ранга, проветриться. Для стрельбы ветер слабоват, а для шлюпок — в самый раз.

— Под парусом, говоришь?

— Так точно.

— В этом есть свой резон. Знаешь, Кожемякин, есть резон. — Студеницын пробежал пальцами по пуговицам, проверяя, все ли застегнуты, одернул полы кителя, потянулся за фуражкой, но раздумал. — Вот что: поскучай-ка у меня в каюте, я к старпому схожу.

Пологов был у себя — это Студеницын определил сразу, — но постучать пришлось и раз, и другой, прежде чем Пологов открыл дверь.

— А... — сказал он с некоторым неудовольствием. — Это ты. — Они были знакомы с незапамятных времен и во внеслужебное время вели себя по-дружески. — А я побриться решил.

Все знали, в том числе и Студеницын, что Пологов бреется дважды в сутки, но все-таки спросил скуки ради:

— На ночь-то?

— А я если не побреюсь, то и не засну.

— Скажи-ка!.. Я сяду.

— Оставь ты свои церемонии. Садись. Хочешь чаю?

— Чаю я, пожалуй, выпью.

Студеницын сел к столу, налил чаю из термоса и, прихлебывая мелкими глотками из стакана, начал смотреть, как Пологов добривает щеку. В каюте его ждал Кожемякин, но Кожемякин мог и подождать, потому что, собственно говоря, не по своей же воле пришел сюда Студеницын, а по наущению того же Кожемякина, которому за каким-то чертом захотелось посадить своих архаровцев на шлюпки. Студеницын знал, что у Пологова на уме одни палубные работы, которых не переделать вовек; знал Студеницын и то, что Пологов не любил менять своих планов, и если уж что втемяшилось ему в голову, то, значит, тому и быть, поэтому и не спешил Студеницын, пил чай не торопясь и, опорожнив один стакан, налил себе другой. А Пологов тем временем и добрился, и лицо сполоснул, присел к столу, розовый и посвежевший, пахнущий тонким одеколоном, налил и себе чаю и только тогда уж доверительно сказал:

— Люблю на ночь побриться и залезть в чистое белье. Сейчас это, конечно, сибаритство, а в войну имело свой большой смысл.

— Что, ты каждую ночь собирался помирать? — с тайным любопытством поинтересовался Студеницын, впрочем сделав вид, что спрашивает только из вежливости.

— Так уж сразу и помирать, — возразил Пологов, легонько застеснялся и, чтобы скрыть свое стеснение, посмеялся: — Ты наговоришь! А если шутки в сторону, то сам помнишь, какие тогда ночи были.

— Что ж, ты и тогда каждый вечер брился?

— В том-то и дело... А теперь и сам бог велел.

— А бог-то тут при чем?

— Бог, конечно, ни при чем. Суесловие это наше, а не бог. Кстати, вот тебе занятный сюжетец с этим самым богом. Квартирная хозяйка у меня в Питере, Мария Ивановна, скажем, так она своему богу карающий меч в руки вложила. Чуть что, она ему так и говорит: этого наказуй, — Пологов так и произнес: «наказуй», — этому отомсти. Спрашиваю ее: «Чтой-то, Мария Ивановна, бог-то у вас какой странный? Ему бы души заблудших спасать, а он, по вашему же наущению, карать их должен». «А мне, — говорит она, — бог-то не для спасения души нужен. Душа-то у меня чистая, говорит. Мне бог нужон, чтобы обидчиков моих карал».

Теперь уже посмеялись вместе, и вместе же помолчали.

— Хорошо бы завтра первый дивизион на шлюпки посадить, — наконец, как бы между делом, сказал Студеницын. — Так сказать, нервное напряжение снять. А то, пока дождемся этой чертовой волны, люди перегорят.

Пологов насторожился.

— А они у тебя что — институтки? Барышни кисейные, или как еще прикажешь их величать?

— Они, конечно, не барышни у меня, но стрельбы-то калибровые, самому командующему флотом будут докладывать. А если пропуск? Тогда как?

— Пропуск — это, безусловно, дело дрянь. Но почему именно пропуск? Ты что, первый год замужем? Где следует — подвинти, где надо — накачай.

— Винтить-то можно только до упора, а там и резьбу недолго сорвать.

— Ох, не дело ты придумал! На палубе работ непочатый край. И в башнях у тебя, видит бог, не все так гладко, чтобы людей отрывать от дела и на шлюпках катать.

— Ты наговоришь — катать. От таких катаний на руках кровяные мозоли вырастают. А потом, какой-же к черту матрос, если он под парусом не хаживал! Вспомни-ка нашу молодость. Да ведь мы с тобой из шлюпок не вылезали.

— А когда же мы стрелять-то учились? — невинно спросил Пологов, решив этой своей невинностью подготовить отказ, но Студеницын, разгадав его маневр, потаенно усмехнулся: дескать, шалишь, брат, мы и сами с усами, невинно же и ответил:

— Так и учились: сегодня стреляем, завтра садимся за весла. Из башни — в шлюпки, из шлюпки — в башню. А ежели заставить людей заниматься одним только делом, они с круга сойдут.

— Скажи честно: сам всю эту бодягу придумал или тебя Кожемякин начинил?

Студеницын шутливо развел руками и промолчал.

— Черт с тобой, — в сердцах сказал Пологов, нахлобучил фуражку и вышел.

Студеницын взял с полки «Морской сборник» — грифельно-черный переплет, золотое тиснение, — начал листать и тотчас наткнулся на описание все той же операции Маринеско в Данцигской бухте, начал было ее перечитывать, но не успел перевернуть и вторую страницу, как вернулся Пологов. Студеницын поднял на него глаза.

— Командир дал «добро».

— Так я, с твоего позволения, пойду к своим.

— Чего уж там позволять, иди так, — усмехаясь, сказал Пологов. — Только учти: по десяти матросов во главе со старшиной из каждой башни отдашь в распоряжение главного боцмана.

— Когда же ты кончишь цыганить?

— Я же для тебя испросил у командира «добро» и я же цыганю? — искренне обиделся Пологов. — И потом, что значит — цыганю? Это приказание командира, а приказание командира, как тебе известно...

Студеницын не дослушал его, сказал «Есть» и быстро вышел, а выйдя в коридор, постоял там и, приоткрыв опять дверь, тихо повинился:

— Ты уж не сердись.

— Чего уж там, — промолвил Пологов.

...Кожемякин покорно, как первогодок, сидел в каюте и ждал Студеницына и, когда тот вошел, машинально поднялся и одернул на себе китель.

— Получено «добро». Только впредь-то прожектами особенно не увлекайся.

— Помилуйте...

— Кого помилуют, а кого, может, и не помилуют... — Студеницын уже хотел пересказать Кожемякину пологов-

скую байку о Марии Ивановне и ее карающем боге, но только махнул рукой: — Будь здоров.

— Есть...

А дальше уже все пошло без сучка, без задорины. Кожемякин собрал своих офицеров и коротко, но внушительно приказал:

— Проверим завтра механизмы, и всех, за вычетом десяти матросов во главе со старшиной из каждого подразделения, — в шлюпки. И никаких больше тренировок. На матчасти. Вопросы есть?

— Мы что же, — спросил Самогорнов, — не будем стрелять?

— Все бы тебе поперед батьки в пекло лезть, — с неудовольствием сказал Кожемякин. — На то есть начальство. Оно без нас знает, когда стрелять, а когда ходить на шлюпках.

— Есть, — за всех сказал тот же Самогорнов.

Уже возвратясь к себе в каюту, Веригин вдруг сообразил, что Кожемякин что-то напутал, и, стараясь в общем-то не выдавать своей догадки, осторожно спросил Самогорнова:

— Ты хоть что-нибудь понимаешь?

— Возможно, возможно, — неопределенно заметил Самогорнов. — Кожемякин — мужик дошлый. Бери с него пример.

— Пример чего — дошлости? — не понял Веригин.

— Хотя бы и дошлости. А впрочем, учись мудрости. Ты бы, к примеру, перед калибровыми стрельбами что сделал?

— Наверное, то же самое, что и ты. Назначил бы усиленные тренировки на матчасти.

— Правильно. Мы с тобой в уме держим только одно расстояние к цели — кратчайшее. Но ведь кратчайший путь не всегда самый разумный. Вот поэтому-то Кожемякин, готовясь к стрельбам, сажает нас в шлюпки.

— Ты думаешь, что стрельбы не отменят?

— Не только думаю, но даже уверен, что стреляем дня через два-три, как только разгуляется шторм.

— Кожемякин-то мудр, да и ты не лыком шит, — невольно польстил Самогорнову Веригин, хотя меньше всего в эту минуту хотелось ему льстить. Он неожиданно понял, что опять пропустил что-то важное, но это важное опять оказалось столь простым и очевидным, что он даже не обратил на это внимания.

— Наша мудрость, братец, — наш опыт, — сказал ему

Самогорнов. — Дед мой говаривал, что человека надо знать в деле. Знания без дела хороши только для диспутов. А знания в деле — это уже, братец, мудрость. Можешь записать этот афоризм себе в книжицу. Дарю.

— Послушай, Самогорнов...

— Зачем же так официально, — примиряюще заметил Самогорнов. — Мы же свои люди. Свои или не свои?

— Свои, — буркнул Веригин, подумав: «Кожемякин, разумеется, напутал, и Самогорнов тоже напутал, один ты — праведник и ничего не путаешь».

— Ты, кажется, хотел что-то добавить?

— Нет, чего уж там добавлять...

...День начался ласковый, тянул легкий бриз, но море в общем-то было спокойно, и шлюпкам разрешили выйти на внешний рейд.

Веригин, дурно настроенный с той самой минуты, когда узнал, что комдив Кожемякин удружил его башне баркас, — а Веригин надеялся заполучить шестерку: шестивесельный ял, — сидел за рулем и почти безучастно смотрел перед собой. Сердился Веригин не только на Кожемякина; в равной мере сердился он и на Медовикова, который услал матроса Остапенко на палубу в распоряжение главного боцмана, а Веригину хотелось посмотреть, как-то Остапенко распорядился бы веслами. Сердит Веригин был еще и потому, что томился и скучал, понимая, что теперь не скоро-то увидит Варьку, столь неожиданно и желанно ворвавшуюся в его жизнь, казнился, что толком не попрощался с нею, — словом, был Веригин сердит и в сердцах никого не хотел замечать.

Матросы гребли спокойно и ровно, Медовиков негромко отсчитывал им такт: «Два-а, раз; два-а, раз»; баркас, пожалуй самая тихоходная из всех шлюпок, давно от всех отстал, да, собственно, никто ни за кем тут и не гонялся. Шли обычные тренировки, и Веригин, любивший и шлюпку, и парус, и хороший ветер, поэтому и презиравший баркас за его неуклюжесть, словно бы отстранился от этого унылого и утомительного движения, которое ровные взмахи весел поделили на равные отрезки: прыжок, прыжок, еще прыжок... хотя руку держал на румпеле крепко, не давая баркасу уваливаться ни вправо, ни влево.

На других шлюпках поставили паруса, и Веригин заметил это, может быть, первым, но сделал вид, что ничего не видит. Между тем Медовиков уже начал покашливать и ерзать на месте, выражая нетерпение и всячески обра-

щая внимание Веригина, что вот-де и вторая башня взяла уже ветер, и третья, и четвертая.

— Ну чего тебе? — наконец спросил Веригин.

— Паруса бы пора ставить, Андрей Степаныч.

Веригин хотел было ответить, что он и сам знает, что надо делать, и, сам того не желая, встрепенулся и закричал:

— Весла на борт! Рангоут ставить.

Матросы только на минуту замешкались и тотчас быстро и ловко сложили весла, подняли на руках мачты с парусами и, не вставая с мест — на шлюпках стоять в рост не полагается, — поставили мачты в гнезда (шпоры в степсы), закрепили их и распустили паруса. Парусов на баркасе было много, и Веригин, привыкший к шестерке, не сразу взял ветер, а взяв его, почувствовал, как баркас упрямо накренился и, словно испытанный парусник, ходко побежал по мелкой волне.

— Не надо бы много парусов-то, — тихо сказал Медовиков. — Прикажите взять рифы.

— А!.. — небрежно отмахнулся Веригин и досказал про себя: «Учить еще будешь. Куда ни повернись — везде учителя. Сверху учат, снизу учат, а я вам что — рыжий, да? Не-е, я не рыжий, я конопатый».

Не любил Веригин баркас, а, кажется, зря — это он скоро понял, потому что баркас уже бежал ходко, обгоняя и оставляя за собой легкие шестерки и даже вельботы, которые шли под полным ветром. Когда обходили Самогорнова, Веригин показал ему линь: дескать, если есть желание, то можно и на буксир взять. Самогорнов погрозил кулаком и что-то прокричал, но за ветром никто его слов не разобрал. Веригин привалился к транцевой доске, нежась, щурясь от встречного ветра, и начал радостно, даже как-то лихо думать: «А жаль, что не родился я в пору Ушакова и Лазарева, — командовал бы каким-нибудь чайным клипером и горюшка не знал. Эх, разудалые!»

— Андрей Степаныч, — окликнул его Медовиков. — Смотрите-ка, тучи заходят.

— А... — механически отозвался Веригин и снова подумал: «Ну их к богу, все эти чайные клиперы. Я же не купец. Я военный моряк. Артиллерист я. Мне бриг нужен. Я люблю хороший ход, но я люблю и стрельбу. Мой удел — скорость. Эх, разудалые!» Он подобрал шкоты; задние шкаторины у парусов туго натянулись и легонько, чуть слышно, зазвенели.

— Андрей Степаныч...

— А?! — откликнулся Веригин, а про себя досказал: «Иди ты, знаешь куда...»

— На посту СНИС сигнал: «Шлюпкам вернуться в базу».

Веригин словно бы очнулся, оглянулся на синевший за кормой берег, над которым сплошной черной стеной вставала туча, и ужаснулся, даже не сразу поверив, что незаметно для себя они довольно-таки далеко ушли от берега. Теперь и он разглядел на мачте поста СНИС: «Шлюпкам вернуться в базу», скомандовал: «К повороту! Поворот оверштаг», раздернул шкоты, матросы быстро перенесли паруса на другой борт, и Веригин взял курс прямо на пост СНИС.

Туча еще некоторое время стояла молча и недвижно, и вдруг из-под ее рваного края полоснула узкая молния; края эти сразу молочно заклубились, в отдалении прогремело, и вся туча задвигалась, как будто стала подниматься на дыбы, и тотчас же по воде ударил вихрь, выбил на ней звонкую рябь и побежал дальше, сея вокруг себя брызги. Веригин заволновался и еще круче переложил руль; ветер ударил в паруса со всего маху, мачты скрипнули, и баркас почти всем бортом лег на воду... «Эх, разудалые»,— машинально подумал Веригин, хотя ничего удалого уже и не видел в этой бесовской пляске ветра и воды, и неожиданно похолодел, всем своим существом почувствовав, что если налетит еще один такой вихрь, то мачты лягут и не выдержат и они хлебнут воды по самые уши.

— Андрей Степаныч, — позвал Медовиков.

«Ну чего тебе?» — молча, с раздражением спросил Веригин.

— Возьми мористей, Андрей Степаныч.

«А ну тебя», — снова подумал Веригин, а сам почти непроизвольно положил руль влево, и баркас начал выравниваться.

— Этак мы в Швецию уйдем, — недовольно сказал Веригин.

— Переждем первые порывы, ветер успокоится, и тогда за милую душу выгребем к берегу. Сейчас у берега-то опаснее, чем в море.

— Ты думаешь?

— А меня тут однажды так же волокло на шестерке. Так что здешние ветры я знаю.

— Ну, смотри.

— Держись смелее, Андрей Степаныч.

Страха не было — это-то Веригин чувствовал. Но неясный, тревожный гнет все же давил на душу, и все казалось, что он делал что-то не то, и потому, что он делал не то,

с ними по его вине могла приключиться большая беда. Он исподволь поглядывал на матросов, сидевших на рыбинах вдоль бортов; лица у них были угрюмые и немного отрешенные, но он-то знал, что матросы внимательно наблюдали за ним, словно хотели понять, надежный ли он человек или ненадежный и, в связи с этим, чтó им грозит и чтó их может ожидать.

В стороне зашумело, и Веригин подумал, что их настигает дозорный катер, дал себе слово не оглядываться, но оглянулся и похолодел: в стороне от них, ближе к берегу, там, где они недавно шли, из-под тучи мчался новый вихрь, рыхля темную воду, и там, где он пробегал, море загоралось белыми огнями.

«Ах ты, черт побери, — бережно, как молитву, произнес про себя Веригин и тотчас же повторил, потому что должен был что-то говорить себе, но других слов не находилось, а были только эти: — Ах ты, черт побери».

Он ждал, что на море упадет третий вихрь, но его все не было, и туча боком стала заходить в море, а когда она зашла далеко, ветер переменился, подул в берег и стал ровным. Веригин это ощутил по тому, как заволновались шкаторины, переложил руль и погнал баркас прямо в гавань.

Минут через сорок они проскочили на рейд, матросы начали рубить рангоут, вязать паруса, лица их посветлели, но особой радости никто не выражал, потому что радоваться-то, собственно, было нечему: сходили в море и вернулись — так что же тут такого, чтобы выражать свой восторг.

— Спасибо тебе, Василий Васильевич, — тихо сказал Веригин, и Медовиков тихо же отвечал:

— Чего уж там...

На палубе, возле выстрела, их поджидали и старпом Пологов с командиром боевой части Студеницыным, и комдив Кожемякин с командирами башен, которые успели вовремя уйти от шквала. Веригин весело попросил:

— Прошу разрешения стать под выстрел.

Пологов величественно взял под козырек, что должно было означать: да, добро, не возражаю; и еще минут через десять Веригин построил свою команду на палубе крейсера, и Пологов опять молча приложил руку к фуражке, что на этот раз уже означало: матросы и старшины, включая Медовикова, могут быть свободны, а он, лейтенант Веригин, должен остаться. И когда матросы сбежали вниз, Пологов резко спросил:

— В чем дело, Веригин? Потрудитесь объяснить.

— Уходил от шквала.

Пологов мотнул головой и хмыкнул:

— Ну-ну... — И, обернувшись к Студеницыну, сказал: — А все ты, потатчик! Развеяться им, видишь ли, надо. Хорошо, что сообразил уйти мористее, а то бы мы тут сейчас все «развеялись».

— Ладно тебе, — едва слышно сказал Студеницын, который места себе не находил, пока баркас Веригина не стал под выстрел, а потом сразу отошел и, кажется, даже сам умилялся своей отходчивостью.

— Неудовольствие вам, Веригин, — сказал Пологов. — А в остальном вели себя грамотно. Молодец.

Веригин подумал было ответить «Есть», но только молча склонил голову, и через час это происшествие было забыто: впрочем, отсюда, с борта крейсера, который всей своей бронированной массой очень незначительно ощутил те порывы ветра, едва не перевернувшие баркас, никакого происшествия и быть не могло: просто шлюпка несколько медленнее, чем этого хотелось бы, учитывая изменение погоды, вернулась под выстрел. Так это расценили и Пологов со Студеницыным, и Кожемякин, поэтому неудовольствие, выраженное Веригину, не имело никаких последствий, если не считать того, что сам-то Веригин по прошествии некоторого времени припомнил все до последней мелочи, понял, что находился на волосок от гибели, и порядочно перетрусил. «Ну и ну, — говорил он себе и чувствовал, как по спине бежит мелкий озноб. — Ну и ну... Остапенко по дурости сыграл за борт. Так Остапенко-то сам себе голова, а у тебя, Веригин, полон баркас людей... Это как понимать, товарищ лейтенант? Ну и ну... Это что ж, от большого ума? Ну и ну!..»

Он хотел уже бежать к Медовикову, чтобы повиниться перед ним, что с утра был сердит на него, а теперь не находит слов, чтобы выразить ему же, Медовикову, признательность, но подумал, подумал и никуда не побежал, лишь вскользь заметил Самогорнову:

— А знаешь, я там чуть овер-киль не сделал.

Самогорнов внимательно посмотрел на него и только плечами пожал, но, помолчав, все же сказал, решив, что поступает невежливо:

— Все мы по прошествии времени преувеличиваем опасность.

— Или преуменьшаем? — спросил Веригин.

— Или преуменьшаем.

— Тогда что лучше: преувеличивать или преуменьшать?

— Все одинаково плохо. Надо реально оценивать обстановку и реально же ее запоминать.

— Скучно, брат, так-то...

Самогорнов улыбнулся одними губами — поиграл ими — и на этот раз счел, что невежливость устранена, и промолчал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

К исходу третьих суток небо окончательно взбугрилось и смешалось — тяжелыми грядами пошли облака, и установился глухой ветер. В море и на рейде стало шумно, звуки множились и нарастали, пока не слились в единый сплошной гул, прерываемый редкими паузами, похожими на вздохи. Вода на неглубоких местах быстро побурела, утратив ровную синеву, и покрылась кипенно-белыми барашками, которые вспыхивали словно бездымные костры и, погорев доли минуты, бесследно гасли. Стало свежо и неуютно, крепко запахло солью, казалось извлеченной из самых сокровенных глубин.

Веригин томился на вахте. Он понадеялся, что будет тепло, не поддел под шинель меховую безрукавку, и теперь в шинелишке, как говорится, подбитой рыбьим мехом, было зябковато. Он незаметно поводил плечами, стыдливо скрывая от вахтенных матросов, что ему холодно, но в рубку заходить остерегался: командир сразу после ужина сошел на берег, говорили, в штаб, и мог с минуты на минуту вернуться, но эти минуты затягивались, и он ругал себя за неосмотрительность и богомерзкую погоду, которую на крейсере хотя и ждали, но свалилась-то она как снег на голову, а заодно и командира ругал, потому что ругать одного себя было как-то неудобно, а погоду ругай не ругай — она знай свое творит. Ругать же начальство, благо никто не слышит, даже приятно, по крайней мере доступно каждому, при этом и собственное достоинство не страдает, а если это продолжать долго, то и самомнения прибавляется, и вроде бы уже можно быть запанибрата с кем только душеньке пожелается: «Дескать, ты такой-сякой, немазаный, да ты знаешь, что это такое? Да я, если хочешь знать...» И только подливай и подливай масла в огонь, тут не то что хорошо просохшая березовая плашка займется, а и сырой осиновый кол жару даст.

«Тьфу ты, черт, — опомнился Веригин. — Лезет же всякая чепуховина в голову. И не пьяный, а словно бредишь».

Он постоял у борта, ежась, посмотрел на берег, высветивший уже сквозь сизую дымку первые огни, и эти первые огни могли оказаться огнями на пирсе — по всей видимости, так и было, — но такими уютными они виделись с борта, такими домашними, что Веригину невольно захотелось под семейный кров, к родному камельку, и чтоб Варька была рядом, и чтоб было тепло и уютно, пусть бы тогда свистел этот ветер, грохотали волны, пусть бы даже небеса цедили мелкий угрюмый дождь... Есть же счастливчики, у которых этого добра вволю каждый день, и они не пользуются им, а у него ни крова, ни камелька, и Варьки уже нет, хотя и есть она, и вечно вот так: было и не было, есть и нет.

— Посматривай! — крикнул Веригин вахтенным, проверяя звучание голоса, на случай если наконец-то объявится командир и придется представляться, а больше для того, чтобы одним словом выкрикнуть из себя дремучую путаницу мыслей. — Посматривай, — повторил он протяжнее, убедившись, что и голос звучит надежно, и мысли начали принимать иной оборот: «В июле уже можно будет проситься в отпуск. Ну, если не в июле, то в августе наверное. Хорошо бы, конечно, в июле, в самые покосы. Неплохо и в августе, когда и зори уже чистые, и вода в Полисти светлая, но купаться можно. А если — Северá, тогда гроб с музыкой».

— Есть, посматривать, — начали перекликаться вахтенные, начиная с юта, перебрасываясь на шкафут и замирая на баке.

— Что это у тебя петухи запели? — выходя на свет, спросил старпом Пологов.

— Товарищ капитан второго ранга, вахтенный офицер лейтенант Веригин...

— Вижу, что вахтенный офицер, и вижу, что лейтенант Веригин, а вот чего он, вахтенный офицер и лейтенант Веригин, петушиный концерт устроил, не пойму.

— Это я голос попробовал, на случай если прибудет командир, — чистосердечно признался Веригин.

— Голос — это хорошо. — Старпом Пологов позевал в кулак, похлопал рот ладошкой. — Не видно?

— Чисто.

— Значит, «цель» не дают. Всегда так. Есть «цель», нет волны. Есть волна, нет «цели».

— Командир добьется, — чувствуя некую робость перед

старпомом и в то же время стараясь говорить на равных, польстил Веригин и отсутствующему командиру, и присутствующему старпому, одним махом — всему начальству.

— У них добьешься, — проворчал Пологов, как и следовало ожидать отнесший комплимент в свой адрес. — Как восемнадцать ноль-ноль, так все бумаги в стол, а кабинеты на ключ. Тоже мне вояки, — добавил он, невольно выразив тем самым извечную неприязнь плавсостава к береговым службам. — Бумажками-то чего ж не воевать. — Но, сообразив, что не следовало бы столь уж откровенничать с младшим офицером, сразу посуровел: — Смотрите за берегом лучше. Командир вернется... — Но он не успел договорить.

— На траверзе катер командира! — прокричал вахтенный старшина.

— Вызывайте дежурного офицера, — распорядился Пологов. — Концевых к трапу.

— Есть, — заученно отозвался Веригин, потому что только старшие по отношению к младшим могут пользоваться «добром», младшим же должно отвечать «Есть».

Катер лихо подвалил к трапу и, несмотря на то что качало уже сильно, словно намертво прилепился; командир грузно сошел с катера, придерживаясь за поручень, что тоже разрешалось только старшим, медленно, словно через силу, поднялся на борт, хмуро выслушал доклад, мельком спросил, обращаясь сразу и к старпому, и к дежурному и вахтенному офицерам:

— Все на борту?

Старпом Пологов глянул на дежурного офицера, тот в свою очередь на Веригина и, получив от Веригина молчаливый ответ, дескать, так точно, все, молча кивнул старпому, и только тогда — впрочем, на весь этот диалог ушли считанные секунды — старпом ответил:

— Так точно, все.

— Добро. Катер на борт, выстрел рубить, трап завалить.

Командир в сопровождении старпома и дежурного офицера прошел в надстройку. Веригин вызвал наверх боцманскую команду и подвахтенных — «катер поднимать, рангоут рубить, трап заваливать» — и вдруг подумал, что не очень твердо помнит, все ли сходившие на берег на борту. Он опрометью бросился в рубку, начал листать журнал увольняющихся: интендант — прибыл, штурман — прибыл, врач — прибыл, кажется, все на месте; и опять не поверил себе, дважды пробежал по странице сверху вниз

и снизу вверх — и только тогда облегченно вздохнул, размашисто записал: «Двадцать тридцать пять. Начали работы по поднятию плавсредств на борт». С этой минуты живая связь с берегом прекращалась, и только вахтенные сигнальщики и дежурные радисты вели частые и быстрые разговоры с оперативными службами.

Качало уже крепко, и, когда Веригин, сменившись с вахты, спустился в кубрик команды, много молодых матросов уже лежали пластом, и он с ужасом подумал, что в море качнет сильнее, и если полягут еще и старослужащие, то стрелять ему будет не с кем. Сам он в любую волну держался хорошо, видимо, вестибулярный аппарат, наследие безымянных пращуров, которые, может быть, и впрямь восходили к ушкуйникам, а потом, остепенившись, важными купцами хаживали по морям в дальние ганзейские гавани, был приспособлен и к качкам, и к штормам. Смешно и жалко — все-таки больше жалко, чем смешно, — было ему видеть, как здоровые люди на глазах становились беспомощными, квелыми, словно шторм в единый миг гипнотизировал их и лишал воли, и только одно лекарство могло вернуть их к жизни — полный штиль, но штиль на море — величайшая редкость, и приходит он тогда, когда ему не надо бы быть.

Веригин приказал дневальному найти Медовикова, а сам пошел вдоль рядов коек, подвешенных одна над другой в три яруса. Лица в ночном освещении казались одинаковыми, и он растерялся, не в силах припомнить, кто перед ним лежит, и, нагибаясь, спросил на всякий случай у матроса с нижней койки, поверх которой свежо тянуло сквозняком из открытого люка:

— Что, братец, плохо?

— Плохо, товарищ лейтенант, — голосом Остапенко вымученно ответил матрос. — Выворачивает наизнанку, будто рукавицу.

— Нельзя поддаваться, слышь, Остапенко. Крепиться надо. Поддашься — совсем скрутит. Слышь, Остапенко?

— Так точно, слышу.

— Наводить-то сможешь?

— Смогу как-нибудь.

— Да не как-нибудь, — рассердился Веригин, — а хорошо надо наводить. Представь себе, что ты в бою, а в бою можно действовать только хорошо, потому что действовать плохо — это все, гроб с музыкой. Слышь, Остапенко?

— Так точно, только хорошо действовать.

— Вот и постарайся. Постарайся, говорю!

— Так точно, постараюсь.

«Пожалуй, Медовиков прав, — безжалостно подумал Веригин, — надо списать на берег Остапенко, благо возможность представилась. Крейсер — не пансион для благородных девиц. Тут или — или. Сильные выдюжат, а слабых, видимо, само море не приемлет».

Пришел Медовиков — в берете, в капковом бушлате (приготовился спать не раздеваясь), — спросил одними глазами: «Что стряслось?» Веригин тоже молча повел глазами по койкам: «Видишь, так чего спрашиваешь».

— На якоре качка всегда хуже переносится, — меланхолически заметил Медовиков. — Сыграют тревогу, одни сами поднимутся, других подымем. Оно и ладно будет.

— За наводчиков опасаюсь. Может, отлежатся до утра?— спросил Веригин с надеждой.

— Нет, Андрей Степаныч, эту хворобу на боку еще никому не удавалось вытнать. Ее на ногах перемогают. Кто лег, считай — пропал.

— Может, тревогу сыграем? Я возьму «добро» у комдива.

— Раньше-то времени чего зря народ булгачить? Перегорят, потом и вовсе не загорятся. Лучше погодить до общей команды. Как прикажут корабль к походу и бою готовить, тут и примемся хворобу эту выгонять. А пока суд да дело, Андрей Степаныч, пущай полежат, ежели тебе интересно знать мое мнение.

— За тем и звал тебя, — начал сердиться Веригин, — чтоб вместе обмозговать, как лучше поступить. Но раз ты советуешь оставить всех в покое, то пусть будет по-твоему,— и сразу как будто обмяк, понял, что зря сердился. — Догадываешься, что старый город за дюнами нам не светит?

— Ну так что? — насторожился Медовиков.

— А как же молодая?

— Не тревожь ты мне душу, Андрей Степаныч, не моги больше спрашивать. Камень я в своих делах, а камень только одно и умеет, что молчать.

— Да нет, я ничего, — поспешил оправдаться Веригин. — Так, к слову пришлось. — Медовиков-то, говоря, чтобы не тревожили его душу, имел в виду одно, а Веригин подумал совсем о другом, вернее, о том, что мучило его самого, но тем не менее язык-то общий они нашли. — За это ведь, кажется, не бьют.

— За спрос не бьют — это верно, а только за так-то что ж спрашивать. Так — он так и есть. Помнится, одно время до войны — когда-то это еще было! — голодновато жили, матушка сварит пустого супу, мы, соответственно,

спрашиваем: «С чем суп-то сегодня?» «А с таком, — бывало, ответит матушка. — С таком, ребятушки». Ну раз с таком, мы и давай наяривать, благо не пустой. Давно это было. При царе Горохе, когда грибы воевали. А теперь народ привередливый пошел, с таком ничего хлебать не будут, ну и нам, стало быть, так-то просто говорить нечего.

— Не надо длинно, и учти, что я тоже из породы каменных: ты умеешь молчать, а я умею вопросов не задавать.

— Два сапога — пара, — посмеялся Медовиков.

— Понимай как знаешь, — сухо отозвался Веригин. На него нашел стих поговорить по душам, даже подумывал пригласить Медовикова в каюту, но раз тот не захотел, то что ж... навязываться не надо. — Ты свободен, а я в кубрике побуду.

— Воля ваша. — Медовиков круто повернулся и пошел к трапу, но тотчас остановился: — У меня запасец воблешки имеется. Так что при нужде раздадим матросам. Дело совсем-то не поправит, а все ж таки...

И эта «воблешка» неожиданно примирила Веригина с Медовиковым, он даже словно бы уверился, что у Медовикова кроме «воблешки» еще кое-что припасено, по крайней мере подумал, что тот что-нибудь сообразит на время стрельб, и, значит, раньше времени не стоит пороть горячку. А сам-то он, гусь, хорош, забыл про качку, отвез «воблешку» на берег. Эх ты, Веригин, Веригин...

— Обожди. Вместе выйдем.

Они поднялись наверх и попали под волну. Огромный корабль мотался на якорях, словно конь на привязи, нос зарывался в воду, и валы, перемахнув волнолом, обмывали неподвижную броню башни — барбет, растекались ручьями и ручейками по палубе.

— А ветер все свежает! — прокричал над ухом Медовиков.

Соглашаясь, что ветер свежает, Веригин кивнул, но в то же время подумал, что ни свежеть, ни убиться ветер-то уже не может, потому что задул ровно и, значит, будет наяривать так долго, пока не перегонит с места на место огромные пространства воздуха, и если следовать за этой мыслью, то дышат они сейчас не своим воздухом, а чужим, принесенным откуда-то из Финляндии, Швеции или даже Норвегии.

— Свежает! — радуясь ветру и тому здоровому чувству, которое испытывает человек, не поддавшийся слепой стихии, опять прокричал Медовиков, и Веригин похлопал Медовикова по плечу: дескать, пусть свежает, нам-то что до

этого, и этот невольный жест, в общем-то ничего не значащий, как бы переставил все с места на место, и уже не Веригин почувствовал некую зависимость от Медовикова, человека и послужившего, и повоевавшего, и снова послужившего, а Медовиков ощутил себя в том зависимом положении, когда не он, умудренный опытом, а Веригин, стоявший над ним, имел право на этот жест. Если бы Веригин скис, как скис тот же Остапенко, — а Веригин, как всякий смертный, мог скиснуть, — то Медовиков, может быть, и не принял бы эту фамильярность, отвел бы ее прочь — умел он это делать, — но Веригин держался молодцом, и Медовиков, кажется, проникся к нему еще большим уважением.

— Свежает! — крикнул он в третий раз, и ветер подхватил его клич, как соринку, и швырнул в свою свистящую коловерть.

«Нет, братец, не свежает, — подумал Веригин. — Это у нас с тобой на душе проясняется, а ветру что — он знай себе дует и дует. И сегодня дул, и завтра будет дуть, и послезавтра».

Косая волна захлестнула с борта и обдала их с головы до ног соленой, вяжущей губы водой, с шумом скатилась в море и побежала дальше, изгибая гриву и пенясь. Этот бег на месте был призрачно-неумолим, и все, казалось, двигалось, шевелилось, изгибалось и шуршало, и корабль даже не стоял на якорях, а шел, переваливаясь с носа на корму, и было непонятно, волны ли строгими рядами стремились к нему, или он врезался в их стройные порядки.

— Ну что, — сказал Медовиков, — попались, как салажата.

— Это ничего, — отряхивая полы шинели, улыбнулся в темноту Веригин. — Это очень даже хорошо.

— Мне-то — что. На мне — капка. Ее хоть из шланга поливай, ни капли не пропустит. А твоей шинельке сохнуть теперь до морковкиных заговен.

— Ах черт! — с досадой пробормотал Веригин. — Мне же с четырех на вахту. Вот бедушка.

Они спустились на шкафут и зашли в тамбур, захлопнув за собой дверь. Все стихло и умиротворилось, только палуба под ногами ходила из стороны в сторону да переборки были какими-то шаткими, словно полупьяными. Веригин оглядел себя и горестно покрутил головой.

— Сымай шинель. Я ее машинистам отнесу. К вахте, должно, обсохнет.

— Обойдусь как-нибудь.

— Чего там — обойдусь, — добродушно-ворчливо, как

малому, сказал Медовиков. — Сымай да valись на боковую. Только вели Самогорнову, чтоб дверь не запирал.

— Уж ты постарайся, раз такое дело, — не очень уверенно попросил Веригин.

— За милую душу услужу.

Но не услужить захотелось Медовикову, а уважить, хотя видимого повода для уважения и не было, даже не то чтобы не было, а просто не находилось. Ах, да разве дело в поводах или не в поводах, если на душе у человека стало полегче, и Веригин — пусть там командир-раскомандир — свой же парень, и этому своему парню никак нельзя заступать в мокрой шинели на вахту. Чего доброго, прохватит на ветру, а там, глядишь, насморк или иная блажь прилепится.

«Ну ты, рассиропился, — придержал себя в своих же чувствах Медовиков. — Эка невидаль — шинелишку просушить».

А Веригин хорошо так подумал: «А здорово это — иметь своего Савельича! Гринев-старший был, право, не дурак, дав своему отпрыску дядьку». — С этим он и в каюту вошел.

— Где это ты шинелишку свою профуфукал? — спросил Самогорнов, иронически оглядывая Веригина. — Эк тебя важнецки подмочило. Уж не за бортом ли побывал?

— На шкафуте накрыла, дьявол ее побери.

— Не будь раззявой, не лови ворон, как культурненько выражается мой мичманец. А шинелишка-то все-таки где?

— Медовиков взялся просушить, — не без удовольствия сказал Веригин.

— Гляди-ко, что у вас творится. Этак вы скоро друг у друга станете махорку с ушей сдувать.

— Завидуешь? — Веригин полез в шкаф, достал брюки, свежие носки, начал с наслаждением стаскивать с себя все мокрое.

— По-хорошему. А мне вот, братец, не везет. С дрянцой у меня мичманец. Ему бы в баталеры, а он в огневую команду попер. Там бы он развернулся. Там бы он наворотил дел. У него по части «достать-сменять» великий нюх. Это очень даже приятственно, когда у человека на что-то нюх есть. Только надо, чтоб он этот нюх к делу приспособил. Тогда ему цены не будет. А он, дурак, не понимает этого.

— Что же ты — спишешь его?

— Мичманец — не матрос-первогодок. Его абы куда не

сплавишь. За ним управление кадрами стоит. Так что и рад бы в рай, да грехи, видишь ли, не пускают.

Во всем сухом Веригин почувствовал себя необыкновенно уютно, словно и не было наверху вселенской круговерти, не кипела и не ярилась вода и ветер не рвал в клочья почерневшие тучи. А цедился только из-под абажура изнеженный свет, дремотно покряхтывали, словно на морозе, переборки, да в борт кто-то размеренно и ровно стучал пудовой кувалдой, пробуя его крепость. И ничего уже не желалось Веригину, будто пристыл душой, притомился, но Самогорнову все-таки попенял:

— А что же ты тогда хотел мичманцами меняться? Знал же, что он у тебя с дрянцой.

— Я-то знал, да ты-то не больно жаловал своего. Вот и подумал, что, может, оно и к лучшему — поменять их: и тебе поспокойнее, и мне надежнее. А раз нет, то на нет и суда нет. Опять же, братец, как говорится, живем-то мы хоть и вместе, а табачок все врозь.

Надо было бы поспорить с Самогорновым, возразить ему в том смысле, что если табачок врозь, то и жить вместе нечего, но для спора не хватало хорошего запала, злости, что ли, ушла она куда-то, или, может быть, Медовиков — занятный он все-таки мужик — унес с собою, чтобы не путалась в ногах.

— Не знаю, Самогорнов, а по мне, так лучше бы и табачок вместе, — кротко сказал он. — У меня вон половина башни полегла. Как же тут врозь-то будешь?

— Хитер ты. — Самогорнов не сдержался и ухмыльнулся. — Это пока я к тебе приглядывался, тогда и врозь. А теперь коленкор иной, как говаривала моя прародительница. А то, что полегли, пусть лежат. На то он и рейд, чтобы матросики полежали. Прикажет командир сыграть ангельским трубам, то бишь колоколам громкого боя, — мертвые восстанут, а живых и подгонять ни к чему.

— Думаешь?

— Уверен!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Веригину снилось, что он смертельно устал и хочет спать, а спать нельзя, и это «нельзя» действовало на него отвратительно, и ему еще сильнее хотелось спать. Проснулся он среди ночи, не сразу сообразив, спит еще или уже пробудился. В борт по-прежнему стучались кулачищи, в коридоре

разговаривали, и Веригин с трудом понял, что пора собираться на вахту, спрыгнул на палубу, не зажигая света, натянул брюки, китель, поверх кителя меховую душегрейку, намотал портянки и сунул ноги в добротные — яловая кожа, сорт первый — сапоги, потянулся за шинелью, и только тогда дошло до него, что шинели-то может и не быть.

В дверь постучали. Веригин высунулся в коридор и увидел рассыльного.

— Без четверти четыре, товарищ лейтенант.

— Добро.

Но шинель была, он провел по погону ладонью, чтоб не зажигать свет, — две звездочки, его шинель («Спасибо тебе, дядька Савельич»), — вместе с рассыльным поднялся наверх в глухую сырую ночь и тотчас ощутил, как во все щели засквозил ветер и по телу прошел озноб. Ежась, Веригин огляделся: по всему рейду и дальше в море вспыхивали и мерцали волны. В темноте они казались несметной стаей чаек, осенивших своими изогнутыми крылами беззвучные волны, да и волн-то не было, а мелькали только эти неоглядные крылья и озаряли округу неясным, призрачным светом.

— Что так рано? — встретил Веригина вопросом вахтенный офицер.

— Не спится, няня, там так душно. Какие указания от начальства?

— С правого борта — рейд, и с левого — рейд, по корме — берег, там в теплых постелях спят люди. А по носу — Балтийское море, а в Балтийском-то море — шторм. Вот и все указания. Так что? Вахту сдал?

— Вахту принял.

Веригин натянул на левую руку красно-белую повязку вахтенной службы, принял развод, зашел в рубку, якобы поискать что-то архиважное в рабочей книге, открыл ее и тем же временем достал папиросу, спички, воровато прикурил, с наслаждением затянулся и, водя карандашом по странице, начал подсчитывать: «Ушли во вторник. Сегодня... Постой, какой же сегодня день? — Он начал загибать пальцы. — Среда, четверг... Ого, пятница, так... Варя уехала вчера. Самое позднее — уедет сегодня. Варька, ау!» Подсознательно, влекомый ревнивой мыслью, он прыгающими буквами — начало сильно — начертил через всю страницу: «Уехала Варька-то!»

И тотчас торопливо потянул гаснущую папиросу, с сожалением начал уничтожать ластиком творения рук своих: сперва стер «Варьку», потом и «уехала».

Зазвонил телефон. Веригин мысленно чертыхнулся: «А, чтоб вас!» — сердито доложил:

— Вахтенный офицер лейтенант Веригин.

В трубке покашляли.

— Командир говорит. — Веригин вытянулся и плотнее прижал трубку к уху. — Вот что, вахтенный офицер, без двадцати пять разбудите старпома и пришлите его ко мне, без десяти того же часа поднимите офицеров и главного боцмана. Главного боцмана тоже ко мне. В пять ноль-ноль играйте боевую тревогу: «Корабль к бою и походу изготовить». Вопросы есть?

— Никак нет, без двадцати пять разбудить старпома, без десяти того же часа — офицеров и главного боцмана. Старпома и главного боцмана прислать к вам. В пять ноль-ноль сыграть боевую тревогу.

— Добро.

Веригин глянул на корабельные часы, для верности достал хронометр, подарок бывшего благочинного с бывшего «Пересвета»: было половина пятого, время последних предутренних сновидений, если они кого-то посещают. «Ну-ну, — подумал Веригин; через полчаса он включит колокола громкого боя, и кончатся все эти сновидения с их милой и тревожной ералашью. — Ну-ну». Он потянулся, прогоняя последнюю дремоту, вышел из рубки; и не чайки уже привиделись Веригину, а вороньи стаи, которые с шумом и гневом проносились вдоль борта, прятались в рытвины волн и снова взбегали на гребни. Море было охвачено яростью, и при виде этого яростного безумства стало жутковато и хорошо, и Веригин почувствовал себя небожителем, что ли, простершим длань над новым рождением мира из хаоса.

— Рассыльный, будите старпома и передайте, что его ждет командир! — приказал в ветер Веригин, будучи уверенным, что его услышат и примут к немедленному исполнению, но услышать-то услышат, а поймут наверняка не так, как хотелось бы ему в эту минуту: «Крейсером и флотом командую я!» Ну да пусть не поймут — природа еще никому не отпустила щедрого своего дара заглядывать в тайное тайных, — пусть только ему вольно ведать самого себя, но ради одного этого стоило недосыпать, мерзнуть на ветру, черт побери, омываться ледяной водой, потому что без величия не дóлжно быть человеку, а величие может быть и мимолетным, как дуновение шалого ветра: «Крейсером и флотом командую я». «Ах, черт ты, черт, — подумал о себе Веригин, словно о ком-то другом.— Ну зачем тебе все это?»

Потом пришла пора будить офицеров и главного боц-

мана, и крейсер оживал, словно большая деревня в предрассветную зорю, и мысли эти улетучились, хотя Веригин и пытался возвращаться к ним, но по прошествии каких-то десяти — двадцати минут они выглядели нелепыми и убогими, и Веригин даже невесело посмеялся над собой: «Во, паря, дает!» — и в пять ноль-ноль включил колокола громкого боя.

— Корабль к походу... — И на какое-то мгновение ему послышалось: «Командую я», и опять, но теперь уже насмешливо подумалось: «Во́, паря»...

Захлопали люки и горловины, загрохотали палубы и трапы, по кораблю в разные стороны потекли человеческие ручейки и разом попрятались, все стихло, бесшумно задвигались хоботы орудий, закружились антенны локаторов, ощупывая своим невидимым лучом берег, море, небо, — словом, все, что окружало корабль и могло отражать этот всевидящий луч, и, отраженный, он возвращался, высветлив на мерцающем экране береговую извилину, корабли на рейде, швартовые бочки, одинокий самолет в небе, и все эти высветленные точки и пятна расшифровывались в Боевом информационном посту — в БИПе — и поступали на стол командиру. Каждый радиометрист и каждый офицер БИПа видел и понимал только свою обстановку, иными словами, он мог назвать курсовой угол и скорость самолета, но он не знал и не представлял, что в этот момент делается на море. Командир же знал не только, куда и с какой скоростью летит самолет, но он знал еще, что самолет этот совершает обычный рейс из Риги в Калининград, а одинокое судно, означенное на экране голубоватой фасолиной, — наш «купец», который следует в Клайпеду, и еще многое мог понять командир из тех зашифрованных донесений и наблюдений, которые ежеминутно поступали к нему, но при этом он должен был обладать особым зрением, чтобы охватить всю обстановку и правильно оценить ее. Это зрение вырабатывалось, по мере того как он поднимался со ступени на ступень служебной лестницы, и, когда поднялся на самую верхнюю, именуемую боевой рубкой, оно стало словно бы врожденным. По сравнению с капитаном первого ранга Веригина можно было бы назвать слепым кутенком, который только-только начал прозревать, потому что его мировидение ограничивал башенный визир, и если следовать дальше, то Медовиков уже ничего не видел, а только слышал, как, впрочем, и большинство людей, сокрытых в чреве крейсера.

Ближе к семи по кораблю объявили завтрак, а в семь баковые швартовые команды — первая и вторая башни —

были вызваны наверх. С ходового мостика последовал приказ: «Пошел якорь», взревели шпили и, с лязгом пропуская через себя якорь-цепь, звено за звеном погнали ее в якорный ящик. Крейсер почувствовал свободу, вздрогнул и, разрезая штевнем встречную волну, взял курс на тот квадрат, обозначенный на карте северной широтой и восточной долготой, где предстояло ему рандеву с кораблем-целью, вооруженным панцирной броней, способной выдержать удар любого калибра.

Командир не спал ночью, но выглядел бодро — треклятый радикулит решил-таки сделать передышку — и был весел по случаю того, что в море держалась устойчивая семибалльная волна и, значит, вышли они не напрасно, а там уж пусть расстарается старший артиллерист. Старпом тоже чувствовал себя превосходно, потому что командир лишний раз не шпынял, не читал нотаций, как мальчишке, дескать, и то нехорошо, и то плохо, а надо бы, чтобы то было так, а не эдак. Старшему артиллеристу ночью приснились стрельбы, которые он провел в общем-то уверенно, и он, в душе глубоко суеверный человек, решил, что сон в руку, и тоже бодрился. Словом, на мостике царила тишь, да гладь, да божья благодать. С мостика это благодушное настроение незримо передалось в башни, на боевые посты, в машинное и котельные отделения, и, несмотря на то что в море было зыбко и многих выворачивало, корабль шел весело и даже как-то озорно. Он словно бы тоже поддался общему настроению и всем своим стремительным видом как бы утверждал, что ему в высшей степени наплевать, что в море штормит и по палубе гуляет волна. Кочегары держали пар на заданной марке, машины работали отменно, и весь могучий организм корабля, который в условной степени превосходил береговые мощности, скажем, такого города, как Старая Русса, трудился на совесть.

Шли крейсерским ходом, самым экономичным. Командир был уверен, что на рандеву они выйдут вовремя, и незачем было попусту переводить бункер на ветер и держать людей в излишнем напряжении. Там, в квадрате, когда придет пора открыть огонь, видимо, придется много маневрировать на крутом ветру, и тогда люди, одетые в прогарное платье — синюю робу, предназначенную специально для несения вахт в котельных и турбинном отделениях (верхней команде полагалась белая роба), — постараются вовсю, это он знал и поэтому не дергал попусту стармеха, только время от времени захаживал в штурманскую рубку и подолгу простаивал возле широченного и длинного стола с картой

похода, на которой штурман идеально заточенным карандашом указывал ему обсервованную точку нахождения крейсера.

Командир опять чувствовал себя на той, минувшей, войне, сфокусировавшей в четыре года всю его жизнь: сперва он готовился к ней, потом жил ее заботами и теперь, что бы ни делал, постоянно незримо оглядывался назад, проверяя себя, разумно ли он поступил и не разумнее ли было поступить иначе, потому что война, как никакое другое дело, не терпит ошибок и жестоко мстит за них. О некоторых принято любовно писать: «Человек сугубо мирной профессии, он стал...» Кем уж он там стал, бог его ведает. Капитан первого ранга не владел никакой иной профессией, кроме военной, подобно Самогорнову и Веригину, начинал командиром башни, всю жизнь учился хорошо стрелять и хорошо водить корабли, а это значило не только вовремя войти в квадрат для встречи с неприятелем, но войти так, чтобы первому открыть огонь и не подставить открытый борт для ответного удара, а если потребует обстановка, то первым и убраться подобру-поздорову.

За всю войну он не видел ни одного убитого неприятельского матроса или тем более офицера, своих же похоронил многих, и, потому что он не видел чужих, а видел только своих, в сознании его мало-помалу укрепилась мысль, что каждый погибший свой — это жертва невинная, а любая невинная жертва должна быть отмщена. «Мне отмщенье — и аз воздам», кажется, этот эпиграф предпослал Лев Толстой своему самому любимому роману?..

«Ах, черт, — подумал капитан первого ранга. — Как давно я не читывал Толстого. В руки даже не брал. А вот ужо-ка, ужо-ка... Вот отстреляемся, вот тогда-то».

Ему доложили, что с кораблем-целью установлена прямая связь и самое большее через полчаса они сойдутся на дистанцию выстрела. Командир облегченно вздохнул, со скрипом потер ладони и распорядился объявить по кораблю готовность номер один.

Веригин, подперев подбородок рукой и нахлобучив фуражку на самый нос, не обращая внимания на качку, подремывал. Он переволновался и там, на рейде, когда увидел, что многих укачало, и здесь, в море, где качало основательнее, чем на рейде, и неожиданно успокоился, решив, что авось все обойдется. Он пробудился до того, как загремели колокола громкого боя. Поправил фуражку, потер кулаком

помятую щеку и оглянулся. Медовиков с матросами левого орудия лущил воблу.

— Что? — спросил Веригин.

— Да вот, кончаем, — ответил Медовиков, не поднимая головы.

— Я спрашиваю, что с матросами?

— А ничего, по малости пришли в себя, а которые не пришли — придут, как ударят колокола.

— Не нравится мне это, Медовиков.

— А кому этакое может нравиться? — вопросительно отозвался Медовиков. — Этакое никому не понравится, да что ж делать, если велено стрелять при волне. Сейчас воблешку раздадим, глядишь, кому и полегчает.

— «Полегчает, полегчает»! — передразнил Веригин. После дремоты тело было вялым, разбитым. — Сделаем пропуск, тогда на самом деле кому-нибудь полегчает.

— А ништо. Не помрем, так живы будем.

Ударили колокола громкого боя, и вахтенный офицер оповестил:

— Первому дивизиону — приготовиться.

Веригин поежился, прильнул к визиру, надеясь увидеть эту треклятую цель, по милости которой выпало столько мороки, но море, изрытое громаднейшими волнами, казалось вымершим. Сюда даже не залетали чайки, а «купцы» — те и подавно не заглядывали в этот квадрат, затерянный в стороне от хоженых морских дорог.

— Первая башня, — позвал по громкоговорящей связи комдив Кожемякин.

— Есть, первая. Лейтенант Веригин.

— Как самочувствие?

— Отличное. Немножко поспал.

— Да не твое, — обиделся Кожемякин. — Как чувствует себя команда?

— Кое-кого укачивает.

— Смотри мне за наводчиками. Головой отвечаешь, если что такое. Вторая башня?

— Есть, вторая. Старший лейтенант Самогорнов.

— Как у тебя?

— Нормально.

— Добро. Третья башня...

Веригин обернулся к Медовикову:

— Слышал?

— Слышал. С вашего позволения, я сам сяду на вертикаль среднего.

— А что с Остапенко?

— Я ему — воблу, а он мне — полные пригоршни этого... — Медовиков брезгливо потер чистые руки о ветошь. — Какой же это матрос? — Он и не спрашивал, и не удивлялся, а сказал, просто чтобы сказать.

— Вот что, — жестко, тоном, не допускающим возражения, промолвил Веригин. — Пусть каждый занимается своим делом. Но в случае чего... Ты понял меня?

— В случае чего может быть пропуск.

— А вот пропуска не должно быть. Поручаю тебе Остапенко. Головой отвечаешь! — Веригин не заметил, как повторил слова комдива Кожемякина.

Медовиков нехотя усмехнулся:

— Есть, отвечаю головой! — И подумал: «Сдался ты мне со своим Остапенко. Пусть кто хочет тетенькается с ним, а я вам не нянька». Перешел на среднее орудие — и сделал это вовремя.

— Начать наводку! — приказали с главного командного пункта.

— Начать наводку! — отрепетовал Веригин.

Заворочались моторы, и башня поплыла на борт, казенники орудий качнулись и ушли в подбашенное отделение, стало просторно и светло.

— Снаряд бронебойный, заряд основной. Начать подачу.

— Снаряд... Заряд... Начать, — громко, как усердный школяр, повторял за комдивом Веригин, поворачивая колонку визира из стороны в сторону, пытаясь все-таки отыскать «цель», и зря пытался. С высоты его первой башни виделся узкий сектор моря, да и не море это было, а нечто изрытое бурыми волнами, которые с методичностью маятника то взбугривались, то падали ниц, пытаясь, казалось, провалиться в преисподнюю. И в боевой рубке «цель» не видели, хотя там и знали, что она начала ловчить, все время меняя курсовой угол, и только с высоты командно-дальномерного поста, где обосновался комдив Кожемякин и где неимоверно качало, «цель» виделась почти у самой кромки горизонта, да поодаль от нее, стараясь держаться на почтительном расстоянии, чтобы не попасть под залп, следовал эскадренный миноносец с посредниками, штабными артиллеристами, которые должны были сфотографировать всплески и в конечном счете оценить стрельбу.

— Товсь! — Веригин взглянул на прибор наведения башни и орудий и похолодел: на среднем орудии горела только красная лампочка, — значит, Остапенко не успел совместить стрелку точной наводки с неподвижным индексом, и черт те знает что теперь могло произойти. — Медовиков! — за-

кричал он, хотя и знал, что сейчас же последует команда «Залп!» и орудия, соединенные на одновременный выстрел, промолчат, и катись тогда душа в загробное царство. — Залп!

И в это мгновение мелькнула и средняя зеленая лампочка, башню как будто с силой толкнули в грудь, она покачалась, но устояла, и где-то далеко глухо и ровно ахнул залп, орудия мягко вкатились поршнями в башню, сжав воздух, который, словно хлопушкой, ударил по ушам, и тотчас, сипя и чмокая смазкой, стали на свои места. Командиры орудий опрокинули качающиеся лотки с сизыми снарядами, поблескивающими медными ободками; урча и лязгая, толкачи вколотили их в казенники, за ними отправились заряды, замочные вставили запальные трубки, и только захлопнулись замки, как орудия сорвались с угла заряжания и взметнулись на угол наведения. Одна за другой мигнули зеленые лампочки, мигнули еще раз и ровно засветились. Веригин от удовольствия и избытка чувств даже крякнул — до того все ловко получилось: механизмы, переключенные на автоматику, работали безошибочно, словно живые, и люди, бывшие при этих автоматах, тоже не могли ошибиться, и связь — «человек — механизм» — замкнулась, став единой, неразрывной цепью. И опять в этой цепи забарахлило левое орудие — лампочка начала часто мигать, — и Веригину стало невтерпеж, захотелось сорваться с места и бежать туда, к среднему орудию, но он силой удержал себя, поняв холодным умом, что высшей доблестью для него в эти минуты было не бежать куда-то и что-то там делать, а молча сидеть и ничего не делать.

Громыхнула вторая башня, озарив Веригина всполохом, и весь мир стал черным, словно началось солнечное затмение, и следом загромыхало на корме — управляющий огнем комдив Кожемякин вел пристрелку побашенно, — и мир снова стал синим и голубым.

— Поражение... Товсь... Залп!

Башня опять подалась назад, крутнулась слева направо и замерла, послушная руке наводчика, как взнузданная лошадь: автоматика требовала от людей автоматических действий, но люди-то не становились автоматами. Просто ради этого недолгого и нелегкого дела они должны были забыть себя, и они забыли, и, казалось, уже не было шторма в море и этой дурацкой качки на корабле, и ничего уже не было, кроме суматошных и точных команд:

— Товсь... Залп!

Орудия пожирали снаряд за снарядом, чтобы потом в

грохоте и пламени вонзать их в небо, и они вонзались, жужжа и воя, сверлили тугой воздух и, настигнув бесподобную в своей беззащитности «цель», терзали ее бронированный панцирь тяжкими молотами, словно ковали что-то невидимое миру.

— Товсь... Залп!

Веригин даже привстал за визиром, чтобы хоть краешком глаза подсмотреть, куда и как падают снаряды, но горизонт, словно колеблющийся, как пламя затухающего костра, был чист и свеж. Ничего не видел Веригин, сокрытый со всех сторон первосортной броней, только визир позволял ему одним глазом взглянуть на стихию, которая играючи катила и катила бесконечные волны. Башня пристрелялась и работала слаженно, словно здоровый организм, и он, по сути дела, самый главный в этом организме, был и самым лишним. Все находились при деле: и тут, возле орудий, тот же Остапенко, наводивший — пусть плохо, но все-таки наводивший! — по вертикали среднее орудие; и там, на голубятне, на командно-дальномерном посту Кожемякин, управлявший огнем, — только он, командир башни, словно бы выпал из дела и должен был, подобно игроку, поставившему на ту или иную лошадь, покорно ждать или своего выигрыша, или своего проигрыша. В этих стрельбах он не был ни лошадью, ни жокеем.

«Вся жизнь состоит из парадоксов», — подумал он, терпеливо дожидаясь, когда же наконец кончится эта дикая пляска огня и металла.

— Товсь...

Команды исходили с самого верху, с командно-дальномерного поста, и спускались сперва в самый низ — в центральный пост управления стрельбой — и только оттуда уже, преобразованные в числовые величины, поступали в башни, и там, наверху, командир со старпомом и старшим артиллеристом и комдив Кожемякин, прочно обосновавшийся на самом голубятнике, видели, как одно творение рук человеческих дубасило другое творение тех же рук, и все, вопреки логике и здравому смыслу, шло хорошо, потому что последний залп полностью накрыл «цель», и, будь она обычным кораблем, а не бронированной черепахой, ей пришлось бы туго, а может быть, и совсем плохо. Но в башнях-то ничего этого не видели и ничего не знали, и орудия мерно качались с одного угла на другой.

— Дробь! — сказал там, наверху, командир. — А то, чего доброго, они еще сигнал бедствия выбросят. Потом ходи по штабам, оправдывайся.

— Орудия заряжены, товарищ командир.

— Добро. Последний залп.

— Залп! — И когда снаряды с воем вонзились в небо, Кожемякин устало и почти безразлично сказал: — Дробь... Башни и орудия — на ноль.

Веригин обернулся. Орудийная прислуга, переборки, палуба — все было в белой пыли от асбестовых футляров, в которых заряды из порохового погреба подавались в огневое отделение, и матросы со старшинами походили на изрядно поработавших мельников.

— Благодарю за службу! — во всю силу легких крикнул Веригин, чтобы его услышало возможно больше людей.

— Служим Советскому Союзу! — улыбаясь и не очень дружно, но весело ответили ему и на левом орудии, и на среднем, и на правом.

Качало сильно, и это стало ощутимей, когда наконец-то все кончилось и орудия больше не разевали казенников, требуя себе все новых подношений.

Позвонил Самогорнов:

— Веригин? Выходи, братец, покурим, разомнемся, а то у меня от эдакой пахоты ноги занемели. Чего доброго, застой крови получится.

— Пахали — это верно, только не мы.

— Ну мы, ну не мы, — весело сказал в ответ Самогорнов. — Экий ты, право, братец...

Они сошлись между башнями, долго прикуривали, пряча спички в ладони, но спасения от ветра не было, хотя корабль и шел носом в волну. Сплошной шквал рушил гребни на палубу, срывал с них пену, выл и пел свою вакхическую песню в честь одному ему известного бога или идола. «Скорее, все-таки ветер язычник, — красиво так подумалось Веригину. — И песня его в честь Кожемякина. Это по его воле сегодня орудия изрыгали пламень». — И ему стало грустно, что на этом языческом веселье он оказался в стороне; хотел было, посмеиваясь, сказать об этом Самогорнову, но Самогорнов мог неправильно понять, объяснив эту элегическую грусть: «Фу-ты, черт!» — заурядной завистью, и тогда Веригин деланно озабоченно спросил:

— Как думаешь, отстрелялись — ничего?

— Нормально, — сказал Самогорнов. — Комдив — молоток. Залпа три вдубасил в «цель».

— Думаешь?

— Полагаю, — уточнил Самогорнов. — После обеда врежем еще по берегу — и на старую базу. Будя, братец, повоевали.

— А что же Энск?

— Тебе-то какая печаль? — удивился Самогорнов. — Сходишь на бережок, помилуешься.

«Да нету Варьки-то, — обидясь на себя за опрометчивость, что посоветовал Варьке уехать, с неожиданной тоской подумал Веригин. — Нету Варьки-то».

— А славно мы, братец, попахали.

«Уехала Варька-то. Варька-то уехала. — Но где-то уже в уголочке затеплился уголек: — А может, и не уехала! Не уехала, может...»

— Ты где, братец?

— А... Не спрашивай. Тут я или там — не все ли равно? По кораблю объявили готовность номер три.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В старую базу пришли в зените следующего дня, стали на правый якорь, завели на бочку швартовы, скатили для большей вальяжности палубу, хотя штормовая волна смыла с нее последнюю пыльцу, и тотчас сыграли обед:

Бери ложку, бери бак
И беги на полубак...

За обедом Першин меланхолически и даже со скорбью — кажется, он не притворялся и не ерничал, по своему обыкновению, — заметил Самогорнову с Веригиным:

— Все, мальчики. Сейчас мой адмирал простится с вашим командиром, флаг-офицеры уложат свои шмутки, оркестр сыграет «Прощание славянки», вахтенный сигнальщик спустит флаг адмирала — и конец нашей компашке. Славненько мы пожили, но жаль — мало.

— Правду глаголешь? — с интересом спросил Самогорнов. — Или байку сочиняешь?

— Правду-матушку. Ее, сермяжную. Первым катером я ухожу. Так что, Веригин, можешь на меня рассчитывать. Подброшу.

«А может, Варька-то и не уехала, — опять затеплилась у Веригина слабенькая, как копеечная свечка, надежда. — Не уехала, может, Варька-то».

— С превеликим удовольствием.

— Особого приглашения не жди. Дуй прямиком в катер. Нонче вашему брату-антилеристу послабление вышло.

— Самогорнов, будь другом, скажи Медовикову, чтоб списки на увольнение составил, да передай ему... — Вери-

гин как будто бы поперхнулся. — Да, передай: Остапенко я списываю.

— Ну, ну, — без особого энтузиазма согласился Самогорнов и даже заметно обиделся: — Я, конечно, передам, а в случае чего и прикрою тебя, но скажи, яви милость, с каких это пор ты меня в свои заместители определил?

— Если тебе трудно, тогда что ж...

— Не трудно мне, а нельзя так походя человеческую судьбу вертеть из стороны в сторону, нельзя вечно мчаться куда-то. Людей начнешь забывать; смотри, и себя скоро забудешь.

— Ты так считаешь? Тогда я... — обиделся было Веригин, но Самогорнов перебил его:

— Сегодня не считаю. А завтра всякое может быть. — Он помолчал. — Ладно, улетучивайся. С того конца кто-то уже вышел, кажется, штурман. Так что скатертью дорожка.

Веригин посидел для порядка минут пять, словно желая показать, что ему в общем-то в высшей степени безразлично: может и сойти на берег, а может и на борту посидеть, великой беды из-за этого не случится, но Самогорнов уже отвлекся разговором о предстоящей выгрузке боезапасов, и показывать свое независимое безразличие стало некому. Тогда Веригин притворно зевнул, обратив на себя внимание Самогорнова.

— Так сойти, что ли, или ужина погодить?

— Милай, родной, желанный, не строй из себя дурочку. Лови мгновение, оно прекрасно.

И Веригин, сердясь на Самогорнова, который все видел и все понял, но виду не показал, нехотя, даже скучающе, вышел из-за стола и, пройдя мимо буфета, возле которого табунились вестовые, юркнул в коридор и только что не кубарем скатился на жилую палубу и там, одернув на себе китель, пошел спешно, но с достоинством, подобающим занятому человеку. «А может, не уехала Варька-то, — словно напевая, думал он, — может, задержалась, может, с билетами ничего не вышло? Может... Может... Ах, дурак я, дурак... Ну стоило говорить о каких-то трех днях! Мог же ведь дать телеграмму из Энска. Мог бы... мог бы...» Он влетел в каюту, надел шинель, покрутил перед зеркалом фуражку на голове, чтоб сидела красиво и удобно. Постучали и раз, и другой, и в дверь просунулся Остапенко:

— А я уже подумал, что вас нет.

Следовало бы сделать Остапенко внушение, что без приглашения нечего совать нос в каюту старшего, но Веригин нехотя попридержал себя: «А, да не все ли равно.

Время-то еще терпит». Он и торопился, и в то же время старался не спешить, чтобы, как говорится, не спугнуть удачу.

— Открыл дверь, так входи.

— Вот, списывают, говорят, меня, — войдя тихо, словно спотыкаясь, сказал Остапенко и переступил с ноги на ногу, чтобы удобнее было перехватить взгляд Веригина, но тот упорно смотрел поверх головы матроса.

— Так надо. — Веригин-то знал, что совсем так не надо, но переиначивать все, препираться с Медовиковым, бежать к комдиву, от комдива к писарям — «Ох и морока же!» — было некогда, тем более что на стрельбах по «цели» Остапенко работал не лучшим образом, едва не сделал пропуск, и он повторил громче: — Так надо. Служи на новом месте достойно.

— Товарищ лейтенант, я же...

— Так надо, — в третий раз сказал Веригин, теперь уже совершенно определенно зная, что именно так и надо.

— Мне идти? — спросил Остапенко с тайной надеждой, что Веригин задержит его и все останется по-прежнему.

— Идите, Остапенко. И... не падайте больше за борт.

Веригину стало стыдно самого себя за непостижимо-неотвратимое малодушие, он почувствовал, что краснеет под укоризненно-пытливым взглядом Остапенко, засуетился, пряча глаза, и неожиданно понял, что если Остапенко останется в каюте хотя бы минуту, то он, Веригин, бросится к Медовикову, накричит на того, говоря фигурально, упадет на ковер перед комдивом, будет унижаться перед писарями, и, чтобы этого не случилось, он поднялся и твердо — по крайней мере так ему думалось — сказал:

— Даст бог, еще свидимся, Остапенко.

Остапенко потоптался еще недолго и молча ушел, и Веригину стало совсем омерзительно. Понимал он, что поступил не по совести, потому что так выходило удобнее, а совесть в этом случае была чем-то неудобным, словно бы лишним. «Ну так, ну так, — подумал он бессмысленно, — конечно же так, а раз так, то так и есть». Позвонил дневальному по кубрику, велел тому разыскать Медовикова и прислать его в каюту, и не успел Веригин толком подумать, с чего начать разговор со своим бравым помощником, как тот уже стукнул в дверь и объявился собственной персоной.

— По вашему приказанию...

— Приказания не было, но видеть тебя хочу. Как дела в башне? — спросил Веригин, словно в эту секунду боль-

ше всего на свете его беспокоило, чем занимается вверенный ему личный состав, хотя и без того знал, что старшины не дремлют и никто без дела не сидит.

— Собирали банники. Видимо, придется орудия парить. А теперь готовимся к завтрашней выгрузке боезапаса, — без запинки ответил Медовиков, отлично понимая, что не за тем его вызвал командир башни.

— Добро. — Веригин помолчал. — Только что заходил Остапенко, попрощался. — Он опять сделал паузу. — Тебя не мучает совесть или раскаянье, хотя это одно и то же?

Медовиков пристально, не мигая, посмотрел на Веригина, глаза их встретились, и тогда Медовиков сказал:

— Нет, Андрей Степаныч, не мучает. Пусть мучает тех, кто плохо служит, кто плохо знает свое дело. Разве это порядок, чтоб старшина команды во время стрельбы стоял за спиной наводчика! А то тот, чего доброго, пропуск сделает. Порядок это?

— Это, разумеется, непорядок, но ведь матросами, в том числе наводчиками, не рождаются. Ими становятся, Медовиков. Людей надо учить в деле, так я понимаю. А матрос из него, кажется, получился бы. Получился бы матрос-то из Остапенко. Вот что меня по-человечески мучает. А ты как полагаешь?

— Бабушка еще надвое сказала, — уклонился от прямого ответа Медовиков. — А что касается совести, то не обижай меня, Андрей Степаныч. Может, и не столько много, как у других совестливых, а только маленько и у меня есть. Не шибко с запасом, а в меру, ровно столько, сколько требуется.

— Это-то и плохо, что не мы себя совести поверяем, знаешь, так, по большому счету, безоглядно, а как бы ее меряем на свой аршин: есть немного — и будет. В одном месте хватит, в другом может и не хватить. Тогда что делать, к кому побежим занимать ее? Давай договоримся: матросов, как и друзей, на службе не выбирают. Каких дали, с такими и будем хороводиться.

— Ваша воля.

Веригин наконец снял фуражку, расстегнул шинель и, присев к столу, неожиданно вспылил:

— При чем тут моя воля! Я о совести веду речь.

— Воля ваша, — упрямо повторил Медовиков, сделав каменное лицо, но Веригин уже совладал с собою, кивнув мичману на диван, покаянно сказал:

— Служим мы с тобой вместе, а все будто глядим в разные стороны.

«Куда ты смотришь, мне не ведомо, — раздражаясь, подумал Медовиков, но ни садиться, ни перечить не стал, тоже решив покончить этот неприятный разговор миром.— Эка невидаль, матроса в экипаж списали. Да их тыщами списывают! Нас ведь тоже когда-то спишут, Андрей Степаныч, товарищ лейтенант».

— Смотрим-то мы в одну сторону, только глаза у нас разные. В твоих вроде бы розового побольше, ну а в моих вроде бы поменьше. Я, Андрей Степаныч, воевал, всякого насмотрелся, так что и хочу попраздновать, а все опасаюсь: а не рано ли?

— Может, ты и прав, — расчувствовался Веригин. — Может, праздновать-то и рано, а только как жить без праздников? А может, все-таки ты и прав.

— А нет одной правды-то, Андрей Степаныч.

— Как нет? Шутишь, Медовиков. Мы-то с тобой разве не правому делу служим? Объясни мне, грешному, чего-то я не понял.

— А я не о той правде, которой мы служим, а вот о той, которая в каждом человеке сидит. Сколько человеков, столько и правд. А раз так, то маленько прав ты, маленько я, маленько Остапенко, и, настоящая-то, она лежит где-то промеж нас. Ходим мы вокруг нее, а ухватить не можем.

— Наверное, это и есть та правда, ради которой мы здесь собрались.

— Та правда другая, как бы сказать — общественная, а то есть еще личная.

— Значит, и совесть есть личная?

— Как знать, может, и совесть есть личная. Скажем, у одного ее поболе, у другого помене, а главная-то, она опять-таки не в нас, а где-то промеж.

— Смотри-ка ты, — удивился Веригин. — У тебя, оказывается, целая философская концепция.

— Нет, Андрей Степаныч, ни к чему мне концепции. Пустое это. Я и без них гораздо проживу. Потом же с концепциями недолго и в орла сыграть.

— Как это — в орла?

— Очень просто. Есть решка — это, выходит, небо в крупную клетку, на гарнизонной губе,— усмехаясь, сказал Медовиков. — Ну, а орел... — Он еще раз усмехнулся. — Так что концепциями не балуюсь.

Веригин для пущей важности помолчал, словно что-то обдумывая, он и на самом деле подумал: «А хитер ты, ря-

бой черт, ох хитер!» — и, помедлив еще с минуту, озабоченно спросил:

— Так говоришь, все готово к выгрузке?

— Все готово, а что не готово, то будет готово.

— Ну добро. — Веригин уже было отпустил Медовикова и вдруг спросил: — Слушай, а если мы все-таки оставим Остапенко. А?

Медовиков даже отшатнулся и побледнел.

— Не можно, товарищ лейтенант, — сказал он хриплым голосом.

Веригин вспомнил баркас и белый след от шлюпки на воде и начал застегивать у шинели крючки.

— Будь по-твоему.

Катер уже стоял у трапа. Матросы сносили на него штабные пожитки и весело посмеивались. Веригин поскучал возле рубки вахтенного офицера, дожидаясь Першина, и, когда тот пришел, встрепенулся, но виду не подал, что истомился, только спросил:

— Ну так как?

— Э-э... поехали, — сказал Першин и первым ступил на трап. Он был хозяином положения и держался подчеркнуто-холодно, сам того не замечая, что подражает адмиралу. Катер резво отошел и круто лег на волну, обдав всего себя брызгами. — Эй ты, потише, — заметил Першин старшине катера, и тот засуетился, начал сбрасывать обороты: «Черт те знает, как вести себя с этими штабными».

Першин прошел в салон, оставив дверь открытой, как бы приглашая Веригина последовать за ним, но Веригин ни с того ни с сего обиделся за старшину катера — чай, с одной коробки! — и остался на корме, хотя там было довольно свежо. «Тоже мне, — думал он. — Начальство из себя строит. Начальство! — передразнил он. — Карандаши затачивать да бумажки на подпись подсовывать».

— Что же ты? — крикнул из салона Першин.

— Да я ничего. Хочу на ветерке постоять. Проветриться хочу, — поспешно прибавил Веригин, чтобы Першин не подумал, будто он чурается его.

— Ну, смотри! — опять крикнул Першин, закрывая дверь, но через минуту не утерпел, вышел сам, огляделся и неожиданно, — а может быть, и намеренно, поди знай этих штабных! — спросил:

— Так ты, э-э... Веригин, полагаешь, что твоя благоверная отбыла в славный град Питер?

— Ничего я не полагаю, — весьма неуважительно буркнул Веригин, которому все эти светские разговоры, принятые в кают-компании, изрядно уже набили оскомину. Хотелось Веригину побыть одному и немножко помечтать, скажем, о Варьке, потому что Варька тихо отошла в розовую дымку и снова стала недосягаемой, как мечта.

— Ба, а что же тогда такой невеселый? — не унимался Першин, который, в отличие от Веригина, был не прочь позубоскалить.

Не хотелось Веригину вступать в разговоры — видит бог, тяготился он уже Першиным! — но невежливо было и отмалчиваться, как-никак и жили бок о бок, и чаи вместе гоняли, опять же и товарищей общих имели, и Веригин неожиданно для самого же себя расчувствовался и невольно поддался настроению.

— Легла какая-то горечь на душу. Сразу и не разберешь, что и от чего.

— О чем горевать, друг мой? — встрепенулся Першин, и глаза у него мягко заблестели. — Жена уехала — остались друзья. Живи, моряк, радуйся свету белому. Кстати, квартирка за тобою.

— На кой она мне.

— Не говори так. Это очень вредные и нехорошие слова. Есть предложение: если благоверная отбыла, то неплохо бы справить в твоей соломенной хижине отвальную.

— Погоди, зачем же так сразу! — насторожился Веригин, не желая соглашаться с Першиным, но сразу и не отказывая.

— Зачем годить. Годить не надо, это не по-товарищески. Сегодня же и справим. Ты, я, Самогорнов, найдется еще парочка-тройка человеков. Знатно посидим.

— Позволь...

— Ни-ни, не позволю... Не позволю пропадать такой заманчивой перспективе. Музыкантам уплачено, музыканты должны играть. Дражайшая Алевтина Павловна, поверь, будет на седьмом небе от восторга. Как это у милейшего Антона Павловича? «Музыка, играй. Лопахин слухать хочет». Кажется, так, но за точность не ручаюсь. Цитирую по памяти.

— Неудобно... Жена только уехала...

— Весьма и весьма удобно. Милый мой, вся наша жизнь построена на смене света и тени. Сегодня радуемся, завтра плачем. И не моги портить компашку. Сегодня ты отвернешься от друзей, завтра друзья отвернутся от тебя. Тогда, спрашивается, как жить станешь? Нас, закованных в желе-

зо, судьба редко балует отдушиной для отдохновения от бренных дел. Так неужто нас кто-то за это осудит?

— Откуда ты свалился на мою сирую голову?

— Это не я свалился. Это само провидение меня ниспослало. Радуйся, брат мой, и восхвали ближнего своего, аки самого себя.

— Себя-то мне, положим, хвалить не за что.

— И не хвали. Не будь эгоистом. Хвали ближнего, потому что он, и только он — разумеется, ближний твой, — достоин похвальбы.

Веригин понимал, что Першин, следуя кают-компанскому этикету — о делах говорить походя, — балагурит, и ему самому стоило бы взять легкий, непринужденный тон, но Першин, кажется, переступил грани дозволенного, и Веригин начал откровенно сердиться:

— Глядючи на тебя, это-то не скажешь.

— А ты хвали не глядючи, — не унимался Першин. — Не прошибешься.

Веригин только на минуту представил, что в их комнату, озаренную Варькой, где теперь каждая вещь принадлежит ей, могли, по милости Першина, забрести случайные люди, вроде той же ленивой смиренницы Вали-Тони-Сони — «О черт, как ее звали-то?» — или самого же Першина, деланно-веселого и беззастенчивого в своей деланной веселости, и одним своим присутствием внести что-то оскорбительное и для Варьки, и для него самого; эти люди начали бы двигать и переставлять стулья, смеяться, расспрашивать, отпускать шуточки, валяться на диване, и бог весть что они еще бы стали делать, и ему стало не по себе.

— А не будет компашки-то, — сухо сказал Веригин.

Першин искоса поглядел на него, поправил фуражку и промолчал, безошибочно угадав крутую перемену в настроении Веригина.

— Компашки-то не будет, — громче повторил Веригин.

— Что так? — поинтересовался для приличия Першин и нехотя подумал: «И кой черт повязал меня с этим розовым слюнтяем».

— Не будет, и все.

— Ну что ж...

Сразу за пирсами Веригину попался дядя Петя, заулыбался с козел: дескать, где же вы, родимые, пропадали, мы завсегда вам рады; но Веригин улыбки не принял, молча влез в пролетку и строго сказал:

— На улицу Трех Аистов, да смотри, чтоб на начальство не напороться.

Дядя Петя угрюмо кивнул головой, мол, не учи ученого, сам понимаю, что положено и чего не полагается, опустил верх, поерзал на козлах тощим задом, устраиваясь поудобнее, и лихо покатил, услаждая самого себя быстрой ездой. Рессорная, на резиновом ходу, пролетка мягко закачалась, и Веригин, успокоясь, окончательно решил для себя, что Варька никуда не уехала — не могла она уехать, и все тут, — и ему стало весело: все складывалось отменно, с боезапасом, они, видимо, проваландаются не один день, потом придется банить орудия, и, значит, у них с Варькой будет много времени, чтобы обо всем поговорить солидно и обстоятельно. Но как только извозчик вывернул на улочку Трех Аистов, настроение у Веригина опять начало портиться, а возле бомбоньерки Алевтины Павловны и совсем испортилось.

Веригин нехотя сошел с пролетки, почувствовав, как земля под ногами покачнулась и поплыла, тяжело поднялся на крыльцо и носом к носу столкнулся с Алевтиной Павловной.

— Боже мой, Андрей Степанович, какими ветрами? А мы, дело прошлое, уже вас и не ждали.

— Ветры все те же, балтийские. Дуют и дуют, чтоб им было неладно. — Он виновато и растерянно пошарил глазами поверх головы Алевтины Павловны. — А что же...— Он не докончил своего вопроса.

— Только вчера уехала. Ждала, ждала, голубушка... Да вы проходите в комнату, раздевайтесь. Я вам чаек сооружу.

— Как-нибудь в другой раз.

— Комната-то за вами. Так что уж располагайтесь по-хозяйски.

— А знаете, — неожиданно обрадовался Веригин, — и на самом деле вечерком приду и высплюсь по-домашнему. За всю неделю.

Алевтина Павловна закивала головой, захлопотала возле стола, переставляя с места на место посуду, но Веригин остановил ее:

— Я пойду, Алевтина Павловна. Меня извозчик ждет. Я только заглянул справиться, что Варенька... Ах досада!

— Да, да, — охотно подтвердила Алевтина Павловна, — какая досада. Но кто же знал... Кто же знал, что все так обернется!

— Кто-нибудь, наверное, знал,

— Да, да, — опять сказала Алевтина Павловна, выходя вслед за Веригиным.

Дядя Петя гикнул, и коляска снова покатила по пыльным улицам и переулкам, минуя людные места, но была она уже какой-то неудобной: и верх просвечивал, видимо, кожа полопалась от древности, и подушка на сиденье казалась жесткой, промятой до костистых пружин, и рессоры скрипели, и даже спина извозчика, широкая и прямая, раздражала своей безукоризненной прямотой. «Ах ты, Варька, Варька, — начал думать Веригин, но мысли словно упирались в неведомую преграду и кружились на одном месте. — Ах ты, Варька, Варька». Он понимал, что обижаться не на кого, но глухая обида сама росла, и Веригину уже стало думаться, что Варька нарочно не дождалась его и помчалась в Питер, к своим привычным делам и делишкам, а он, неприкаянный и сирый, должен теперь вот маяться и думать чёрт знает что...

Веригин расплатился с дядей Петей («Захаживайте, мы завсегда гостям рады». — «Можно и зайти». — «И с женой...» — «Конечно, и с женой»), послонялся по пирсу, дожидаясь оказии на крейсер. Шторм уже угасал, море поблескивало и разглаживалось, изредка вспыхивая последними бурунчиками. Только возле стенки гавани ярилась и клокотала вода, и оттуда доносился сдавленный глухой гул. Море, казалось, гневалось, что его не пускали на берег, годами, столетиями билось волнами о каменную гряду, сложенную человеком из моренных валунов, и выходило, что это человек восстал против стихии, а стихия не смирилась с его гордыней.

«А Самогорнов небось уже перебрался к себе, — нехотя подумал Веригин. — И в каюте теперь тихо и пусто. — Он тотчас же поправился: — Пусть и скучно... Ау, Варька...»

Над городом было много солнца и много неба, убившийся ветер не оставил на голубом своде ни одной мусоринки, подмел его и вылизал, открыв во все стороны просторы, и в этом иссиня-голубом раздолье плыли последние журавли, осеняя крылами вешнюю землю и вешние воды.

И таким родным пахнуло на него, такими милыми показались ему эти большие и важные птицы, уносившие вместе с собой туда, дальше на Север, эту тихую необъятную голубень, что захотелось ему взмахнуть несуществующими крылами и от избытка нахлынувших чувств по-мальчишески дико и восторженно закричать: «Была весна-а-то, Веригин... Была-а...»



ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ

ПОВЕСТЬ

Все те же мы. Нам целый мир чужбина.
Отечество нам — Царское Село.

А. С. Пушкин

1

Рассветало медленно и неохотно. Синие окна, дрогнув, посерели, но долго еще казались мутными, и Свечкову подумалось, что ночи осталось много. В постели было тепло и уютно, и он решил не вставать, пока не затрезвонит будильник.

Месяц назад он неожиданно проснулся в это же время, ощутив скрытое, мучительное беспокойство, и теперь стал методично пробуждаться в один и тот же час, тревожа себя одним и тем же вопросом: «Когда же это случилось?» Ему начало представляться, что некая сердцевина, скреплявшая его духовный мир, хрустнула и надломилась, он это отчетливо ощущал, даже не пытаясь что-либо изменить, только хотел понять, как это началось.

В его жизни было много крутых поворотов и случайных перепадов, но все их, даже развод с женой, можно было рассматривать следствиями, вытекающими одно из другого. Следствия были, а причины он не находил. Той зимой к нему приезжала погостить сестра Людмила, жившая в Славянке под Ленинградом. Жизнь, видимо, круто обошлась

с нею, была она жалконькая, в потрепанном пальтишке, но старалась выглядеть веселой, лихо чокнулась с ним при первом свидании, выпила, порозовела и неожиданно хлюпнула носом, припав к его плечу.

— Что же это счастье-то обошло нас? — спросила она, выпрямляясь на стуле.

— Наверное, искали не там, — буркнул Свечков, приняв слова сестры на свой счет.

— А может, и не искали? Может, понадеялись, что оно само к нам подвалит?

— Ни на что я не надеялся, — сказал с досадой Свечков. — Что сам взял, то и мое.

— А много ли взял-то?

— Я не со многого живу...

— Вот и Виктор у нас такой же, — печально промолвила Людмила. — И все мы такие. — Она подумала. — Неровные какие-то. Идем-идем, а потом и споткнемся.

Свечков пожал плечами и промолчал: он не любил копаться в своем прошлом.

«Как и когда это случилось? — подумал он, закладывая руки под голову. — Как и почему? Почему и когда? Может, все началось в том шестидесятом?..»

Тогда его, молодого неоперившегося лейтенанта, попросили, как это говорится, с вещами на выход, сославшись на то, что ими, лейтенантами, несколько затоварились. «Н-да», — опять подумал он.

Последние февральские дни в Москве стояли серенькие, безрадостные, часто лепил хлопьями тяжелый мокрый снег, и на душе у Свечкова было муторно. Он все порывался поехать в командировку, и главный редактор Николай Григорьевич одобрительно относился к его благородному порыву, но Свечков никак не мог придумать, куда бы поехать, а это был верный признак, что ехать-то ему никуда и не хотелось.

На стуле возле изголовья казенно протрещал телефон, и раз, и другой. «Ну вот, — подумал Свечков с неудовольствием, — кому-то приспичило ни свет ни заря...» Звонков перед сдачей номера в набор шло множество, звонили и на работу, и домой, он уже устал от них, но отключить телефон на ночь не решался: по вечерам давало знать о себе сердце, и ему однажды уже пришлось вызывать врача... Он поднял трубку и помолчал.

— Игорь Александрович! — радостно завопил в трубку шофер редакционной машины. — Я сегодня приехать за вами, как обещал, не смогу. На воротах гаишники стоят.

— Ну и пусть себе стоят, — сказал Свечков внушительно.

— Так они ж номера сымают... У двоих уже сняли.

— А тебе какая печаль? У тебя же машина в порядке.

— Сымут, а потом доказывай, что ты не верблюд. У них ведь тоже план. А так я часа через два за вами приеду.

— Вечно у тебя... — сказал Свечков в сердцах, положил трубку и только тогда вспомнил, что забыл с вечера завести будильник.

А дальше все пошло через пень-колоду: сахару накануне купить забыл, пришлось чай пить с «таком», такси на стоянке не оказалось, пошел было к метро — появилось такси, подумал вернуться — такси заняли, — словом, начал действовать закон подлости. Опять подваливал мохнатый снег, понемногу таял, и вдоль кромок тротуаров под сугробами стала скапливаться вода. Ноги скользили, идти было противно, и Свечков чувствовал, как настроение стало портиться. Только он успел подняться к себе и раздеться, даже не присел еще, из приемной главного прибежала шустрая секретарша и затараторила с порога:

— Ой, да идите же скорее, Игорь Александрович, там Николай Григорьевич негодует.

«Ну да, конечно, — подумал Свечков, окончательно обидясь на весь свет. — Когда его нет, так я сижу и копаю. А стоит мне только запоздать, так сразу: «Ой, да идите же скорее...» А дулю не хотели?»

Николай Григорьевич был старый петербуржец и старый балтиец, характером отличался мягким и покладистым, если сердился, то непременно при этом говорил: «Дорогой мой, я негодую», и на этом его эмоции заканчивались. Он участвовал в переходе Балтийской эскадры из Таллина в Кронштадт — « Дорогой мой, это было ужасное время», — был свидетелем трагического взрыва в зарядном погребе линкора «Марат», воевал в Полярном и в Севастополе, — словом, мотала человека судьба по всем горячим точкам, которые в то время у флотов только объявлялись.

— Звали? — спросил Свечков довольно-таки недружелюбно, входя к редактору.

— Ну зачем так грубо — звал... Ждал...

— Машины не было, а обещали, — буркнул Свечков.

— И вчера ее не было, и позавчера... — словно бы размышляя, заметил Николай Григорьевич. — Дорогой мой, я негодую.

— Вчера на совещании сидел — сами послали, позавчера тоже чего-то такое было... Книголюбы, кажется, заседали.

— Ах, друг мой, тут номер горит белым пламенем, а у вас одни книголюбы на уме.

«Да не у меня, — подумал Свечков. — Сам не ездишь, а меня в каждую дырку суешь», — и хотел было уже вспылить, но пар сам по себе вышел, и он только махнул рукой.

— Ну и ладно, — сказал Николай Григорьевич. — Ну и ладно...

А дальше начался тягучий разговор о том, что хорошо бы вот это в номер поставить да вот это отобразить, но ни того ни другого в редакционном портфеле, разумеется, не было и быть не могло по той простой причине, что этих вещей просто не существовало в природе, их придумал сам Николай Григорьевич, мучаясь бессонницей. Свечков так и сказал ему, Николай Григорьевич тоже чего-то сказал. К себе Свечков вернулся в весьма скверном настроении. Но скверное настроение, не скверное — это дело десятое, его, как говорится, к делу не подошьешь. Шалые мысли главного приходилось как-то облекать в реальные образы. Свечков уже было и занялся этим, но опять прибежала секретарша и вкрадчиво сказала:

— А вас, Игорь Александрович, к редакторскому телефону просят.

— По редакторскому пусть редактор и говорит.

— А там Свечкова просят.

— Пошли их всех...

— Не могу послать... Это межгород.

Звонили из Ленинграда. Мужской голос интересовался судьбой своей рукописи. Он и название ее сказал, но оно ничего Свечкову не прояснило, и он переспросил:

— Простите, как ваша фамилия?

— Кожуховский я... Мы еще встречались на совещании маринистов, так вы обещали посмотреть...

Свечков вспомнил, что на самом деле к нему подходил товарищ — впрочем, их много тогда подходило, — но этого он выделил среди других: был Кожуховский коренастый и прочный, на фуражке носил черный кант и плетеного краба — такие фуражки присвоены речникам, — кажется, он назвался работником рыбнадзора. Свечков обещал посмотреть его рукопись, но за делами закрутился и позабыл о своем же обещании. Записав на календаре фамилию звонившего, он хотел уже было повесить трубку, сказав, чтобы тот позвонил через недельку, но что-то неожиданно насторожило его.

— Значит, Кожуховский?

— Так точно, Кожуховский... Василий Андреевич...

— А скажите, Василий Андреевич, — помедлив, спросил Свечков, — не служил ли ваш брат в Кронштадте?

— Почему брат?! — удивился Кожуховский. — Я сам там служил.

— А не вы ли командовали ротой юнг в Школе оружия?

— Так точно... Не один выпуск сделал...

«Черт побери, — подумал Свечков растерянно, — как же так получается: подходил человек, нас знакомили, говорили о всяких значительных вещах, а мне даже и не стукнуло, что передо мной ротный... Изменился? Да, конечно же изменился, но фамилия-то не изменилась... Фамилия-то прежней осталась...»

— Ну, здравствуйте, ротный, — сказал Свечков ему, сдерживая дрожь в голосе.

— Кронштадтский юнга? — осторожно, словно не веря в удачу, спросил Кожуховский.

— Кронштадтский, — сказал Свечков, расплываясь в улыбке.

— Какого выпуска?

Свечков назвался.

— Ек королек, это ваша, что ли, смена стащила с камбуза противень с праздничными пончиками?

— Нет, ротный, увольте. Мы работали покрупнее. Это сперли дальномерщики с визирщиками. Там народ был мелковатый, а мы — комендоры башенные, те, что Первому Российскому Мореходу глаза надраили и буханку хлеба сунули под руку.

— Ну, было шуму, ек королек, — засопел Кожуховский в трубку. — Думал, всех троих отправят на переодевание в экипаж.

«Переодеванием» у юнг называлось возвращение на гражданку, потому что наказанию они не подлежали — самой страшной угрозой старшины роты было: «Ну ты, покороче, а то сейчас же к мамке под юбку отправлю».

— За что же, ротный? Мы же хорошие...

— Вы-то хорошие были, зато я плохим оказался. — Он опять посопел. — Кто из вас хоть придумал-то тогда эту пакость?

— Почему же пакость? — обиделся Свечков. — Просто маленько пошутили.

— Ничего себе — шуточки... Взбаламутили весь Кронштадт. Ты, что ли, придумал-то? Ты уж прости меня, буду звать тебя на «ты». Все-таки ты — юнга, а я — ротный.

— Ладно, зовите... Только у нас никто ничего не приду-

мывал. Все получилось само собой. Увидели лестницу, а дальше дело было техники...

— Хе-хе, — сказал там, в Ленинграде, Кожуховский.

— Вот вам и «хе-хе», — рассердился Свечков тут, в Москве. — Никто не придумывал, это я вам точно говорю.

Кожуховский опять поперхнулся: все-таки Свечков уже был не юнгой, а заместителем главного редактора небольшого, но в общем-то довольно-таки известного издания.

— Хе-хе, — повторил он и помолчал. — Надо бы повидаться...

— Надо, — согласился Свечков. — Наступят белые ночи, я и прикачу. Может, в Кронштадт сходим...

— А это уж само собой...

Свечков положил трубку, растерянно начал перекладывать бумаги. «Черт побери, а, — подумал он. — Кронштадт, Маркизова лужа, отрочество и юность, а... Может, все-таки плюнуть на все дела и съездить, а?..» Тут уж он без приглашения отправился к редактору.

— Вот, — сказал он ему, — какое, стало быть, дело. Кожуховский звонил...

Николай Григорьевич поднял голову от рукописи, которую Свечков же ему и подсуропил, счастливо заулыбался и спросил:

— Это какой же Кожуховский?

— Да ротный мой, юнгами командовал.

— Ротный, дорогой мой, это прекрасно. Первый ротный — это все равно что первый учитель.

— В Питер приглашает...

— Питер — это прекрасно, — тускло сказал Николай Григорьевич и тоже помолчал. — Питер — это даже хорошо. Но... — Он помолчал. — А на Балтику не хотите? Даю месяц.

— Месяц? — Свечков несколько засомневался.

— Полтора, но чтоб хороший очеркишко. Широко, размашисто. Словом, как вы умеете.

«А, черт, — подумал Свечков тщеславно, — признает».

Возвратясь к себе, он запер «пенал» изнутри на ключ — кабинет у него был длинный, узкий, с одним окном, все в редакции его звали пеналом, — прошелся от двери к окну, лихо насвистывая: «В гавани, в кронштадтской гавани», повернулся через левое плечо, постоял, потоптался и снова повернулся к окну, но уже без всякого фасону. На улице опять лепил снег, и было там мозгло и сыро. «Хорошо ему говорить — поезжай, — подумал он. — А у меня еще и конь не валялся».

Детство у Свечкова кончилось в тот день, когда пропахший горелым мазутом древний пароходишко приволокся в Кронштадт и пришвартовался на Усть-Рогатке, и началось отрочество, которое одновременно стало и явью, и словно бы сном.

Тогда он впервые почувствовал себя причастным к великому флотскому делу. Со своим новым житьем-бытьем он освоился скоро, по чугунным кронштадтским мостовым ступал твердо, по-хозяйски, понимая, что тут все его и он весь тут, ему даже по ночам тщеславно думалось, что уйдет он — и без него Кронштадт словно бы осиротеет.

В отрочестве делалось много такого, что по зрелому размышлению представляется смешным, но в то далекое время это было несмешно, потому что поступки шли от чистого сердца, и если они писали в рапортах — разумеется, они говорили в «рапóртах» — «выполню любое приказание командования даже ценой собственной жизни», то, не задумываясь, положили бы, как красиво говаривали в ту пору, «голову на алтарь Отечества».

Как-то в увольнении — это было после практики, и юнги уже носили не бантики, а ленточки тех кораблей, на которых проходили практику, — забрались они с Левой Жигалиным, ротным запевалой, в Летний сад и прочли там на камне слова, поразившие их безыскусной простотой и почтительностью: «В память человеколюбивого подвига А. Домашенко. 1837 год. «Азов». Домашенко не водил эскадры, не брал суда на абордаж, он спас утопающего, а сам погиб, и его товарищи на собранные гроши вздыбили валун, склонив над ним андреевский флаг. Правда, сами-то юнги особым человеколюбием не страдали в ту пору, им ближе был девиз Пахтусова: «Польза. Труд. Отвага» или Макарова: «Помни войну». Адмирал стоял на гранитной волне, выплеснувшейся на край Якорной площади, и весь вид его — глубоко надвинутая фуражка и всклокоченная на ветру бронзовая борода — был неистов и прекрасен.

Они любили адмирала и любили Якорную площадь, на которую некогда свозили якоря с парусных фрегатов и крейсеров, а сами корабли оставляли догнивать в гавани, дав той гавани печальное название — корабельное кладбище. Нигде не было подобной площади, и нигде площади не мостились чугунными плитами, и сама-то Якорная площадь, огромная и уютная, как будто сторонилась людных улиц, хотя и лежала в центре города.

Здесь их учили ходить в строю, здесь же они, лихо бросив карабины на руку, шли в парадных расчетах, сюда они

забредали в редкие дни увольнений с жеманными кронштадтскими девчонками — более тихого места в Кронштадте найти было трудно, — и здесь же, возле собора, они фотографировались, небрежно, но в то же время с умыслом бросив ленточки на грудь, чтобы их дальние и недальние друзья, которых собирались осчастливить своим фотографическим видом, могли лицезреть якорьки. Они, бывало, страшно гордились, когда к ним ненароком обращались:

— Товарищ матрос...

Никакими матросами они в ту пору не были, на погончиках у них вместо литеры «БФ» ротный старшина печатал через трафаретку охрой одну-разъединственную букву «Ю», что соответствовало слову «юнга».

Ротный командир капитан Кожуховский знавал, что за ними водился этот маленький тщеславный грешок, но делал вид, что ничего не понимает, и тоже иногда, обращаясь к строю, как бы забываясь, говорил:

— Товарищи матросы...

Они выпячивали грудь колесом, пытались ходить в тот день вразвалочку, но ротный старшина никаких вольностей не принимал и неумолимо требовал зычным голосом:

— По трапу только бегом!

И они бегали, будучи зелеными салажатами, хотя и чувствовали себя заматеревшими на флотских борщах и компотах моряками.

А как они, помнилось Свечкову, ликовали, узнав, что футшток, знаменитую линейку, нулевая отметка которой считается в нашей стране уровнем моря и от этого уровня исчисляются все высоты и все глубины, Петр Первый установил не где-нибудь, а именно в Кронштадте на Обводном канале. Они тоже брали тогда себе за правило вести свои отсчеты от этой желтой ротонды, в которую была заключена линейка, почитая ту ротонду пупом земли.

Это было прекрасное время для флота, когда он жил в тревожно-радостном ожидании качественных перемен, и была прекрасная пора в их жизни, когда им казалось, что дорога, на которую они вступили, надежна и необратима, а сами они на этой дороге, проторенной многими славными российскими сынами, если еще и не флотоводцы, то по крайней мере могущие ими стать. И хотя командующий флотом держал свой флаг в Таллине, Кронштадт тем не менее считался коронованной столицей Балтики, многие нити сходились сюда, здесь же они и начинались.

Тогда они бредили Мировым океаном, Балтика для них была уже тесной, хотя им в ту пору не только что Фин-

ского залива, но с избытком хватало и Маркизовой лужи.

А как, бывало, приятно щемило сердце Свечкову, когда кто-нибудь в учебное время отлучался в город по делам и, возвратясь, таинственным полушепотом сообщал:

— Пришла твоя-то... «Октябрина», значит.

«Октябрина» стала Свечковой, после того как он прошел там практику в первой башне, стажируясь у старшего матроса Ивана Плотникова, которого он по неистребимой мальчишеской привычке окликал дядей Ваней. Плотников не обижался и, только завидев Свечкова, когда тот потом приходил в гости на линкор, кричал на весь кубрик:

— А, племянничек... Ну, садись к столу, гостем будешь... — И бачковой наливал Свечкову полную миску борща, валил туда изрядный мосол, который полагался в первую очередь старшине бачка, а потом уже самому дяде Ване, но Свечков-то ведь был гость, а гостей на кораблях во все века чтили.

Есть тогда уже не хотелось, но приходилось наравне со всеми хлебать борщ, потом уминать макароны по-флотски, а потом уже, как и полагается, пить компот.

Было приятно сознавать, что на увольнение у него есть куда сходить, хотя, кроме дяди Вани Плотникова, в Кронштадте и не было ни одной живой души, да и дядя-то Ваня жил всего лишь на линкоре, владея там рундуком, шкафчиком, подвесной койкой, которую на день приходилось собирать, но зато он заведовал горизонтальной наводкой первой башни; калибр орудий у той башни был таков, что Свечков не тужась мог бы пролезть через весь ствол. В той жизни они мало думали о домашнем уюте, им и в матросском кубрике было хорошо, жили они не таясь, да и таить-то им было еще нечего. Он и теперь не знал, как живут коренные кронштадтцы, хотя представить их житье-бытье не так-то уж и сложно, а в то время Кронштадт ему вообще казался большим кораблем, в котором дома — кубрики, каюты, кают-компании, а улицы и площади — верхняя палуба, где в свободное время собираются посудачить о том о сем, потанцевать в Летнем саду, а если удастся, то и выпить кружку пива.

Уже по весне, ближе к выпускным экзаменам, совершенно неожиданно для своих товарищей, да и для самого себя, познакомился он в Летнем саду с весьма милой особой, тонконогой и длинношеей. Звали ту особу Олей. Танцевал он неважно, но билет на танцплощадку покупал неизменно и там больше простаивал или танцевал с кем-нибудь из своих

же парней: девчат в Кронштадте было меньше, чем моряков, и матросы частенько танцевали друг с другом.

Раза два-три за вечер объявлялся белый танец, и тогда многочисленное мужское сословие скучающе замирало, с деланно-безразличным видом начинало закуривать, многие просто уходили с площадки в парк передохнуть и подышать свежим воздухом. Однажды из противоположного угла выпорхнуло легкое создание с косичками вразлет и, просеменив через всю площадку, дурачась, полуприсело перед ним.

— Простите, я плохо танцую, — буркнул Свечков.

— Отказывать даме невежливо.

Лет «даме» было не больше, чем ему, но это так прозвучало, что он невольно подобрался и склонил голову.

Они пошли по кругу первыми. Сперва он немного поспотыкался и был несвободен, но его визави так ловко вела танец, что он скоро забыл, что и танцует неважно, что на них кто-то может смотреть, скоро он и себя-то забыл, ему стало легко и весело. А потом был второй танец и третий...

Надвигались белые ночи, в городе еще жгли фонари, но было уже светло, воздух серебристо светился и тихо дрожал. Они не решались взяться за руки, шли чуть поодаль, только Оля изредка дотрагивалась длинными тонкими пальцами до его плеча.

В увольнении, по выходе из школы, он снимал, как, впрочем, и все его товарищи, бантики и надевал матросскую ленту с золотой надписью «Октябрьская революция». Эти ленточки ко многому обязывали, и он, стараясь всячески подчеркнуть свою взрослую степенность, сказал как бы между прочим, когда танцы закончились:

— Сейчас я провожу вас, а потом мне надо до нуля успеть на Усть-Рогатку, на корабль.

— На какой корабль? — бесхитростно поинтересовалась Оля. — Ты же в юнгах учишься.

— Как? — спросил он, пораженный ее осведомленностью.

— А я вас часто в строю вижу, когда рота на занятие идет, — насмешливо и ласково сказала Оля. — Мы же в Кронштадте, а в Кронштадте про флот знают всё.

Она тоже жила на Флотской улице, едва ли не напротив их школы. Они зашли в ее парадное, Свечков сменил ленточку на бантик, а потом уже Оля провожала его до проходной. В Кронштадте с незапамятных времен не принято было спешить, в нем никто никуда и не спешил, но шик-то состоял в том, что в Кронштадте никто никогда не опаздывал. Таким и остался город в его памяти: веселым и точным.

Они встречались каждое воскресенье, хотя на танцы уже ходили редко: им и без танцев было хорошо. А потом начались экзамены, Свечкова списали на корабль, который тотчас же уходил в Южную Балтику. Оля первый раз проводила его на Усть-Рогатку — теперь уже точно на корабль,— и они в первый раз, к сожалению и в последний, стыдливо, словно бы украдкой, поцеловались...

2

Отправиться в Кронштадт Свечков предполагал в конце апреля, чтобы проводить на Неве ладожский лед и, словно сопровождаемый этим торжественным и немного меланхолическим шествием, перебраться на Котлин, но одно дело подгоняло другое, и он понял, что если не плюнет на все дела разом, то и вообще не соберется. Накануне Праздника Победы он и впрямь отложил все докуки в сторону, Николай Григорьевич подписал командировку, и Свечков отправился в кассы за билетами.

День был не по-майски душный и жаркий, кажется, где-то за городом собирались грозы, по небу вздымались тревожные облака, они уже подбирались к солнцу, но еще не заслоняли его, и оттого, что солнце еще светило, тревога только усиливалась. Билет он взял тотчас же и сразу почувствовал, что как будто что-то утратил. Ему стало грустно и одиноко. Спускаться в метро ему не хотелось, и он неспешно побрел по улице мимо Первой аптеки, мимо «Славянского базара», направляясь к ГУМу, решив зайти туда и купить на дорогу кое-какой мелочишки.

Время еще было рабочее, но народ уже запрудил всю улицу. Люди навстречу шли нарядные, казались оживленными, у многих на пиджаках и на жакетах поблескивали на тревожном солнце тревожные ордена.

Свечков молча взирал на встречные лица, останавливая прежде всего внимание на тех, у кого и орденов было погуще, и медали лежали поровнее, заприметил кавалера полного банта Славы, обратил внимание на инвалида, который сверкал тремя орденами Отечественной войны, и неожиданно его взгляд споткнулся на лицах, не молодых уже, но явно не фронтового времени. Тот, который шел посредине, с усами, едва тронутыми сединой, с густой смоленой шевелюрой, круто шагнул к нему, и Свечков к нему шагнул, и они обнялись.

— Здорово... Прости, что запамятовал твое отчество.

— Здравствуй и ты, Левушка... И ты меня прости... тоже вроде бы как запамятовал... Впрочем, откуда нам их помнить, если у нас в то время и отчеств-то не было.

Они отстранились друг от друга и огляделись: Жигалин, кажется, не постарел, только стал покрепче, что ли, на землю ступать.

— Жигалин, мы пошли, — сказали его спутники.

— Давайте, ребята... А то я тут кореша встретил.

С Левой Жигалиным Свечков нос в нос столкнулся лет пятнадцать назад на Арбатской площади — тогда она еще была площадью, а не дырой вместо площади, — Жигалин тогда пел, кажется, в мюзик-холле — эк, хватил ротный запевала! — и пригласил его на спектакль, даже контрамарку дал, и Свечков, разумеется, пообещал прийти, но, разумеется, не смог этого сделать, а адресами тогда они не обменялись.

— Левушка, а ведь я в Кронштадт еду.

— И в школу зайдешь?

— И в школу зайду... На Якорной тоже постою. Помнишь парад на Седьмое. Мы тогда, кажется, с тобой в одной шеренге шли.

— Брат, завидую.

— Кожуховского помнишь?

— Ротного?

— Ну-у...

— Хорошо помню, приподнимается, бывало, на цыпочки — белое кашне, фуражечка: «Рота-а, смирно! С места песню. Жигалин!» — «Есть Жигалин». — «Запевай». — «В гавани, в кронштадтской гавани пары подняли боевые корабли...» Эх, черт... Вспомнишь — слеза на глаза наворачивается.

— У меня тоже... Будто и не было у нас той жизни.

— Как же не было, когда мы с тобой тут стоим.

— Грузно стоим-то, — невольно пошутил Свечков. — Раньше легче стояли.

— Раньше мы летали, помнишь: «По трапу только бегом!» А теперь стоим, вроде бы как уверенности больше появилось.

— А ты все там же поешь?

— Нет, брат, больше руковожу. А ты все там же руководишь?

— Нет, Левушка, больше пишу.

— Это, брат, хорошо. Пишешь, вроде бы как заново все переживаешь. — Он вздохнул. — А я вот этого не умею. Хочу, а не умею, поэтому в грустную минуту люблю фотографии рассматривать. Помнишь ту, групповую, возле

Морского собора на Якорной площади! Черт побери, какие же мы пухлогубые были, но — орлы!..

— Орлы, — согласился Свечков, кстати вспомнив, как драил очи Мореходу.

— Ты не бурей, позванивай иногда. А увидишь Кожуховского — поклонись низко. Скажи, дескать, что ротный запевала Лева Жигалин помнит, и все такое прочее.

— Поклонюсь, ну и все такое прочее.

— А это уж само собой, — строго сказал Жигалин.

Они уже было разошлись, опять похлопав друг друга по плечам, и Свечков, дело прошлое, даже забыл, как и зачем очутился на этой людной улице, получалось, что вроде бы он и не случайно сюда забрел, а пришел намеренно, словно бы на встречу, на рандеву, говоря языком Корабельного устава, и вдруг понял, что должен еще о чем-нибудь спросить Жигалина.

— Лева, а ты после школы куда списался? На Балтику или на Север?

— Нет, брат, я ушел на Черное море... Черноморец я...

Свечкову стало обидно, что Лева Жигалин, такой свойский парень, и оказался за каким-то чертом на Черном море. В нем неожиданно ожила старая неприязнь североморца к морякам с этого теплого, но не такого уж и ласкового моря, если смотреть на него не с берега, а, что называется, с самой серединки. Казалось бы, сколько уже минуло времени, все должно бы уже выветриться и порасти травой забвения, но, видимо, крепкие те семена были, если и выветриться до сих пор не хотели, и не поросли ничем, а давали только свои всходы.

— А ты? — спросил его Жигалин.

— Ну что я, — промолвил Свечков скромнехонько. — Сперва Балтика, потом училище, потом Северá... Североморец я, брат.

— Вышли-то мы все равно из одного гнезда. Кронштадтцы мы, там наш футшток. Помнишь, в наводнение пришлось нашей роте там стоять...

— Помню, — сказал Свечков, и они разошлись.

Минуя ГУМ, куда собирался зайти, но так и не зашел, растроганный встречей, выбрался он на Красную площадь, которая была запружена праздничным народом, поглазел на смену караула, послушал перезвон курантов на Спасской башне и только тогда отправился домой. «Черт-те что, — думал он, — какое это теперь имеет значение, кто к какому флоту принадлежал, и каким же это пыльным мешком нас ударили из-за угла, если и до сих пор чувствуем за собою

дыхание своего флота. Ну, Балтика, ну, Север, ну, Черное море... Как это говаривали паркетные моряки: «Люблю я море с берега, а корабль на картинке»?»

Дома среди старых бумаг отыскал он фотографию, о которой напомнил Жигалин, долго рассматривал ее и кое-кого узнал, а больше не узнал, и оттого, что многие лица стерлись в памяти, стало ему обидно и досадно, что вот-де вроде бы он и не Иван, не помнящий родства, а тем не менее родство флотское, вернее, первородство ушло от него в некую дымку, через которую не продраться ни с каким фонарем, сколько ни прибавляй фитиля. А тем не менее прорезался сперва в памяти Деревицкий, потом Конкин — имена их не сохранились, — Семен Катрук, его вечный недруг, командир смены комендоров башенных старшина второй статьи Иван Кацамай, сменивший Уткина. На душе малость посветлело. На особинку стоял Женя Симаков — однокашник и школьный друг, с которым он еще в классе пятом решил идти на флот. У Жени, помнилось, были большие печальные глаза, несколько вытянутое бледноватое лицо, на котором, казалось, лежала вечная тень, и тонкие, интеллигентные, пальцы. Отец его, балтийский матрос, брал Зимний, дрался с Юденичем, потом служил на Тихоокеанском флоте в больших чинах. Судьба его оборвалась трагически и просто, как будто он раньше времени перешел незримую роковую черту. И Женя эту черту тоже поспешил перешагнуть.

Голодными военными зимами, когда было холодно, темно и неуютно, а вести с фронтов приходили одна другой хуже, они забирались на печку — единственное теплое место в доме — и по памяти уводили свои каравеллы в океан. У них тогда не было карт, географию они, что называется, учили на пальцах, перебирая в памяти названия островов, проливов и маяков, о которых им удавалось вычитать, и, если становилось что-то неясно, выводили углем на доске контуры материков, и надо сказать, что они довольно-таки преуспели в этом занятии.

— Сокотру все-таки лучше оставлять по левому борту, — говорил Свечков, поглядывая в потолок, пожелтевший, но хорошо вымытый с дресвой и голиком. На потолке было много сучков, и один из них напоминал ему пыльный остров Сокотру в Индийском океане.

— Почему же? — иронически полувопрошал Симаков, видимо разглядывая свой сучок, у которого конфигурация была несколько иной, чем у Свечкова, но в его восприятии, наверное, больше соответствовал Сокотре.

— Потому что в это время в Индийском океане дует муссон, который налетает из-за мыса Гвардафуй.

В восьмом классе они влюбились в одну девчонку — Симаков звал ее Изой, Свечков — Белкой, а была она Изабелла, — остроглазую, веселую и озорную, которая попеременно крутила им голову, но все-таки, кажется, отдавала предпочтение Симакову. Свечков не находил себе места, весь издергался — в тот год они подавали заявления в Подготовительное училище, но с треском провалились, — наконец не выдержал и ушел в юнги, а следом за ним и Симаков.

Они встретились, уже будучи в форме, укоризненно поглядели один на другого — «Как же это, брат, все получилось?» — «Да уж получилось», — но и словом не обмолвились, что между ними пробежала некая кошка. Только Симаков сказал:

— Между прочим, женщина на борту — к несчастью.

— Спишем ее на берег — и порядок.

— Добро, — согласился Симаков.

Но списать ее просто так не удалось ни Свечкову, ни Симакову, так они и мучились втайне, стараясь не подавать виду, что все осталось по-прежнему и чувства не только не растаяли, но вкрались так глубоко, что уже не было никаких сил от них отделаться. В редкие увольнения в Ленинград они, не сговариваясь, шли в старый дом на проспекте Огородникова, сидели там за чаем и час, и другой, важно и долго говорили о кораблях, о пассатах и муссонах, потом Иза-Белка с одним из них отправлялась в кино — порядок не нарушался, — и остаток вечера проходил в полном молчании. Однажды она самочинно нарушила негласное правило, позвав в кино Симакова, хотя идти была очередь Свечкова. Он обиделся, тотчас же вернулся в Кронштадт, перестал клянчить увольнения в Питер, а по весне познакомился с Олей. К сожалению, случилось так, что через год они встретились у постели умирающего Жени Симакова. Свечков не мог поверить, что тот умирает, но он умирал. Из больницы Свечков с Белкой вышли вместе.

Стояло бабье лето, и в больничном парке было много палых листьев, которые шуршали под ногами, и казалось, что в них кто-то спрятался, а теперь шевелится.

— Тогда я была не права. Просто хотелось немного позлить тебя, а ты обиделся и пропал совсем.

— Не надо сейчас об этом. Вот когда поправится Женя...

— Господи, — сказала она горько, по-бабьи, — ну почему ему выпало столько горя?

— И об этом не надо, — попросил Свечков. — Вот когда выпишется...

О его смерти Свечков узнал, уже будучи в море, и, когда на День Военно-Морского Флота они отдали якорь на Невском рейде, с первой же оказией он сошел на берег, долго бродил вдоль Фонтанки, разглядывал ее фиолетовую воду, часто курил, но зайти в старый дом, где жила Белка, так и не решился. Он вернулся на корабль в растерянности, не зная, как ему поступить дальше, и стоит ли вообще как-то поступать.

Перед выходом в море Свечков отправился повидать матушку Жени Симакова. Он медленно пересек и один двор, и другой, не торопясь поднялся на третий этаж, постоял у двери, но звонить не стал, а спустился к окну на один пролет ниже, присел на подоконник и закурил.

Там наверху стукнул засов, дверь отворилась, на площадку вышла женщина — на лестнице было сумеречно, и он не разглядел вышедшую, — за дверью что-то сказали, вышедшая ответила: «Да-да, непременно», и Свечков узнал Белку, почувствовав, как у него под кожей побежал холодок. Он дождался, когда Белка начнет спускаться, поднялся, но наверх не пошел, а замер у окна. Она оглядела его заплаканными глазами, жалко улыбнулась и просто сказала:

— Вот ведь как все нелепо получилось.

— Что матушка?

— Очень плоха... Не ходи сейчас... Сегодня ей и одной меня хватит за глаза.

Они вышли в солнечный день и вдоль канала Грибоедова направились к Исаакию. Говорить было страшновато, они и не говорили, тихо шли и о чем-то, казалось, думали, впрочем, Белка, может, и думала, у него же мыслей не было, и он не знал, хорошо ли поступает или плохо. Он взглянул на нее, и она подняла на него глаза, и они чуть заметно улыбнулись друг другу. Эта мимолетная улыбка, которой в другое время не стоило бы придавать значения, сыграла роль рокового порожка. Они словно бы качнулись один к другому, как былинки на ветру. Наверное, после смерти Жени им обоим стало на какое-то время не хватать тепла, но Свечков тогда мыслями все еще возвращался к Оле, а Белка, видимо, продолжала наедине оплакивать Женю, и это словно бы сдерживало их чувства.

Вскоре крейсер Свечкова ушел в море, и, когда на траверзе открылся Кронштадт, Свечков сделал окончательный

выбор, послав мысленно Оле прости-прощай, и постарался больше не вспоминать о ней, хотя долго еще чувствовал себя виноватым.

Со временем это чувство перестало тревожить его, как бы изгладилось, но иногда оно пробуждалось без видимых для того причин, и тогда Свечкову становилось беспокойно. Он начинал метаться, стараясь найти защищенный уголок, и если находил, то всякий раз изводил себя одними и теми же вопросами: «А что, если бы я тогда не пошел в юнги? А что, если бы мне не встретилась Оля? А что, если бы...» И это «бы» постепенно в его мозгу материализовалось, становясь памятником самому себе.

Была Белка, была Оля и был флот, но Белка с Олей пропали в людской коловерти, а флот остался, и хотел этого Свечков или не хотел, но он определил всю его жизнь с ее порожками, о которые он, случалось, спотыкался, и с ее углами, о которые он порой задевал. И порожки, и углы приносили боль, и, когда боль особенно донимала, он говорил себе: «А вот ужо-ко выберу свободную минуту — и смотаюсь на флот... А вот ужо-ко...» Свободной минуты, разумеется, не выпадало, а на душе тем не менее немного светлело.

А с Белкой тогда Свечков встречался еще года четыре, он страдал и ревновал ее, но виду не показывал, и Белка помалкивала, и все у них было чинно и благородно, но переступить черту, за которой наступает близость, они так и не смогли. Между ними незримо стоял Женя, а когда Белке надоели эти нелепо-благородные ухаживания и она неожиданно вышла замуж, Свечков подумал с горечью, что, послав с Большого Кронштадтского рейда Оле прости-прощай, может, и не ее он обидел и не у нее следовало просить прощения, а, наверное, у самого себя — больше никто в жизни не приглашал его на белый танец.

Быть может, чувство той первой невнятной и невольной вины и не позволяло ему долгие годы появляться в Кронштадте, хотя чего уж, казалось бы, виноватиться, когда и реки вспять не текут, и мертвых с погоста не носят. Спасибо Василию Андреевичу, выплыл он из небытия, как старый учитель, а тут еще повстречался Лева Жигалин, и все сразу словно бы стало на свои места. Это всегда так бывает: или все, или ничего.

Накануне отъезда — было это в субботу — Свечкову позвонил Николай Григорьевич и попросил, чтобы тот при-

ехал к нему на дачу неподалеку от Архангельского. Свечков было заартачился — «и не собрано-то еще ничего, и вообще», но Николай Григорьевич его резонов не принял, и Свечков, разумеется, поехал.

Они пошли побродить по неприбранным аллеям Архангельского парка, и Николай Григорьевич поминутно останавливался, тыкал в сырую землю суковатой палкой и говорил:

— Дорогой мой, а где вы думаете остановиться в Ленинграде?

— Я позвонил на улицу Войнова и попросил забронировать номер в гостинице. К тому же у меня там тетка, брат, сестра...

— Наши литературные дамы всегда только все путают, а останавливаться у родственников весьма обременительно. Я сейчас дам телефон последнего комиссара прежнего крейсера «Киров». Он служит каким-то чином в «Прибалтийской» гостинице и роскошно вас устроит. По опыту своему знаю, что, в случае чего, надо идти туда, где есть моряки, и все будет в порядке. Поверьте мне.

Дело прошлое, Свечков не очень ему поверил — гостиница ему была обещана твердо, — но телефон на всякий случай записал: мало ли что может случиться в дороге.

— Дорогой мой, в Ленинграде я вам советую непременно познакомиться с адмиралом Малаховым. Как это сделать? Вы звоните его адъютанту — телефон, безусловно, я вам дам, — и он назначает вам встречу. Предельно просто. Малахов очень интеллигентный моряк, правда, он подводник и любит подводные плаванья, но простим ему этот маленький его грешок. Что поделаешь, флот изменился на наших глазах. Нашего «Кирова» больше нет, есть новый «Киров». Вы, кажется, были как-то причастны к прежнему «Кирову»?

— Изучал его главный калибр. Потом, как водится, проходил практику в первом дивизионе.

Свечков невольно поглядел на Николая Григорьевича и неожиданно понял, что тот, занятый своими мыслями, не слышит его.

— И не забудьте позвонить Александрову, — строго сказал Николай Григорьевич. — Он весьма вам будет полезен.

Свечков насторожился:

— А это кто такой?

— Бывший командир зенитного дивизиона бывшего крейсера «Киров». Он — капитан первого ранга в отставке. Но этого мало. Он — участник перехода из Таллина в

Кронштадт. Но и этого мало. Этот человек влюблен во флот, в свой «Киров». Его зовут Алексей Федорович. И он вам будет весьма полезен. А в Кронштадте найдете Оленьку.

От неожиданности Свечков даже вздрогнул. «Да, конечно же, — подумал он, — Оленьку на самом деле неплохо бы поискать...»

— Оленьку знает весь Кронштадт. Она тоже участница того печального и героического похода. Она и сама человек героического склада. И она была любимицей флота. Теперь она, правда, Ольга Ивановна. И потом вам обязательно необходимо побывать у адмирала Солоухина.

— Зачем?

Николай Григорьевич изумленно посмотрел на Свечкова:

— Как — зачем?! Он же командовал «Кировым» всю войну.

Свечков взмолился:

— Николай Григорьевич, не надо больше реликвий.

Тот оживился и радостно закивал головой.

— А знаете, Николай Григорьевич, на Севера́х практически на моих глазах одно судно врезалось в другое. Картина, скажу я вам, была ошеломляющая.

— Дорогой мой, не надо о печальном, когда вокруг нас столько радости. — Николай Григорьевич повел взглядом вокруг себя и посветлел лицом. — Видите, сколько солнца в деревьях, и среди этого солнца, видите, резвится рыжая белка, тощенькая, изголодавшаяся за зиму, а все равно радостная. Не надо печалей, не надо горестей. Пусть будет больше радости.

— А я бы мог вам рассказать, — сердито пробурчал Свечков. — И это не было печально. Это было ужасно. Знаете ли, мартовская ночь, морозное черное небо с яркими, как будто разгоревшимися в последний раз, звездами, воющий ветер, на вантах — лед и на леерах — лед, а за бортом — тяжелая вода. Гребни волн постоянно горели холодными тревожными огнями. Когда я вспоминаю о них, у меня невольно по спине бегут мурашки.

Николай Григорьевич остановился, и Свечков остановился; они постояли и помолчали.

— И что же было дальше? — тихо спросил Николай Григорьевич.

— А дальше случилось то, что не должно было случиться и все-таки случилось. Знаете ли, в Баренцевом море на исходе зимы часты снежные заряды. Это такая чертовщина, которая, по моим понятиям, не подчиняется никаким

законам. Конечно, и черное небо, и ветер, и жестокие звезды, и вспыхивающие неземными огнями волны — это, разумеется, тоже не мед, но все-таки понятно и объяснимо, и вдруг в одну минуту исчезают и небо, и волны, налетает из преисподни заряд — и начинается такая вакханалия, что не приведи господи. Мы уже выходили на траверз Кольской губы, за нами следовала еще посудина — тут-то и осенило нас этим саваном. В расчетной точке мы, как и следовало, сделали поворот, но то ли у нас отказал локатор, то ли у них, а может быть, у нас обоих — заряд-то связан с какими-то магнитными отклонениями, — дело не в ентом, как говаривал один мой знакомый, а в том, что они не засекли, что мы повернули, и со всего маху врезались прямым штевнем в наш борт. Тряхнуло нас тогда отменно, а они тотчас же вспыхнули ясным факелом, тут сразу и заряд прошел. Опять черное небо, волны, ветер, звезды, а они горят. Жутко так горят, будто богу душу отдают.

— Надеюсь, обошлось без жертв? — печальным голосом спросил Николай Григорьевич.

Свечков последил глазами за белочкой, которая лущила еловую шишку.

— Не надейтесь, Николай Григорьевич, — жестко сказал он. — Ошибки на море не прощаются. Море не умеет щадить слабых.

— К сожалению, мой дорогой...

Весна в тот год припозднилась, хотя снег и сошел рано и сбежался в Москву-реку торопливыми ручейками. Сразу после хилого паводка — снегу зимой выпало мало — похолодало, изредка морозило, чаще же стояла пасмурная прохлада, земля не оттаивала, и трава в лугах долго не могла пробиться сквозь прошлогоднюю отаву, и леса тоже стояли серые и печальные. Только ели и сосны, отмыв свои иголки на частых мозглых дождях, выглядели посвежевшими, гудели тревожно и радостно, торопя тепло. И оно пришло после майских праздников, заиграли зеленые всполохи, деревья округлились, спрятав в листве худобу, как-то под вечер собрались тучи и прогремел гром.

— Но, может быть, это и хорошо, что море не прощает ошибок и не щадит слабых? — спросил Свечков.

Николай Григорьевич тоже последил за возней белок.

— Мой дорогой, о погибших я привык говорить с уважением. Они фактически стали легендой.

Вдали уже погромыхивало, и Свечкову наступала пора возвращаться в город: сколько ни говори, сколько ни вспо-

минай, всего и не упомнишь, обо всем и не переговоришь.

— Мой дорогой, привозите из Кронштадта легенду. Ведь это так прекрасно — найти свою легенду.

Сколько помнил себя Свечков, он все время торопился жить, был жаден на впечатления.

Билет лежал в письменном столе, и поезд его еще курсировал туда-сюда, и место его еще принадлежало другому человеку, вернее — другим людям, а он уже мысленно проделал весь тот путь, который еще предстоял: доехал до Ленинграда, устроился, разумеется, стараниями литературных дам, навестил кого следует, и его, кому следовало, посетили, а потом собрал вещички и с набережной Лейтенанта Шмидта махнул в Кронштадт тем самым древним путем «из варяг в греки», который проделал отроком, отправляясь на поиски чинов и славы, не найдя, впрочем, ни того ни другого.

Перед тем как завалиться в постель, Свечков опять достал коробку с карточками, которые уже не разбирал целую вечность, и начал вглядываться в лица, милые и забытые, словно начал листать изрядно потрепанную пухлую книгу, читанную уже однажды, но теперь совершенно исчезнувшую из памяти. Никто, кажется, из юнг не дотянул до адмирала, хотя мечтали об этом все. Они не мелочились и не разменивали себя, а брали, что называется, быка за рога.

Свечков собрал карточки в коробку, перевязал ее лентой и опять засунул подальше. «Черт побери, — подумал он в недоумении, — но если это было так, а не как-то иначе, то почему теперь-то мы не такие. Что случилось с нами и куда запропастились мечты и надежды, и почему они в какой-то момент сменились тревогами и сомнениями?» Он позвонил Жигалину.

— Лева, — сказал он ему, — если бы прокрутить колесо в обратную сторону и вернуть нас в отроческие годы, какой бы ты сделал первый шаг?

Жигалин думал недолго:

— Пошел бы в военкомат и попросился в школу юнг.

— Все бы повторил?

— А почему бы нет? Разве мы плохо начинали, и разве мы сами-то были плохи?

— Спасибо, Левушка.

Тот удивился:

— За что?

— А за то самое, — сказал Свечков, — что не изменил

ты своему естеству, значит, и товариществу не изменил, в том числе и мне. Это куда как хорошо, когда тебе не изменяют и не предают тебя.

— Ты когда из Кронштадта-то вернешься — позвони, — напомнил Жигалин.

— Ну а как же иначе-то...

«Так, Лева, — подумал Свечков. — Все правильно, Лева. Значит, опять надо идти в военкомат, значит, опять надо проситься в юнги, значит, все надо начинать сызнова, потому что единственный шаг был правильным. Вряд ли кто из нас этот поступок обдумывал заранее, скорее всего это был порыв, но он оказался верным. Неверность появилась потом. Почему? — спросил он себя. — Почему потом мы стали по-мелкому лгать, юлить, изворачиваться? Почему нам, бескомпромиссным, открытым и незащищенным, стало со временем не хватать характера? И где тот порожек, о который мы споткнулись, не заметив его?»

И вспомнился ему Паша Березенец — его первый старшина огневой команды, старшина первой статьи сверхсрочной службы, бравый, неизменно подтянутый и неизменно нахальный женский угодник. Этот Паша Березенец на первых порах был приставлен к нему, молодому офицеру, как дядька, которому Свечков даже некоторое время — чего уж греха таить! — смотрел в рот и все ждал, когда вылетит золотая птичка, пока не распознал, что перед ним статейный враль, краснобай и, в общем, не слишком-то дельный старшина. Большими усилиями Свечкову удалось переместить Березенца на место старшины команды подачи — подальше от глаз, — а потом тот из башни и вовсе ушел, обретя себе строевую должность, каковые тогда вводились на кораблях. С той поры у Свечкова сохранилась записная книжка, в которой он нашел упоминание и о Паше Березенце.

«Командир дивизиона, когда я представлялся ему, дал кое-кому характеристики, в том числе и Паше Березенцу:

— Старшина деятельный. Скажи — со дна моря достанет. Черт знает, когда он спит. Постоянно в движении. Будешь жить за ним, как за родным дядькой.

Командир второй башни, посмеиваясь, между прочим, заметил мне:

— Пройдоха и плут. Скажет — сделаю, значит, не сделает. Факт. Все это видят, а комдив не видит.

Много времени спустя, когда нас с Березенцом развели и он стал уже мичманом, сам же мне и признался:

— Главное, всегда быть на виду. Сидишь в кубрике,

ага, на трапе ботинки комдива. Орешь: «Смирна-а-а!..» Глотку не жалеешь, и, естественно, докладываешь соответственно, и делаешь побольше движений.

— Каких же?

— А это все очень просто. Видишь матроса, кричи: «Как? Почему здесь? Марш на боевой пост!» Бумажка валяется, кричи: «Это зачем? Почему грязь, спрашиваю?» Нет бумажки, все равно кричи: «Дневальный, грязпа-а-а! Очередь без берега». Комдив из кубрика, а я: «Ладно, ребята, я тут маленько горло прочистил — и будя». После этого ложись на рундук и посапывай в две дырочки, набегаться всегда успеешь.

Умеет служить Паша Березенец».

Как ни странно, но Паша Березенец преследовал Свечкова всю жизнь. Был тот и не слишком умен, и не слишком хитер, и не слишком удачлив, и не слишком приятен в общении, казалось бы, самый ординарный человек, из тех, которые забываются тотчас же, лишь стоит сказать: «Всего доброго, брат, бывай», но он не забывался, крепко вцепившись в свечковскую и без того нескладную жизнь.

Может быть, вот такие Паши Березенцы постепенно и ломали его характер, испытывая его на прочность, но это, к счастью, пришло позже, тогда же им, выпускникам Школы оружия, еще открывались розовые дали, и в характеристиках ротный командир Кожуховский писал: «Флот и море любит».

3

Свечков и теперь не мог в точности уяснить, когда у него зародилась любовь к флоту и с чего все началось. Иногда он спрашивал себя: «Может быть, первопричиной послужила форма, которую мы все боготворили?» Наверное, и форма, хотя и не только она будила в нем отрадные мечтания. Свист боцманских дудок, скрипучий грохот якорных цепей, запах смолы, пеньковых тросов и мазута волновали кровь и манили в далекие походы к дальним островам с кокосовыми пальмами.

Свечков очень скоро научился носить бескозырку весьма лихо, стараясь всем видом показать, что человек он бывалый, и ленточки достал такие, чтобы касались пояса, постирал форменный воротник и тельняшку в хлорке — и они сразу приняли вид потрепанный и бывалый. С формой-то, правда, он мог сотворить что угодно, но губы-то оставались пухлыми, и голос частенько давал петуха. С года-

ми голос окреп, почерствели губы, но страсть к поношенным вещам сохранилась, хотя все чаще ему уже хотелось иметь на себе что-нибудь новенькое, которое если бы и не скрадывало возрастные дефекты, то хотя бы придавало некую уверенность. Присягу он принял, едва минуло восемнадцать лет, и тотчас же перешел в старшинское сословие. Собственно, институт юнг для того и был создан, чтобы готовить из них младших командиров.

С давних пор Свечкову полюбилось ездить на «Красной стреле». И не только потому, что это был самый комфортабельный поезд, и уж, во всяком случае, не из-за тщеславия, которое частенько подогревало страстишки и толкало на необдуманные поступки, а только потому, что пассажиры в этом поезде собирались ненавязчивые, усталые, жаждущие только поскорее выпить непременный стакан жиденького чая с дежурными лимонными или апельсиновыми вафлями и завалиться на боковую. Вагон успокаивался мгновенно, и тогда Свечков выходил в коридор — последнее время он разучился спать в поездах — и засматривался на редкие огни, которые нехотя проплывали в темном окне.

Эти огни постоянно что-то напоминали ему, но что именно — всякий раз он долго не мог понять и только жадно ловил их ровный свет, который приходил к нему словно бы из далеких миров. Те миры в этот раз были его отрочеством, в которое он возвращался, кажется, впервые. «Что-то там? — думал он, печально улыбаясь в темноту. — Старые ли развалины или новые миры? Как знать... Как знать...» Впрочем, старые развалины и новые миры были только для красного словца — иногда и наедине ему хотелось позировать, — Свечков верил, что Кронштадт, раз уж повелел Первый Российский Мореход стоять ему незыблемо, будет незыблем, сколько бы ни минуло времени и сколько бы ни прошумело возле его стен вечных вод, и, значит, то, что ушло за корму, и то, что еще откроется по курсу, в своем роде единое целое, как капля воды, в которой угадывается весь океан.

Свечков всегда любил загадывать — а что будет завтра? а что послезавтра? — строя радужные планы, и все у него при этом выходило хорошо. Он считал, что прожитый день — это еще не настоящее, настоящее где-то впереди, за синим горизонтом, и вдруг однажды с горечью ощутил, что все прожитое и было настоящее, а будущее — это всего лишь мираж, призрак, который может обратиться в нечто стоящее, но может навсегда так и остаться призраком.

Поезд катил мягко, вагон легонько покачивался, как ка-

тер на малой волне, и в голову лезли тревожные мысли, похожие на утренние ветерки, и он мало-помалу входил в новую для него роль, ему уже стало казаться, что возвращается он к месту службы из отпуска.

Возле Лихославля окно заголубело, потом прорезалась розовая полоска, за ней вторая, скоро они слились, звезды стали белыми, и луна побелела, словно из нее выжали все соки. Свечков пошел в купе, не раздеваясь прилег на диван, но уснул не сразу, а когда все-таки уснул, то увидел необычный сон, и во сне он увидел себя в той, теперь уже далекой, поре, когда ему пришлось снять погоны. Мать приняла это известие достойно, может, только излишне спокойно. «Что поделаешь, — сказала она, — пойдешь в институт. Я еще работаю, Людмила подросла. И Виктор поможет». Он отказался от их помощи, устроился в газету и ни разу никого из ближних не попросил об одолжении, считая одалживание мужской слабостью, но и сам, правда, никому не помогал. Сперва было не из чего, а потом это вошло в привычку. В последний свой приезд Людмила показалась ему жалконькой, в платье, хотя и модном, но бесстыдно подчеркивающем ее жалкость. Он с первого же гонорара послал ей денег и потом еще посылал, а она неизменно возвращала их с разными приписками: «Купи себе рубашек, они у тебя несвежие», «Замени постельное белье». После смерти матери Людмила начала жалеть его по-матерински. Она и тогда жалела его, когда он приехал без погон, оплакивая его несбывшуюся мечту, и он плакал вместе с нею, горько и неутешно.

Когда Свечков очнулся от своих слез, поезд подкрадывался к Ленинграду, миновав Славянку, в которой жила сестра.

Над Ленинградом висела серая туча, и по стеклам скользили быстрые слезинки. Ему показалось, что город тоже заплакал.

Свечков нехотя глянулся в зеркало над соседским диваном и неожиданно ужаснулся своему отражению.

Николай Григорьевич как в воду смотрел: литературные дамы все перепутали, и, когда он приехал на Фонтанку, где ему должен быть заказан номер, строгая администраторша довольно-таки недружелюбно сказала, что никакой заявки нет.

Растерявшись, Свечков поплелся к телефону-автомату. Ему тотчас же ответили, и он назвался.

— А что бы вы хотели?

— Что-нибудь получше... — мягко попросил Свечков.

— Получше? Получше-то у нас номера двухэтажные, а они, знаете ли, кусаются...

— Вот что, — сказал Свечков, потеряв терпение. — Кусаются или не кусаются — это вопрос особый, но у меня должен быть кров над головой, телефон и теплый душ.

— Все это у вас будет.

Свечков подхватил чемоданчик и вышел на улицу. Дождь кончился, но асфальт был еще черный, и машины шли по нему шипя, как по горячей сковороде. Он огляделся: вон там, за углом, на проспекте Огородникова, кажется, в доме двадцать один жила Белка... Может быть, и теперь она там живет?.. Он заметил свободное такси, призывно поднял руку и через час уже сидел на подоконнике своего удобного, довольно-таки скромного, хотя и «кусающегося» номера и с мучительным любопытством всматривался в голубовато-серые воды Финского залива, который начинался метрах в двухстах от гостиницы. Он был покоен в этот час и величав, как будто суета, которая заполонила собой городской муравейник, не касалась его и он жил словно отшельник — отрешенно и загадочно.

Туман еще висел и над Лисиным Носом, и над Петродворцом, сизея там и свиваясь в тяжелые тучи, а на залив уже ложилось первой позолотой солнце, едва проглядывая сквозь поредевшие облака. Виделось хорошо, и на самой размытой кромке горизонта выходил из воды шелом Кронштадтского морского собора. Когда-то там была Мекка российских моряков, и в ту Мекку когда-то уходили и они, следуя древним путем, не ведая, куда он приведет и какие откроет дали.

Через несколько дней Свечкову опять предстояло отправиться тем же путем, только теперь-то он уже знал наверняка, куда тот путь приведет его и какие откроет дали, но тем не менее сердце легонько щемило, как и в те стародавние годы, и на душе было радостно-неспокойно, словно в пору первых свиданий.

А между тем день разгорелся, небо в зените очистилось от облаков и тускло поблескивало, посветлело и над Лисиным Носом, и над Петродворцом, Кронштадт стал зримее, по крайней мере Свечков вспомнил его очертания, а вспомнив, наверное, сам же и нарисовал его в голубой дали, невесомого, но почти осязаемого, подвластного его ощущению.

Кронштадт плыл в легкой дымке, в которой, как в облаке, при желании можно было разглядеть и верблюда, и

бриг, и бог весть кого еще нарисовало бы прихотливое воображение, если бы Свечкова не отвлекла другая жанровая картинка. Из морского канала выходило судно, влекомое буксиром. Буксир был маленький, а судно — непомерно большое, кажется, оно шло в балласте. Едва они вышли на чистую воду, как буксир тотчас же засуетился, видимо, там отдавали буксирный конец, судно встрепенулось и, белея надстройками, словно бы вздохнуло полной грудью и прошествовало мимо буксира, который — отсюда, из гостиничного окна, виделось — стал сразу маленьким, растерялся, зачадил трубой, развернулся нехотя и поплелся обратно. «Мавр сделал свое дело, — подумал Свечков, — мавр может убираться ко всем чертям». И спрыгнул с подоконника.

Он тотчас же дозвонился до Кожуховского и сказал ему:

— Слушайте, ротный, а нельзя ли в вашем распрекрасном рыбинспекторском хозяйстве достать катер и нельзя ли на том катере походить по каналам и поглазеть с воды на парадный Питер?

— Надо подумать, — сказал ротный командир Кожуховский, правда, бывший ротный, но ведь и Свечков уже давно ходил в бывших.

— Василий Андреевич, подумайте, — взмолился Свечков.

— Добро, тут я подумаю, ек королек. А как насчет ушицы? Помнится, мы вели речь об ушице.

— Господи, — сказал Свечков, — да разве одно другому мешает. Это же полная гармония.

— Добро, сейчас я все выясню.

Свечков снова сел к окну дожидаться звонка от Кожуховского. Судно, которое еще недавно выволакивал буксир из канала, словно лошадь под уздцы, сиренево попыхивало, оттопырив кургузый ржавый зад. «Нет, — подумал Свечков, — оно определенно в балласте и, значит, прет в кронштадтский док. Сейчас его, голубчика, там оброжкают всего, словно наголо обстригут, а потом сызнова покрасят. Нет, не завидую тем мужикам, которым придется ракушку со днища счищать. Вон оно как корму-то задрало, небось вся уже обсохла. Рожкать сухую ракушку — все равно что мокрой мордой по сухому песку елозить». Все это в свое время он испытал на собственной шкуре, поэтому и рассуждал со знанием дела.

В дверь сильно постучали, послышалось властное «Разрешите», и, не дожидаясь ответного голоса, дверь распахнулась, и в номер вошел крепкий мужчина в плаще, но простоволосый. Свечков машинально положил трубку и соскочил с подоконника.

Мужчина подал крепкую руку, крепко при этом пожав и руку Свечкова, и представился:

— Александров... Бывший командир третьего дивизиона бывшего крейсера «Киров».

— Помилуйте, — Свечков начал лихорадочно припоминать его имя-отчество, — Алексей Федорович... вы-то как узнали, что я здесь?

— Э, батенька, — сказал Александров, — земля слухом полнится. А мы, кировцы, друг за друга держимся и держаться будем.

— Я ведь с «Железнякова», — сказал Свечков в сторону, — а на «Кирове» только практику проходил.

— Раз практику проходил, значит, наш. Мы своих издали отличаем и в обиду не даем.

— Так я и на «Октябрине» проходил, — сказал Свечков неуверенно, считая себя истинным железняковцем, но в то же время маленько и кировцем, к которым с недавних пор начал прибиваться.

— «Октябрина» — статья особая, поэтому мы ее пока в расчет не берем. Оставим ее для другого раза...

Александров отколол с лацкана своего пиджака — был он в штатском — значок с силуэтом крейсера «Киров» и приладил его Свечкову на рубашку.

— Это юбилейный — учтите, — сказал он, — а есть еще и ветеранский. Если осознаете в душе, что вы кировец, постановим на совете вручить вам и тот знак.

— Премного благодарен, — попытался отшутиться Свечков, но Александров шутки или не понял, или не принял.

— Благодарить потом будете, когда вручать станем. У нас это дело серьезно поставлено. — Он строго посмотрел на Свечкова, и тот понял, что игривость голоса Александров почувствовал и не одобрил этот, так сказать, внутренний жест. — У нас тут такие баталии разворачиваются...

Затрезвонил телефон, и в трубке загремел Кожуховский:

— Ночью выходим в Невскую губу ловить браконьеров. Не хотите ли с нами?

— Как-нибудь в другой раз, ротный.

— А другого раза может и не быть. Сейчас самый нерест, так что вся питерская оторва ринется на промысел. Таких типов за одну ночь насмотритесь, что потом за всю жизнь не увидите.

— Ротный, пощадите...

Кожуховский подумал:

— А то пошли... И ушица будет, и все такое прочее.

— Ротный...

— Ну ладно, ек королек. А что же катер?

— Да, а что же катер? — переспросил в свою очередь Свечков.

— Милиция дает нам на субботу патрульную посудину на подводных крыльях. Годится?

— Годится, ротный.

— Тогда так: в субботу в десять ноль-ноль на набережной напротив Финляндского вокзала. Походим, а потом ко мне на ушицу.

— Уважили, ротный, уважили.

— А может, сегодня все-таки сходим, — словно бы к слову сказал Кожуховский. — Не типы — загляденье. Это вам не деклассированный элемент, а вполне респектабельные особы.

Свечков потускнел:

— Ротный, не уговорили.

— Тогда до субботы, — глухо сказал Кожуховский, и голос его потерялся в частых, угловатых гудках, которые начали долбить Свечкову перепонку.

Он обернулся. Александров стоял у окна, часто затягивался сигаретой и, тихо шевеля в промежутках губами, смотрел на залив. Он был пуст, только далеко у горизонта белело судно, которое, по разумению Свечкова, шло в кронштадтский док, да жуками-плавунцами сновали по сиреневой воде «метеоры» и «ракеты».

— Что по курсу? — спросил Свечков шутливо.

— По курсу чисто, — не оборачиваясь, отозвался Александров. — Сейчас чисто, — поправился он. — А ведь я его, залив-то, не сегодняшним вижу. Он мне все тот вспоминается, когда мы из Таллина в Кронштадт переходили. Ах, деньки были... Это вы, башенные артиллеристы, в броне сидите и, как кроты, ничего не видите, а нам, зенитчикам, положено находиться на самом юру, с которого хорошо все открывается.

— Тяжелый был переход?

— Я сказал бы — отчаянный. Командующий приказал идти Северным, более мелким, если помните, фарватером. Теперь много спорят, был ли он прав.

— А вы как считаете?

— Там мин было меньше, а самолеты... От них нигде не было спасения.

— Теперь спорят не только об этом, — заметил Свечков, неожиданно поняв, что Николай Григорьевич не зря навел его на Александрова или, вернее, Александрова на него. Этот человек с грубым, несколько простоватым лицом, ка-

залось, являл собою свидетельство многих бранных дел на Балтике, и начать с него очерк было бы весьма заманчиво. — Теперь, например, сомневаются в том, что у кораблей есть свой характер и своя судьба, что судьбы эти, как и у людей, могут быть счастливыми, а могут сложиться и несчастливо.

Александров охотно покивал головой и осторожно сказал:

— Недавно меня упрекнули в том, что предпочел судьбу «Октябрины» судьбе «Марата». Правда, «Марат», он — для нашего поколения, а для вас он уже был изначальным «Петропавловском». Дескать, судьба у «Марата» складывалась интереснее, на нем-де и командующий флаг держал, и нарком Ворошилов, и в Англию-де он с визитами хаживал. Я возразил довольно-таки резко, сказал, что корабли строятся не для парадов, а боевая судьба у «Марата» сложилась весьма плачевно. — Александров помолчал. — Тогда мы все были потрясены...

Свечков тоже помолчал, как бы деля с Александровым всю тяжесть их разговора: корабли погибают и возрождаются, людям не дано возродиться. «Спасибо тебе, старый кашалот, — подумал он о Николае Григорьевиче. — И вам мой поклон», — тотчас же подумал он и об Александрове и горячо спросил:

— Что же было — преступная оплошность или дьявольская удача неприятельского летчика?

— Не хочется верить в оплошность...

— Значит, слепая удача.

— Не было оплошности, — повторил Александров уже с большей уверенностью, словно успев заглянуть в тот солнечный сентябрьский трагический день, когда линкор «Марат», грузивший боезапас, был атакован вражескими самолетами.

Бомба попала в открытый люк, через который принимали в погреб заряды, они сдетонировали, и вся носовая часть линкора, включая первую башню и фок-мачту с боевой рубкой, поднялась на воздух и в дыму, огне и грохоте погрузилась на дно Петровской гавани. Останки моряков достали только после войны и свезли на Морское кладбище. Свечков был на том трагическо-суровом церемониале и даже теперь, вспоминая его, чувствовал себя неуютно.

— Не могло ее быть... — опять сказал Александров.—Накануне был страшнейший налет — что правда, то правда, — а следующий день выдался спокойный. Так, кое-где постреливали зенитки. Видимо, «Марат», воспользовавшись за-

тишьем, решил пополнить боезапас. Прежде корабли строились без учета авиации, а «Марат» спустили на воду в четырнадцатом году. Люки у него находились один над другим, вот бомба и прошла через все палубы. Взорвись она на верхней палубе или даже на броневой, ничего бы не было. Конечно, без жертв не обошлось бы и в ремонте пришлось бы постоять, но такой катастрофы избежали бы. Для нас, старых балтийцев, этот день стал трагедией.

— И все-таки была оплошность или не было ее? — и во второй раз спросил Свечков, настойчивость которого объяснялась прежде всего тем, что судьба линкора тревожила и печалила память не одно поколение балтийцев: линкор погиб, оставаясь на плаву, и, оставшись на плаву, продолжал сражаться, как бы обретя вторую жизнь. После войны среди юнг было много кривотолков о том, что якобы есть решение поднять нос и приварить его на место. Нос и на самом деле подняли и увезли на переплавку, а потом начали резать и сам линкор. Для Кронштадта это были печальные дни.

Александров грустно покачал головой:

— Будем ли мы теперь судить их, нашедших первое свое успокоение на дне Петровской гавани? И нам ли судить их, оставшихся до конца верными флагу? Командир с комиссаром в ту минуту находились на мостике... Нам даже некогда было похоронить их. Хоронить их пришлось вам.

Свечков кивнул согласно и тоже попытался заглянуть в день вчерашний, но не в тот, когда случился взрыв — тот день ему не дано было видеть, — а в тот, когда Кронштадт хоронил маратовцев. Его-то он помнил хорошо.

— Я и теперь вижу траурную процессию, — тихо сказал Свечков. — И скорбные тротуары вижу, и себя узнаю в строю юнг. Тогда мы хоронили ведь не только маратовцев... — Он помолчал. — И все-таки я вернусь к нашему изначальному разговору: судить их мы не вправе, но понять их поступки должны, а может быть, и обязаны. Мы не имеем права начинать жить на пустом месте. У нас должна быть точка отсчета, не вообще точка, а весьма конкретная: он, вы, я. Должны ли мы слепо подражать или весьма осознанно продолжать...

Александров смотрел на залив и, казалось, не слышал, что Свечков говорил, и Свечкову стало неловко и досадно, но остановить себя он уже не мог, да и не хотел — не ради же праздного любопытства он сюда приехал.

— Допустим, что в тот день на Кронштадт обрушился шквальный налет, и тогда командир не должен был принимать боезапас...

— В тот день не было шквального налета, — негромко возразил Александров.

«Так, — подумал Свечков, — шквального налета не было, и значит...»

— Можно считать, что и устав не нарушался?

Александров живо обернулся и насмешливо оглядел Свечкова:

— Эх, батенька, если бы вся война шла по уставу, а то ведь уставы-то пишем в одно время — воюем же совсем в другую эпоху.

Свечков все понял, растворил окно, и с залива пахнуло влажной солоноватой прохладой. День там расстоялся, небеса раздвинулись, посвежели и потеплели. Петергоф хорошо открылся, и Лисин Нос тоже открывался, и совсем уже осязаемо вышел из воды Кронштадт. При этом освещении он здорово напоминал «Октябрину», такой же был угловатый, мрачновато-тяжелый и неумолимо-грозный.

Однажды Свечков видел, как «Октябрина» палила главным калибром. Учения проходили ночной порой, ближе к осени, когда балтийское небо уже густо синело, остатки белых ночей растаяли, словно последние ладожские льдинки, и море было напряженно-спокойным, только кое-где всплескивали волны и слышался глухой протяжный вздох. Неожиданно небо колыхнулось и разверзлось, по нему прокатился гром, нарастая и обваливаясь, и посреди этих громов послышался сверлящий вой двенадцатидюймовых снарядов. Эти фугасы стояли у них в классах, по осени Свечков был вровень с ними, а к весне перерос на целый вершок. На «Железнякове» калибр был поменьше, и он уже спокойно клал снаряд себе на плечо, впрочем, к тому времени он заметно возмужал.

А в ту ночь Свечков смотрел на это рукотворное зарево, слушал рукотворные громы, и душа у него ликовала, как у идолопоклонника. Тогда он только что обучился специальности комендора башенного и не без хвастовства причислял себя к славному племени российских бомбардиров, среди коих числился и Первый Российский Мореход.

— А все-таки как вы узнали, что я устроился в «Прибалтийской»? — неожиданно для Александрова, но больше для себя спросил Свечков.

Александров спрятал улыбку в темные горестные складки возле губ:

— Мы же кировцы... Вчера мне позвонил Николай Григорьевич и велел встретить вас по первой категории, сегодня я позвонил кому следует. Это же очень просто. Мы и ро-

дились в тельняшках, и умрем в тельняшках. Ну а раз мы такие полосатые, то сам бог велел нам помогать друг дружке.

— Так, — сказал Свечков, несколько разочаровавшись его прозаическим ответом.

4

Была суббота, и Свечкову следовало к десяти часам отправиться к Финляндскому вокзалу на встречу со своим бывшим ротным командиром. Он снова побрился и принял душ, достал еще одну свежую рубашку, но подумал-подумал, чихнул на все и приоделся в то, что попало под руку. Он ждал этой встречи, казалось бы, должен был спешить на нее, но он не спешил, делал все медленно, основательно, как будто хотел отсрочить саму встречу. Он не спеша спустился в вестибюль, не торопясь дотопал до автобусной остановки. Автобус тоже подошел не скоро и, переполненный до отказа, медленно поехал к станции метро. Только в метро городской ритм обрел власть над Свечковым, и все пошло своим чередом.

Свечков оказался на привокзальной площади, щедро продуваемой совсем не щедрым ветром. Солнца было много, но погода стояла не весенняя, а словно бы усредненно зимне-весенняя, и Свечков уже был не рад, что подбил Кожуховского на столь сомнительное предприятие. Не торопясь, приглядываясь ко встречным мужчинам, стараясь не разминуться с Кожуховским, Свечков пошел через площадь, вдоль которой ветер вихрил пыль.

Кожуховский прохаживался вдоль парапета, слегка приволакивая правую ногу. Тогда, на совещании, Свечков его не признал, а теперь кожей почувствовал, что это он, и, прибавив шагу, пошел навстречу. Свечков успел рассмотреть Кожуховского, и многое ему показалось странным: в Школе тот казался им высоким и стройным, даже несколько утонченным — у Кожуховского были правильные черты лица, — он всегда тщательно одевался. Больше всего запомнился Свечкову белый шарф, который Кожуховский носил небрежно и в то же время элегантно. Теперь же навстречу Свечкову шел грузный, приземистый, обремененный годами и заботами человек, беспокойно рассматривая его, пытаясь, видимо, узнать, но так, кажется, и не мог извлечь Свечкова из закоулков своей памяти.

— Ну, здравствуйте, ротный, — сказал Свечков, и они

обнялись, и по тому, как Кожуховский похлопывал его по спине — осторожно и неуверенно, — Свечков понял, что тот все еще пытался узнать его, разумеется, не сегодняшнего — этого-то он узнал, — а того, давнишнего, с бантиками вместо ленточек и с литерой «Ю» на погончиках.

— Вот ты какой, — проговорил Кожуховский.

— А вы ведь не узнали меня, ротный, — беспардонно сказал Свечков, несколько обидясь, что тот все-таки потерял, к сожалению, его в своей памяти.

— Вот так встреча, ек королек... Ну, не думал... Ну, не думал, — не слушая Свечкова и не принимая его обиды, говорил Кожуховский.

— Кланяется вам, Василий Андреевич, Лева Жигалин. Помните — наш ротный запевала: «В гавани, в кронштадтской гавани...» Встретил его случайно накануне отъезда. Велел кланяться.

— Жигалин... Жигалин... — растерянно забормотал Кожуховский и печально улыбнулся: — Нет, не помню. Я ведь пять выпусков сделал. Куда уж всех упомнить...

— Такой цыганистый парень из Москвы. Голос у него был красивый-красивый. Мы с ним вместе учились в смене комендоров башенных. Старшиной смены у нас сперва был Уткин, потом нам дали Кацамая.

— С Уткиным я иногда вижусь... И Кацамая, как сейчас, помню... А вот Жигалина забыл.

«Как же так», — хотел было посетовать Свечков, но вовремя придержал себя: куда уж там сетовать, когда и сам-то почти всех перезабывал. Странно как-то жизнь распорядилась: с одними будто бы он и дружил, и мечтами своими тайными делился, а они исчезли, растворились, словно бы и не было их. А к другим и относился с неприязнью, даже по-мальчишески враждовал, хотел забыть их, вычеркнуть из памяти, а они не забывались и не вычеркивались, жили в его сознании своей обособленной жизнью помимо его воли и желания.

— Василий Андреевич, мы были последними балтийскими юнгами, — подсказал Свечков. — После нас в юнги ребятишек больше не брали.

— Ах боже мой, ну конечно же помню... Такой ладный парнишечка был... Жигалин... Ну конечно же, ек королек. Но у вас в роте, кажется, еще один запевал.

— Так точно, — сказал Свечков, — но фамилия его у меня прямо-таки выпала из головы.

— Вот и у меня выпала. — Кожуховский погрустил. — Кажется, Говоров или Голосков. Убей — не помню.

Свечков тоже вслед за ним погрустил и промолчал, решив не продолжать печальный экскурс в недалекое далеко. Что поделаешь, если одно пришло, а другое исчезло — так было и так будет, — суть, видимо, останется одна: что пришло и как пришло, что исчезло и как исчезло.

На стремнине, легонько подрабатывая мотором, маячил красно-белый милицейский катер на подводных крыльях, длинный и узкий, как щука. Кожуховский помахал ему рукой, и сидевший там сержант запустил мотор на всю катушку, лихо бросил катер на самую середину Невы, развернул его там и, почти не сбавляя скорости, подвалил к барже, причаленной к нижней площадке.

Прихрамывая, Кожуховский сошел в катер, за ним и Свечков последовал. Сержант опять дал волю своим эмоциям, мотор взревел, катер поднатужился, приподнялся над водой и в считанные секунды оказался едва ли не у противоположного берега.

— А? — спросил Кожуховский.

— Да-а... — сказал Свечков. — Но мне все равно милее шестивесельный ял — шестерочка, хоть на веслах, хоть под парусом.

И вдруг он понял, почему ему так захотелось пройти по Неве и по ее протокам: было некое время, когда хаживал он тут на шестерке, сперва загребным, а потом уже старшиной и даже командиром. По Неве и по каналам ходить на шлюпках патрульная служба особенно-то не разрешала, да ведь они разрешения и не спрашивали, вдоль берега чуть ли не тайком пробирались на пляж возле Петропавловской крепости, тут для порядка вытаскивали шлюпку на песок, извлекали из нее мачту с парусом, весла, рыбины, анкерок, все, разумеется, скоблили и мыли до восковой свежести, поочередно лазали в воду, которая и летом-то была ледяной, а по весне прямо-таки жглась, но под бастионами загорали студентки, делая вид, что готовятся к экзаменам, а курсанты, понятное дело, делали вид, что купаются и что купание это им ужасно нравится. Потом студентки неожиданно исчезали, курсанты опять сносили рангоут в шлюпку, сталкивали ее на воду, разбирали весла и пошел:

— Два-раз, два-раз, навались!

Течение тут было сильное, шлюпку заметно сносило к стрелке Васильевского острова, а следовало так пересечь Неву, чтобы у того берега — на Дворцовой набережной — угодить прямо в Зимнюю канавку и там уже тихой сапой прогрести в Мойку и Мойкой же на виду у почтенной публики, среди которой опять-таки было много симпатичных

нарядных особ, пройтись центром Ленинграда, чтобы где-то там, минуя закопченные заводские цехи и трубы, снова влиться в Неву, перерезать ее и вернуться на шлюпочную базу... После прогулки по Зимней канавке и Мойке шлюпка становилась грязной, но это нисколько их не смущало. На следующих занятиях ее надлежало снова отдраить до зеркального блеска, а это значило, что пляж возле Петропавловской крепости им был обеспечен. И все это делалось только ради того, чтобы покрасоваться перед конопатыми девчонками, которые казались тогда верхом совершенства и с которыми им так и не удалось свести знакомство.

— Ну, командуйте, — сказал Кожуховский. — Ваше было желание, вам и штурманские карты в руки. — Он снова обращался к Свечкову на «вы».

На Кожуховском был черный плащ и огромная фуражка — «та самая» — с плетеным крабом, потемневшим от воды, в прямом смысле все это не считалось формой, но в некотором роде могло и сойти за форму, и потому что это «могло сойти», но не было, и сам Кожуховский показался Свечкову могущим быть, но не ставшим. Тогда, в юнгах, они думали о нем как о небожителе, недосягаемом даже их воображению, а теперь он видел перед собой усталого, заметно молодящегося мужчину, который, к сожалению, уже жил в отблесках давно минувшей славы. «Все-таки мы эгоистичны в своих желаниях, — печально подумал Свечков. — Нам хотелось бы видеть своих первых учителей пожизненными учителями, но они, минуя людные станции и захолустные полустанки, сразу попадают в уютные заброшенные тупички, в которых мирно соседствуют прошлые заботы с никогда не сбывающимися надеждами. Парадоксы и нелепости преследуют нас всю жизнь».

— Командуйте, — нетерпеливо повторил Кожуховский.

— Да что ж командовать... Пошли куда-нибудь... Мимо Петропавловки, мимо Зимнего с Адмиралтейством, мимо училища...

Свечков и думал, что они пойдут в низовье, но сержант, видимо, не расслышал, о чем он говорил, круто переложил руль, и катер полетел навстречу ладожской волне. Свечков не стал протестовать — в верховье, так в верховье, — только попытался закутаться в свою кожанку, нахохлился и начал лениво следить за рекой, которая клокотала и пенилась, взрыхленная холодным майским ветром. Он дул порывами, и волны, подгоняемые им, катились вдоль реки, стараясь обогнать одна другую, и, когда, казалось, погоне суждено было завершиться, волна словно бы поднималась на цыпоч-

ки, чтобы запятнать убежавшую вперед подругу, гребень ее обваливался, и погоня начиналась сызнова.

И с левого, и с правого борта понемногу изчезли парадные дворцы и дома, весьма похожие на дворцы, начиналась современная застройка, пошли заводские окраины, траурно-красные, прокопченные дымами двух эпох. Справа проплыли Александро-Невская лавра, торжественно-величавый Смольный монастырь — здесь некогда Первый Российский Мореход смолил свои фрегаты и галеры, — сам Смольный, слева мелькнули печально знаменитые, сложенные на совесть из мелкого кирпича Кресты.

Кончились набережные, исчезли грациозно-строгие парапеты, и Ленинград незаметно для себя превратился в складское захолустье.

Ветер задул вдоль реки, выжимая из глаз слезу, они уже продрогли и начали потихоньку коченеть, сунув носы в холодные, будто жестяные, воротники, а сержант, одетый, как говорится, в шубу на рыбьем меху, изредка проводя красным кулаком по сизому носу, все гнал и гнал свою посудину навстречу запоздалым ладожским льдинкам, и ни у Кожуховского, ни у Свечкова не было уже ни сил, ни желания сказать ему, чтобы вертался к чертовой матери назад. Кожуховский помалкивал, видимо, из деликатности, как бы уступив место начальствующего Свечкову, Свечков же, позабыв обо всем на свете, сидел себе, нахохлясь, и о чем-то думал, но о чем — ни тогда, ни позже он так и не понял.

— Невская Дубровка, — не оборачиваясь, прохрипел сержант. — Пятачок... Слышали такой?

— Слышал, милый сержант, — прохрипел в ответ Свечков. — А еще, сержант, я стихи читал, печатаемые в «Ленинградской правде» той удивительно тревожной поры... В школе читал, на майском утреннике.

Здесь вихрь взвивал до низких туч накаты.
Снега горели... И в аду таком
Дубровку брали русские солдаты.
«Дубр» был за нами, «овка» — за врагом.

Там были еще такие строчки:

Устала сталь. Тряслись орудий дула.
«Катюши» били, били, и дотла все жгла гроза...

— Вот и у нас «все жгла гроза», — тихо сказал Кожуховский, выпростав лицо из своего, кажется, весьма жесткого на жестком ветру воротника.

— Где это у вас? — живо заинтересовался Свечков, знавший о Кожуховском только то, что был он их ротным, всегда тщательно одевался и немного театрально подавал команды.

— На Рыбачьем...

— Вы воевали на Рыбачьем? — искренне удивился Свечков. — Странно это...

— А почему это вас так удивляет? Я же морской пехотинец...

— То, что на погонах у вас были красные просветы, я помню, но что-то никто из наших не слышал, чтобы вы вспоминали о войне.

— Ах, друг мой, — сказал Кожуховский, — до воспоминаний ли тогда было, когда еще раны гноились.

— А ведь мы тогда бредили войной. Она же нас, сволочуга, дважды обделила.

Теперь, кажется, пришла очередь удивляться Кожуховскому:

— Это как же?

— Очень просто: первый раз лишила детства, во второй раз рановато закончилась, и мы не успели кое за кого отомстить и себя, разумеется, увенчать славой. Дело, как понимаете, было не во мщении — это в основном для красного словца, — а во славе. Ею, голубушкой, мы тогда буквально бредили.

— Ну и что же, осенила она вас?

— Нет, ротный, не осенила. Прошла стороной, говоря словами поэта, как проходит косой дождь.

— Было мне с вами мороки... Не с вашей конкретно ротой — вы уже тогда подуспокоились, а с теми ребятами, которых мы доучивали в сорок пятом. Те дали нам шороху.

Свечков даже обиделся за свою роту:

— Мы тоже не были паиньками.

— Нет, ек королек, паиньками вы не были. И проказу вашу с Петром Первым помню, и пончики помню, которые вы из камбуза сперли... Это я все хорошо помню, но все это было мальчишество. А те ведь на фронт рвались, на действующие корабли, а война-то уже кончалась...

Сержант завел катер в затишок и начал возиться с мотором, который, неожиданно забарахлил — возможно, это была маленькая хитрость сержанта, которому надоело сидеть на ветру, и он решил устроить себе перекур, — стало потеплее, солнце в затишке пригревало хорошо, и они повеселели.

— Наши уже к Берлину вышли, и тогда смена башен-

ных комендоров самочинно созвала групповое комсомольское собрание и порешила всем без исключения проситься на фронт. Когда их набирали, то неосмотрительно пообещали сделать ускоренный выпуск, чтобы мальчишечки на войну успели. А сверху уже была спущена директива: мальчишек не подпускать к фронту на пушечный выстрел.

— Ах, ротный, — сказал Свечков, — нехорошо обманывать маленьких.

— Да я и сам знаю, что нехорошо, но вам-то, юнгам, была уготована другая судьба: вы должны были заменить младших командиров.

— Собственно, так и произошло: в десять часов я принял присягу, в двенадцать стал старшиной второй статьи.

— Вот-вот... А тут Берлин пал, за ним победа пришла. А утром на плацу в строю не оказывается целой смены. Я туда, я сюда, собрались все в умывальнике и помалкивают. Я им: «Марш в строй!» А они мне: «Вы нас обманули... Вы обещали ускоренный выпуск, чтобы мы успели на действующие корабли... Где же ваши действующие корабли и где ваш ускоренный выпуск?» Чувствую — ЧП. Если начну с ними препираться, вся рота не попадет на занятия. Я снова на плац, говорю старшине роты, может, помните Смирнова?

Свечков кивнул головой: бессменного старшину роты юнг Школы оружия старшину первой статьи Смирнова он помнил отменно. Был тот коренаст и широк, и все у него было крупное: лицо, нос, руки, плечи, ноги, и говорил он громко, и ступал основательно, слегка косолапя, и загребал ногами, словно клешнями.

— Говорю ему: «Иди в роту и никуда не выпускай их. Я, как начнутся занятия, тотчас же вернусь, и тогда мы что-нибудь придумаем».

— Ротный, но вы же на самом деле обманули ребят.

— Да не обманывал я их, — покаянно сказал Кожуховский. — Куда же им было, сопливым, идти, на какую-такую войну.

— У вас был Рыбачий?

— Он не был... — негромко заметил Кожуховский. — Он есть...

— Им тоже хотелось иметь свой Рыбачий... И нам тоже. Мы же были мальчишки военной поры.

— Разве я не понимал?! Вам хотелось своего Рыбачьего, а нам хотелось, чтобы его у вас не было. На флотах надвигались перемены, и ваш Рыбачий был в океане.

— Это верно... Океаном мы бредили.

Сержант наконец кончил возиться с мотором, вытер ветошью руки, почерневшие от масла и от остывшего металла, и спросил простуженным голосом:

— Дальше, что ли, поедем или возвращаться будем? Если дальше, так бензина до Петрокрепости все равно не хватит.

— Если не хватит — надо возвращаться.

Сержанту, наверное, до чертиков надоела это зряшная, с его точки зрения, прогулка, и он заметно повеселел, скорехонько завел мотор, который заработал на удивление ровно и тихо, катер развернулся и понесся вниз, подгоняемый ветром и течением. Вот уж воистину: домой и ленивый конь трусит.

— А за так-то что зря бензин жечь, — не оборачиваясь, неожиданно сердито сказал сержант.

— Да нет, сержант, не за так бензин сгорел. Да ведь мы и заплатить можем.

— Дело не в плате, — строгим голосом заметил сержант, — а в порядке. Должен порядок быть или не должен?

— Должен, сержант.

Ответ сержанта, кажется, удовлетворил, и он сказал уже миролюбиво, правда стараясь не терять своего сержантского достоинства:

— Вот и я говорю. — И сбросил у мотора обороты.

— Сколько там у вас на спидометре?

— Это ж не машина, спидометра нет, но полагаю, что километров шестьдесят даем.

Кожуховский не поверил:

— Ек королек, да неужто?

Сержант важно помолчал и так же важно изрек:

— Сорок наверняка есть.

— Ну если что сорок, — нехотя согласился Кожуховский, — и то вряд ли...

Сержант обернулся, надменно поглядел на Кожуховского — черт побери, а этот сержант был занятной фигурой! — и спросил, словно бы бросил перчатку:

— Вы мне не верите?

— Ах, конечно же верю, — пробормотал Кожуховский. — Но сорок километров на воде — это все-таки сорок... Торпедный катер...

Сержант не дал договорить Кожуховскому, выжал сцепление, мотор заревел благим матом, катер дернулся, высунулся из воды по пояс, высунулся бы и больше, но, видимо, не смог преодолеть силу земного притяжения, и они понеслись, разбрасывая после себя желтовато-белые волны. Тор-

жествуя, сержант поправил на голове фуражку, расправил плечи, засвистел по-разбойничьи, не удостоив их даже взглядом. Все-таки этот сержант на самом деле являл собою уникальный экземпляр среди унифицированных стражей порядка.

— Вам бы, сержант, на флоте служить, — промолвил Кожуховский.

— А мне и тут не дует.

Свечков тронул Кожуховского за плечо:

— Ну-с, ротный, и как же вам удалось выпутаться из этого весьма щекотливого положения?

Кожуховский повернулся к нему и заулыбался:

— Выпутался благодаря стараниям Смирнова. Просто до смехотворности, ек королек. Сколько времени прошло, а я все помалкивал, да, видимо, молчи не молчи, а случай уж больно курьезный, сам просится в рассказ. Заводила там в смене был один, с него, собственно, все и началось... Хороший такой мальчишка, но отчаянный.

— А мы и все были отчаянные...

— В юнги иной народ и не шел... Там, бывало, в кого пальцем не ткнешь, все сорвиголовы... Давайте уж так — фамилии его называть не стану. Сейчас он большой начальник, адмирал, небось обо всем уже и забыл. Иду это я из классов к себе на Флотскую улицу, вот, думаю, влип. Как ни крути, а фитиль все равно обеспечен...

— Маленьких не обманывайте...

— Вас обманешь... — в сердцах сказал Кожуховский и хитренько усмехнулся. — Вдруг глянь, а навстречу мне вся смена до одного в классы топает, песню, мерзавцы, горлопанят: «В гавани, в кронштадтской гавани...» Смирнов обочь строя идет, завидел меня: «Отставить песню. Смена-а-а, смирно-о! Равнение — направо. Товарищ капитан, смена башенных комендоров в полном составе следует в классы». Я руку к козырьку и маленько потрафил им: «Здравствуйте, товарищи моряки!» Какие там к чертям моряки — мальчишки желторотые.

— Ну уж так и желторотые... Что-то вы, Василий Андреевич, нападаете сегодня на нас.

— Может, и не совсем желторотые, но и не моряки еще. А они мне в ответ: «Здравия желаем, товарищ капитан!» А голоса такие звонкие, такие родные и нахальные, что у меня даже перепонки задрожали. Все я им тогда простил. Спрашиваю вечером Смирнова: «Как тебе удалось их уговорить?» «А у меня для них, — говорит, — слово особое есть...» — Кожуховский помолчал. — Смирнов был мужик

справедливый и к вашему брату питал отеческую слабость, но учить любил.

— Да и мы его любили.

— Ну и ладно, ек королек. Что было, то и было. А мы сейчас ко мне поедем, ушицы похлебаем, водочки выпьем, посмотрим фотокарточки, может, и еще чего вспомним.

— А не лучше ли ко мне в гостиницу? — предложил Свечков, страшась даже подумать, что куда-то придется ехать, с кем-то знакомиться, чего-то там говорить. Ну, ехать — это еще куда ни шло, знакомиться — тоже пережить можно, но вот чтобы говорить, что-то из вежливости спрашивать и что-то самому отвечать — это уже было выше его сил, но он так продрог, а вместе с тем и устал, что ему уже было в равной степени наплевать на то, поедет ли он к Кожуховским или тот поедет к нему в гостиницу, поэтому он очень скоро согласился ехать в Ломоносов, где жили Кожуховские. «В конце концов, в кои-то веки мне еще удастся побывать в Рамбове, — равнодушно подумал Свечков. — Когда-то кто-то на тех причалах провожал меня. Кажется, мы целовались там... Да полно, было ли все это?..»

Прямо посреди Невы, между Охтинским и Литейным мостами, рыбаки вытряхивали из мереж в пузатые смоленые лодки серебристую корюшку, пахнущую свежими огурцами. Кожуховский придержал сержанта за локоть и закричал:

— Что — рыбка?

— Да что — рыбка, — выпрямляясь и потирая занемевшую спину, ответил с крайней лодки рыбак с кирпично-багровым лицом. — Отходит корюшка. Последнюю вытряхаем.

— А я хотел разживиться на сковородку. Гость у меня, понимаешь, давнишний... Из юнг.

— Раз давнишний, Андреич, то подваливай.

Они подвалили, Кожуховский протянул полиэтиленовый мешочек, и сержант извлек из кармана заскорузлыми пальцами такой же, рыбаки насыпали им корюшки, ошалело-живой еще, и сержанту насыпали. Свечков с Кожуховским в один голос сказали: «Спасибо», сержант важно и многозначительно промолчал, завел мотор, и они потихоньку отвалили, чтобы не мешать рыбакам, а потом катер опять высунулся из воды и в считанные минуты домчал их до Финляндского вокзала. Свечков помог Кожуховскому сойти на стенку, сошел и сам, они махнули руками сержанту, дескать, чего уж там, прощай, и он помахал им, и катер заскользил по мелкой воде.

Первое же такси согласилось везти их в Ломоносов — все-таки в Рамбов. Они уселись на заднее сиденье. В маши-

не было тепло и покойно. Кожуховский что-то еще говорил, а Свечков тотчас задремал и сквозь дрему успел вполглаза и на Стрельну взглянуть, и на Петродворец, за парками которого голубовато вспыхивал залив. Посреди залива грузно и устало выходил из воды Кронштадт. Свечков сразу же очнулся и услышал восторженный голос Кожуховского:

— Ах, ек королек, собраться бы нам когда-нибудь всем вместе!

Свечков отрезвил его, сказав угрюмо:

— Иных уж нет, а те — далече...

Кожуховские жили в доме на горе. Дом был новой постройки, стереотипно прямоугольный, похожий на своих собратьев, как близнец, а гора, к счастью, оставалась старой, и с нее открывался милый сердцу Свечкова вид: залив, остров Котлин с Кронштадтом на восточной оконечности и с кладбищенской рощей на западной, форты, тяжеловато-серые корабли, похожие на эсминцы, но, кажется, не эсминцы: легкая дымка размывала силуэты. Все в нем захолонуло, он весь подался вперед и, будь его воля, плюнул бы на все, отправился бы на паромную переправу и махнул на остров. Но воли его не было, и дело заключалось не в том, что Кожуховский подергал за рукав, а из окна третьего этажа призывно махала рукой белокурая женщина, видимо, это была жена Кожуховского, а в том, что Свечков еще не нанес визит старшему военно-морскому начальнику, без повеления которого ворота в Кронштадт для него оставались закрытыми наглухо. Он снова почувствовал на своих плечах флотскую форму, а следовательно, вместе с нею в нем пробуждалось уснувшее желание повелевать и самому подчиняться. Он как бы становился частью пирамиды, искусно сложенной из многих, подобных ему, кирпичиков.

— Да идите же вы, непутевые, — выходя к ним из подъезда, сказала светловолосая и некогда, видимо, очень привлекательная жена Кожуховского. — Все уже остыло... — И повернулась к Свечкову: — Так вот вы какой.

— Какой же?

— Солидный для юнги, — сказала она с некоторым разочарованием. — Впрочем, все мы когда-то были юнгами. — Она по-матерински оглядела его: — Мальчики стали мужчинами.

Они едва ополоснули руки, как хозяйка только что не силком потащила их за стол и начала кормить ухой, жареным лещом и вяленой корюшкой. На столе в обилии стояли наливки, водочки, «старка», еще что-то. Они откушали и того и другого, отогрелись и осмотрелись, потеряв жест-

кость, приобретенную на ветру. Кожуховский нагнулся к Свечкову и быстро спросил:

— А как вы тогда ко мне относились?

Свечков мог бы сказать неправду, которая вполне сошла бы за правду: «Как к отцу родному», но он не стал кривить душой.

— Как к небожителю. Вот к старшинам своим мы имели отношение, а вас просто побаивались, как громовержца.

Кожуховский поскучнел.

— А этому небожителю так в то время хотелось спать,— грустно признался он. — Комнатка у нас была крохотная, мальцы тоже крохотные, младший к тому же грудной. Жена с ног сбилась. Придешь, бывало, домой, купать их надо, то да се, до постели едва к полуночи доберешься, только ляжешь, а они в два голоса. Опять вставай. А утром, как штык, к семи ноль-ноль в роту. Там тоже архаровцы дают шороху. Выведешь, бывало, вас на Якорную площадь, веки хоть спичкой подпирай. Боялся, что на ходу усну. Вечером отбой в двадцать два, думаешь, угомонятся одни юнги, чтобы к другим бежать, так вас, ек королек, только пуще разбирает.

— А точно, — вспомнил Свечков. — Днем ходишь сонный, как осенняя муха, а только дадут отбой, так и сон пропадет... После отбоя-то настоящая жизнь обычно начиналась.

— Вам бы в казаки-разбойники было играть, а вы поспешили надеть военную форму. Мы ведь вас учили по-настоящему, — со значением сказал Кожуховский.

— Да ведь и мы по-настоящему учились, — в тон Кожуховскому отозвался Свечков. — И не просто учились. Мы подвигов жаждали.

— А пока их не было, таскали с камбуза пончики и драили Петру Первому глаза шкуркой.

— Может быть, подвиги-то с этого и начинаются? — лукаво спросил Свечков.

— Может, с этого, а может, и еще с чего...

Время уже шло к закату, а они все еще сидели за столом, ели, по малости чего-то пили и говорили, потом рассматривали карточки и опять говорили, и время текло словно вода сквозь пальцы — стремительно и неумолимо.

В город Свечков возвратился электричкой. На Балтийском вокзале было шумно, толпилось там много всякого народу, и Свечков вспомнил, что Белка иногда приводила его сюда: она любила вокзальную толчею. Отсюда до прос-

пекта Огородникова было не более двух остановок. Свечков подумал-подумал и понял, что если он не посетит тот старый дом с обваливающейся штукатуркой или не посмотрит на него хотя бы издали, то ему, наверное, еще раз захочется сюда приехать, а ехать-то, видимо, больше и не следовало бы.

Дом он нашел сразу, пересек двор и увидел ту же самую обшарпанную дверь и окно, выходящее во двор, возле которого любила посиживать одна из многочисленных Белкиных тетушек. Младшая из них, Лидия Семеновна, учила в школе Свечкова с Симаковым русскому языку и литературе.

Возле окна кто-то сидел, за мутными стеклами Свечков не разобрал. Он одолел одним махом лестницу на второй этаж, на площадке постоял, придержав рукой грудь, в которой — он слышал — тревожно билось сердце. Он перевел дыхание и с силой дернул на себя конфорку звонка. Спустя минуту за дверью зашаркали ноги, с грохотом упал запор, дверь, скрипнув, приоткрылась, и Свечков увидел на пороге божьего одуванчика — маленькую белую женщину в венчике невесомых волос на голове. Женщина посмотрела на него, и он посмотрел на нее.

— Ну что же ты, проходи, — сказала она скрипучим голосом, и Свечков узнал Лидию Семеновну. — Вот ты какой теперь.

Свечков виновато улыбнулся, вошел в прихожую, запер на засов дверь — он и прежде ее запирал, когда Белка отворяла ему, — и опустил руки.

Лидия Семеновна повела его за собой в комнату, усадила за круглый стол — «Тот самый», — отметил про себя Свечков, — и сама села напротив.

— А я тебя иногда читаю, — сказала она. — Я и тогда знала, что ты уйдешь из моряков. Доволен ли ты своей судьбой?

Чтобы не отвечать на ее вопрос, Свечков спросил сам:

— Почему вы знали?

— Ты хорошо писал сочинения... Я сохранила их. — Она замолчала и долгим старушечьим взглядом осмотрела Свечкова, словно хотела понять, весь ли он перед нею или что-то утаил. — У Изы взрослый сын... И уже командир корабля... Правда, маленького, — прибавила она. — Недавно приезжал ко мне из Кронштадта. Удивительно похож на тебя и на Женю Симакова в юности. Мне даже, грешным делом, подумалось, что это один из вас... — Она помолчала. — Что делает форма с людьми. А ведь это, по сути, замкнулся один

круг и начался другой. — Она опять оглядела Свечкова. — А у тебя уже взрослые?

Свечков несколько смутился:

— А что у меня... Я женился лет десять спустя после ее свадьбы. Вот и считайте...

Лидия Семеновна не стала считать, только тихонько покачала головой и опять спросила:

— Что же тут поделываешь?

— А знаете ли, смешно говорить, но это так: я приехал в свое отрочество.

— Вот видишь... Если бы ты был человеком другой профессии, ты, наверное, не смог бы этого сделать никогда. Тебе там хорошо?

Свечков не понял ее.

— Простите, Лидия Семеновна, где?

— Ах, Игорь... Да там, разумеется, куда ты вернулся... В своем отрочестве.

Свечков заулыбался, вспомнив, что Лидия Семеновна всегда любила неожиданные повороты.

— А вы знаете, Лидия Семеновна, хорошо. Наивно все немного, нелепо и ужасно трогательно.

Лидия Семеновна, соглашаясь, мелко покивала головой:

— Как жаль, что я никогда этого сделать не смогу...

— Да, — промолвил Свечков глухим голосом. — Очень жаль.

— Мне все думается, Игорь, что я вас плохо учила. Не сумела донести до вас самого главного. — Она посмотрела на Свечкова светлыми, немного слезящимися глазами. — Я хотела, чтобы вы стали добрыми.

— Вы нас хорошо учили.

— Не льстите, Игорь. Я не учила вас лести.

— Если я льщу, то льстить я научился потом, — сказал Свечков, пряча руки, как в детстве, под столешницей.

Лидия Семеновна опять внимательно посмотрела на него:

— Мужчинам не всегда следует обижаться.

Свечков почувствовал себя школяром и, чтобы приглушить в себе это чувство, быстро спросил:

— Так что же Иза? — Он впервые назвал Изабеллу не Белкой, а Изой, как звал ее Женя.

— Ах да — Иза, — словно вспомнила Лидия Семеновна и сделала паузу. — Ты, кажется, так и не научился смотреть на вещи просто, как это делает сегодняшняя молодежь. — Она снова помолчала. — Иза не любила тебя...— сказала она нехотя. — Тебе все еще больно?

— Теперь, кажется, нет, — помедлив, ответил Свечков.— А тогда...

— Я догадывалась... И ничем не могла помочь. Но, может, это к лучшему?

— Наверное... Впрочем, тогда, кажется, мы сделали больно еще одному человеку, — безжалостно сказал Свечков.

Лидия Семеновна долго молчала.

— Как ее звали? Я ее знала?

— Нет, вы ее не знали... Звали ее Олей.

— Это печально, когда по нашей вине страдают другие.

Глаза у Свечкова погрустнели, и он начал прятать их.

— Да... — Он положил руки на столешницу. — Это на самом деле печально.

— Не делайте этого больше, Игорь, — попросила Лидия Семеновна.

— Увы... Тут поезда ходят только в одну сторону.

5

Свечкову не хотелось наносить традиционные визиты родственникам — посетишь одних, отправляйся к другим, потом к третьим, иначе неудовольствий не оберешься, — поэтому еще перед отъездом в Ленинград он решил, что никому звонить не станет и затеряется иголкой в стогу сена. А на прощание съездит только к Людмиле.

Он не казался себе черствым человеком, лишенным, что ли, сострадания к ближнему, но с годами начал замечать за собой душевную усталость, когда вдруг по некому велению пропадали все желания и хотелось только забвения в покойном и необременительном одиночестве. Иногда ему доставляло истинное наслаждение скрыться от глаз родных и знакомых в тихий закуток, где бы не было ни газет, ни радио — даже в книгах в такую минуту он не испытывал особой нужды, — и предаваться там горестным мечтам, пытаясь воскресить то, что минуло и поросло травой забвения.

В воскресенье до полудня — еще так-сяк — Свечков придерживался принятой программы, а потом заскулил, поняв, что не может долее оставаться в четырех стенах, и потихоньку взбунтовался. Он знал, что ближе к вечеру он опять почувствует себя в своей тарелке, но до вечера было еще далеко, он крепился и, не выдержав, нашел телефон старшего брата, Виктора Александровича, и набрал его номер, будучи уверенным, что брат дома не сидит, а где-нибудь бродит.

Был Виктор Александрович мужик шалый, с чудинкой, что ли, много в молодости перебрал разных профессий: плотничал, рубил уголек, служил в милиции, за все брался с охотой и рвением и в каждом деле мог бы преуспеть, но в последний момент, когда, казалось бы, все уже дело на мази и можно ждать, как это говорится, исполнения всех желаний, он круто, ни с кем не посоветовавшись, изменял свою жизнь. А после милиции устроился на завод «Вулкан» учеником сталевара. Там он, кажется, обрел себя, никуда больше не рвался и отработал возле одной и той же печи четверть с лишком века, прикипев, видимо, к «Вулкану» на всю жизнь. В те годы они свято чтили родственные отношения, а потом Свечков расстался с флотом, перебрался в Москву, и встречи их стали все реже и реже, пока не прекратились совсем, а лет пять назад Виктор Александрович сам позвонил из Ленинграда и сказал, что ушел из семьи и живет теперь бобылем.

— Что так? — спросил Свечков.

— Врут все, — сердито отвечал он. — Все врут... Жена лжет, дети выросли и тоже лгать стали, а я, ты знаешь, ложь ни при какой погоде не терплю. У меня от нее душевная чесотка появляется.

— А сам-то не лжешь ли? — осторожно поинтересовался Свечков.

— А какая корысть мне в этом?

— Корысти, правда, при твоем деле нет, но все-таки...

— Нет, брат, нету мне корысти ни в чем. Сыт, обут, одет, работой своей доволен, газетки почитываю, радио послушиваю. Никому не должен и сам в долг не даю, правда, своим, чтобы отношения не портить. Чужим даю...

Он продиктовал Свечкову новый телефон, но адрес сообщить забыл, а Свечков не спросил по простоте душевной, будучи уверенным, что в Ленинграде ему скоро не быть.

Ему-то Свечков и позвонил.

К телефону никто не подошел. Свечков подождал с минуту и набрал снова, и снова послышались редкие гудки.

Остаток дня Свечков провел у себя в номере.

Наутро он связался с адмиралом Малаховым, и они условились, что тот примет его в пятнадцать ноль-ноль.

— Вы, надеюсь, знаете, где мы находимся?

— Ваши предшественники сидели в кабинете бывшего военно-морского министра.

— Не в кабинете, — уточнил Малахов, — а в приемной. В бывшем кабинете бывшего военно-морского министра у нас конференц-зал.

— Потеснили, значит? — спросил Свечков.

Малахов его не понял.

— Как это потеснили? Министр — одна категория, наша должность — совсем другая. Берем по чину.

Времени до назначенного часа оставалось много, и, доехав на метро до Невского, Свечков отправился побродить по проспекту, словно по длинному музейному коридору, глазея на фасады зданий как заправский неисправимый провинциал. Давно знакомые здания он видел будто впервые, открывая для себя много такого, мимо чего раньше проходил равнодушно, машинально взирая на открывавшиеся ему на каждом шагу чудеса.

На Аничковом мосту он постоял, оглядел клодтовских коней — так и хотелось сказать «лошадей», — одного из них хотел похлопать по крупу, но не дотянулся и побрел назад к Адмиралтейству, интуитивно почувствовав, что назначенный час надвигается и надо спешить. У Александровского садика он взглянул на часы и облегченно вздохнул: оставалось еще минут двадцать, и он направился к Александрийскому столпу, воздвигнутому во славу российского воинства и могучих дедовских побед над грозной напастью двенадцатого года. В Кронштадте был футшток, в Ленинграде — Александрийский столп, не поклониться которому Свечков не мог: так уж сложилась их традиция с той поры, когда их было еще много и все они носили на погончиках литеру «Ю».

На площади ровными рядами, словно перед парадом, застыли «икарусы», темнея своими огромными окнами, бродили интуристы, щелкали фотоаппаратами, жужжали камеры, и возле столпа слышалась чужестранная речь. Свечков тоже постоял тут, запрокинув голову: в зените плыли белые клочки ваты, и среди этих клочков торжественно парил ангел, осеняя крылом державу.

Без трех минут он вошел в вестибюль, как в храм — благоговейно и немного рассеянно. Тут ему уже приходилось бывать по весьма неприятному делу, о котором и вспоминать-то не хотелось, тогда его гоняли из кабинета в кабинет, и он чувствовал себя весьма скверно. С тех пор он не любил ходить по начальству, испытывая при этом нечто похожее на унижение, и если можно было, то и не ходил, а порой и надо было, все равно не ходил. Когда же волею судеб сам становился начальником, старался дверь кабинета держать распахнутой, чтобы идущий к нему сам видел, занят ли он или свободен, и если свободен, то и заходил бы безо всяких там китайских церемоний. Свечкова уже под-

ждал старшина первой статьи и тотчас повел наверх по просторной беломраморной лестнице, ступая впереди и несколько справа. Они проследовали сквозь золоченые двери в приемную, где старшина передал Свечкова с рук на руки старшему мичману, который скрылся за массивной мраморно-белой, с позолотой дверью, бесшумно выскользнул оттуда и учтиво-радушно сказал:

— Адмирал просит...

И Свечков прошел в бывшую адъютантскую, огромную, залитую солнцем, которого здесь оказалось так много, что Свечков невольно прищурился. Навстречу ему поднялся почти квадратный крепыш — таких раньше брали в подплав,— русоголовый, с тремя звездами на погонах. Он протянул Свечкову руку:

— Малахов...

— А я бывал у вас на Севере, Аркадий Николаевич,— улыбаясь, сказал Свечков.

— Помню. — Малахов усадил Свечкова в глубокое кресло, в котором, наверное, в разное время сиживали многие большие и малые флотские начальники. — Читал ваши очерки. — Малахов помолчал. — Вы, кажется, заканчивали наше училище?

— Так точно... Поступил год спустя после вашего выпуска.

Малахов мельком глянул на Свечкова:

— Много воды утекло с той поры.

— Многонько. — Свечков тоже окинул взглядом Малахова. — Вот и вы уже полный адмирал, а тогда, помнится, были капитаном второго ранга.

Малахов искренне удивился:

— Неужели на самом деле минула целая вечность?

— Представьте себе, Аркадий Николаевич.

Тот, давнишний Малахов, встреченный на Севере, вспомнилось Свечкову, был молод, горяч, подвижен и скор на решения. Этот, кажется, уже приучил себя к усидчивости и много времени, видимо, проводил в тревожных раздумьях. Тот, безусловно, мечтал о славе, у этого на груди тускло поблескивала Звезда Героя Советского Союза, и был он немного печален и по-усталому прост.

— До вас в этом кресле сидела жена нашего мичмана, мать троих детей. Жаловалась, горько так — живут тесно. А у меня нет ни одной свободной квартиры.

— Что же делать?

- Поговорю с вами и поеду к отцам города просить по-

мощи. Не дадим квартиру — уйдет от нас мичман. А ведь это не моряк, а золото. На таких флот держится.

— А я, грешным делом, думал, что адмирал в основном занят лодками, ракетами, стратегией, тактикой.

Малахов усмехнулся.

— Я ведь не только адмирал, а еще и депутат. — Он помолчал для приличия и только тогда спросил: — Ну-с, с чем пожаловали?

— Пожаловал-то я вот с чем... Моя служба пришлась на то время, когда послевоенные крейсера, и среди них клепанно-сварной «Железняков», сделали первые шаги в океан. И на этом основании, естественно, — Свечков усмехнулся, — считаю себя причастным к океанской доктрине. Эту доктрину мы начали исповедовать еще юнгами, едва натянув тельники. Я, можно сказать, вырос на крейсере. Я люблю крейсерскую службу. И, как вы уже догадываетесь, предан крейсерам.

Малахов не перебивал, терпеливо дожидаясь, пока Свечков не завершит свои логические построения.

— Крейсерство — это прекрасно. Но сам-то крейсер не менее прекрасная мишень для неприятеля... — Малахов прищурился. — Надо бы вам в океан сходить.

— Затем и ехал, чтобы начать, как в отрочестве, с азов.

— Тогда я вам посоветовал бы идти на лодке. Вы хоть представляете, что такое современный подводный атомоход?

Свечков, разумеется, не знал, и Малахов об этом догадался.

— Да, но...

— Никаких «но», — жестко сказал Малахов. Он любил законченные мысли и не терпел светотеней, в которых были бы размыты очертания. — Лодки — это мощь, это терпение и выносливость, это умение и отвага. Что еще? Это океанская служба и глубокое понимание стратегических задач, но это же и оперативно-тактическое мышление. Это, наконец, длительное автономное плавание. Это еще трогательное, почти нежное товарищество.

— Нежное товарищество — это хорошо, — согласился Свечков, почувствовав, что, кажется он, Аркадий Николаевич, уговорил его. — Трогательное — тоже ничего.

— Все ерничаете... — Малахов вздохнул и погрустнел.— Хотя вам, надводникам, трудно понять душу подплава.

— У нас на крейсерах, — обиделся Свечков за своих ребят и за себя маленько тоже, между прочим, — дружба не менее нежная и не менее трогательная.

— Ну, может быть, не знаю, — с неудовольствием ска-

зал Малахов. — Но тот, кто нырнет под паковый лед и ощущает над головой ледовый панцирь, тот на самом деле знает цену дружбы.

Свечкову тоже захотелось поднырнуть под паковый лед, чтобы на своей шкуре испытать, что это такое, и он понял, что Малахов уговорил его идти в океан на лодке.

— Простите, — сказал Свечков, примирясь с ним и прощаясь. — А это за что? — И указал глазами на Звезду, пришпиленную к груди.

Малахов поднял от столешницы ладони, как бы сам недоумевая, за что такое особенное его наградили этой Звездой.

— За освоение боевой техники... — сказал он строкой указа.

— В арктических условиях?

— Приходилось и подо льдом выполнять задания, — подтвердил Малахов теперь уже своими словами. — Такая уж служба...

Они поднялись и помолчали.

— Так, значит, вы советуете?

— Безусловно, если вы хотите понять, что собой представляет современный флот. Когда собираетесь в Кронштадт?

— Думаю, завтра-послезавтра.

Уклончивый ответ опять пришелся Малахову не по душе, — нет, определенно он все-таки любил некую во всем завершенность.

— Когда решите окончательно, позвоните адъютанту, телефон его у вас есть. Мы дадим команду, чтобы вас встретили достойно и приняли по-флотски.

— Есть, — сказал Свечков.

Этот разговор разбередил его до крайности, и захотелось, не откладывая дела в долгий ящик, сесть на первый подвернувшийся буксир и отвалить в Кронштадт, чтобы начать свое новое восхождение по многочисленным корабельным трапам. «По трапу только бегом», — вспомнил Свечков нехитрые университеты старшины роты юнг Смирнова и усмехнулся. — Где уж там теперь бегом-то, пешочком бы, и то ладно...»

Но Свечков не пошел на причалы разузнать, что и когда отправится в Кронштадт, а с первого подвернувшегося автомата позвонил Виктору Александровичу и скоро услышал его устало-глухой голос:

— Свечков слушает...

— Свечков, это я...

Виктор Александрович, кажется, там засуетился.

— Слушай, ты где?

— Стою возле Адмиралтейства, гляжу на державное течение Невы и вспоминаю наше детство.

О детстве Свечков ляпнул ради красного словца, потому что думал-то он о флоте, который, по всей видимости, ушел в океан и который он пустился догонять, хотя время уже безвозвратно было упущено, но, если бы он сказал Виктору Александровичу об этом, тот просто его не понял бы.

— Заткнись ты с детством, — сердито сказал Виктор Александрович. — Не было его у нас. Наше детство слизнула война, как корова языком. Ты, брат, приезжай-ка ко мне, выпьем, поедим, а заодно и поговорим. Нам ведь с тобой есть о чем поговорить.

— Ты же не пьешь.

— А кто пьет? — пробормотал Виктор Александрович.— Поговорить надо, понял?

Не ехать было уже нельзя, хотя и ехать особенно-то не хотелось, а тут еще свободное такси объявилось, Свечков для блезиру махнул рукой, в надежде что машина проскочит мимо, но шофер подвалил прямо к бровке тротуара, профессионально поглядел на него: дескать, куда ехать.

— На адмирала Лазарева.

Шофера это устраивало, и они покатили по душным улицам на Петроградскую сторону. Сперва Свечкову показалось, что он все перезабыл, но скоро в памяти отчетливо начали проступать названия улиц и переулков, он узнавал дома, как старых знакомых, все они были и разнолики, и разномастны, одни выглядели поэлегантнее, другие — попроще, но все до одного отличительные, непохожие друг на друга.

Свечков без посторонней помощи нашел и нужное парадное, поднялся на нужный этаж и увидел в распахнутых дверях Виктора Александровича. Он был все такой же, высокий, прямой — спину свою он ни перед кем не гнул,— но более жилистый, что ли, и, к сожалению, заметно постаревший, впрочем, это могло Свечкову и показаться, потому что у Виктора Александровича не хватало двух передних зубов, а это очень часто лишает человеческое лицо привлекательности, заметно старит его.

— Здорово, брат, — сказал Виктор Александрович так, словно они расстались только вчера.

— Здорово, — сказал и Свечков, тоже в общем-то не выразивший по поводу встречи особой радости, которую

следовало бы выразить. — А ты, должно быть, не меняешься.

Виктор Александрович оглядел брата и ничего не сказал.

Он жил в коммунальной квартире, занимая там первую от входной двери комнату, в которой было светло, чисто — Виктор Александрович и всегда-то слыл чистюлей. Сервант и телевизор прикрывали кружевные, ручной работы, салфеточки, хотя в комнате и чувствовалась скорее мужская, чем женская, рука.

Стол уже был накрыт: тарелочки, чашечки, и среди этого всего аппетитно пахло судаком — на рыбу Свечков глаз наметал еще в детстве. «Черт побери, — подумал он, — а братец недурственно устроился». Они уселись за стол, заглянули друг другу в глаза и для приличия отвернулись — говорить обманные слова: «А ты, брат, ничего выглядишь», «Да и ты ничего» — не хотелось.

— Из семьи-то чего ушел? — спросил между прочим Свечков.

— А кто тебе сказал, что я ушел? Это, может, семья от меня ушла. Ну, а я что — скатертью дорожка.

— Выходит, бобылем живешь?

— Тут вопрос особый, маленько — индивидуальный, а маленько — сентиментальный. Ты уж, брат, извини, что можно, то сказал, а чего нельзя, того и не скажу.

Виктор Александрович говорил прибаутками, Свечков только понял, что не сложилась у брата, как, впрочем, и у него самого, семейная жизнь, и, чтобы не залезать в дебри и не дразнить гусей, перевел разговор на другую тему.

— Рыбку-то где покупаешь?

Виктор Александрович несказанно удивился:

— А где ты ее купишь?!

— Выходит, браконьерствуешь? Судачок-то на удочку не охочий...

Виктор Александрович усмехнулся:

— Пять дней вкалываю, в пятницу на двое суток уезжаю на Выборгский залив. У нас там и место обихожено. Да вот не хочешь ли в эту пятницу с нами махнуть? Знатно отдохнешь.

— Да ведь вы небось пьете там?

Виктор Александрович скромнехонько потупился:

— Употребляем... Но учти — в меру.

— А кто мерил вашу меру?

Виктор Александрович с минуту молчал.

— Не лайся, брат. Столько лет не виделись, а ты сразу

ляться. Живу как умею, а плохо ли, хорошо ли, то я об этом даже не думаю. Живу и живу. А что касается твоего браконьерства, то это вовсе и не браконьерство, а если хочешь знать — организованный отдых. Скоро вон дамбу возведут, тут тебе и конец всякому браконьерству, потому как рыбки-то не станет. Издохнет она вся, а так хоть мы маленько попользуемся.

— Ты философию эту свою оставь, — уже более миролюбиво заметил Свечков. — Раньше, когда рыба нерестилась, в церквях не звонили и женщинам запрещали полоскать белье с мостков. А вы что делаете?

— Берем с умыслом, — упрямо боднув головой, промолвил Виктор Александрович.

— Бывший мой ротный командир, — промолвил Свечков, принимаясь за судакову голову, — работает в рыбохране. Солидная там шишка... Я больше ничего не буду говорить.

Судя по всему, Виктору Александровичу было в высшей степени начхать на все шишки — большие и малые, он следил, как брат управляется с головой, сам нѐ ел, только возил пальцем по столу, потом молча пошевелил губами и только тогда спросил:

— Ты чего в Питер-то пожаловал? Людмила, что ли, вызвала?

— В Кронштадт собрался, — нехотя сказал Свечков, — потом на Балтику.

— Все за вчерашним днем гонишься?

— Не понял тебя.

— А чего меня понимать... Балтика — это ведь корабли, а я твои корабли вместе с пушками из кронштадтских фортов давно на иголки переплавил.

Свечков усмехнулся.

— Одни переплавил, другие сварили.

— Это верно... — Виктор Александрович поджал губы, как это делала мать, и сразу в его лице появились старческие морщинки. — К Людмиле когда собираешься?

Свечков отвалился от стола, отодвинул тарелку и вытер полотенцем губы и руки.

— Вот только дела тут завершу.

— Не дела надо завершать, а ехать к ней... Помирает она.

— Как помирает?!

— Помнишь, от чего дядя Коля помер? То же самое... Не сегодня завтра...

«Как же это так, — растерянно подумал Свечков. —

Неужели первый звоночек, — но верить в это не хотелось.— Может, еще и обойдется. Виктор-то Александрович всегда был горазд на выдумки».

Сестра была моложе их намного; когда Виктор Александрович получил в милиции первые свои две звездочки, а он сам ушел в юнги, Людмила только-только пошла в школу. В юности она была хорошенькой, но, пережив неудачную любовь и выйдя замуж за недалекого и пьющего парня, быстро растеряла и привлекательность, и мечту о безоблачной жизни, к сожалению не состоявшуюся. Все у них было, как в порядочной счастливой семье, но само-то счастье обходило ее стороной. Она была великой труженицей и не сидела сложа руки; возвратясь с работы, сразу же принималась мыть, скоблить, чистить, успевала при этом рожать ребятишек, связывая с ними свою будущую счастливую жизнь. Она, кажется, не умела жить сегодняшним днем, считая его ненастоящим, и все ждала, что настоящее еще придет и осенит ее своим счастливым крылом.

В Славянке они жили неподалеку от станции, дорогу Свечков смутно помнил и поехал один, чтобы не отвлекаться на ненужные разговоры и бесконечные пререкания с Виктором Александровичем, который рвался ехать с ним, но, слава богу, все-таки удалось отговорить его от этой затеи. Он был малость выпивший, а выпившему, сказал Свечков вразумительно, появляться возле больной непростительно. Виктор Александрович поартачился, но в конце концов нехотя согласился.

У Людмилы Свечков не был целую вечность, но дом нашел сразу и крыльцо узнал, поднялся на ступеньку и постоял. На соседнем крыльце — дом был длинный, барачного типа, и каждая квартира имела свое крыльцо — девочка лет пяти играла с куклами, старательно выговаривала им: «Тетя Маша всем помашет, перемашет, вымашет. Дядя Коля всех поколет, переколет, выколет». Свечков прошел в сени, заставленные кадушками, постучал в дверь. Ему никто не ответил. Он потянул ручку на себя, и дверь, скрипнув, отворилась легко, он вышел в прихожую, которая одновременно была и кухней, и столовой, и громко позвал:

— Дома есть кто?

— Коля, это ты? — спросил из глубины комнаты слабый, незнакомый Свечкову голос, и он вздрогнул, хотя был готов уже ко всему. Свечков отогнул занавеску и вошел в комнату, мрачновато-затененную, с тяжелым запахом лекарств и больного тела. На кровати под байковым одеялом пошевелилась старушка с коричневато-желтым лицом и

обострившимся на нем носом. Она улыбнулась ему одним голосом:

— О, господи, откуда ты...

Он набрался смелости посмотреть ей в глаза — в них теплилась боль, — присел рядом и взял ее за руку.

— Надумал погостить, — храбро соврал он. — Ехал в Саблино к тетке, решил по пути к тебе заглянуть.

— Мне яйца привиделись во сне. Говорят, если яйца во сне, то кто-то явится. Вот ты и приехал. — Она говорила медленно, спотыкаясь на каждом слове. — Подай мне зеркало, — погодя попросила она.

Свечков не сразу понял, зачем ей понадобилось зеркало, указал глазами на стенное, это, дескать, что ли?.. Она с досадой поморщилась:

— Нет... Поищи на столе... Маленькое.

Он раздвинул тряпки на столе и нашел под ними кругленькое зеркальце с Медным всадником на обороте, подал его сестре. Она долго рассматривала себя в нем, водила пальцем по заострившемуся носу.

— Я очень постарела? — спросила она, стараясь найти его глаза, которые он уже спрятал в тень, и больно сжала его руку тонкими немощными пальцами. Свечкову показалось, что она выпустила коготки, и тихий ужас пробежал по его телу.

— Да нет, — беспечно сказал он. — Так, разве похудела самую малость.

— Я уже и сидеть не могу, — со смехом, скрипучим и деланным, пожаловалась она и отпустила руку. — Только лежу да брожу как тень. Иногда пол подотру или посуду помою. Врачи говорят, что скоро это пройдет.

— Скоро пройдет, — подтвердил он. — Врачи не врут.

— Вот и я так думаю. Скорей бы уж... Так хочется на солнышко, чтоб речка была рядом и лес шумел над головой. Ты давно был в лесу?

— Недавно... Перед отъездом из Москвы заглядывал на дачу к своему главному.

— А я так давно не была в лесу... Господи, да скорей бы уж сил набраться... Дел-то сколько накопилось... — Людмила вдруг поняла, что он собрался уходить, и забеспокоилась: — Ты уже убегаешь?

— Дела у меня, Людмилка, — сказал он медленно, боясь, что не выдержит и разревется. — Ты не хандри тут. Я как из Кронштадта вернусь, снова приеду. Нам много о чем надо с тобой поговорить.

— А то погости...

— Дела, Людмилка, сама понимаешь.

— Я понимаю... Только ты там не задерживайся. А то я тебя и не угостила ничем. Сейчас-то куда?

— К маме съезжу. — Он, кажется, уже забыл, что сказал сестре, будто ехал к тетке в Саблино, и Людмила не обратила на это внимания или сделала вид, что не обратила, — эта маленькая ложь сейчас была необходима им обоим. — Давно у нее не был.

Людмила вздохнула и долго молчала.

— Поклонись и за меня... И я тоже давно не была. Вот, думаю, встану, вот встану...

— Я как вернусь, так мы все втроем съездим.

— А и верно, — оживилась Людмила. — Вот мама-то обрадуется!

Мать их покоилась на Серафимовском кладбище в том углу, где хоронили блокадных. Она сама просила, чтобы ее там похоронили. Отец у них вернулся с войны, но ушел к другой и скоро помер. Его похоронили в Обухове, где хоронили всех Свечковых. Мать работала ткачихой в полторы смены, помогая Людмиле, надорвалась, видимо, на работе и, чувствуя приближение смерти, прямо-таки потребовала от Виктора, что он отвезет ее на Серафимовское кладбище. «А то там будете приходить ко мне, — говорила она, — а я все стану думать, что и к нему». Она ушла, не простив отца.

Свечков не стал дожидаться, когда с работы вернется зять, затягивать прощание было невыносимо. Он молча поцеловал Людмилу в лоб, молча постоял у ее изголовья и вышел на воздух.

Цвели ромашки, в густой траве стрекотали кузнечики, а за домами грозно дымил Ижорский завод.

На приступочке соседнего крыльца девуленька все еще играла в куклы и все еще выговаривала им: «Тетя Маня всех поманит, переманит, выманит. Тетя Люба всех полюбит, перелюбит, вылюбит».

И вдруг ему стало пусто и одиноко: он понял, что сестре уже нечем помочь. «Сколько же ей отпущено этих угасающих дней? — спросил он, почувствовав, как горло перехватило и в уголке глаза защипала застывшая слеза.— И почему на ее долю пришлось так мало этого отпущенного?» Он пошел не на станцию, а свернул в поле и сел под ракитой. Неподалеку затрубила электричка, и, когда голос ее пропал в городских строениях, над головой зазвенел серебряными крылышками жаворонок. «Она была такая милая и такая смешная в своем розовом платьице, которое

мама сшила ей к школе, — вспомнил Свечков. — Все-таки хорошо, что маме не довелось увидеть эту прихорашивающуюся старушку».

Поздним вечером он сидел у окна, смотрел на долгий угасающий закат и ждал звонка, который, казалось, теперь должен прийти из-за незримой черты. Ему было по-прежнему одиноко, и это нелепое ожидание будило в нем извечную тоску. «А ведь после Оли меня никто не пригласил на белый танец, — подумал он, — и давно никто не гладил по голове...»

Наутро Свечков уходил в Кронштадт. Проводить его пришел Александров. День обещал быть теплым, и Александров оделся не по форме, поэтому выглядел несколько погрустневшим и постаревшим. В ожидании оказии они бродили по набережной, и Александров, горестно недоумевая, говорил хорошим командирским голосом:

— Знаете, батенька, когда «Киров» последний раз входил в Неву на парад, на город пал густенный туман. О таких принято говорить, что их ножом режут. Я всю ночь не спал, все будоражился, все думал, как-то он встанет на бочку. В такую видимость обмишулиться — плевое дело. Утром ни свет ни заря вскочил с постели, прибежал на набережную — и отлегло от сердца: красиво, желанный, встал. Ну, слава богу... А то ведь всякое могло получиться: служил исправно, воевал примерно, Красное знамя заслужил, а в последний свой приход в Питер, можно сказать в прощальный час, мог и опростоволоситься. Туман-то черт-те какой плотный лег.

— А кто на «Кирове» был последним командиром? — поддерживая разговор, спросил Свечков.

— Капитан первого ранга Гетманов... Константин Константинович.

— Кто?! — Свечков от неожиданности даже вскрикнул. — Костя?

— Так точно. Он сейчас в Кронштадте, можете с ним повидаться.

— А что же с крейсером?

— Разрезали, — печально и просто сказал Александров. — Людей хоронят, а корабли режут. Иногда они возрождаются, как птица Феникс. Вы разве не видели новый «Киров»?

— Ну откуда, — удивился Свечков, правда, не тому, что корабли иногда возрождаются и занимают привычное

место в походном ордере, а тому, что Костя Гетманов, его однокашник по училищу, командовал «Кировым». — Впервые слышу об этом.

— Ну — красавец! А силища какая, а мощь... Тот был хорош — не могу похаять, — а и этот по всем статьям удался. Флаг на нем наш подняли и наш орден Красного Знамени вручили. Теперь он тоже Краснознаменный. Вот бы вам на нем в океан сходить.

Свечков пожал плечами, не сразу оценив предложение Александрова, и неуверенно сказал:

— Да я уже пообещал адмиралу пойти на лодке.

— При чем здесь лодка, — искренне поразился Александров и с минуту молча шевелил губами, совсем как Виктор Александрович. — Крейсерство кораблей, батенька, никто не отменял. Правда, не без этого, находились горячие головы, хотели было кое-чего упразднить одним росчерком пера, но то были люди сугубо сухопутные. Им невдомек было, что моря и крейсера на тех морях росчерком пера не упраздняются. — Александров опять пожевал губами. — Нет, конечно же лодки — это, безусловно, современно. Я против лодок ничего не имею. Только позволительно спросить: а крейсер — что, разве вчерашний день?

— Если старый «Киров», то, может, и вчерашний, — ответил Свечков.

— Вот и идите на «Кирове», — строго заметил Александров. — Вы моряк крейсерской службы. На крейсерских борщах вскормлены. И вам не стыдно?

— А вы, кажется, меня уговорили, — растерянно пробормотал он.

— Ну а как же иначе-то... Мы с вами с крейсеров, нам крейсера и подавай. Тут двух мнений и быть не может.

Александров малость покривил душой: мнений на флотах во все время было множество — по числу кораблей, и моряк, почти случайно попавший на тральщик, скажем, или на эсминец, оставался уже верен до конца дней своих не только флагу, но и самому кораблю. Но какое Александрову и Свечкову было дело до тральщиков и эсминцев, если сами-то они принадлежали крейсерам.

Они походили еще по набережной — оказии все не было, — и Александров, несколько помявшись и даже тушуясь, попросил:

— А вы не помогли бы нам в одном деле?

— Если под силу, — охотно согласился Свечков, — то почему бы и нет...

— Дело такое, что сразу и не поймешь, кому оно под

силу, а кому не под силу. Соль-то вот в чем. Как стали резать крейсер, тогда-то мы, совет ветеранов, решили снять с него первую башню и установить ее где-нибудь в Питере, чтобы увековечить подвиг не только «Кирова», но и всей Краснознаменной Балтики.

— Резонно, — сказал Свечков. — Морякам Балтики... Кажется, в Ленинграде нет такого памятника.

— Нету... Бросились мы туда, сюда... Сперва от нас все отмахивались, дескать, чего еще придумали, а потом, где надо, поддержали, только решили не одну башню сымать, а обе носовые — первую и вторую, боевую рубку и фок-мачту. Мы и место уж присмотрели, где надо, утвердили... Да вы хоть представляете, что такое «Киров» для Питера?

— Представляю, — Свечков кивнул головой. — Пятилетки, возрождение флота, блокада.

— Вот... А перед нами взяли да и захлопнули ворота.— Губы у него мелко задрожали, и Свечков отвернулся, чтобы не смущать мужика: видно, крепко обидели его... — Да не перед нами, поймите меня правильно. Мы свою славу пережили, нам теперь много не надо, мы — кремень.

Свечков согласно кивал головой и растревоженно думал: «Черт побери, надо как-то помочь... Да не ему — в сущности, самому себе, многим из нас в этом великом и привычном для российских мореходов деле». И пока он слушал и кивал, неожиданно вспомнилось ему, как в далеком далеке бродил он с товарищем по Петровскому парку, говорили они о том о сем — хорошо им тогда мечталось, и мысли приходили высокие и возвышенные, и вдруг со стороны Толбухина маяка из сиреневой дымки выплыл сам сиреневый в этой дымке, грозный и внушительный флагман флота крейсер «Киров», устало склонив долу орудия главного калибра.

Они зачарованно смотрели на него: там вдоль борта стояли моряки в белых робах и черных бушлатах, такие близкие и такие далекие. Раздалась команда: «Отдать левый якорь!» Он невесомо выскользнул из клюза, плюхнулся в серую недвижную воду, подняв серебристый столб, загрохотала цепь — и разом все смолкло... Это, казалось, происходило совсем недавно, но теперь и самого крейсера «Киров» больше не было.

— Без традиций флота нет, — осердясь, сказал Свечков, — нет и не будет.

— В том-то и дело...

С тем они и расстались, и Александров проводил Свечкова по-флотски до трапа.

6

Свечков недолго постоял на корме, помахал Александрову, устроился поудобнее за ветром, чтобы ничто не отвлекало от радостных и тревожных воспоминаний, и начал оглядывать залив. Он был спокоен и величав в этот час, округлые волны не катились, а только едва вздыбливались, словно пытались заглянуть подальше, и тут же тихо снова укладывались. Лишь кое-где вспыхивали легкие бурунчики, будто кто-то чиркал спички, но они не могли разгореться и тут же гасли.

Горизонт скрадывала легкая дымка, за которой едва угадывались берега — южный и северный, но ничего на тех берегах нельзя было разглядеть, да он ничего и не рассматривал. Он жил днем завтрашним, невольно оглядываясь на день вчерашний, когда отроком шел этим же путем добывать себе славу, убежденный, что когда-то будет занесен на скрижали отечественной истории. «Как хорошо, что у нас было отрочество, — невольно подумал он. — И как хорошо, что мы умели мечтать... И как жаль, что отрочество нельзя вернуть... И как жаль, что далеко не всем мечтам суждено сбыться».

Тогда при выходе из Невы им показалось — Свечкову и теперь об этом подумалось, — что они попали на морской простор, откуда до океана оставалось рукой подать, но очень скоро выяснилось, что место это российские мореходы издавна именовали Маркизовой лужей, из которой и до залива был путь не близкий, не говоря уже о самой Балтике. Родимый же океан отстоял так далеко, что, казалось, легче было попасть на Луну, чем оказаться на его громыхающих просторах.

— А давненько я не заглядывал сюда, — невольно сказал вслух Свечков и начал считать, сколько же лет минуло, и набралось их так много, что он невольно отложил это занятие. — А... да шут с ними, с этими прожитыми годами... Не напрасно же они пролетели, и то ладно.

Наверное, не напрасно, если успел он пересечь в оба конца Индийский океан с Атлантикой и Тихим изрядно походил, это оказалось намного проще, чем опять хлебнуть водицы, солоновато-пресной и ужасно невкусной, из Маркизовой лужи. Вот уж воистину: никто не пророк в своем отечестве и никто не знает, какие пути ближние, а какие дальние.

Все эти дни на Свечкова накатывалась неслышная волна и тихонько подминала под себя его тревожную душу: тихая,

как догорающая в ночи свечечка, Людмила и Виктор Александрович, такой же неспокойный, как и он сам, только более угловатый и неудобный, что ли... «А жаль, что я не вел дневников, — подумал Свечков, — наверное, получилась бы любопытная и поучительная книга. — Он грустно усмехнулся. — А впрочем, хорошо, что я не вел дневников. Выставлять себя напоказ все-таки не самое достойное занятие: одни не поймут, другие посмеются».

Свечков боялся, что разговор с Лидией Семеновной всколыхнет ненужные воспоминания, которые отзовутся застаревшей болью, но и воспоминания не последовали, и боли не возникло, видимо, там все так хорошо перегорело, что, сколько бы ни сыпалось искр на те головешки и холодные угли, они уже не могли разгореться. «Ну и ладно, — решил он, — ну и хорошо. Не век же гореть одним и тем же огнем».

Он огляделся. На этой воде, среди этих берегов, повитых сизой дымкой, начинались его дороги, хотя — к черту! — при чем тут его дороги, когда тут зарождался сам Российский флот, без которого теперь стало невозможно понять отечественную историю.

Впереди уже замаячил купол Морского собора, широкоплечего и основательного, всем своим видом повторившего Византийскую Софию, Свечков начал высматривать знакомый голубовато-зелененький дебаркадер, к которому раньше приставали пассажирские теплоходы, но, сколько он ни высматривал, дебаркадер так и не открылся, а вместо него из воды неожиданно восстал серый бетонный причал со многими пирсами, к которым могло швартоваться сразу несколько судов, и Свечков с некоторым разочарованием вступил на кронштадтскую землю.

Ехавшие с ним сразу же ринулись штурмовать маленький автобус, и он тоже было подхватился вместе со всеми, но тотчас же остыл: «А собственно, куда спешить? Место в гостинице заказано, доложиться начальству всегда успеется».

Водитель автобуса повременил трогаться, видимо дожидаясь, пока Свечков наконец-то решит, ехать ему или идти, хлопнул дверцей, автобус фыркнул Свечкову в нос синим дымком и покатил, оставив Свечкова на площади одного. Можно было бы справиться, как пройти, но Свечков и тут остался верен себе: «Сами грамотные, разберемся что к чему».

Солнце уже хорошо пригревало, и по всему было похоже, что день выдастся жаркий. Свечков снял галстук, пе-

рекинул плащ на руку, подхватил портфель и зашагал, смутно припоминая, что сначала надо выйти к Летнему саду, а там улица — название ее он, разумеется, забыл — выведет его к Гостиному двору, от которого до бывшего дворца князя Меншикова рукой подать.

Он шел словно бы на ощупь, но очень скоро увидел от себя справа решетку Летнего сада и малость даже опешил — на кованых воротах висела заляпанная цементом фанерка: «Сад закрыт на реставрацию». Свечков осмотрелся, увидел небольшую дыру в ограде, воровато оглянулся и удачно пролез в нее. В саду было пусто и тихо, только поодаль тарахтел трактор да на газоне, уже густо поросшем травой, сидели трое мужчин в спецовках, видимо здешние реставраторы, и «соображали».

Сад оказался весьма скромным и словно бы прозрачным — листья на деревьях пробудились недавно, были величиной с ноготь и пахли перебродившим соком. Свечков ничего не помнил здесь и ничего не мог вспомнить, растерянно поглядел по сторонам, потер ладонью шею под воротником, как будто это могло просветлить память.

— Эй, отец! — крикнули мужики. — Кого ищешь?

— Да вот, — сказал, подходя к ним, Свечков, — раньше тут танцплощадка стояла.

Мужики покрутили носами.

— Не помним такой. Вроде бы стояла, а вроде бы и нет.

— Стояла — это точно, — сказал Свечков. — Давно, правда.

— Ну если давно, то оно, конешно...

— Ладно, поищу потом.

— Поищи, поищи, — сказали со значением мужики, — может, и найдешь, чего не потерял.

Продолжать разговор с ними не имело смысла, и Свечков через ту же дыру выбрался на улицу, чугунная мостовая которой уже начала излучать тепло, и больше нигде не задерживался, дошел до Гостиного двора, свернул налево и попал на Ленинский проспект. «Все правильно, — подумал Свечков, мысли которого как бы перестали повиноваться ему, — Гостиный двор стоит, а танцплощадку снесли. Хорошо, что не получилось наоборот. Все-таки памятник архитектуры и так далее... Хотя танцплощадка тоже в некотором роде память».

Дворец недавно, видимо, отреставрировали, он сиял пилонами и фронтоном, отражая свой праздничный лик в свинцово-угрюмоватых водах Итальянского пруда, по берегам

которого уныло грелись на солнце статуи невымирающих удильщиков. Без них Итальянский пруд потерял бы всю свою привлекательность для Свечкова, как Летний сад, лишившийся самого бойкого своего места — танцплощадки.

Тут все стояло незыблемо: дворец, Итальянский пруд, Усть-Рогатка, футшток, Петровский парк. Сквозь реденькую его листву, похожую на нежно-зеленую накидку, смотрелся сам Петр Алексеевич, прозванный Первым Российским Мореходом. И все-таки чего-то тут недоставало. «Снесли танцплощадку — ладно, — сварливо подумал Свечков. — Но тут-то что снесли? И зачем снесли? Ведь пустота же образовалась...» И вдруг он все понял: на Большом Кронштадтском рейде не было кораблей. Он на самом деле выглядел большим, каким не казался раньше, словно бы запущенным и унылым, как старый двор, брошенный хозяевами. «Одних уж нет, — растерянно пробормотал Свечков, — а те далече». Не было линкоров, не было старых крейсеров и лидеров — их разрезали и увезли Виктору Александровичу на переплавку, «на иголки», как выразился он сам, новые же корабли ушли в океан.

Он порылся в карманах, нашел нужную ему бумажку, на которой значились координаты капитана первого ранга Жвании. Его звали, так же как и брата, Виктором Александровичем, и должен был Виктор Александрович, по словам Малахова, взять Свечкова под свое крыло, иначе говоря, стать неким футштоком, с которого Свечкову в Кронштадте надлежало начать отсчет своих восхождений и погружений.

Свечков обогнул дворец, зашел в торцовый дворик, интуитивно открыл первую же дверь и нос в нос предстал перед вахтенным матросом. Матрос козырнул Свечкову, и Свечков поклонился матросу, и тот вызвал дежурного мичмана, который провел Свечкова по широкой парадной лестнице на второй этаж и передал его на руки другому мичману. Этот другой мичман отлучился на минуту, распахнул перед Свечковым дверь и пригласил его гостеприимным жестом.

«Ишь ты», — умилился Свечков и шагнул в кабинет, который оказался и построже, и посумрачнее кабинета Малахова, но тоже выглядел респектабельно. Из-за стола — Свечков успел рассмотреть, что ножки у стола напоминали львиные лапы, — вышел довольно-таки моложавый, несколько угловатый, с живыми, как ртуть, блестящими глазами капитан первого ранга Жвания, на всякий случай назвался: «Виктор Александрович», словно бы мимоходом за-

дернул черной шторкой карту, занимавшую собою полстены, усадил Свечкова на диван и сам сел рядом.

— Ну-с, дорогой, с чем пожаловали в наше флотское захолустье?

— Так уж и захолустье? — не поверил Свечков.

— Почти. Я теперь Кронштадт величаю «Церерой». Знаете ли, в прошлом веке образцовый фрегат «Цереру» «учредили для образования, как тогда писали, мало-помалу комендоров и начальников орудий на весь Балтийский флот». Мы тоже теперь кое-кому даем образование. Так что чем мы не «Церера»?

— Вам, конечно, виднее, кто «Церера», а кто не «Церера», — возразил Свечков, — но для меня-то Кронштадт всегда был и навсегда останется тем самым футштоком, от которого ведут родословную все наши флоты.

Жвания распахнул руки, словно бы для объятия, и радостно возгласил:

— Дорогой, согласен. Кронштадт — святой город: на его священные камни не ступала ни одна неприятельская нога. И не ступит, дорогой.

Зашел старший офицер, пошептал Жвании на ухо, не успела за ним закрыться дверь, появился дежурный офицер, за ним другой, кажется, штурман. Жвания с тоской посмотрел на часы и неожиданно повеселел:

— Игорь Александрович, приглашаю в кают-компанию. Истинное флотское знакомство начинается именно в кают-компании. Разносолов у нас, правда, никаких, но военторговские наши коки готовят отменно.

— Я, право, думал сперва устроиться в гостинице.

— Дорогой, зачем забивать голову всякой чепухой. Гостиница от вас никуда не уйдет, а пренебрегать флотским гостеприимством — это, знаете ли...

Свечков сразу же перестал артачиться, и артачился-то он больше для форсу, дескать, конечно, это все так, но все ж таки... Да и есть уже хотелось зверски. Той же лестницей с дубовыми перилами они спустились на первый этаж, прошли одним коридорчиком, другим и очутились в помещении, весьма напоминающем корабельную кают-компанию. За обедом присутствовали только старшие офицеры. Начались обстоятельные расспросы, с чем-де пожаловали да зачем пожаловали, и Свечков старался все солидно объяснить, хотя, если говорить по чести, и сам не слишком отчетливо представлял, зачем приехал именно в Кронштадт. Разумнее, наверное, было бы сказать, что приехал встретиться с отрочеством, но ведь старшие офицеры — не Лидия Семенов-

на, им просто так не бухнешь, и Свечков углубился в такие дебри, что Жвания даже заскучал над тарелкой борща.

— Дорогой, — наконец вмешался он. — Зачем все это объяснять? Звонил Малахов, сказал, что вы коренной балтиец, значит, свой, как говорят, в доску. Когда человек приезжает домой, он никому не объясняет, зачем приехал. Приехал, и все.

Это всем показалось настолько разумным, что за столом заулыбались, поняв никчемность своих расспросов, принялись за борщ, и обед пошел веселее.

— Виктор Александрович, если позволите... — начал было один из офицеров — вопрос, видимо, был общий, потому что едва ли не все подняли голову, — но Жвания тотчас же предостерегающе простер над столом длань.

— Не позволю... Сейчас подзаправимся, отведем, как завещали старики, адмиральский час, тогда и позволять начнем.

— А кстати...

И обед закончился непринужденно и даже весело — впереди предстоял адмиральский час, который на флотах испокон веку чтили и соблюдали свято.

В провожатые Свечкову Жвания прислал мичмана, который и повел его в гостиницу, заметив между прочим, что в доме том, отведенном под гостиницу, прежде жил комендант Кронштадтской крепости вице-адмирал Степан Осипыч Макаров, «большой человек», опять-таки к слову заметил мичман, и канцелярию свою там же держал, так что, может, Свечкову даже сподобится пожить в его кабинете.

— Содержат для хороших людей, — строго заметил мичман.

Провожатый как в воду глядел — Свечкову отвели бывший кабинет адмирала Макарова — огромную квадратную комнату с тремя окнами на улицу и совершенно пустую: в одном углу стояла железная матросская койка, заправленная выцветшим байковым одеялом, в другом — шкаф-ветеран, в третьем — тумбочка-модерняшка, в четвертом — однотумбовый фанерный стол, а посреди комнаты, сиротски пригорюнясь в окружении трех венских стульев с изогнутыми спинками, ждал второго пришествия обеденный круглый стол. Он, кажется, был ветераном среди ветеранов.

На улице парило, а тут стояла тихая прохлада и такая звонкая тишина, что, если аукнуть, в темных углах начнет гулять долгое эхо. Мичман словно бы испарился, а Свечков сперва посидел возле обеденного стола, потом перешел к письменному, опять вернулся к обеденному — везде было

неуютно, и создавалось впечатление, что сюда он зашел только на минутку, чтобы тотчас же сорваться с места и бежать в город по делам, хотя никаких дел у него в городе пока не было. Там, в Москве, ему думалось, что он обязательно в первый же день отыщет Олин дом с эркерами, поднимется на площадку и позвонит в дверь: была не была — повидался, но то, что там казалось удивительно простым и даже обязательным, здесь становилось ненужным, даже обременительным.

Свечков скинул пиджак и начал передвигать мебель, уверенный, что если ее поменять местами, то можно даже создать в некотором роде подобие уюта. За этим занятием его и застал мичман-провожатый. Он вошел без стука, а может, и стучал, только Свечков, занятый передвижкой мебели, не слышал его. Мичман воззрился на Свечкова и тотчас же попятился.

— Чегой-то вы делаете? — на всякий случай спросил он.

— Потом скажу... — сердитым голосом ответил Свечков. — Помогайте лучше шкаф двигать.

Вдвоем они быстро поменяли шило на мыло. Уютнее в помещении не стало, но теперь мебель заняла места, которые, по мнению Свечкова, она и должна была занимать и, значит, сделалась вроде бы немного роднее.

— Сарай, он сарай и есть, — с философским равнодушием заметил мичман.

— Не говорите... Сарай-то, может, и сарай, зато он теперь свой.

Мичман на всякий случай утвердительно покивал головой и сказал:

— Вас Жвания ждет на причале.

— Когда?

Мичман посмотрел на свои часы:

— Уже как две минуты.

— Что же вы раньше не сказали?

— За этим и шел, а вы заставили мебель передвигать.

Начинать послужной список в Кронштадте с опоздания было явно не в интересах Свечкова, но и появляться перед Жванией в растерзанном виде тоже большой чести не делало, и он быстренько сполоснулся под краном, пригладил взмокшие волосы, хотел было повязать галстук, передумал, перекинул через плечо пиджак и ринулся вслед за мичманом. Тот хотя и не поторапливал Свечкова, даже словно бы безучастно наблюдал за ним, но пошел так споро, что Свечков тотчас же начал отставать.

Жвания уже ждал их, нервно прогуливаясь по причалу, и еще издали громко сказал:

— Опаздываете, дорогой.

— Видите ли...

— Вижу, вижу. — Жвания указал Свечкову рукой на катер, но поднялся на него первым.

Старшина катера хорошим мичманским голосом рявкнул:

— Смир-рна!..

Жвания махнул рукой, крючковые отдали концы, двигатель затарахтел, забился, вода за кормой взбунтовалась, и катер, минуя корабли, легонько подталкивая перед собою округлую волну, которая ломалась перед его носом, выбрался на Большой Кронштадтский рейд.

Из рулевой рубки катера рейд не казался ни заброшенным, ни печальным, а был он просторный, и по нему, словно по спелой ниве, гулял тихий, даже словно бы задумчивый, ветер. Волны под стать этому ветру шли ровными грядами, только изредка самая шаловливая из них поднималась на цыпочки и рассыпала шуршащую пену, а рассыпав, становилась такой же скромной и округлой, как и все прочие.

Прямо перед ними прятался в сиреневых берегах веселый город Ломоносов, разумеется, по-флотски — Рамбов, позади же уходил в такую же дымку сумрачный, насупившийся заводскими дымами Кронштадт. Свечков не имел ни малейшего понятия, куда они идут, но делал вид, что все давно и наперед знает. Жвания же полагал, что Малахов «ввел Свечкова в курс дел», и поэтому помалкивал, занятый своими расчетами и подсчетами. Дебет с кредитом у него, кажется, сошелся, и он радостно провозгласил:

— Все, дорогой, завтра ужинаем дома.

— А успеем? — с деланной озабоченностью спросил Свечков, который никуда не спешил, а следовательно, и не опаздывал, предаваясь радостному ощущению свободы и простора, открывшегося перед ним. — Хотя, конечно... — Он опять сделал вид, что все знает.

— План наш таков, — тем не менее сказал Жвания. — В семнадцать ноль-ноль начнем посадку десанта на корабли, завершим ее и в ночь вытянемся на рейд. Домой возвращаться не будем, чтобы попусту время не терять. Заночуем на кораблях. А утром пойдем в точку высадки десанта, которую и произведем в одиннадцать часов. Оттуда корабли перейдут на Красногорский рейд. Там мы пообедаем, дождемся катера. Корабли вернутся на Балтику, а мы — домой.

— Они разве не кронштадтские?

— Мы же флотское захолустье, образцовый артиллерийский фрегат «Церера».

— А у Кронштадта и всегда-то судьба была рваной. — Свечков усмехнулся. — Он то крепость, то «Церера».

— Я, дорогой, — сердито сказал Жвания, — предпочитаю быть крепостью.

Катер пересек Большой рейд и, обогнув остров Котлин, устремился на материк, радостно постукивая мотором. На горизонте открылся Толбухин маяк, но катер не пошел к нему, а опять свернул и, все так же весело болтая, приподнялся немного и помчался навстречу ветру, который словно бы подгонял перед собой широкие волны Финского залива.

Жвания пригласил Свечкова в салон, спустился и сам, снял тужурку с галстуком, уселся на диван, расстегнул у рубашки ворот и только тогда сказал:

— Крепость не крепость, а тоже помаленьку, дорогой Игорь Александрович, воюем. Завтра десант высадим, потом корабли ОВРа начнут учебное бомбометание. Жизнь, она ведь везде жизнь: и в океане, и на «Церере».

— И все-таки океан не «Церера».

— Да ведь я до этой «Цереры» командовал авианесущим кораблем «Тбилиси», а до «Тбилиси» — легким крейсером «Багратион». Прежде чем сесть в эту Маркизову лужу, я все океаны пропахал. В любую точку Мирового океана ткните пальцем — почти в каждой найдете мою бороздку. У меня, дорогой, весь род так сложился: виноградари, пахари и немного поэты. Если который не поэт, так тот и не Жвания.

— И какие же ветры вынесли ваш фрегат в Маркизову лужу? Если это, разумеется, не секрет...

— Несчастье у меня случилось. Жена тяжело заболела, а тут в Ленинграде хороший научный центр. Командование и пошло мне навстречу — перевело в Кронштадт. — Он заметно погрустнел, и глаза у него стали большими и печальными. — А я все надеюсь, что ветры снова унесут мой фрегат в океан. Кто хлебнул океанской водицы, тому уже Маркизова лужа кажется мутноватой.

— А я ведь тоже собираюсь в океан, — неожиданно сказал Свечков.

— Вот и пошли со мной, — слишком уж обыденно сказал Жвания, как будто приглашал в кают-компанию выпить стакан чаю.

— Право, я еще не сделал выбора, — в раздумье промолвил Свечков. Тон у него был такой, как будто его звали и туда, и сюда, а он теперь не знал, куда же ему решиться пойти. — Есть соблазн сходить на новом «Кирове». Малахов

же считает, что если не понюхать подводного плавания, то невозможно почувствовать душу современного флота. А я сам, право, не знаю, кому отдать предпочтение, — повторил Свечков.

Жвания даже руками развел:

— Ну, дорогой, я не понимаю вас... При чем здесь подплав, когда вы — офицер крейсерской службы. И потом, «Киров» еще только учится ходить, а авианесущие корабли давно освоили океан. Я вам составлю протекцию на «Тбилиси». Им сейчас командует мой земляк Гогоберидзе. Дорогой, не пожалеете. «Тбилиси» — это глаза флота, это его уши. Это стремительность, маневр, мощь. Вы понимаете, что это такое?

Это-то Свечков всегда понимал, имея в дипломе по тактике отличную отметку, правда, тот свой первый диплом он спрятал подальше, чтобы он даже видом своим не напоминал того, что с ним было связано. И Свечков долгие годы не вспоминал, отрешась от своего прошлого — курсантского и лейтенантского, сохранив только отрочество, одетое в форму юнги, нахально поглядывавшего на него с пожелтевшей альбомной фотографии, выставив нос-пуговку.

А между тем глаза у Жвании опять стали радостными, он поглядывал то в один иллюминатор, то в другой и радостным же голосом говорил:

— Идите в океан на «Тбилиси», не пожалеете. Там не служба, а сплошные походы и полеты. В свое время я обожал своего «Багратиона», но «Тбилиси» по сравнению с «Багратионом» — сказка.

— Хочу в сказку, — вполне серьезно сказал Свечков

— Я вас понимаю, потому что вы — это, по сути дела, я. Не правда ли, дорогой?

— Так точно, — согласился Свечков. «А ведь мы со Жванией, кажется, ровесники, и я мог бы водить в океан и «Багратион», и «Тбилиси», — подумал он. — Но корабли-то водит он, а не я. Это так просто: он, а не я. А скоро, по всей видимости, и он не поведет. И это тоже будет просто: не я, не он, а кто-то третий. И этот третий, наверное, будет удачливее нас». — Вы довольны судьбой? — быстро спросил он Жванию.

— Нет, — так же быстро ответил Жвания. — Чтобы быть довольным, надо находиться в океане, даже хотя бы простым моряком.

— Но ведь когда-то вы снова захотите уйти в океан?

Глаза у Жвании заблестели, высветив быстрые огоньки, и он смачно ударил кулаком по ладони левой руки.

— А у меня это желание никогда и не исчезало. Я только телом здесь, а душа-то у меня там.

— Значит, до встречи в океане?

Жвания просиял:

— Так точно.

«Прекрасно, — подумал Свечков. — Жвания уйдет в океан. Но кто же тогда запретит это сделать мне?..»

Свистнула переговорная труба, Жвания вытащил пробку-свисток и сказал в раструб:

— Слушаю.

— Товарищ капитан первого ранга, подходим к точке.

— Добро.

Жвания не спеша застегнул ворот рубашки, повязал галстук, надел тужурку, пробежал пальцами по пуговицам, лихо посадил фуражку на голову и поднялся наверх первым.

«Прекрасно, — опять подумал Свечков. — Для того чтобы понять флот, необходимо уйти в океан. Но для того чтобы уйти в океан, надо понять флот. Прекрасно... Но ведь Российский океан начинался именно в Маркизовой луже. Вот тут, ну, может, чуть ближе к Питеру...» — И он вслед за Жванией поднялся в рулевую рубку. Часы показывали без четверти пять вечера, говоря военным языком, шестнадцать сорок пять.

Катер ловко подвалил к крайнему пирсу, и на его борт тотчас же поднялся капитан второго ранга, представился Жвании:

— Командир отряда десантных кораблей...

— Есть. Доложите обстановку.

— Получено радио: техника и мотострелки на подходе.— Командир отряда глянул на часы. — Будем загружаться попеременно: один корабль — мотострелки, другой — танки, мотострелки, танки. Погрузку начнем, — он опять глянул на часы, — согласно вашему приказанию в семнадцать ноль-ноль.

— Добро.

Командир отряда молодцевато повернулся, хотя в рубке было тесно и вряд ли стоило показывать молодцеватость, и сбежал на пирс, а скоро за недальним светлым березнячком послышался нарастающий гул, как будто в открытую трубу ворвался ветер. Танков еще не было видно, а над березнячком уже начала подниматься желтовато-белесая пыль, которая густела на глазах, превращаясь в облако. Оно повисло на только что оперившихся березках, и они не выдержали тяжести и одна за другой исчезали в этой клубящейся гро-

хочущей пучине, из которой наконец появился первый танк, за ним второй, третий... В общем гуле уже можно было различить поскрипывание и лязг траков. Башни у танков глухо задраили, видимо боясь пыли, только на переднем маячила голова в черном горбатом шлеме.

Перед въездом на пирс их поджидал моряк, он вскинул перед собою сигнальные флажки, и головной танк притормозил, качнул орудием влево, вправо и замер, за ним, так же качнувшись, замер второй, потом и третий... Гул постепенно стал угасать и скоро затих совсем, а там, за леском, начал возникать новый, и, пока не заполонил собою все небо, к Свечкову долетали человеческие голоса, и слышалось легкое похлопывание волн о борта кораблей.

Погрузка танков и бронемашин на корабли началась точно в семнадцать часов, как это и было обусловлено; сперва машины, пятясь, съезжали на аппарели осторожно, как будто на ощупь пробуя прочность этих сооружений, но потом освоились, и очередь стала заметно подвигаться.

Жвания ушел, исчез и старшина катера, и Свечков остался один. Сперва он почувствовал себя сиротски-одиноко, ему даже взгрустнулось, вот, дескать, позабыли-позабросили, а потом он вынес из рубки табуретку, уселся поудобнее, подставил лицо неяркому уже и нежаркому солнцу и вдруг понял, что чертовски устал и хочет спать. «Этого еще не хватало», — попенял он себе и начал преувеличенно внимательно разглядывать корабли, стоявшие под погрузкой. Они были странные, с задранными носами, которые заканчивались не штевнями, а прямоугольными аппарелями. Эта аппарель на время погрузки опускалась, и по ней, как по мосту, въезжали в темное чрево корабля танки и бронемашины. Их там исчезло уже много — Свечков сбился со счета, — а они все шли и шли, составив грохочущий бронированный хоровод, которому не было никакого дела до окружающего и высший смысл которого состоял в том, чтобы идти. И вдруг чья-то воля одним мановением флажков прекратила это тревожное шествие. Опять стало тихо, и в присмиревшей тишине Свечков услышал голос Жвании:

— Командир, поднимайте аппарель и отходите помалу своим ходом. На якорь станете в акватории.

— Есть, — ответил через репродукторы командир корабля.

Все-таки страшновато было даже подумать, что один человек мог прекратить или продолжить это шествие, сообразуясь только со своей волей и с высшим замыслом, который тоже был чьей-то волей, а значит, одна воля управляла

другой волей. Весь этот организм, не имевший ничего лишнего, подобно человеческому организму, был заведен сегодня до отказа и действовал надежно и четко.

Корабль стал отшвартовываться, освобождая причал другому, чтобы этот другой продолжил его пиршество. Свечков даже подался вперед, вслушиваясь в команды, которые поступали с мостика корабля, как бы проверяя свою память, и неожиданно что-то смутило его, он поднял глаза и вздрогнул: перед ним стоял матрос и молча улыбался.

— Вы чего?

— Я вас зову ужинать, а вы не слышите. Капитан первого ранга приказал, чтобы вы шли на СДК-16. Он там будет вас ждать.

— Это который же из них?

— А вот тот, который сейчас начнет швартоваться. Пока мы идем, он уже и сходню подаст.

— Приказано, — сказал Свечков, — значит, приказано. Надо выполнять.

На самом деле, пока они переходили с причала на причал, СДК-16 и ошвартовался, и сходню подал, и аппарель опустил, на которую уже въезжал первый танк, сильно покачнув корабль.

Матрос проводил Свечкова в кают-компанию, весьма скромное помещение, если сравнивать с кают-компанией крейсера. Посреди кают-компании параллельно борту стоял общий стол, а возле переборки на шкафчике — черно-белый телевизор. Жвания сидел за столом один, офицеры, видимо, поужинали раньше, и в ожидании Свечкова рассматривал картину на переборке, намалеванную, наверное, корабельным художником. На картине СДК-16 высаживал десант. Корабль художник выписал весьма подробно и с любовью, по всей видимости, срисовал с фотокарточки, а все прочее — вставшее на дыбы море, полосу прибоя, которую вплавь преодолевали десантники, — явилось следствием его буйной и несколько необузданной фантазии, поэтому и картина получилась условной, далекой от реальной жизни. Жванию, кажется, в основном и интересовала эта сторона дела.

— Дорогой, вас жду, на картину смотрю, думаю, — обрадовался Жвания приходу Свечкова. — Куда, думаю, подевался Игорь Александрович и почему, думаю, корабль на картине настоящий, а море чудное какое-то?

— А это художник его таким увидел.

— Странные глаза у художника. На одно смотрит — правильно видит, на другое смотрит — все неправильно видит.

— Это называется вымыслом.

Жвания покачал головой, видимо, не поверил.

— Меня бы за такой вымысел быстро по шапке. У нас все должно быть само собой, а не вымыслом. Если мне сказали стать под погрузку в семнадцать ноль-ноль, так я и стану в семнадцать ноль-ноль. Если мне велено прийти в точку, так я и приду в эту точку, а не в другую. Мир должен быть реален, но если он не реален, то как я стану людей учить военному делу?

Вестовой поставил на стол закуску: селедку, добротно приправленную луком, паштет из банки, колбасу, масло, спросил, сразу ли нести горячее или подождать.

— Вы меня удивляете, — недовольно сказал Жвания вестовому. — Конечно, подождать. — И, обратясь к Свечкову, спросил: — Вот, дорогой, поясните мне, почему так получается: в одном деле должна быть абсолютная точность, в другом она может отсутствовать начисто.

Свечков понял его и усмехнулся:

— Ах, Виктор Александрович... Да в вашем деле малейшая неточность может привести к катастрофе. В случае же с нашим художником, — он кивнул на переборку, — вряд ли что произошло, да и могло произойти. Правда, картина привлекла ваше внимание, так это скорее всего потому, что вы скучали в гордом одиночестве и невольно пригляделись к ней. В другое время вы просто не заметили бы ее, тем более что и висит-то она на самом невидном месте. Впрочем, завтра мы эту картину увидим в действии.

— Так точно... И смею вас заверить, что уж там-то не будет никакой фантазии, хотя, — Жвания немного помялся, — и не без условностей.

За разговором они незаметно подобрали всю закуску, Жвания позвал вестового и голосом добродушным, но в то же время и несколько виноватым спросил:

— А что, у вас до второго больше ничего не полагается? Скудновато живут у вас товарищи офицеры.

Вестовой заулыбался во весь рот, поиграв на щеках ямочками, и скрылся в буфете, и через минуту на столе уже стояла банка шпрот, нежирная свиная тушенка и маринованные огурцы.

— Вот это уже порядок, — сказал миролюбиво Жвания. — Как у нас говорят: гостя прежде накорми, а потом спрашивай, кто он и откуда. Нас, правда, не надо спрашивать, кто мы и откуда, но кормить все равно обязаны. Верно я говорю? — спросил он вестового.

— Так точно, товарищ капитан первого ранга.

Корабль вздрогнул и нехотя покачнулся, видимо, там, на носу, въехали не совсем удачно. Жвания поморщился, отложил вилку в сторону и настороженно прислушался, но все обошлось, и толчки больше не повторялись. Жвания со Свечковым как бы утратили интерес к разговору и некоторое время молча подбирали с тарелок остатки закуски.

— Величайшая все-таки сила — военная организация, — наконец заметил Свечков. — Давеча я не потерялся, а со стороны наблюдал за погрузкой. Все словно бы слилось воедино, и я никак не мог найти для себя те концы и начала, которые сплели этот удивительно чуткий и как бы замкнувшийся в себе хоровод.

— Концы и начала — это приказ. — Жвания отложил нож с вилкой в сторону. — Если хотите — боевая задача.

— Иначе говоря — чья-то воля.

Жвания приклонил голову к одному плечу, подумал, приклонил к другому, опять подумал и только тогда уж сказал:

— Если вам угодно...

— Сегодня, скажем, здесь преобладала ваша воля, но над вашей волей стоит и другая воля, скажем, Малахова, а над другой — третья...

— Дорогой, военная организация — это человеческий организм, где нет и не должно быть ничего лишнего и где все должно соответствовать своему месту и назначению. Если это рука, так это рука, а если голова, так, простите, она и должна быть головой.

— Но если военная организация есть в некотором роде повторение человеческого организма, о чем я тоже сегодня подумал, то не считаете ли вы, Виктор Александрович, что она в своем роде уже достигла своего совершенства? — спросил Свечков.

— Природа задумала человеческий организм как некое совершенство, — согласился Жвания, — но природа же постоянно и совершенствует его.

— Кстати, замечу, что находятся горячие головы, считающие некоторые принципы военной организации антидемократичными, лишенными гуманизма, что ли.

Жвания оживился и даже заерзал на стуле.

— Дорогой, а вы не спрашивали те головы, что́ они понимают под словами «демократия» и «гуманизм»?

— Скажем так: проявление человеческих свобод.

— Каких свобод? В моем понятии совесть, честь, достоинство, долг — это человеческие свободы. Я, например,

выбрал эту свободу и не раскаиваюсь. — Жвания замолчал, и неожиданно лицо у него озарилось. — Дорогой, — было начал он, но в кают-компанию вошли командир отряда кораблей и армейский подполковник, видимо старший, как подумалось Свечкову, в группе танкистов и мотострелков, и доложили, что погрузка завершена, танки и бронетранспортеры принайтованы, а личный состав размещен в кубриках десанта.

— Добро, — сказал Жвания. — Приглашаю к столу. Через двадцать минут, — все посмотрели на часы, — назначаю совещание. Прибыть всем командирам кораблей и командирам танкистов и мотострелков. Еще раз уточним детали завтрашнего десанта. После совещания начнем вытягиваться на рейд.

— Есть, — едва ли не в один голос сказали капитан второго ранга и подполковник и прошли за стол.

— Десант — это скрытность, — как бы в воздух заметил Свечков. — А рейд все-таки место открытое.

— Так точно, дорогой, вот вам и первая условность.

— Если есть первая, то должна последовать и вторая?

— Так точно. Десантируются обычно ночью, мы же производим высадку днем.

Капитан второго ранга и подполковник внимательно поглядели на Жванию со Свечковым, пытаясь уловить смысл их разговора, но не уловили, а спрашивать не сочли удобным и принялись за еду.

— А третья?

Жвания рассмеялся:

— Врага не будет. Враг-то условный.

— Итак, завтра будет нарисована реально-условная картина?

— Так точно...

— Ну что ж, корабельный художник не очень-то и погрешил перед истиной.

Жвания со Свечковым поняли друг друга и посмеялись.

Солнце село, и на залив вместе с легким туманом поплыли сумерки. Корабли вытянулись на рейд, отдали якоря и стали на бочки. Все наконец-то угомонилось, ушли последние курильщики с бака, и на палубе остались только вахтенные.

Свечкову отвели крохотную каюту размером с вагонное купе, но в размерах ли было дело: день выдался огромным, с коломенскую версту, и в этом дне столько всего было, что

этого всего в иной обстановке хватило бы на месяц. Завтра еще предстояло столько же, и, следовательно, надо было хорошенько выспаться. Свечков разобрал койку, разделся, уже и ногу на постель занес — и вдруг понял, что усталость-то есть, а спать не хочется, следовало, наверное, еще немного побродить, чтобы впечатления улеглись и больше не будоражили.

Он отдраил иллюминатор и начал смотреть на залив, пытаясь восстановить в памяти весь прожитый день, словно бы заглянуть в него. Неожиданно из небытия выплыло страдальческое лицо сестры. Оно означилось так явственно, что, казалось, стоило только протянуть руку, и можно было погладить его.

«Что это такое? — Свечков отшатнулся от иллюминатора с тихим ужасом. — Да что же это такое?» Он потер глаза и тихо рассмеялся: видение исчезло, и ему сразу стало легко и спокойно. Видимо, все эти дни он подсознательно помнил о ней и она о нем думала, а потом он устал, и усталый мозг превратил его спрятанные мысли в образ, почти осязаемый. Свечков почувствовал, что захотелось спать, он еле доплелся до койки, хотя и было-то до нее не более трех шагов, повалился поверх одеяла и тотчас же заснул.

Проснулся Свечков от приглушенного грохота. Он спрятал под одеяло озябшие ноги и прислушался: о палубу билась якорь-цепь, и негромко подрагивали переборки. Он понял, что проспал не только побудку, но и сигнал аврала — корабль уже снимался с якорей.

Кое-как Свечков привел себя в божеский вид и поднялся на верхнюю палубу. Солнце взошло недавно, но грело ощутимо, и воздух с берега уже накатывался теплыми волнами. «Хорошо-то как, — подумал Свечков, подставляя лицо солнцу, которое как бы стирало с него последние остатки сна.— Это утро, и эта тихая вода, и тот синий берег, и солнце, и корабли. Может, прежде всего — корабли».

Корабли уже вытягивались в кильватерную колонну, и СДК-16, на котором находился Жвания, шел посредине. Причин, побудивших Жванию принять такой походный порядок, Свечков, не бывший на совещании, не знал, но, подумав недолго, он пришел к мысли, что, по всей видимости, в точке высадки десанта корабли примут строй фронта, повернув «все вдруг», и тогда флагман, естественно, окажется посредине, откуда ему станет сподручнее руководить высадкой. «А я еще чего-то могу, — подумал Свечков. — Нет, право, если бы вовремя подучился, то, наверное, и смог бы».

Он поспешил на мостик. Жвания уже утвердил курс и, устроясь на раскладном стуле, машинально оглядывал залив, который ближе к Толбухину маяку начал споро раздвигать берега. Они на глазах теряли свои очертания и становились неширокой синей полосой, отделившей воду от неба. Жвания молча подал руку Свечкову и указал глазами на стул возле себя. Свечков присел, но вступать первым в разговор не счел удобным, так они сидели и помалкивали.

Остался за кормой Толбухин маяк, и Красногорский рейд с Шепелевым маяком ушли в сторону, берега совсем растопились в воде, и во все стороны разлилась необъятная голубовато-серая равнина, похожая на только что вспаханное поле. Стало заметно покачивать, хотя такую волну корабли обычно не замечают. «Ах, да они же плоскодонные, — сообразил Свечков. — Конечно же плоскодонные». — И сказал, пытаясь казаться серьезным:

— Ну вот, Виктор Александрович, вчера мы говорили об океане, и вот он, как в сказке.

— Дорогой, у нас говорят: кто привык к крепким напиткам, того чаем не удивишь.

— Товарищ капитан первого ранга, — доложил командир, — через полчаса будем в точке поворота.

— Есть, — отозвался Жвания и поднялся, за ним встал со своего стула и Свечков, хотя Жвания и показал жестом, что спешить ему некуда и он может спокойно себе посиживать.

— Как можно, — сказал Свечков, — сейчас же корабли начнут перестраиваться.

— Так точно.

Свечков послонялся по мостику, нашел себе место, где бы он никому не мешал и откуда бы ему все было видно хорошо. Тут, правда, поддувал ветерок, но он рассчитал, что, когда корабли повернут, эта сторона станет подветренной и солнечной и, таким образом, проиграв сейчас немного, потом он выиграет вдвойне.

— Товарищ капитан первого ранга, подходим к точке поворота.

— Есть. Поднять сигнал «Поворот все вдруг».

— Корабли отрепетовали сигнал.

— Есть.

— Точка поворота.

— Есть. Исполнительный долой.

— Право на борт.

Свечков ждал эту команду, повертел головой, которая до неприличия стала подвижной; корабли круто пошли вправо,

образовав собою фронт, и почти тотчас же в воздухе раздался звенящий звук, он нарастал, как бы множась, и нельзя было определить, где он возникает: поднимается ли от воды, или ниспадает с неба. Свечков опять повертел головой и увидел вертолеты, которые выходили из-за кормы строем фронта и, опустив носы долу, улетали в сторону берега.

— Утюжить пошли, — со знанием дела сказал сигнальщик. — А потом еще и транспортные появятся. Тогда и мы своих высадим.

— Да-да, — машинально ответил Свечков.

Одна волна скрылась в стороне невидимого берега; там забухали взрывы и раздался треск автоматических пушек, а в небе возникала уже другая волна; эти вертолеты были более громоздкие, видимо, шел воздушный десант.

В эти минуты Свечков не решался подходить к Жвании. Тот был молчалив, сосредоточен и более, чем обычно, угловат. Вдали резко означился берег, он словно бы долго не мог выйти из воды, а потом распрямился во весь рост, и оказалось, что до него рукой подать. Штурман скорым шагом подошел к пеленгатору, навел его на берег, поколдовал минуту и доложил:

— Есть ориентир.

— Добро. Передайте на корабли: пошел десант.

— Опустить аппарель. — И когда аппарель опустилась, а корабль потерял ход и начал помалу разворачиваться, раздалась команда: — Пошел десант.

Первый танк, оглушительно стреляя мотором и чадя синим перегаром, поелозил на аппарели и едва не клюнул носом. Жвания даже крякнул от досады и тихо сказал командиру:

— Опустите аппарель еще ниже. Это же не наши машины. Они еще только учатся плавать.

Свечков понял, что под словами «наши» и «не наши» Жвания имел в виду морскую пехоту, которая уже десятки раз десантировалась, и обычных танкистов и мотострелков, впервые почувствовавших большую воду.

Танки с бронетранспортерами начали выбираться на мелководье и загрохотали из своих пушек и пулеметов; опять накатилась волна вертолетов, и, когда она схлынула, первые машины уже вышли из воды. На берегу бой еще только разгорался, а в море все уже было завершено, командиры кораблей доложили, что все машины с личным составом покинули борт, и Жвания разрешил командиру отряда отвести корабли на Красногорский рейд.

— Я вам обещал, что к ужину доставлю в Кронштадт? — лукаво спросил Жвания.

— А когда корабли уйдут на Балтику?

— Завтра в ночь.

— Если бы только можно было остаться на эту ночь на рейде?

— Что такое, дорогой?

— У меня с этим рейдом многое связано. Боюсь, что сюда уже больше никогда не вернусь.

Жвания задумался, сложил на груди руки в замок, пошевелил пальцами, потом замок разомкнул.

— Добро, катер за вами придет завтра к семнадцати.

— Буду вам признателен.

— Ну при чем здесь признательность. Мы же свои... Раз надо, значит, надо.

7

На рейде Жванию поджидал катер, и Жвания, едва отобедав, ушел в Кронштадт, а на кораблях объявили большую приборку. Машины, видимо, сильно наследили, и теперь предстояло все выскрести и вычистить, чтобы на Балтику вернуться в приличном виде.

Свечкова словно бы забыли, и он не напоминал о себе — ему надо было побыть одному. На Красногорском рейде начиналась его флотская судьба, на Красногорском рейде она, кажется, и закончилась. Впрочем, в некотором роде она могла и продолжиться — в этом он уже начал мало-помалу убеждать себя, — но по стечению обстоятельств и продолжение-то свое она обрела опять-таки здесь же — на Красногорском рейде.

Большую приборку Свечков пересидел в каюте, дождался сигнала окончания, поднялся наверх, постоял на правом борту, потом перешел на левый, спустился на бак. Он искал ту самую бочку, к которой тогда швартовался их крейсер — корабли первого ранга имели на Красногорском рейде постоянные бочки, — и, кажется, нашел ее. На той бочке сегодня стоял сосед. Вряд ли кто помнил, что произошло тут четверть века назад, но он-то ничего не забыл — память жила в нем, а он жил памятью, и в этом была своя прелесть. Но это же, к сожалению, порой мешало ему отделить прошлое от настоящего. Давненько это случилось, вернее было бы сказать: очень давно. Вытягивались они тогда, как и СДК сегодня, на Красногорский рейд, и сопровождал их

гаванский буксир — ГБ, чтобы помочь завести концы на бочку. Такие буксиры не имели даже своего имени, как дворняжки, их звали ГБ-6, ГБ-13, были они неуклюжие и плюгавенькие, как говорится, беспородные.

Из Кронштадта выходили при полном штиле, а за Толбухиным маяком разыгрался ветер, нагнал волну, и, когда на траверзе открылась Красная Горка, волна нагулялась уже до четырех баллов. Крейсер почти не замечал ее, а буксиришко начал валиться с борта на борт.

С мостика крейсера раздалась команда:

— Буксиру перейти на левый борт, принять швартовы и завести их серьгой на бочку.

Буксир жалобно вскрикнул, тем самым дав понять, что команду принял, поднатужился, задрожал, выбросил из трубы клуб серого мятого дыма и начал поворачивать. Он был неуклюжий, низенький и почти утопал в воде, а когда стал к волне лагом, то она пошла через него накатом. Световые люки в машинное отделение закрыть, видимо, забыли, и вода обрушилась прямо в котел. В утробе буксира заворчало, заурчало, через люки повалил пар, и буксир, потеряв управление, щепкой замельтешил среди волн. На крейсере даже сразу не поняли, что произошло...

В утробе буксира в последний раз проурчало, грохнул взрыв, и буксир начал проваливаться в бездну, утопя сначала корму и задрав нос. Люди на нем хватали круги и выбрасывались за борт.

— Боцман! — закричал с мостика командир. — Баркас и катер — на воду. Команде спасательной шлюпки — в шлюпку!

На рейде стояли и другие корабли, их катера и баркасы находились под выстрелами, и со всего рейда к крейсеру помчались спасатели...

После ужина Свечков опять поднялся наверх и опять оглядывал рейд, и, если бы не стояли на нем десантные корабли, он был бы такой же безрадостный, как и Большой Кронштадтский. Свечков уже жалел, что остался на рейде.

На юте матросы пели под гитару, эти песни Свечков слышал впервые и они казались ему чужими. Повинуясь минутному порыву, Свечков отправился к матросам на ют и там попросил:

— Братцы, а вы не знаете какую-нибудь песню моей молодости? Понимаете, порой до слез хочется вспомнить, как пахнет паленая по весне сухая трава. Вот так сейчас и с песней у меня. Уважьте, братцы.

Матросы переглянулись: видимо, и просьба для них была необычная, и тон просителя никак не вязался с окружающей обстановкой; гитарист перебрал струны, прижал их ладонью, снова перебрал и запел не сильным, но приятным тенорком:

Споемте, друзья, ведь завтра в поход,
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.

«Седой боевой капитан» матросы пропели со значением, значит, в их представлении капитаном был он, Свечков, и от этого легонько защипало в глазах и к горлу подкатился теплый комок.

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

Матросы допели и помолчали. Во все стороны простирался необъятный Красногорский рейд, на нем стояли только четыре средних десантных корабля — СДК, но и им предстояло завтра покинуть его. А волны все так же, как в пору молодости Свечкова, когда здесь собиралась вся эскадра, хлопали о борта своими жесткими ладонями, и так же, посвистывая в фалах, проносился над рейдом ветер.

— Спасибо, братцы, уважили.

— А хотите еще?

— Нет, благодарю... Все остальное пойдет в перебор.

А назавтра, как и обещал Жвания, за Свечковым пришел катер. Свечков попрощался с командиром корабля, который неожиданно расчувствовался и предложил:

— Вы же на Балтику собираетесь? Так пошли с нами.

— Если бы неделькой позже.

— Нет, — сказал командир, — неделькой позже мы уже будем за тридевять морей в тридесятом царстве.

— Обидно, — пожалел Свечков. — Очень обидно. Счастливого плавания.

— Благодарю.

Стоял полный штиль, только мертвая зыбь едва заметно вздымалась и опускалась, и создавалось впечатление, что море дышит. Катер бежал резво, четко и резко приговаривая, словно подсчитывая себе под ногу: так-так-так. Рейд

уходил за корму, уходил за корму и бывший форт Красная Горка, и корабли уходили, а вместе с ними и море. Впереди уже открылся Толбухин маяк, из-за которого скоро выглянул и Морской собор. Там, дальше за ними, была Маркизова лужа.

— Какой сегодня день?

Старшина катера, не ожидавший вопроса, вздрогнул от неожиданности и, ошалело поглядев на Свечкова, начал соображать, шевеля губами.

— Вчера была пятница, — наконец сказал он. — Выходит, сегодня суббота. Ну, и само собой...

— А это уж так... — весьма охотно согласился Свечков.

— Товарищ капитан первого ранга просил передать, что он до вторника убыл в Питер. С женой у него... — Старшина катера не договорил: может, не знал, что у Жвании с женой, а может, не хотел называть болезнь из суеверия, что это-де повредит больной.

— Да-да, — сказал Свечков и подумал: «В воскресенье пошатаюсь по городу, вдруг встречу кого из знакомых». Он тоже из суеверия даже про себя не назвал имени Ольги, все еще надеясь на встречу и боясь ненароком вспугнуть эту встречу.

Катер пришвартовался на Усть-Рогатке. Отсюда до гостиницы было всего ничего, но Свечков сперва заглянул в бывший дворец светлейшего, в котором с незапамятных времен в центральной его части помещался Дом офицеров, перекусил в буфете, купил кое-чего себе на завтрак и по пути в гостиницу забрел в Петровский парк. Липы уже опушились, но листва здесь была мельче, чем в Летнем саду, казалась ажурной, словно бы сплетенной кружевницей. Сквозь это кружево проглядывал позеленевший Петр Алексеевич, оттопырив сзади фалды своего бомбардирского камзола.

Когда-то Свечков «со товарищи» надраил этому достойному мужу глаза шкуркой до голодного блеска, а под руку, которую Петр Алексеевич держал кренделем, сунул буханку хлеба. Время было голодное, и Свечкова за это «человеколюбивое» деяние отправили на всю ночь драить трап. Драил он его снизу вверх — в этом и состояла суть наказания — и с той поры возненавидел все флотские трапы, исключая, правда, корабельные. С Петром же Алексеевичем он скоро поладил — Оля любила приводить Свечкова в этот парк, и тут они просиживали на скамеечке едва ли не все

его увольнительные часы, казавшиеся тогда удивительно короткими.

Свечков обошел Петра Алексеевича и раз, и другой, и оба раза читал его слова, отлитые в бронзе: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». «Вот так-то,— подумал Свечков,— «яко наиглавнейшее дело».

Там же, в парке, он нашел ленинградский телефон, бросил монету и набрал номер, проделал он все это со значительным видом, как будто Виктор Александрович мог оказаться рядом, и тогда бы Свечков маленько над ним подтрунил, дескать, все воюешь, брат, все обличаешь, а мы тут пашем. Брата дома не оказалось, соседка сказала, что вчера еще с утра ушел куда-то.

— На работу, — предположил Свечков.

— Да нет... — Соседка задумалась. — Костюм выходной надел... Вроде бы к кому-то в гости намылился.

— У него же был рабочий день.

— У них в литейке трехсменка, так они и работают поразному.

Назавтра он позвонил пораньше, и опять соседка словоохотливо сообщила, что Виктор Александрович появился раненько, хмурый и вроде бы как не в себе, разговаривать ни с кем не стал, переоделся и снова исчез. «Ну ясно — загулял, — решил Свечков. — Он же у нас шалый».

Весь день он бродил по городу, и его постоянно преследовала мысль, что чего-то в Кронштадте не хватает, и, кажется, сообразил: Кронштадт необычайно был молчалив. Свечкову вспомнилось, что раньше по воскресеньям с кораблей первыми съезжали на берег оркестры, и у каждого из них был свой сквер, которыми испокон веку славился Кронштадт. В Петровском парке — все-таки это был сквер, кронштадтцы величали его так скорее всего потому, что хотели показать свою независимость от Ленинграда, — играл оркестр с линкора «Октябрьская революция», в Летнем саду — с крейсера «Киров», тогда так и говорили: «Пошли слушать «Октябрину» или «А «Максим Горький» опять вальсы играет».

Теперь в Кронштадте слушать, кажется, стало некого, и опять Свечкову подумалось словами поэта: «Иных уж нет, а те далече».

За весь долгий день Свечков не встретил ни одного знакомого лица, хотя исподволь и приглядывался к прохожим, в одной женщине даже нашел сходство с Олей — такой она рисовалась ему, — догнал ее, не слишком вежливо за-

глянул в лицо и отшатнулся: перед ним была старуха лет семидесяти, хотя и с выправкой бравого гренадера. Ему стало стыдно, и он больше уже никого не догонял, только раз улыбнулся ему рыжеусый лейтенант, и Свечков в ответ ему улыбнулся, и каждый из них остался при своих интересах, если считать «интересом» бесцельное блуждание Свечкова по кронштадтским улицам.

В выходные дни он и в Москве-то не знал, куда себя деть, а в Кронштадте, где не оказалось ни одной знакомой души, и подавно можно было умереть от скуки. «Черт дернул меня остаться здесь на воскресенье, — раздражаясь, подумал он. — К Людмиле обещал заглянуть, у мамы не побывал. Болтаюсь здесь...»

Он с облегчением вздохнул, когда этот долгий день склонился к закату, купил бутылку «саперави», коробку конфет и наконец-то очутился в тихой адмиральской прохладе. Он распахнул все окна, в которые тотчас же рванулась волна теплого воздуха, но помещение было столь огромное, что волна растаяла уже посредине, а настороженно-печальные углы оставались все такими же холодными. «Как он мог работать в такой холодине? —невольно подумал Свечков о Макарове. — Тут только волков морозить. — Он налил себе вина, выпил, дождался, когда по телу потекла теплая истома, и мысли его неожиданно приняли другой оборот: — А впрочем, тут не так уж дурственно: тихо, в жару прохладно, зимой тепло, наверное, держится неплохо. Судя по всему, Степан Осипыч был мужик с понятием».

Утром он долго нежился в постели, сообразив, к своему неудовольствию, что он не представляет себе, как ему поступать дальше без Жвании. «Черт дернул меня остаться на рейде, — подумал он с неудовольствием. — А теперь что прикажете делать? Можно, конечно, позвонить Малахову в Питер, но ведь Малахов-то не дядя родной. Чего доброго, не так поймет, да еще и осудит. Ну их к богу в рай, эти самые звонки». И вдруг к нему пришла спасительная мысль: «Есть же ведь дежурная служба, на которую Жвания рано или поздно выйдет».

Свечков подхватился с постели, поняв, что зря потерял столько времени, быстро собрался, быстро перекусил — все бегом-бегом — и ринулся к дежурному офицеру.

— Видите ли... — было начал Свечков, но тот, казалось, только и ждал его, понимающе покивал головой и спросил:

— А что бы вы хотели?

— Я учился тут в Школе оружия, юнгой, разумеется.

А теперь где-то тут служит мой сокурсник капитан первого ранга Гетманов. Константин Константинович Гетманов.

Дежурный решал недолго.

— Я сообщу о вас дежурной службе Учебного отряда. А там вы сами разберетесь... Тем более вы — наш.

Свечков невольно просиял:

— Так точно...

Все складывалось удачно, и Свечков опять не стал спрашивать, как ему пройти на Флотскую улицу, просто взял и пошел, обогнул футшток, продефилировал мимо Гостиного двора, наобум пересек проходной двор и выбрался прямо к дому с эркерами, постоял, нашел Олино окно и побрел дальше. КП с тех давних пор, видимо, не переделывали, и он сразу узнал его, нажал на дверь ладонью и нос в нос столкнулся с дежурным офицером.

— Видите ли... — опять начал Свечков с этого приставшего к языку расхожего слова, которое никому еще и ничего не объясняло, но и этот офицер все увидел и понял.

— Гетманов сейчас у себя. Можете к нему пройти.

— Это куда?

— Третий подъезд, третий этаж. Там у них учебная и строевая части. Там же и его кабинет.

— С ума сойти, — только и сказал Свечков.

Дежурный с любопытством посмотрел на Свечкова.

— Этажом выше было наше ротное помещение. Я ведь из кронштадтских юнг, — попытался было начать свои пространные объяснения Свечков. Дежурный вежливо его слушал и даже кивал, а глаза у него были отсутствующие, и Свечков замолчал.

— Юнги — это хорошо, — сказал дежурный.

Вертушка тоже была старой, именно такой она и помнилась Свечкову, он прошел через нее и даже несколько растерялся от радостного изумления: минуло четверть века, сменились поколения, а на плацу Школы оружия, как и в его отрочестве, цвели те же черемухи и те же вишни, и в их белых кудрях, пахнущих хмельной горечью, копошились шмели.

Навстречу Свечкову попался мастеровой человек, сутуловатый, в желтом комбинезоне со следами ружейного масла, в старенькой мичманке с красной звездочкой — такие мичманки носили сверхсрочники сразу после войны. Свечкову человек показался знакомым, хотя в точности он и не мог решить, где с ним раньше встречался. Он невольно за-

медлил шаг, и мастеровой пошел потише, словно бы сменил резвую рысь на степенную иноходь, они даже было кивнули и разошлись. «Определенно я где-то его видел, — растроганно подумал Свечков, — право, я должен был его видеть, но где?» Это было первое более или менее знакомое лицо в Кронштадте, которое он, к сожалению, так и не признал.

Он дошел до своего третьего подъезда, но войти сразу словно бы не решился, а пересек плац и сел на скамью, обсыпанную первой черемуховой порошей. Свечков огляделся и сразу все припомнил до мельчайших подробностей, как будто он отсюда никуда и не уходил, и начал ждать, не распахнутся ли двери и не выйдут ли покурить на плац Женя Симаков с Левой Жигалиным. Двери на самом деле распахнулись, и на плац выкатился тучный мичман с брюшком и с неизменным дипломатиком в левой руке и направился к проходной. «Все правильно, — подумал Свечков, — и Лева не выйдет, и Женя не закурит». Он поднялся, отряхнул с брюк белые лепестки, открыл дверь и ступил на свой трап, вылизанный им в ту ночь только что не языком. Собственно, с той ночи и началось постижение флотской премудрости, когда он понял, что искусство повелевания равно искусству подчинения. А несколько позже он понял и другое: если эти категории, столь, казалось бы, несовместимые, находятся в гармонии, человек создан для военной службы, если же нет, пиши пропало; но быть созданным для службы — это еще не значит стать военным человеком. У судьбы множество порожков и крутых поворотов, и о который из них можно споткнуться, никто заранее не может знать.

Трап оказался совсем не таким большим, каким долгие годы рисовало воображение, на каждой ступеньке было по две округлые выемки, выбитые чуть меньше чем за век тысячами матросских башмаков.

Свечков постоял на одной площадке, на другой и очень скоро очутился на третьем этаже, отворил дверь — и перед ним вырос дневальный с боцманской дудкой на груди, чтобы было чем подавать сигналы. А дальше, как и следовало ожидать, все пошло своим чередом: дневальный вызвал дежурного, тот долго рассматривал документ Свечкова, кажется, ничего в нем не понял, вздохнув, вернул его и повел Свечкова по коридору, потом еще по одному и остановился перед дверью с табличкой: «Начальник школы техников».

— Спасибо, — сказал Свечков, — дальше я сам.

Он толкнул дверь и увидел за столом седеющего капитана первого ранга с тонким, даже несколько изящным, интеллигентным лицом и усталыми глазами, к которым, ка-

жется, уже прокрадывалась грусть. Безусловно, это был Костя Гетманов, и также безусловно, что Свечков на улице его не узнал бы. Гетманов нехотя кивнул на стул возле стола и настороженно посмотрел даже не на Свечкова, а поверх его головы.

— Чем могу служить? — спросил Гетманов все так же нехотя и все так же настороженно. Было видно, что человека недавно сильно обидели и обида эта не только не проходила, но словно бы еще и усиливалась, когда к ней прикасались. Впрочем, это могло и показаться Свечкову, потому что он уже кое-что слышал о Гетманове от Александрова и мог составить о нем свое представление.

— Костя, а ты меня не узнаешь.

Гетманов словно бы отшатнулся от стола и оглядел Свечкова заинтересованными глазами.

— Свечков? — морща лоб, он начал вспоминать имя. — Игорь?.. Ты?.. Что ты у нас делаешь?

— Прибыл к родным пенатам.

— Разве ты имеешь к нам какое-то отношение?

— Представь себе... Я же из юнг.

— Ах да, — сказал Гетманов, — помню-помню... — Хотя по глазам его было видно, что ничего он толком не помнил. — Прости, а разве школа юнг тут была?

— Нет, Костя, никакой тут школы юнг не было. Едва ли не со времен знаменитой «Цереры» тут имела честь квартировать Школа оружия, а вот в той школе была одна-разъединственная рота юнг. А размещалась та рота, Костя, у тебя на четвертом этаже. Так вот не позволишь ли подняться туда? Встреча с отрочеством в нашем возрасте не последнее дело.

— Погоди подниматься-то, — перебил его Гетманов. — Встретились в кои-то веки, так давай хоть посмотрим друг на друга.

— А может, не надо смотреть-то?

— Смотреть-то, может, и не надо, — согласился Гетманов, — а поговорить хочется. Ты в памяти-то у меня остался задиристым, петушистым. Сейчас-то петушишься?

— Нет, Костя, — Свечков погрустнел, — не петушусь. Безрадостное это занятие и хлопотное. Сегодня похлопочешь, завтра голова начинает болеть.

— Эт-то верно, — согласился Гетманов.

Они посмотрели друг на друга и отвернулись.

— Говорили мне, что ты последним командовал «Кировым»?

Гетманов выдвинул ящик из стола, достал пачку «Ленинграда», закурил и неожиданно глухо сказал:

— Вообще-то я не курю... И никому не разрешаю курить в помещении. Сигареты держу на крайний случай.

— Если это крайний случай, то не будем ворошить прошлое.

Гетманов перебил его:

— Да нет, чего уж... И не в прошлом дело... Прошлое — это когда прошло. А у меня оно свеженькое, как новая монета: как ни кинь, все блестит.

— Тогда извини.

— Не надо... Мне, может, только и поговорить с тобой. Тут-то кому что скажешь: поплачешься — осудят, поделишься — не поймут. Кручусь, как белка в колесе, а душа все там, в той самой коробке, которую сейчас дорезают на заводе. У меня ведь, Игорь, все шло, как по расписанию. Ни года не задержался ни в одном звании, не засиделся ни в одной должности. Ты же помнишь нашу жизнь, она что треугольник, в котором все стороны равны: возраст, должность, звание. Мой треугольник всегда был идеальным, все в нем соответствовало одно другому. Большое будущее — не хвастаю, Игорь,— сулили мне. Я и сам в него верил. Может, я-то больше верил, чем мне сулили, но не в том дело, сколько верил и сколько сулили, а в том, что вера большую силу имеет. — Он помолчал. — Ты ведь небось тоже тогда верил в себя?

— Верил, Костя... Да и как мне было не верить. Я ведь тогда взял приз командующего по стрельбе.

— Петушистый ты был, — заметил Гетманов, — а петушистых прежде всего бьют. А я, Игорь, всегда тихо жил, призов, правда, не брал, но по службе шел уверенно. После того как флот сперва сократили, а потом спохватились, так много вакансий для оставшихся открылось. Уверенность тогда во мне появилась, словно стальной стержень вставили. Знаешь, это всегда греет, когда стержень в себе чувствуешь. Какой бы ветер ни дул, а ты идешь прямо и не качаешься.

— Это я понимаю, —тихо сказал Свечков, потому что самому-то ему пришлось перенести много всяких ветров, которые не то чтобы гнули, а прямо-таки раскачивали его из стороны в сторону. — Это-то я хорошо понимаю, — повторил он.

— А потом, Игорь, — приказ... Я даже не поверил. Это как снег на голову... Отвел крейсер на прикол, флаг спустил... И одна сторона у треугольника сломалась.

— Погоди, еще не вечер... Погляди на Жванию — он же наш ровесник.

— У Жвании — возможность роста, а у меня — потолок. Все, приехали, можно распрягаться.

Свечков не знал, что надо говорить в подобных случаях, он давно через это прошел и успокоился, придя к разумному в его положении выводу: богу — богово, кесарю — кесарево, но все же и посетовал вместе с Гетмановым: как же это случилось, что человек всю жизнь провел на кораблях, исполняя командные должности, и вдруг нежданно-негаданно очутился на берегу. Хотя и на хорошем месте, тем не менее все ж таки словно бы и не у дел. «Как это говаривал старик Макаров? — невольно подумал Свечков.— «Дома — в море, на берегу — в гостях». Кажется, так». Теперь дома были другие, а у Гетманова начинались вечные гости.

— Знаешь, Костя, ты свое взял. Руднев не водил эскадры. Он всего лишь был командиром «Варяга». И Казарский остался в нашей памяти командиром «Меркурия». А у тебя был «Киров». Крейсер не из худших. Так что плюй на все и береги здоровье.

Гетманов отшатнулся на спинку стула и с минуту молча разглядывал Свечкова.

— Как можно, — промолвил он.

— А ты попетушись хоть раз в жизни. Петушком, петушком пробеги.

— Не-ет, — сказал Гетманов более твердым голосом, — как можно. — Он опять придвинулся к столу и навалился на него грудью, чтобы быть ближе к Свечкову. — А скажи, трудно привыкать к гражданке? — торопливым шепотом спросил он.

Свечков усмехнулся:

— Мне, Костя, не привыкать пришлось. Мне утверждаться надо было. А это не одно и то же.

— Завидую я тебе, — неожиданно сказал Гетманов.

— Нашел кому завидовать,—с досадой буркнул Свечков.

— Завидую, — повторил Гетманов.— Ты уже определился, а мне это еще предстоит. Я ведь всю жизнь учился только одному делу: командовать.

— У тебя будет пенсия, — нехотя заметил Свечков.

— При чем тут пенсия... Я же здоровый мужик. На мне пахать можно.

— Не сучи раньше времени ногами — запрягут, — сказал Свечков и снисходительно — черт уж знает почему! — подумал: «До чего же бестолковая жизнь. Костя мне

завидует, я ему. Не сразу и поймешь, где плоско, а где кругло».

— Так ты считаешь, что привыкнуть можно.

— А почему бы нет...

— Спасибо тебе, хоть душу отвел... Что у тебя-то хорошего?

— А все у меня хорошее. Редактор — мужик интеллигентный, старый петербуржец. С таким жить можно. До пенсии еще, как до кошкиных заговен. Турнут, в случае чего, с этого места, найду другое. Приехал за очерком. Ищу характеры.

— Ты только меня не расписывай.

— Уж ладно, не распишу.

— Может, теперь пройдемся?

— Поднялись. Вдруг чего и вспомним.

Они вышли в коридор, тотчас появился дежурный, как будто сторожил их у двери, зычно скомандовал: «Смирно-о!» «Вольно, вольно», — сказал Гетманов, и они поднялись на четвертый этаж. Свечков хотел постоять на площадке, но там тотчас же повторилась процедура: «Смирно!», «Вольно, вольно», и ни о каком площадочном стоянии не могло быть и речи. Свечков огляделся, ничего не узнав, не найдя привычных реалий. Он прошелся вдоль коек, отмерил десять шагов от стены и остановился против своей койки, вернее, против того места, где она стояла. Его койка была чугунной, и на ее спинке мастер отлил дату: «1877», память на этот раз вряд ли изменила Свечкову. Потом он зашел в курилку— Гетманов нехотя следовал за ним.

В бытность Свечкова юнгой курилка представлялась им огромной, в ней слагались саги о флотском товариществе и пелись гимны во славу океана, а теперь ее и курилкой-то не хотелось называть, так себе комнатенка для чистки ботинок. Свечкову стало грустно и хорошо.

Гетманов сводил его и во второй кубрик, и в третий. Все теперь в ротном помещении было отделано под дерево, и на полу — на палубе, разумеется, — тускло поблескивал паркет. «А недурственно живут будущие мичмана флота», — пробормотал Свечков. Он присел на подоконник, явно нарушая все установления, потому что раньше-то он сидеть здесь не мог. В противном случае его ждал трап, на вылизывание которого уходила ровно одна ночь. Гетманов неприметно поморщился и промолчал.

— А знаешь, Костя, мне на самом деле хорошо.

Гетманов заметно погрустнел.

— Ты где сегодня ужинаешь?

— Да где придется.

— Давай проведем сегодня вечерок вместе. Посидим, повспоминаем. Нам ведь есть что вспомнить. Я позвал бы тебя домой, да ведь я живу в Ленинграде. Погода пока стоит хорошая, так каждый день домой мотаюсь. А сегодня ради тебя заночую в Кронштадте.

— Может...

— Все путем. Я позвоню домой. Жена у меня покладистая... — Гетманов помолчал.— Ты Георгиева из параллельного класса помнишь? Адмирал уже...

— Нет, не помню. Я ведь как с флота ушел, так обиделся на весь белый свет, а обидясь, естественно, всех и растерял.

— Хорошо, что ты приехал, —сказал Гетманов. — Может, мне тебя и не хватало.

— Костя, не сочиняй.

— Какой из меня сочинитель. — Гетманов усмехнулся. — Я, брат, начисто лишен фантазии. Для меня люминевая значит люминевая.

Свечков расхохотался:

— Ты, Костя, даешь...

— Не знаю уж, даю или беру, а только изворачиваться не привык.

В кубрик начали заходить курсанты, видимо, закончились занятия, как говорится, пришла пора и Свечкову честь знать.

— Да, — вспомнил он, — у проходной я мастерового встретил. Из бывших сверхсрочников, кажется, если судить по фуражке. Лицо его повиделось мне знакомым. Не знаешь ли его фамилию?

— Как не знать... Он у меня слесарной мастерской заведует.

— Уж не Рыбин ли?

— Так точно.

— С ума сойти, — обрадовался Свечков. — Сколько времени прошло, а он вроде бы законсервировался. Я же в юнгах учился у него слесарному делу. Тогда он был главным старшиной.

— Все возможно. Наша бродячая история. Михаилом Дмитриевичем зовут.

— Для меня тогда имен-отчеств не существовало, а вот фамилия его врезалась в память. Он где сейчас?

— У себя, наверное, в четвертом подъезде.

— Так я схожу к нему, Костя, а? — попросился Свеч-

ков. — Это, можно сказать, единственная живая душа, которая выплыла из той поры. Ведь это почти мамонт.

— Конечно, — добродушно, как хлебосольный хозяин, сказал Гетманов, — какие могут быть вопросы. Рыбин, если хочешь знать, последний в школе, кто хватил войны по самые ноздри.

Свечков, к удивлению курсантов, вальяжно восходящих на свой этаж, резво сбежал вниз, вспомнив старшинскую припевку: «По трапу только бегом», на ходу сообразил, что мастерская далжна быть справа от входа, постучался и, не дождавшись ответа, сильно толкнул дверь, подумав, что она заперта, но дверь распахнулась, и Свечков увидел Рыбина. Тот сидел на чурбачке, устало сложив на коленях руки, и смотрел в одну точку.

— Михал Дмитриевич, узнал я вас, — заговорил с порога Свечков, — поздороваться пришел.

— Здоровкайся, — не проявляя никакого интереса, сказал Рыбин.

— Слесарному делу у вас учился.

— Не пошла впрок учеба.

Свечков малость опешил:

— Что так?

— Учеба впрок не пошла, говорю, — повысил голос Рыбин. — Руки пухлые. Значит, ремеслом моим не пользуешься.

— Иногда приходится...

— Иногда — это не ремесло, а баловство. Нынче баловство хоббием называют, словечко такое придумали. Для бездельников оно удобное. Да не стой ты, проходи, садись на табуретку. — Он кивнул головой в угол. — Она чистая, не замараешься.

— Я не боюсь.

— А это твое дело. Хочешь бойся, хочешь не бойся, а раз сказал не замараешься, значит, и не замараешься.

Табуретка оказалась тяжелой, сваренной из железных угольников. Свечков хотел вместе с нею передвинуться ближе к свету, но она не далась, как будто вросла в пол.

— Учился, говорю, у вас.

— Многие учились, — подтвердил Рыбин. — Много наших, которые тут обучались, отслужили теперь, так на Балтийском заводе работают... И на Адмиралтейском тоже. Тем наука пришлась, а тебе, видно, не пришлась. Ты хоть назовись, какого года будешь.

— Из юнг я, Михал Дмитриевич. Последнего набора. Может, вспомните?

— Не, не вспомню. Вас много прошло. Вот Кожуховского, вашего ротного, Василия Андреича, хорошо помню. В Рамбове живет. Бывает, видимся, когда он в Кронштадт приезжает. А сам уже никуда не езжу. Мне и тут простору хватает. У меня все под боком. Завод — вот он мой. — Он повел взглядом по мастерской. — И дом рядом. Я на Флотской живу.

— Прямо в школе?

— Зачем в школе. Я человек заслуженный. Мне горсовет хорошую квартиру дал.

— Уж не в доме ли с эркерами? — на всякий случай спросил Свечков.

— В нем, — равнодушно сказал Рыбин. — Во втором подъезде.

Свечков почувствовал, как у него похолодел затылок.

— Когда-то в том подъезде жила милая особа. Звали ее Оля.

— Ну да, — вяло сказал Рыбин. — Она и теперь здесь. На одной площадке со мной. Только теперь-то она Ольга Николаевна.

Свечков забеспокоился:

— Выходит, что она так никуда и не уезжала из Кронштадта?

— Зачем не уезжала... На Балтике она живет... Мужик ее там служил. Помер прошлой весной. Хороший был, ничего плохого не скажу, а помер. Так она, Ольга, стало быть, Николаевна, сюда привезла его схоронить. Теперь и сама приехала проведать. Он-то тихий был, спокойный, хоть и в больших чинах, противу Ольги-то Николаевны лет на двадцать постарше был.

«С ума сойти, — подумал Свечков, — Оля здесь...» Главное он узнал, и распространяться на эту тему ему уже не хотелось, поэтому и спросил для порядка:

— А не помните ли, Михал Дмитриевич, мичмана Крутова, дядю Мишу? Одно время он у нас старшиной роты был.

— Кто же Крутова в Кронштадте не помнит... — Рыбин оживился. — Крутова в Кронштадте все знали. Патриархом его величали. И его дружков тоже. Одного-то фамилия была Поляков, а другого забыл. Крепкие были мужики. Я еще у одного из них службу проходил.

— А теперь и вы тут вроде патриарха.

— Не знаю, — поскромничал Рыбин. — Самого-то как будет величать?

— Свечков я... Игорь Александрович.

— Ветеран, значит?

Свечков не спешил попадать в ветераны и поэтому сказал неопределенно:

— Как вам сказать...

— А так и говори: сперва в ветераны запишут, потом, глядишь, и патриархом станешь.

— Рановато будто бы...

— А ничего... В самый раз. Ты погоди намыливаться-то. Я тебе сейчас одну штучку подарю... Значит, Свечков Игорь Александрович?

— Так точно.

— Ты сиди, не мельтеши. Я недолго. — Рыбин подошел к верстаку, открыл железную коробку, запираемую на ключ, достал вещицу, завернутую в грязную газету, пристроил ее в тисках, только потом переспросил: — Свечков Игорь Александрович? Ты сиди, сиди не мельтеши.

Загундосил на высоких оборотах моторчик, и по металлу, судя по взвизгивающему жужжанию, пошла фреза. Рыбин отпустил тиски, потер вещицу локтем, завернул в ту же газету и словно бы мимоходом заметил:

— Спрячь тут... А то наши увидят, набегут, а я это дело не уважаю. Для хорошего человека — одна амплитуда колебания, а так — это баловство. Хоббием теперь называют.

Свечков сунул сверточек во внутренний карман пиджака, спросил ради праздного любопытства:

— Я, значит, прохожу по разряду хороших людей?

— Ветеран ты, понял? Ветеран...

— Так точно, понял.

— Ну и все. Нас ведь теперь мало таких осталось. Так мы и должны друг дружку поддерживать.

Свечков поднялся:

— Значит, во втором подъезде?

— Так точно, во втором...

«Итак, патриархи живы, потому что они бессмертны. И Оля в Кронштадте, — подумал Свечков. — Так почему бы мне не проведать ее? Ведь это так просто...»

От Рыбина Свечков поднялся к Гетманову. Тот расхаживал по кабинету и, казалось, ждал его, по крайней мере, появлению Свечкова он обрадовался.

— Хорошо, что ты пришел... Видишь ли какое дело... — Он явно был в смущении и словно бы начал оправдываться, говорил, несколько спотыкаясь. — Жена позвонила, просила приехать пораньше, стенка ей, понимаешь, попалась, какую мы давно присматривали, а деньги у меня.

«Мне бы твои заботы, господин учитель», — сдерживая усмешку, подумал Свечков.

— О чем разговор, Костя.

— Вот и я думаю, что ты поймешь. Женщину ведь никогда не переговоришь. А мы с тобой посидим в следующий раз, поговорим, кое-что вспомним.

— Конечно, — согласился Свечков, хотя и знал, что другого раза у них может и не быть.

Гетманов отправился на пристань. Свечков проводил его до Якорной площади, тут они и распрощались. Гетманов помчался дальше, а Свечков вернулся на Флотскую улицу, прошелся мимо дома с эркерами и раз, и другой — решимость, казалось, оставила его: он и желал этой встречи, и боялся ее.

«Ладно, — подумал он, — это ведь так просто: подняться на второй этаж, нажать звонок...» В конце концов он так и поступил: одним махом взбежал на второй этаж и, не давая себе времени опомниться, с силой надавил на белую кнопку.

Свечков прислушался: там, в коридоре, легонько скрипнула половица, упала щеколда, распахнулась дверь, и он увидел Олю, нет, конечно же прав был Рыбин — Ольгу Николаевну. Она была вся светлая, кажется, очень добрая и все еще красивая: милая, трепетная Оленька превратилась в длинноногую, элегантную Ольгу Николаевну. Он представлял ее другой, и он шел к другой, но теперь он был уверен, что она виделась ему именно такой и другой уже, разумеется, быть и не могла.

— Не узнаете, Ольга Николаевна? — спросил он ненатуральным и, как ему подумалось, пошловатым голосом.

Она грустно-грустно улыбнулась, и улыбка долго не сходила с ее лица.

— Нет, отчего же... узнаю. — Она отодвинулась в сторону, освобождая ему проход. — Прошу... Ты ведь у меня впервые.

Она провела Свечкова в комнату, подвинула ему стул, а сама села напротив за стол, сложив под подбородком руки. По ее лицу опять стала блуждать грустная улыбка.

— Я иногда читаю тебя, — сказала она тихо. — Вспоминаю...

— Я тоже вспоминал... правда, редко. Жизнь получилась угловатой, цеплялся часто. А сюда ехал, все думал, что встречу тебя. В Летний сад заглянул, поискал танцплощадку... Не нашел.

— Давно уже разобрали.

Неожиданно Свечков увидел в ней ту, прежнюю — то-

пенькую и трепетную, испуганно и настороженно семенящую к нему через всю танцплощадку.

— Однажды я увидела тебя на Невском... Ты уже был курсантом и шел с девушкой. — Улыбка погасла на ее лице. — Она стала твоей женой?

— Нет, она не стала моей женой. — Свечков поискал глаза Ольги Николаевны и не нашел. — Но почему ты меня тогда не окликнула?

Ольга Николаевна покачала головой:

— Нет, почему же... Я окликала, но ты не услышал.

— Вот как... — Он ссутулился на стуле и долго молчал. — Ты, значит, окликала, а я не услышал.

Она опять улыбнулась, вернее, сделала вид, что улыбается, и улыбка у нее получилась робкой и застенчивой.

— Может, это и к лучшему.

Он не расслышал, что она сказала, и вопросительно поднял на нее глаза:

— Прости, пожалуйста...

— Может, это и к лучшему, — нехотя повторила она.

«Да-да, — подумал Свечков. — Наверное, она права».

— Сейчас я тебя буду кормить. Я никогда не видела, как ты ешь. А твоя жена любит тебя кормить?

— Не помню, — сказал он равнодушно. — Мы почти никогда вместе с нею не ели.

Она поднялась, видимо, чтобы идти по хозяйству, но Свечков попридержал ее:

— Что я тебя хочу спросить... Скажи мне, если бы я тебе сейчас предложил, как говаривали наши смешные старики, руку и сердце... Пошла бы ты за меня?

Ольга Николаевна тряхнула головой, снова села и засмеялась.

— Нет, не пошла бы. — Она заглянула ему в глаза, как будто попыталась что-то отыскать в них, и, потупясь, промолвила: — Если бы тогда, когда еще не сломали танцплощадку... И в Кронштадте музыки было столько, что ее хватило на всю жизнь... Если бы тогда... Я пойду, соберу тебе чего-нибудь.

— Да-да, — сказал Свечков, — музыки было много...

8

Ольга Николаевна, разумеется — Оленька, не оставила, казалось бы, следа в жизни Свечкова, она, как бабочка, выпорхнула на огонек и растаяла в темноте, но случилась эта

встреча, и Свечкову стало больно-больно. Всю ночь он просидел возле окна, проводил вечернюю зарю и утреннюю встретил — они сходились в его окне, — а утром понял, что ему надо побыть одному.

Он принял душ, тщательно выбрился, погладил брюки и рубашку, завязал галстук, хотя на улице опять надвигалось пекло, в буфете купил бутербродов, пирожков, банку скумбрии, бутылку воды, уложил все в портфель и, помахивая им, вышел на улицу. Он еще не знал, куда пойдет, но знал, что надо уйти подальше от умных деловых разговоров, от неумных блуждающих улыбок, от людей, от своих воспоминаний, которые подстерегали его в городе едва ли не на каждом углу.

Свечков пересек весь город, вышел к северным воротам, которые тут стояли больше для фасона, чем для деловых целей — за ними сразу начинался залив, — нашел место за кустами потише и потеплее, расстелил газетку над обрывом и сел, свесив ноги. Перед ним катились серые округлые волны, огибая выдвинувшийся углом мысок. Иногда они спотыкались о него и с тихим шипением рассыпали звонкое серебро.

«Не надо бы мне было идти в дом с эркером, — подумал Свечков. — Не надо бы мне было ворошить память. Лежало бы там все по своим уголкам, и мне было бы спокойнее. Хорошо-то как, когда на душе спокойно».

Пока он не развелся, друзья и сослуживцы считали его очень уж благополучным, даже поговаривали: «Из-под его пера вряд ли что выйдет путное, очень уж у него все пристойно», а он никогда не был благополучен, может, только в отрочестве, когда флотский баталер выдал первую в его жизни тельняшку и вручил бантик с короткой и немного обидной для них надписью: «Школа юнг». Вся остальная его жизнь укладывалась в нехитрую формулу: показали, дали, отняли, а все началось с кортика и тех неизношенных лейтенантских погон, которые вручили ему весьма торжественно, а год спустя в теперешнем кабинете Малахова тогдашний хозяин горько сказал:

— Разоружаться приказано, братец.

— Зачем? — невольно спросил Свечков.

Старый боевой адмирал только пожал плечами.

Гетманову тогда удалось остаться в кадрах и Жвании тоже, а ему пришлось уйти. Хорошо, что он пописывал стишки, которые иногда печатались в провинциальной газете, в ту газету за эти стишки его и приняли корректором. Как говаривали раньше: ехал в Крым, а попал в Нарым. Меч-

тал стать флотоводцем, а пришлось осваивать азы газетной азбуки. Может, он так и закис бы в корректорах, но отыскали его флотские товарищи, пристроили сперва в одно место, потом в другое, а там порекомендовали и Николаю Григорьевичу. Ему не дали сломаться.

«Зачем был тот белый танец, — подумал Свечков, — если не пришлось больше танцевать? И зачем тоненькие девочки с пугливыми косичками становятся роскошными женщинами?»

Он раскрыл портфель, разложил еду на траве, но есть не стал: аппетита не было; опять долго смотрел на округло-пепельные волны и опять думал свою длинную тягучую думу, как будто извлекал из кудели суровую нить.

Нагрев правую щеку, солнце погрело маленько и затылок и принялось за левую, и тогда Свечков понял, что пора возвращаться в гостиницу. Все, что можно было передумать, он передумал, а остального пока решил не касаться.

Свечков опять сложил все в портфель, выбрался на мысок, ослабил галстук, расстегнул у рубахи ворот и подставил лицо ветру. Рубашка на спине сразу вспузырилась, приняв, как хороший парус, весь ветер.

В гостиницу Свечков вернулся на исходе дня, изрядно умаявшись, словно хорошо поработав, видимо, солнце, вода и ветер сделали свое дело. Он уже подумывал выпить в буфете чая покрепче и прилечь соснуть, но только он вступил в прохладный вестибюль, как навстречу ему ринулась горничная в белом фартучке и кружевной наколке на копне смоляных волос.

— Куда же это вы запропастились-то?

— Собственно, никуда. — Свечков в недоумении пожал плечами, дескать, кому он тут мог понадобиться, уж не Николай ли Григорьевич начал разыскивать?

— Жвания тут обзвонился. Два раза рассыльного присылал. И теперь вот только что звонил.

— Вы позволите воспользоваться вашим телефончиком, — сухо попросил Свечков.

— Ну как же... как же... — Горничная едва ли не задыхалась от восторга. — Вас же сам Жвания разыскивает.

Свечков тотчас же дозвонился до адъютанта Жвании, тот переключил его на другой аппарат, и в трубке раздался посмеивающийся голос Жвании:

— Дорогой, я поднял весь Кронштадт на ноги, но вас не смогли нигде отыскать.

— Вы забыли, Виктор Александрович, что я начинал

свою службу в этом благословенном городе юнгой. Научился скрываться от начальства...

— Этого я не учел... А вообще-то вы позванивайте, — уже серьезным голосом промолвил Жвания. — Дело-то военное, и вы теперь снова человек вроде бы военный. — Он помолчал.— Не хотите ли в ночь прогуляться?

— Так точно, — быстро ответил Свечков и только потом поинтересовался: — Далеко ли?

— На корабле скажут... Через пятнадцать минут на пирсе вас будет ждать тот же мичман.

— А вы идете?

— Простите, — нехотя сказал Жвания.

— Вас понял.

И через четверть часа Свечков в сопровождении молоденького мичмана прошествовал вдоль причала, поглядывая на корабли, пришвартованные кормами. Они миновали тральщики, курсантские корабли, похожие на боевые, но еще не боевые, и только тогда Свечков увидел бронированные утюги почти с отвесными бортами, которые были окрашены в шаровый и черный, столь непонятный для военного флота, цвет. Мачты у них заканчивались набалдашником антенны, а по бортам стояли зачехленные ракетные установки.

— Это что? — по привычке спросил Свечков.

— Малые противолодочные корабли — МПК, — начал объяснять мичман. — Идут выполнять реактивное бомбометание. Там же и останутся. А вас в Кронштадт доставит тральщик.

— А если... — начал было Свечков, но мичман не дослушал его, сделав ужасно строгие глаза, сказал:

— Никак нет... Товарищ капитан первого ранга уже распорядился. Все будет в ажуре.

Вахтенный нажал на рычаг колоколов громкого боя, которые тренькнули и раз, и другой, — и на юте появился розовощекий блондин с нашивками старшего лейтенанта на рукавах. «Мальчишка же совсем, — удивился Свечков. — И уже старший лейтенант. Замполит или?..»

— Командир корабля, — представился розовощекий блондин, — старший лейтенант Пугачев.

— Ого...

Пугачев покраснел еще сильнее.

— Не понял вас...

— Сколько же вам лет?

— Двадцать четыре, — не очень охотно ответил Пугачев.

— И уже старший лейтенант и командир?

— Так точно... За успешное выполнение заданий командования.

— Хорошо шагаете.

— Приходится.

«Пугачев, — во все время короткого их разговора машинально думал Свечков. — Ну конечно же Пугачев... Эстрадная певица и все такое прочее... — Впрочем, эстрадная певица ничего не объяснила, и он повторил для себя: — Пугачев... Ах да... Ведь Белка теперь тоже Пугачева... Этот — Пугачев, и она — Пугачева». Свечков искоса, чтобы особенно-то не выдавать своего любопытства, оглядел Пугачева, сперва нашел его профиль схожим с Белкиным, пардон — с профилем Изабеллы Петровны, потом понял, что начисто забыл тот профиль, и мысленно махнул рукой: «Ах, да не все ли теперь равно...»

Они поднялись на ходовой мостик, впрочем, это помещение, видимо, сразу было и боевой рубкой, и Пугачев тотчас же распорядился играть учебную тревогу. Внешне получалось, что он только и ждал появления Свечкова, на самом же деле он сверял свои поступки только с приказом, поступившим свыше, и, если бы Свечков опоздал хотя бы на минуту, Пугачев в этот момент все равно бы сыграл тревогу.

Загрохотали двигатели, сотрясая весь корабль. Выхлопные газы встали над бортом, и Свечков понял, почему эта часть корабля была окрашена в черное. Послышалась команда: «Отдать носовой. Левая стоп, правая вперед помалу». И корабль, все так же сотрясаясь и окутывая себя едким синим дымом, повел носом от пирса.

Сила, сокрытая в чреве корабля, наверное, была такой неимоверно огромной для его малого корпуса, что он буквально готов был разломиться и дать ей возможность умчаться на простор, но при всей малости корпуса он был все-таки крепкий как орешек, и поэтому эти две силы — мощь двигателей и крепость корпуса, — пока корабль вытягивался на рейд, угнетали одна другую, и все вокруг грохотало и ревело. Свечков молча стоял возле лобового иллюминатора — говорить в этом реве было невозможно — и терпеливо ждал, когда же эти силы придут в согласие.

Наконец Пугачев оглядел горизонт, видимо, для порядка и немного для Свечкова, утвердил курс и приказал идти средним. Корабль покачнулся, привстал на цыпочки, разбросав по бортам атласно-белые буруны, и дрожь стала меньше. Остался справа Толбухин маяк, за ним означился

Шепелев, стремительно проплыл за бортом Красногорский рейд, тесно заставленный торговыми судами, ожидающими лоцманов из Ленинградского порта. Раньше этот рейд считался сугубо военным, сюда приходили корабли после зимней стоянки, становились на ямы размагничивания, потом уже отрабатывали боевую организацию.

«Все было, было, — подумал Свечков. — Красная Горка теперь тоже задворки. Черт побери, но сами-то ведь мы еще не задворки».

— Вы что-то сказали? — спросил Пугачев.

— Нет, я только подумал, что Красногорский рейд превратился во флотские задворки.

— Что поделаешь, — охотно поддержал его розовощекий философ, — отсюда до океана путь не ближний.

— Но ведь вам и тут находится работа, — возразил Свечков.

— Такова участь, — чуть ли не скорбно сказал Пугачев.

Свечков откровенно захохотал, засмеялся и Пугачев, видимо, участь не слишком угнетала его.

Солнце село, но небо оставалось светлым, и за кораблями неслышными шажками бежал серый сумрак. Ближе к утру корабли обогнули горбатый мрачновато-сиреневый Гогланд, круто ушли влево, и тотчас же пад самыми гребнями волн распластались вертолеты, опустив на тросах в воду акустические станции.

— Это что?

— Вертолеты слушают лодки условного противника. Как только засекут, дадут нам знать. Лодка ведь только слышит. Она ничего не видит. — Пугачев нахлобучил фуражку, хотя нужды в этом в общем-то не было, лицо его, построжав, стало матовым. — Учебная тревога, — негромко сказал он через плечо, будучи уверенным, что его команда будет и услышана, и точно отрепетована. — Установки...

Свечков невольно залюбовался: юноша на глазах превращался в мужчину. Он уже не краснел под пристальным взглядом Свечкова — он просто не замечал его. Остались только он и его дело, вернее, дело и он сам в этом деле, а все остальное уже не играло никакой роли.

Вертолеты наконец-то засекли лодку, подняли свои станции и, накренясь, пошли прочь, как бы освобождая простор кораблям.

— Товсь! — глухим голосом скомандовал Пугачев.

Установки на левом и на правом бортах словно бы ощетинились и застыли в немой гримасе.

— Залп!

Слева и справа загрохотало, с воем и свистом, оставляя после себя короткие хвосты огня и клубы дыма, реактивные снаряды ринулись в утреннюю дымку, вспенив у кромки неба, где сейчас надлежало быть лодке, успокоившуюся пепельно-серую воду.

Свечков обернулся к Пугачеву, тот поправил фуражку, словно бы невзначай одернул китель и даже повел плечами. Лицо его снова становилось румяным, и Свечкову опять показалось, что он видит Белкин профиль.

По воде побежал легкий бурунчик, показались радиоантенна и сама рубка, волны расступились и пропустили длинное тело лодки, черное и скользкое. Полоска белой жести на носу ее напоминала приоткрытую пасть кита.

— Накрытие? — спросил Свечков, указывая глазами на лодку.

— Так точно. — Пугачев снял с кронштейна микрофон боевой связи, легонько постучал по нему пальцем. — Товарищи, сегодня вы все хорошо поработали. Благодарю за службу.

— Назад?

— Никак нет. Через час встретим тральщик, переправим вас к нему на борт, а сами пойдем на юг.

«Нет, он определенно похож на Белку, — подумал Свечков. — Тот же нос, такой же подбородок, правда, более резкий и угловатый, но ведь так и должно быть», — и спросил, словно бы походя: — Вашу матушку не Изабеллой ли Петровной зовут?

Пугачев с минуту молча взирал на Свечкова, потом тихо сказал:

— Так точно... А что?

— Она что же, — как можно беспечнее спросил Свечков, — здесь, в Ленинграде?

Пугачев, кажется, хотел понять, чего добивается от него этот тучнеющий, немолодой человек, которого навязал ему Жвания, и настороженно сказал:

— Никак нет... Они у меня в Киеве. Отец начальник кафедры в политическом училище, а мама учит курсантов немецкому языку.

— Так-так, — промолвил Свечков. — Передавайте при случае привет, кланяется, мол, Свечков, и все такое прочее.

— А вы, собственно, кто?

— Да нет, никто... Просто Свечков.

«А ведь он мог быть моим сыном, — подумал Свечков.— Так все близко и так далеко».

Корабли вышли на рандеву с тральщиком в точно означенное время. Было так тихо, что шлюпку решили не спускать, и корабли ошвартовались бортами. Пугачев проводил Свечкова на ют, придерживая за локоть, помог перебраться на борт тральщика.

«А ведь он мог быть моим сыном, — опять подумал Свечков и сразу же поправился: — А ведь и у нас с Олей мог быть такой сын».

Исподволь Свечков начал приходить к трезвой мысли, что Кронштадт, как бы ему тут хорошо ни жилось, — это всего лишь полдела, даже треть дела, а настоящее дело его ждало впереди. Флот ушел из Кронштадта, но, значит, и он должен был отправляться вслед за ним.

Прощай же, мельник дорогой,
Иду я следом за водой
Все дальше, все дальше...

Где та даль, которая манила его и где он мог бы остановиться, Свечков не знал и решил по этому поводу больше не печалиться. Он жил как бы в двух измерениях: в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. Каждый новый день сулил ему новую встречу, он, словно мореход, ушедший в дальнее плавание, открывал новые острова и новые земли. В том нескончаемом архипелаге засветилась ему маячком Оля, растревожила, разобидела и снова исчезла, чтобы больше уже никогда не встречаться. «Заходи», — сказала она на прощание. «Да, конечно же», — сказал Свечков.

Он проснулся ночью, услышал ровное, монотонное шуршание за стеной, увидел, как плачут оконные стекла, и неожиданно понял, что задерживаться в Кронштадте он больше не вправе. Он дождался, когда совсем ободняет, спустился в буфет позавтракать, а потом короткими перебежками от дерева к дереву, спасаясь от дождя, направился к Жвании. Свечкова уже пускали к нему в кабинет без доклада, и на правах человека, посвященного в кое-какие семейные тайны, Свечков первым делом спросил:

— Что — жена?

Жвания не ответил, подержался за спинку стула, и Свечков тоже подержался, и они помолчали.

— Надоел я вам, Виктор Александрович, знаю, но хочу в последний раз проехаться по Котлину, глянуть на форты, кои, видимо, скоро совсем обветшают и порастут травой забвения.

— О чем разговор, Игорь Александрович. И я поехал бы с вами, но все дела да случаи. А машина вас будет ждать у подъезда.

— И хорошо бы билет на поезд.

— Команда уже дана. Идите прямо в кассу и называйте свою фамилию. Две брони я уже отдал — даме одной и нашему лейтенанту, а вашу держу.

— Тогда...

— Желаю успеха, дорогой.

Шофер подкатил свой газик прямо к подъезду — дождь все брюзжал, и конца этому брюзжанию не было видно. Там, на небесах, не хватало, видимо, сил, чтобы облить землю из ведра, но и прекратить это безобразие тоже недоставало решимости. Эта половинчатость в конце концов привела к тому, что уже весь Кронштадт, казалось, заплакал горючими слезами.

— Друг, — сказал Свечков шоферу, — давай через западные ворота мимо Морского кладбища прямо к Западному форту.

Шофер знал свое дело, лихо развернулся во дворе, вымощенном еще в прошлом веке булыжником, проехал мимо Петровского дока и потрусил по маслянисто-черному от дождя асфальту в чистое поле. Впрочем, чистого поля на Котлине не было. Перелески, похожие на крохотные кронштадтские скверы, сменялись болотцами, по которым некогда вдоволь поползал Свечков, проходя курс молодого краснофлотца. Изредка появлялся холмик, больше похожий на стожок сена, и опять — перелесок-сквер, болотце величиной с овечье копытце и стожок, забытый с прошлого года.

Шофер попался молчаливый, и Свечков тоже больше помалкивал или гундосил себе под нос: «В гавани, в Кронштадтской гавани...» Наконец шофер повернулся к нему и тихо промолвил:

— Кладбище.

— Да-да. — Свечков кивнул головой. — Кладбище.

Кладбище тут пряталось в рощу, только несколько голубеньких оградок с голубыми и красными тумбочками посреди выбежали к самой дороге и печально остановились, не в силах ни вернуться в рощу, ни отправиться вослед проезжающим.

— Может, остановимся, — неопределенно заметил Свечков, на что шофер ответил весьма определенно:

— Дождь... Через два шага придется мокрые штанины полоскать в сырой траве...

И до Западного форта они опять больше помалкивали.

Когда-то этот форт надежно прикрывал подходы к Котлину и, казалось, был недвижим и вечен, как вечны были земля, небо, море, а теперь он зиял пустыми амбразурами, его, видимо, пытались взорвать, но он не поддался, только приподнялся и накренился, словно престарелая избенка.

— Да, — сказал Свечков, и шофер вслед за ним повторил: — Да.

Залив прятался в дождь, который выбивал на воде частую дробь, и все вокруг звенело, плескалось, шуршало. Пора было возвращаться, и шофер уже начал выказывать нетерпение, но Свечков не спешил. «Суждено ли когда-то еще вернуться к этим берегам, — думал он. — Или уж теперь — все, точка». Он смотрел сквозь мутноватое стекло на голубовато-серую завесу, слушал долгий ропот волн, нюхал йодисто-горьковатый рассол и вдруг почувствовал, что как будто бы начал растворяться в этом сплетении красок, звуков, запахов, и уже ничего не жалел. Жизнь как будто бы остановилась, а вместе с нею остановилось и тягучее необратимое время.

Обратно газик побежал хотя и не быстро, но легко, с удовольствием шлепая по мелким лужам, которых многовато собралось на асфальте, и опять каждый из них думал свою думу. Думал все-таки, наверное, только шофер, у Свечкова мыслей не было, да он и не искал их. Дорога была пустынная, а там, где кладбищенская роща отряхивала последние свои ветви от дождя, на обочине стояла женщина, одетая в черное, в черной же косынке на голове, и, кажется, ждала попутную машину.

— Надо бы подвезти, — машинально заметил Свечков, и шофер, которому, видимо, затянувшееся их молчание надоело до чертиков, охотно отозвался:

— А это уж само собой.

И газик скрипнул тормозами. Свечков распахнул дверцу и даже вздрогнул от неожиданности: на обочине стояла Ольга Николаевна. Лицо ее было бледное и заплаканное, а аккуратный вздернутый носик заметно покраснел. Свечков открыл и заднюю дверцу и широким — по-хозяйски — жестом пригласил:

— Прошу.

Ольга Николаевна поблагодарила одними глазами, приподняла юбку и легко взобралась на сиденье и там, кажется, забилась в уголок, боясь, что Свечков начнет докучать ей ненужными вопросами. Она напоминала мокрую синичку, которая от дождя случайно залетела в открытую форточку. Свечков старался не оборачиваться, как бы угадав

желание Ольги Николаевны, грустно оглядывал встречные перелески, потемневшие от дождя, и невесело думал: «Ах да не бойся ты меня... Наш поезд давно ушел». И неожиданно повернулся, встретился с темными глазами Ольги Николаевны и негромко спросил:

— На могилку ездила? — тотчас же понял бестактность своего вопроса: «А иначе зачем еще на кладбище ездят?»

— Да, — кротко ответила Ольга Николаевна и, решив, наверное, что надо еще что-то сказать, прибавила: — На могилку.

— А я форт ездил смотреть, — сказал Свечков и тоже понял, что надо еще что-то добавить. — Западный форт.

Ольга Николаевна вздохнула и ничего не сказала.

Газик лихо проскочил крепостные ворота и, въехав в город, запрыгал по булыжнику. Шофер весело прокричал Ольге Николаевне:

— Вам куда надо-то?

— Не все ли равно, — растерянно сказала Ольга Николаевна. — Спасибо, что подвезли до города.

— И все-таки куда? — настойчиво спросил Свечков. — На Флотскую?

— Если не трудно — к железнодорожным кассам.

Свечков вспомнил, что ему тоже следовало бы зайти в кассу и взять билет, но идти туда теперь же счел неудобным. «Подумает еще, что цепляюсь, то да се...» Свечков опять по-хозяйски распахнул дверцу. Выходя из машины, Ольга Николаевна как бы ненароком положила ему на плечо руку и тихо сказала:

— Не сердись...

Вечером Свечков отбил телеграмму Николаю Григорьевичу: «Кронштадтская «Церера» за кормой. (Пусть-ка старый кашалот поломает голову.) Впереди Балтика». Он уже вышел на улицу, но тотчас же вернулся и написал еще одну: «Брат, приходи завтра к Тучкову мосту попрощаться». Делать в Кронштадте стало нечего. Он побрел в Петровский парк, посидел возле воды — после дождя она успокоилась, словно выцвела, и тихонько-тихонько позванивала. Вдоль Итальянского пруда покоились неистребимые удильщики, у которых, кажется, как всегда, не клевало. И неизменно заклинал все поколения моряков Петр Великий: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».

— Эх, Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, нет на сем

месте больше флота, — сказал Свечков. — Ушел флот в океан, сделав Кронштадт большим образцовым артиллерийским фрегатом «Церера». Вот так-то, брат Петр Алексеевич.

На другой день Свечков нанес прощальный визит Жвании.

— Ну вот, Виктор Александрович, и все...

— Дорогой, у меня, кажется, все будет хорошо, и я снова уйду в океан. Я уже сейчас приглашаю вас. Мы увидим розовые дожди на Суматре, серебряные дожди Тихого океана и ревущие сороковые. Там никогда не затихают штормы, и только там можно стать настоящим моряком. Все это я вам обещаю.

— Спасибо, Виктор Александрович, дайте только знать.

— Ловлю на слове.

И Свечков отправился в Ленинград, чтобы оттуда посуху добираться до Калининграда: иного пути на Балтику больше не находилось.

У Тучкова моста, на котором они, ребята с Петроградской (с Питерской) стороны, дрались с такими же сорванцами с Васильевского (с Васина) острова, его встретил брат Виктор Александрович.

— Время у тебя есть?

— Часа два... Не больше.

— Тогда едем прямо на Серафимовское.

— К маме?

— К маме, к маме... — неопределенно сказал Виктор Александрович.

— Загадочный ты нынче, брат. Прихлопнули тебя, что ли, на рыбалке? Уж больно ты взъерошенный.

— На рыбалку я не ездил, — шевеля подпаленными возле печи бровями и хмурясь при этом, скорбно промолвил Виктор Александрович. — Тут не до рыбалки было... Да ты чего не звонил?

— Я тебе звонил из автомата, да застать не мог. А в номере телефона не оказалось.

— Ну-ну, — все еще хмурясь, сказал Виктор Александрович.

Свечков взял его за лацканы пиджака и легонько встряхнул:

— Да говори же ты — что случилось?

— А что могло случиться?.. — Виктор Александрович хотел было пожать плечами, но не пожал, поставил портфель Свечкова на тротуар и неожиданно всхлипнул.— Людмила умерла. Третьего дня и схоронили.

— Да как же ты... — Свечков опять схватил брата за

лацканы, отпустил и безвольно сел тут же на гранитную тумбу. — Да как же мы...

Виктор Александрович бросился за такси, а Свечков, как сел на тумбу, так и сидел дурак дураком, изредка повторяя про себя: «Да как же ты... Да как же мы...»

Машина подошла, Виктор Александрович закинул портфель в багажник, они уселись, и только тогда Свечков понял, что он не должен молчать, а должен спрашивать, и он спросил:

— Как хоть это случилось?

— Будто не знаешь, как это случается.

Свечков не знал, как это случается.

— По-разному, брат, по-разному. А уж коли по-разному, то и знать этого никому не дано.

Виктор Александрович все еще сердился, что Свечков не был на похоронах, помолчал недолго и смилостивился.

— Тетя Маня поехала к ней накануне, глядь, а у Людмилы нос-то уже белый и острый. Она и осталась у нее ночевать. Во сне Людмила все будто кого-то звала, тетя Маня не разобрала кого, а утром Людмила подозвала меньшого своего, Алешку, и говорит ему: «Сон-то какой я нынче видела, сыночек. Будто стою на платформе в Славянке, за спиной-то у меня будто туча черная, а впереди по всей платформе солнце разлито, и по этому солнцу ты ко мне бежишь. А за спиной-то у тебя вроде голубого сияния. И так мне хорошо стало. Я к тебе руки-то протянула... — После этих слов, тетя Маня говорила, Людмила вроде бы как задохнулась. — Благословляю тебя, сынок... Теперь иди... А сон я потом тебе доскажу».

— Не досказала? — спросил Свечков только для того, чтобы обозначить Виктору Александровичу, что он все слышал.

— Не успела.

— Если бы была жива мама...

— А что мама? — сердито спросил Виктор Александрович.

— Не знаю что... Она, наверное, не допустила бы этой смерти.

— Ты считаешь, что мы с тобой виноваты?

Свечков помолчал.

— И мы, брат.

Свечков почувствовал, как на сердце легла зарубка, кольнув под лопаткой. Он не был повинен ни в преждевременной смерти Людмилы, ни в том, что выпало ей в жизни больше слез, чем радостей, и тем не менее чувство вины

словно бы схватило его и уже не отпускало. Свечков не понял, из чего и как родилось это чувство, но отчетливо сознавал, что, родившись единожды, оно уже останется с ним на всю жизнь.

Таксист почти на одном дыхании домчал их до Серафимовского кладбища, объезжая людные перекрестки переулками и зачуханными улочками, они быстро вошли в кладбищенскую ограду. Возле церкви толпился народ, видимо, там кого-то отпевали. Они свернули на боковую аллею и вышли к своим могилкам. Рядом с материнским холмиком ржавела, обсыхая, глина, на которой лежали вразброс цветы и жестяные венки.

— Брат, как же мы без цветов? — опомнился Свечков.

— Сегодня они простят, а потом я привезу целый ворох. — Виктор Александрович смахнул слезу. — До чего ж они у нас были терпеливые.

— Если бы была жива мама... — уже в который раз сказал Свечков

Они наспех перекусили в станционном ресторане, поглядели друг другу в глаза и спросили один другого:

— Когда теперь свидимся? Ты хоть пиши.

— Не обещаю скоро, — сказал Свечков. — Но писать буду.

— И я тоже не обещаю, — добавил Виктор Александрович.

— Черт знает что творится, — посетовал Свечков. — Казалось бы, дел с годами должно уменьшаться, а их все прибывает и прибывает. Глядишь, за делами и помереть будет некогда.

Виктор Александрович усмехнулся.

— На это времени всегда хватит. Она, красавица безносая, где хочешь найдет, из любой норы вытащит. Так что, брат, не печалься, — сказал он с некоторым надежным превосходством старшего. — Не увидимся на этом свете, свидимся на том.

Свечков помолчал.

— Ты не чувствуешь своей вины? Мы вот тут с тобой коньячишко пьем, а ее уже нет, а? — спросил он, мучимый извечным вопросом: «Так в чем же корень жизни? Где ее истоки и где те концы, могущие стать новыми истоками?»

— Нет, — сказал Виктор Александрович. — Это блокада за нами идет. Людмилка тогда маленькая была, не добрала своего, а мама свое нам отдавала.

— Выходит, их жизнь стала короче, чтобы мы пожили подольше?

— У каждого, брат, своя планида. Если мне отпущено двести лет, то я двести — слышишь, двести! — и проживу. И ни с кем, даже с тобой, ни одним днем не поделюсь.

— Живи, раз у тебя такая планида.

— А у тебя?

— Мне, пожалуй, и века хватило бы. Только ведь не дадут век-то прожить.

— Что так? Врагов, что ли, много?

— А у тебя? — в свою очередь спросил Свечков.

Виктор Александрович даже рукой махнул:

— Не считал...

Состав уже подали, на разговоры времени не оставалось, по платформе они шли сосредоточенно, словно выполняли обязательную, но не очень-то веселую работу. Свечков невольно подумал: «Ну а это расставание не явится ли новой виной? И что значит вина, и что есть презумпция невиновности? Тогда ли, когда человек сам считает себя виноватым или когда ему что-то вменяется в вину?»

— Ладно, брат, в вагон не ходи. Прощай, что ли.

— Да уж не пойду, — пробурчал Виктор Александрович, поставил портфель наземь, похлопал Свечкова по плечу. — Прощай...

«Какие же мы с ним неласковые, — Свечков подхватил портфель и ступил в тамбур, — даже попрощаться толком не умеем».

Спальный вагон, в который стараниями Жвании Свечкову продали билет, был древненький, постройки конца сороковых годов, с бронзовыми ручками на дверях, с креслами, изрядно потертыми и пыльными, с тусклыми лампочками и плешивыми ковриками под ногами. Свечкову даже показалось, что об этом вагоне писал еще несравненный Блок: «Молчали желтые и синие...»

Свечков нашел свое купе, открыл дверь и остолбенел: в кресле сидела Ольга Николаевна. Она была уже не в черном строгом костюме, а в легком открытом платье, и с ее лица, посветлевшего, скорбная усталость словно бы стерлась, и оно заметно похорошело. Она внимательно и строго оглядела Свечкова, и Свечков стесняясь — черт знает почему! — тоже ошалело оглядел ее, как будто была она и не во плоти. Он пробормотал, что, дескать, сейчас все выяснит — что уж там надо было выяснять, он и сам-то хорошенько не представлял, — и выкатился в коридор поискать проводницу. «Может, тут где женщина еще едет, — подумал Свеч-

ков. — Поменяемся местами, а я потом стану к ней в гости ходить. Вот и славненько будет». Рядом с ним пристроился флотский лейтенант с рыжевато-серенькими или серовато-рыженькими усами, отпущенными, видимо, для солидности, впрочем, никакой солидности не получилось, а получилось черт знает что. Лейтенант немного потеснил Свечкова, и Свечков охотно предоставил ему возможность тоже покрасоваться в раме. Потом лейтенант сказал:

— А я вас в Кронштадте видел.

— Вот как...

— Так точно... Вы с Жванией шли.

Может быть, когда-то Свечков и шел с Жванией — этого он не запомнил, — но на всякий случай беседу продолжил:

— А вы что же — в Калининград?

— Так точно... Там у меня служба, а сюда я за женой приезжал.

— Миленькое дело... У нее что же здесь — родственники?

— Никак нет... Она тут работала после техникума.

— И вы давно женаты?

Лейтенант оживился и скупо заулыбался своими рыжевато-серыми усами:

— О, уже год.

— Солидно... И сколько же лет вашей супруге, если не секрет?

Скупость в улыбке у лейтенанта совсем пропала, а усы стали рыжими.

— Уже девятнадцать.

Свечков посмотрел на лейтенанта, который все еще продолжал улыбаться, и сказал с уважением:

— Солидно...

Правда, командир «Железнякова», когда Свечков заикнулся о женитьбе, так изрек: «Сперва стрелять научись...» Нонешние командиры, видимо, этот щекотливый вопрос решали несколько иначе.

Лейтенант тихо скрылся в своем купе, а Свечков остался пылиться в своей раме, не зная, куда пойти и что предпринять.

Из купе вышла Ольга Николаевна:

— И долго ты будешь бегать от меня?

Свечков нехотя улыбнулся:

— Думал, так лучше будет.

— А ты поменьше думай.

В коридоре наконец объявилась проводница, лукаво

стрельнула в их сторону карим глазом и прошла мимо, обдав теплом, которым она просто пышала, потом появилась и другая проводница и тоже стрельнула глазами, а вскоре по купе начали разносить чай.

Ольга Николаевна накрыла столик, Свечков тоже достал пакет, который всучил ему на дорогу Виктор Александрович, они выпили по стакану чаю, Свечков попросил, чтобы принесли еще один — Ольга Николаевна насмешливо потчевала его, но от продолжения чаепития отказалась, — за вторым Свечкову принесли и третий, и четвертый. Делать было нечего, а сидеть в обществе Ольги Николаевны, которая, как ему думалось, была не очень обрадована его соседством, и ничем не занимать себя, он просто стеснялся, и говорить стало не о чем, и спать еще не хотелось, и Свечков уже не знал, куда себя деть.

На счастье, в купе заглянул рыбак — Свечков еще раньше заметил, что в конце коридора толпилось несколько человек, — и спросил:

— А нет ли тут любителей «козла»?

Свечков с военной службы любил эту игру, тотчас же откликнулся, пробормотав Ольге Николаевне «Прости», и до полуночи гремел костяшками по крышке новехонького «дипломата». Когда Свечков вернулся в купе, Ольга Николаевна сидела, подобрав под себя ноги, и, кажется, ждала его.

— Хорошо провел время?

— Вот именно — провел, — проворчал Свечков. — А уж хорошо или плохо — в поездах об этом не думают.

Ольга Николаевна мельком улыбнулась, и ямочки на носу и на щеках у нее стали грустными.

— А я ждала тебя пить чай.

Колеса негромко, но уверенно постукивали под полом: «тики-так, тики-так», бледное небо лежало на острых маковках елей, редкие желтые огни выбегали из лесу, недолго мигали возле окон и поспешно уплывали в хвост поезда, который часто изгибался на поворотах, и тогда тепловоз покрикивал негромким баском. Ольга Николаевна сходила за чаем, принесла сразу три стакана, Свечков молча выпил первые два и, не приступая к третьему, повинился, неожиданно почувствовав к Ольге Николаевне прежнее душевное расположение.

— Прости меня, если можно...

Она мягко и грустно улыбнулась.

— Я так и не спросил — кто ты теперь?

— Я орнитолог. Занимаюсь птицами. Живу в Калинин-

граде, но практически все время с некоторых пор провожу на Куршской косе. Прошу не обижать куршей — Куршской косе, а не Курской, как у нас иногда говорят и пишут.

Ольга Николаевна, кажется, взяла покровительственный тон, и это стало забавлять Свечкова и немного злить.

— Но птицы, признайся,— это все-таки скучно,— сказал он, стараясь сделать голос ровным.

— А что ты знаешь о них?

Свечков стал упрямиться:

— Наверное, что-то знаю.

— А тебе, например, приходилось когда-нибудь слышать о том, что аисты обладают удивительным даром предвидения. Если, скажем, аистиха весной отложила одно-два яйца или даже ни одного, то надо ждать засушливого лета. А если из гнезда выглядывают три-четыре аистенка, то лето непременно прольется дождями. Я лет шесть наблюдаю за ними, и, чем глубже вникаю в их мир, тем безграничнее он представляется мне. Я не буду говорить о тех инстинктах, которые, в общем-то, руководят их жизнью, хотя каждый инстинкт, взятый в отдельности, представляет собой выживание и самосохранение целого вида. Каждая особь заботится не о себе, а о всем семействе. Целое — все, частное — ничто, поэтому птицы, в том числе аисты, бывают порой жестокими, даже беспощадными. Они не терпят слабости, вырождения, измены.

— Любопытно, — сказал Свечков, оживившись при слове «измена».

Ольга Николаевна заметила это и усмехнулась:

— Мужчины неисправимы.

— А женщины?

— Наверное, тоже... — Ольга Николаевна помедлила. — Года три назад в гнезде черных аистов, за которыми я вела наблюдение, появился белый аистенок. Обнаружив альбиноса, папа-аист наотрез отказался приносить пищу потомству, он подлетал к гнезду, заглядывал в него и возмущенно щелкал клювом. Он был явно встревожен и рассержен. Аистиха пыталась успокоить его, но аист сердился еще сильнее и вскоре улетел. Вернулся он дня через два в сопровождении пяти других аистов, видимо старейшин. Они осмотрели птенца, который потянулся к ним навстречу, с ужасом отскочили от него, в два маха поднялись на конек сарая, уселись в рядок и все разом защелкали клювами. Аистиха несколько раз подлетала к ним, но они всякий раз отгоняли ее, сердясь все сильнее, потом начали держать совет: аисты по очереди постукивали клювами, потом опять защелкали

все вместе. Аистиха жалобно встрепенулась, взмахнула крылами и начала подниматься все выше и выше, пока не превратилась в точку, там, видимо, сложила крылья и грохнулась оземь.

Свечкову стало жутковато.

— Она что же — самоубийца? — спросил он.

— Почему самоубийца... Ее, как я поняла, присудили к этому. Аисты даже не поглядели в ее сторону. К гнезду подлетел вдовец, выхватил оттуда аистенка и выбросил его, потом они опять сбились на крыше, пощелкали клювами и улетели. Два года гнездо оставалось пустым, а нынче в нем опять поселилась супружеская пара.

— Все это весьма странно...

— А ты говоришь — птицы...

Проснулся Свечков ни свет ни заря, оттого что не ко времени заговорило радио: «Товарищи пассажиры, если среди вас есть врачи, просим пройти в третий вагон». В голосе чувствовалось напряжение, а вагон был их. Свечков, не раздумывая, натянул на себя брюки и соскользнул на пол. Ольги Николаевны в купе не оказалось. Он выглянул в пустой коридор, ее не было и там. «Что могло случиться?» — тревожно подумал он.

Свечков прошел в конец вагона, открыл одну дверь и другую—рыбаки, по счастью, на ночь не запирались,—доблестные промысловики спали сном праведников. Тогда он заглянул в туалеты, вернулся к себе — Ольги Николаевны все не было.

В динамике опять защелкало, и тот же голос, только ставший еще более напряженным, произнес: «Товарищи, если среди вас есть гинеколог или акушерка, пройдите в третий вагон. В третьем вагоне рожает женщина»,

Он опять вышел в коридор и нос в нос столкнулся с озабоченно-сияющей проводницей, которая тащила ведро, легонько курившееся парком.

— У вас спирт есть?

Просьба эта несколько озадачила Свечкова.

— Спирта нет, но у рыбаков, кажется, осталось полбутылки водки.

— Тащите ее сюда.

У окна стоял лейтенант и сосредоточенно смотрел на перелески, охваченные зеленым огнем.

— Что, не спится? — спросил Свечков.

— Что? Что вы сказали?..

Свечков все понял, прошел в купе к рыбакам, растолкал спящего внизу, сказав ему, что реквизирует полбутылки водки. Тот понял сразу:

— Трещит?

Свечков согласно кивнул.

Рыбак повернулся на другой бок, натянув на свою кудлатую голову одеяло, а Свечков бросился с водкой в купе к роженице.

Дверь приоткрылась, Ольга Николаевна протянула руку, взяла бутылку, мельком взглянула на Свечкова и тотчас скрылась, а вслед за нею в коридор выкатилась сияющая проводница и напустилась на лейтенанта:

— Ну, чего стоишь-то? Сын у тебя...

Лейтенант и бровью не повел, только пальцы его в суставах и мочки ушей побелели.

— Как назовешь-то?

Лейтенант подумал и заулыбался своими рыжевато-серыми усами:

— Володькой...

Из купе опять выглянула Ольга Николаевна:

— Сообщили в Каунас?

— У нас нет рации и связи с тепловозом нет. Сейчас будет крутой поворот, попытаюсь сигналом остановить поезд, — радостно сказала проводница. Трудно сказать, что уж там в купе испытывала молодая мама, но проводница — Свечков это видел по ее сияющей улыбке — была счастлива. И вспомнил он свой приезд к Людмиле, соседское крыльцо, на приступочке которого сидела девчоночка и важно выговаривала своим куклам: «Тетя Женя всех поженит, переженит, выженит. Дядя Слава всех пославит, переславит, выславит».

Из соседнего вагона в коридор вошла расстроенная и вконец обеспокоенная бригадир поезда, проводница бросилась ей навстречу и радостно закричала:

— А у нас Володька!

— Чего кричишь-то, — было напустилась на нее бригадир, прислонилась виском к шаткой стенке и устало заулыбалась. — Люди же ведь еще спят.

А с Ольгой Николаевной Свечков простился сухо и молча на перроне старого, изрядно побитого в войну и уже восстановленного вокзала. И крадущийся, ставший уже привычным, даже родным, если хотите, голос растворился вместе с нею в людском потоке. «Тетя Люба всех полюбит, перелюбит, вылюбит...»

9

Пока Свечков устраивался в гостинице, пока то да се, на город начали наплывать светлые грустные сумерки, и ему мало-помалу тоже стало грустно. Знакомые у него тут были, но никому не хотелось звонить, хотя и чувствовал, что нельзя долго задерживаться одному в номере, — грусть могла обернуться зеленой тоской, и тогда хандры хватило бы до конца командировки.

«Зачем мы приходим в эту жизнь? — тревожно думал он, пытаясь заглушить в себе надвигающуюся тоску. — Затем, чтобы просеменить через танцплощадку, когда объявят белый вальс, а потом сломаться, как сломалась Людмилка? Или же сжать до боли зубы, когда становится очень больно, и идти, идти, идти, сделав движение высшим предначертанием всего живущего и существующего. Только не стоять, только идти... Людмила когда-то остановилась, может, тогда, когда приезжала ко мне, жалконькая, в потрепанном пальтишке?..» Тогда она ему все выскоблила, вымыла, все перестирала, наготовила всякой всячины, и, когда он приходил с работы усталый, накрывала на стол, и, сев напротив, заводила одну и ту же песню:

— Давай я вас помирю...

Он качал головой: примирить его с бывшей женой уже не могли никакие силы: отболев, сразу все ушло в небытие.

Свечков не знал Людмилиной жизни, он недолюбливал ее мужа и старался не бывать в их семье, поэтому сестра в основном вспоминалась девчонкой, доброй, доверчивой и, как потом выяснилось, совершенно беззащитной. Доверчивость, собственно, и сломала ее, а они с Виктором Александровичем не сумели прикрыть ее. «Ах, брат, брат, как же это мы опростоволосились?.. Вот и остались одни, два холостяка, стареющих, а скоро уже никому и не нужных. Ах, брат, брат». Не хотелось бы ни о чем думать, но думы тем и хороши, что живут они своей жизнью и помешать им чаще всего бывает невозможно. «А теперь вот еще Оля... И тот далекий белый вальс. И музыка... Тогда играли, кажется, «Дунайские волны»? Кажется, так... «Дунайские волны». И маленькая светлая девочка, и тоже незащищенная, как Людмила. Все-таки нет, ее сумели защитить... Господи, ну что из того, что мимолетно встретились давно уже чужие люди, приоткрыли немного завесу, за которой теплилась лампадка, и разлетелись в разные стороны, чтобы теперь-то уж никогда не встретиться».

Из окон его номера виделся багрово-красный, почти черный, остов Кафедрального собора, возле которого, помнилось Свечкову, покоился прах Эммануила Канта. Память почти ничего не сохранила ему от этого города, но мавзолей Канта он вспомнил, может, потому, что там стояло имя философа, а может, просто потому, что это был Кант.

Свечков сбежал вниз, скорым шагом перешел по мосту на остров. Тут все было ухожено, стройными рядами стояли хорошо подстриженные, словно завитые, липы и зеленела трава. Колонны из розовато-бордового мрамора поддерживали над могилой портик, похожий на балдахин.

Вдали громыхнуло, и небо озарилось багровым пламенем, до гостиницы было рукой подать, только перейти по мосту, и Свечков поспешил к себе, хотя хотел обойти весь парк, охвативший остов собора с трех сторон. Некогда на острове был целый город с улицами, переулками, чистенькими, ухоженными двориками, теперь же угрюмо смотрел на мир опаленный войной Кафедральный собор, приютивший возле своей стены мавзолей Канта, и гулко шумели липы.

Свечков успел вовремя, только поднялся к себе и распахнул окно, как снова озарилось небо, прогромыхал гром, пронесся над домами ветер, опять полыхнуло полымя, небо над крышей гостиницы обвалилось, и о мостовую ударили серебряные прутья, дробясь и брызгаясь. Вдоль тротуаров помчались клокочущие потоки, смывая окурки, обрывки газет и прочий уличный бумажный хлам. Полыхало и гремело уже по всей округе. Молнии то вспухали за облаками, просвечиваясь оттуда, как лампочки из-под абажура, то раздирали их в клочья, и тогда по небу растекались огненные ручьи, и, чем ярче вспыхивал ручей, тем грознее и неотвратимее, как роковое предзнаменование, гремел обвал.

Сверху Свечкову было видно, как на тротуарах метались парочки, казалось бы застигнутые грозой врасплох, но никакого «расплоха» не было — гроза собиралась давно и даже перед тем по малости крапал дождик, но извечная беспечность и непреодолимая надежда на авось да небось швыряла теперь, словно ветер из стороны в сторону, эту беспечную публику, которая там внизу и хохотала, и визжала, и вскрикивала, и бог весть что еще делала в поисках защиты от хлябей небесных, которые разверзлись, видимо, прочно и надолго. Что Свечкову было до тех сограждан, ставших волею случая и своей беспечности бездомными, у него над головой был кров, под которым в сухой теплоте разливался ровный голубоватый свет, который исходил из-под абажура, на стенах играли всполохи, а за окном после этих всполохов

рушились миры. Ему было покойно, и недавние тревоги уходили прочь...

Проснулся он от неясного ощущения, что в его жизни должны наступить перемены, он начал тотчас же вставать, хотя время, судя по всему, было еще раннее, отдернул занавеску, и на него хлынул поток сыроватой, пахнущей молодой травой и клейкой листвой свежести. Там, за окном, небо еще серело, но из-под облаков уже стрелял косой луч и золотил окна домов. Асфальт густо чернел, и было много луж — гроза окончилась, но все еще капало: с крыш, с деревьев, с фонарей, улица шуршала и позванивала, и пахло остро и горько. Свечков быстро оделся, быстро позавтракал, быстро спустился вниз и только там, на улице, уже сообразил, что время еще раннее и спешить ему было некуда.

Он постоял — на улице было еще свежевато, а он вышел в одной рубашке, — потоптался, но возвращаться раздумал и опять побрел к Канту. Его давно завораживали могилы великих людей, он подолгу мог простаивать над черным холмиком земли в Ясной Поляне, над беломраморным надгробием в Святогорском монастыре, а теперь вот его влекло поближе к сени розовато-красного мавзолея, и, пока он шел к собору, одолела вдруг его шалая мысль: «Черт побери, а ведь мы своих великих людей во все века хоронили несколько иначе, чем другие народы. Для нас мало было надгробий и памятников, да мы, по совести говоря, никогда и не умели этого делать и на месте захоронения обязательно сажали деревья, насыпали холм, но чаще всего ничего не насыпали, а просто выбирали крутояр, откуда далеко бы виделось окрест, и там рыли могилу, увенчивали ее потом деревянным распятием, которое скоро от стуж и дождей становилось серым. Из земли пришел, в землю и возвращайся, смертию смерть поправ. Мы об усопших заботились, как о живых, поэтому и место для успокоения выбирали покраснее».

Свечков обошел весь остров — было сыро тут, и дул пронизывающий ветер, — ближе к десяти он вернулся к себе, позвонил в штаб, нашел нужных начальников, заказал пропуск, и не прошло и часа, как он был принят одним чином, и другим, и, наконец, его провели к адмиралу, подчеркнуто сухопарому, с несколько аскетическим, волевым лицом, перечеркнутым наискосок шрамом, и тот попенял ему:

— Не повезло вам. У нас только что объявлен рейдовый сбор. Увольнения на берег нежелательны, а вы ведь, наверное, захотите в гости к кому-нибудь попроситься, в ресторанчике посидеть... Человек вы вольный, вам и в гостиницу захочется отлучиться.

— Помилуйте, — взмолился Свечков, — не надо мне никаких гостей и ресторанчиков мне не надо. Мне нужна каюта. Если бы был «Железняков», я обязательно попросился на него.

— «Железнякова» больше нет, — несколько отрешенно подтвердил адмирал.

— Корабли стареют быстрее людей. Это все так. Но мне жаль «Железнякова», там была первая башня, и второй кубрик, в котором жила команда той башни, и двадцать восьмая каюта, где жил ее лейтенант. Лейтенант оказался не очень удачливым в жизни, но тем не менее он был, — грустно заметил Свечков, желая тем самым показать, что он не случайный человек на флотах.

— Да-да, — согласился адмирал, — и башня была, и кубрик, и каюта, а вот забывать старых товарищей, Игорь Александрович, непростительно.

Свечков отъехал от стола на стуле, который противно скрипнул, оставив, кажется, полосу на паркете, но Свечкову было уже ни до паркетов, ни до полос.

— Постойте, постойте, — пробормотал он. — Сергей, отчество не помню и вспоминать не стану, Георгиев.

Георгиев заулыбался и закивал головой.

— Но ты же тогда тоже уходил на гражданку...

— Уходил... И ушел. И год бомбардировал всех рапортами. Вернули. Служил и здесь, и на Севере. Одно время командовал «Железняковым».

— Ишь ты, — только и сказал Свечков, а помолчав, признался: — А я тогда обиделся.

— На море не обижаются. Море — оно ведь вечное.

— И Костя Гетманов остался.

— Мы с ним недавно в Майори отдыхали. Журнал тогда еще с твоей статьей пришел. Читали. Тебя вспоминали.

— А Костя меня в Кронштадте не узнал.

— Костя тебя в Кронштадте не узнал, ты меня — в Калининграде. Выходит, что брито, что стрижено.

Оба грустно покачали головой и грустно посмеялись.

— Что это тебя на штабную работу потянуло?

— «Года к суровой прозе клонят...» Кажется, так у Пушкина? А «Железнякова», брат, нет. Нет «Железнякова». Может, на «Смелый» пойдешь? Командует им весьма перспективный офицер — Юрий Павлович Стукалов. Капитан третьего ранга. А старпомом у него Люков Валерий Васильевич. Тоже достойный офицер. Капитан-лейтенант. Они тебя примут, как родного.

Свечков обрадовался:

— Хочу быть родным.

— Вот и иди на «Смелый». А будет у меня окошко, так и я к вам заверну. Чайку попьем, посудачим, косточки поперемываем. Кстати, присмотрись повнимательнее к Стукалову. — Георгиев чуть приметно усмехнулся, и лицо его как будто стало округлее. — Большой оригинал. Как-то американский фрегат попытался перерезать ему курс, так Стукалов приказал поднять сигнал: «Выполняю срочное задание. За последствия не отвечаю», а от себя еще добавил: «Судно, поступившее подобным образом, покоится на дне океана». Так что ты думаешь? Фрегат тотчас же застопорил машины, пропустил «Смелого», поприветствовал его и подрапал к своим.

— Молодец командир.

— Молодец-то молодец, — заметил в сторону Георгиев,— только пришлось предупредить по всей строгости, чтобы больше не баловался сводом международных сигналов.

— Нахалов прежде били по зубам.

— Прежде били, теперь обходим стороной.

— А признайся, чешутся иногда руки?

— На нахалов, Игорь милый, руки всегда чешутся.

— И часто приходится чесать их?

— Чаще, чем нам хотелось бы. Это же океан. Нагрузка на людей, и физическая, и моральная, неимоверная. И что удивительно: не только не ноют, но сами просятся в океан.

— Хочу на «Смелый».

— Иди, родной, — пошутил Георгиев. — Отведут тебе флагманскую каюту, будешь жить как бог.

Флагманская каюта — это, безусловно, было самое комфортабельное, что мог представить в распоряжение Свечкова корабль, вернувшийся из похода, но и номер в гостинице он тоже решил оставить за собой. «Захочется на бережок сходить, — подумал Свечков, — то да се. Вроде бы как и не командированный, а вполне флотский человек: каюта на корабле, на бережку тоже есть свой уголок. Захочется винишка откушать — не придется по кабакам шляться. Это ведь тоже понимать надо».

Георгиев вызвал свою машину, приказав отвезти Свечкова в военную гавань.

У проходной Свечкова уже поджидал атлетического сложения капитан-лейтенант. Фуражка у него была посажена глубоко, поэтому казалось, что она вдавила саму голову в плечи. Сцепив в замок за спиной руки, капитан-лейтенант

медленно прохаживался неподалеку от вертушки, поглядывая из-под козырька на подходящих и подъезжающих. Завидев штабной газик, он быстрыми шагами подошел к нему, подал Свечкову руку, крепко сдавив ладонь, и представился:

— Люков.

Свечков мельком оглядел Люкова и неожиданно понял, что, наверное, очень скоро сойдется с ним накоротке.

— Командир просит извинения: у нас на борту проверяющий из штаба. Так он сам...

Свечков не дал договорить Люкову.

— Оставьте китайские церемонии. Считайте меня своим, прибывшим из отпуска. Тем более что моего «Железнякова», к сожалению, больше нет.

— Его место у причала было по носу от нас.

— Это где же?

Люков кивнул на корабли, к которым они приближались:

— Этот вот наш, а за ним стоит «Выборгская сторона». Так это и будет место «Железнякова».

— Да-да, — глухо сказал Свечков, — тут мы и стояли. Красивое было время. И мы красиво жили. Всякое, правда, случалось, но вспомнить есть что.

— Так ведь и нам есть что вспомнить, — заметил Люков.

Свечков пошутил, несколько бравируя своей осведомленностью:

— Например, как американскому фрегату пригрозили оверкилем.

Люков приподнял фуражку и широко заулыбался, улыбка у него получилась едва ли не во все лицо.

— Было дело. Командир у нас рисковый. Правда, потом адмирал поднял свое «неудовольствие», но тут уж, как говорится, что заработал, то и получай. А фрегат крепко струхнул.

— И часто они нахальничают?

— Почти все время. Случаются среди них и культурные моряки, но чаще наглецы. То нос подрежут, то в район наших стрельб запорятся, а один вертолет, помнится, нас долго облетал...

— Неужели так низко пали нравы на море?

— Нравы не пали, — возразил Люков. — Наглецы ведь встречаются не только на море. Просто кое-кто привык хозяйничать там, где он всего лишь гость. Мировой океан не частная лавочка, а зона свободного мореплавания.

Они незаметно подошли к трапу. Люков хотел было про-

пустить Свечкова перед собой, но Свечков ловко посторонился, и Люков уверенной поступью поднялся на борт, вскинул руку к козырьку, приветствуя флаг, а сам тем временем искоса оглядел ют, видимо, что-то ему там не понравилось, и он нехотя поморщился. Он молча выслушал доклад вахтенного мичмана, продолжая коситься на ют, негромко промолвил: «Есть», когда вахтенный закончил доклад, и только потом спросил голосом, ничего доброго вахтенному не сулящим:

— Почему до сих пор не прибрали ют? Почему там ветошь валяется? И почему бочки с краской до сих пор не откатили? Скоро боезапас подойдет.

— Я говорил главному боцману, — пролепетал вахтенный мичман.

— Не говорить надо, а требовать, — не поднимая голоса, сказал Люков. — Вы, собственно, кто?

— Вахтенный мичман, товарищ капитан-лейтенант.

— Вот и будьте вахтенным мичманом, а не воспитательницей детского сада. Вы меня поняли?

— Так точно.

— Вызывайте главного боцмана и наводите порядок. Через час проверю лично.

— Не слишком ли строго? — спросил Свечков, когда они поднялись на надстройку.

— Не построжишь, так и службы не получишь, а мы с командиром любим порядок. — Люков опять нахлобучил фуражку, став пошире и поквадратнее. — Впрочем, чего уж командир... Командир — небожитель, старпом — собака. — Он посмеялся, обнажив крепкие зубы. — Но если не насобачишься, так и небожителем не станешь.

— А скоро ли?

— Как распорядится командование... Впрочем, командир нынче идет в академию, — добавил он, подумав.

— Вы уже допущены к самостоятельному управлению кораблем?

— Так точно. — Люков опять улыбнулся, и улыбка у него на этот раз получилась радостная. Свечков неожиданно понял, что и фуражка, надвинутая на самые уши, и строгость, и желание выглядеть квадратным — все это придуманное, а главное — вот эта радостная улыбка, которую Люков старался упрятать подальше, но так и не упрятал. — Командирские классы я закончил два года назад.

— И стало быть, два года ходите в старпомах?

— Так точно.

— Тогда конечно...

На этот раз Люков промолчал, став сразу скромницей, и уже молча проводил Свечкова в офицерский коридор, распахнул дверь во флагманскую каюту и пригласил жестом входить.

Свечков повел глазами по сторонам и остался весьма доволен: удобный кабинет с двумя иллюминаторами, с письменным столом, креслами и диваном в чехлах, с книжными полками, на которых Свечков успел разглядеть и лоцию Атлантического океана, и Наставление по мореплаванию. Спросил, поведя бровью на закрытую дверь:

— Там спальня?

— Так точно, холодильник, за нею — душевая и все такое прочее. Можете с дороги душ принять. Сейчас я распоряжусь, чтобы дали пресную воду. А вечером протопим сауну и знатно попаримся. Да вы любите ли сауну?

— Обожаю, если температура к сотнюшке подбирается.

— Ну-у, — разочарованно протянул «у» Люков. — Мы если меньше ста тридцати, то и на полок не лезем.

— Вы на полок полезете, я на приступочке посижу — оно и ладно будет.

— Если что так... — Люков для приличия бросил руку к козырьку фуражки. — С вашего позволения....

— Конечно, конечно, — быстро, даже несколько торопливо, сказал Свечков и тотчас же ругнул себя за эту торопливость: на флотах во все века уважали быстроту и в равной мере презирали торопливость.

Люков, кажется, заметил это и, чтобы снять неловкость, появившуюся вслед за торопливостью, промолвил:

— Отдыхайте до обеда. Я распоряжусь, чтобы вас без дела не беспокоили.

— Невелик барин, — пробурчал Свечков.

Люков улыбнулся одними глазами и промолчал, как бы тем самым подчеркнув, что, может, он маленько и хватил лишку, но своего решения не переменит: как сказал, так и поступит. С этим он и ушел, и до обеда к флагманской каюте на самом деле никто не подошел. «Суровый у нас старпом», — подумал Свечков, когда голос Люкова уже послышался на шкафуте:

— Вахтенный, почему плохо зачехлена шлюпка?

До обеда оставалось еще часа два, и Свечков решил последовать совету Люкова — принять душ, но прежде, движимый укоренившейся в домах отдыха привычкой, захотел поменять мебель местами. Ему показалось, что если бы диван повернуть вдоль борта, а письменный стол переставить к другой переборке, чтобы света от иллюминаторов было по-

больше, то в каюте стал бы полный комфорт. Но мебель в каюте, в отличие от кабинета адмирала Макарова, покоилась на своих местах незыблемо: стол стоял там, где ему и надлежало стоять, и диван тоже не сдвинулся с места, и вдруг Свечкова осенило, что тут ничего не надо трогать, все задолго до него уже ставлено и переставлено и принайтовано наглухо. Тут не обитатель каюты командовал мебелью, и не мебель предъявляла свои претензии к обитателю каюты, а властвует над всем давно установившийся порядок, который определяет не только время, скажем, побудки или послеобеденного сна, но и то, какой койке где стоять и какому офицеру или матросу где жить, сколько спать, какую стоять вахту и сколько при этом граммов мяса съесть ему на якорной стоянке и в дальнем походе. Тут незачем было изобретать велосипед, он давным-давно катил по своей дорожке, и весь фокус как раз и заключался в том, чтобы вовремя было сесть на велосипед и вовремя, если находилась тому причина, соскочить с него.

Свечков смахнул запястьем со лба испарину, присел на диван и счастливо рассмеялся: он не стал больше ничего изобретать, зорко оглядел каюту, в которой теперь ему надлежало, выражаясь старпомовским языком всех времен и поколений, «иметь место», и стало быть, он волен тут располагаться, сообразуясь с привычками, коим подчинялось само место. Получалось, что старания его были зряшными: не порядок следовало приспосабливать под свои вкусы, а вкусы приводить в соответствие с порядком. К счастью, очень часто и в зряшном деле может образоваться свой резон. Этот резон появился и у Свечкова — после нелепой возни с мебелью душ ему был теперь просто необходим, тем более что стараниями Люкова и воду уже дали, и пару котельные машинисты подбросили: в трубах постукивало и потрескивало.

Свечков разложил содержимое портфеля по шкафчикам и полочкам, набрал полную ванну воды, залез в нее, устроился поудобнее, и мысли его, убаюканные теплом и покоем, стали беспечными и даже словно бы блаженными. «Черт побери, — думал он, поглаживая ладонью грудь и щуря глаза на неяркий свет лампочки, упрятанной в матовый плафон. — До чего же разумная вещь — система. Приходят люди и уходят люди, но, пока существует система, порядок остается незыблемым. Не надо переставлять мебель, надо только найти себя в этой системе — и все. Это так просто: найти себя. Георгиев нашел себя, и Жвания тоже, а вот Костя Гетманов, должно быть, потерял. Нашел и потерял. Это

все равно что иметь и не иметь. — Он приоткрыл кран, чтобы в ванне стало потеплее. — Ах, до чего же хороша здешняя водица. Не мягкая, как в Неве, скажем, но и не жесткая, а в самый раз. — Он закрыл кран и вынул пробку. Вода взахлеб, словно бы со стоном, ринулась в шпигат. — Значит, все правильно: иметь и не иметь. — Он усмехнулся. — Но иметь-то все-таки лучше, чем не иметь».

Он крепко растерся сухим, жестким полотенцем, которое казалось ломким и поначалу хрустело, надел чистую рубашку, ощутив приятную истому во всем теле. «Вот черт, а»,— только и подумал он и сел к столу, чтобы записать первую фразу, которую составил еще в ванне: «Каждый моряк молится своему богу, а богов на море ровно столько, сколько и кораблей», но вместо этого рука сама вывела: «Сестра умерла, а вместе с нею умерли и все ее боги — добрые и злые. Ей незачем больше молиться, мертвые сраму не имут».

— Срам падет на живых, — подумал Свечков вслух. — Живые в ответе за то, что было, и что есть, и что будет, но главное за то, что могло быть, но почему-либо не состоялось.

В дверь уверенно постучали. Застигнутый врасплох, Свечков едва успел пробормотать: «Войдите», и в каюте тотчас же появился среднего роста, хорошо скроенный и основательно сшитый капитан третьего ранга. На его почти квадратных плечах крепко сидела крутолобая, рано облысевшая голова. Он весело оглядел Свечкова блестящими ореховыми глазами и подал руку:

— Командир корабля Стукалов.

— Рад познакомиться, — привстав, растерянно сказал Свечков, несколько нарушив этой своей невольной растерянностью и совершенно чуждым для корабельного обихода выражением «рад познакомиться» полууставное, полуироническое, а вместе с тем доверительно товарищеское отношение, принятое в среде флотских офицеров. Чтобы выйти из этого неловкого положения, Свечков быстро добавил: — Юрий Павлович.

— Так точно, — сказал Стукалов. — Если не возражаете, прошу в кают-компанию.

— Помилуйте, — оживился Свечков. — Это то самое, что сейчас больше всего требуется.

Доверительность в обращении была восстановлена, и дальше уже все пошло своим привычным, отлаженным годами чередом. Они вышли в коридор, немного потолкавшись в дверях: «Прошу вас», «Нет, уж извините», Свечкову пришлось уступить и выйти первым, но, выйдя в коридор, он

тотчас же пропустил Стукалова вперед, и все правила и приличия корабельного этикета оказались соблюденными.

Навстречу им, не ожидая, видимо, встретить в этом коридоре командира, шествовал с этакой ленивой прохладцей лейтенант.

— Идет, понимаете ли, как адмирал, — весело заметил Стукалов.

Лейтенант несколько подтянулся, но не настолько, чтобы это бросилось в глаза, и ровным, ничего не выражающим голосом промолвил:

— Слаб здоровьем, товарищ командир.

Стукалов иронически оглядел его и тем же веселым голосом сказал:

— Не огорчайтесь, лейтенант. Мы попросим старпома помочь вам освободиться от этого печального недуга.

Свечков дождался, когда лейтенант скроется за переборкой, и привычно, следуя профессиональному правилу собирать все впрок, поинтересовался:

— Хороший офицер?

— Это еще не офицер. Это еще лейтенант. Офицером ему еще предстоит стать.

— Но за словом уже и теперь в карман не лезет.

Стукалов не согласился:

— У него слово еще опережает дело. А вот когда дело начнет опережать слово, тогда и посмотрим.

Офицеры уже томились и в коридоре, и в самой кают-компании, в ожидании командира негромко переговаривались, на всех были свежие рубашки: появляться в кают-компании небрежно одетому офицеру во все века считалось предосудительно. Завидев командира, Люков подал негромкий голос:

— Товарищи офицеры...

Стукалов предостерегающе поднял ладонь, ступил первым в кают-компанию и таким же негромким голосом — разговаривать громко в кают-компании не полагалось — пригласил:

— Прошу к столу.

Сервированы были два стола: слева от входа — для старших по должности офицеров и справа — для лейтенантов, которые хотя и отличались «слабым здоровьем», но за стол уселись проворно и, едва дождавшись, когда в торце другого стола усядется Стукалов и усадит слева от себя Свечкова, весьма проворно заработали вилками и ножами.

В свое время Свечков сиживал за лейтенантским столом и тоже было начал лихо накладывать себе на тарелку и того, и другого, но, скосив глаза на Стукалова, умерил свой пыл. После закусок и первого за лейтенантским столом заметно оживились. Стукалов молча поднял глаза на Люкова, сидевшего напротив него у другого торца, тот не спеша выпрямил спину, повел головой в сторону, чтобы краешком глаза рассмотреть, что же там за веселье открылось, и лейтенанты тотчас же притихли. Все это было давно знакомо Свечкову, и он невольно улыбнулся, вспомнив, как старпом «Железнякова» школил за столом их, молодых лейтенантов. Стукалов истолковал улыбку Свечкова по-своему и заметил словно бы в сторону, но все-таки таким образом, чтобы и за лейтенантским столом его услышали:

— Пусть на кашу налегают. Гречка хорошо укрепляет здоровье.

Истинный смысл реплики поняли в застолье только три человека — сам Стукалов, Свечков и лейтенант, «слабый здоровьем»,— всем же прочим она «не показалась», кое-кто, видимо, даже подумал, что Стукалов «не в духе», и поэтому остаток обеда прошел в полном молчании.

Свечков догадался, что Стукалов не хотел этого, но он ничего и не сделал, чтобы вернуть лейтенантскому столу вспыхнувшее было оживление, он дождался, когда на обоих столах допьют компот, и, когда самый нетерпеливый уже подал голос: «Прошу разрешения встать из-за стола», прижал столешницу большими ладонями и, обведя оба застолья своими иронически-насмешливыми ореховыми глазами, ровным голосом сказал:

— С сего часу объявляется сбор. Увольнения личного состава на берег отменяются. Сход на берег товарищей офицеров крайне нежелателен, только с моего личного разрешения. Я же это разрешение должен буду, естественно, испросить у командира бригады, тот пойдет еще выше. Думаю, что такое пристальное внимание к любой персоне ничего доброго не сулит.

Командиры боевых частей и служб молча покивали, дескать, все понято и принято к исполнению, лейтенанты, к которым, собственно, и обращался Стукалов, не сразу оценили серьезность ситуации и тоже промолчали.

— Пружину у часового механизма надлежит завести до отказа, — между тем продолжил Стукалов. — Мы со старпомом об этом позаботимся.

— Так точно, — сказал за всех Люков.

— В таком случае больше никого не удерживаю.

И лейтенанты тотчас отправились по своим делам, а командиры боевых частей и служб еще задержались, справедливо полагая, что могут услышать от командира то, что надлежало знать пока только им. Стукалов попросил вестового, чтобы ему со Свечковым принесли чаю, говорить о делах службы больше не собирался, а начал расспрашивать Свечкова о том, когда тот служил да где служил, командиры боевых частей и служб явно просчитались, и тогда, не желая их больше томить, кое-что от себя сказал Люков:

— Боезапас частью завтра примем у стенки, частью — на рейде. Торпеды и мины возьмем учебные, а все прочее, прошу прощения, условно боевое.

И хотя говорил Люков, командиры боевых частей и служб невольно поглядели на Стукалова. Тот, казалось, был занят разговором со Свечковым, но, как только речь в застолье зашла о боезапасе, он прижал своей массивной ладонью руку Свечкова в запястье, как бы прося повременить с ответом, и живо повернулся к офицерам.

— Так точно, — сказал он, подкрепляя слова Люкова командирским авторитетом, — условно боевой. Не исключено, что нам наряду с выполнением учебных стрельб предстоит также и дозорная служба.

— А что, есть сведения?

— У меня таких сведений нет, — будничным голосом промолвил Стукалов, — но это не исключает того, что такие сведения в природе существуют. Мы — люди военные и прежде всего делаем то, что нам прикажут. Но кроме приказов существуют еще газеты, радио, телевидение, которые вы и читаете, и слушаете, и смотрите. Там много чего сейчас есть интересного. И условно боевой запас как раз и подтверждает эти интересы. А кстати, — он посмотрел на Люкова, — что мы имеем со временем?

Люков мельком глянул на свое запястье, украшенное массивными командирскими часами:

— Через пять минут заканчивается адмиральский час. Разрешите играть малый сбор?

— Добро.

— На сбор выйдете сами?

Стукалов что-то прикинул в уме:

— Нет. Разводите людей на работы без меня.

— Есть, — сказал Люков, и это «есть» подняло и его самого, и всех прочих командиров боевых частей и служб.

Сколько помнил Свечков, рейдовые сборы предваряли сбор-поход, которым прежде открывалась весенняя кампания, называемая, правда, теперь, когда плавание стало круглогодичным, весенне-летним обучением. Кампания звучала несколько торжественнее, чем, скажем, обучение, но раньше это на самом деле была кампания: всю зиму корабли отстаивались у причалов — ковать залив возле Кронштадта морозы начали уже в декабре, и только к апрелю рейд очищался ото льда, — помалу ремонтировались и за зиму основательно обрастали всяким хламом.

С приходом тепла корабли чистились, скоблились, мылись, красились, сперва выводились на Большой Кронштадтский рейд, потом один по одному переходили за Толбухин маяк на траверз Красной Горки. Там, собственно, и начиналась летняя кампания, которая заканчивалась штурманским походом в Таллин или чуть дальше — в Лиепаю. Теперь, кажется, все было иначе. «Иные времена, — машинально подумал Свечков, — иные песни. Старые балтийцы тут заканчивали счет, а нынешние только его начинают».

Ровно в испрошенное время Люков приказал сыграть малый сбор, и по караблю понеслись прерывистые трели колоколов громкого боя. Загрохотали палубы и трапы, и так все это было знакомо, привычно, что Свечков не выдержал и тоже, нахлобучив кепчонку, вышел на ростры к шлюпкам. Оттуда ему все было хорошо видно и слышно, команда уже построилась на юте по обоим бортам, среди синих матросских беретов ромашками белели фуражки и мичманки. Возле вьюшки, зачехленной свежевыстиранным брезентом, одиноко стоял Люков, заложив руки за спину и немного сутулясь. Фуражка его, как всегда, сидела на голове уверенно.

— С этой минуты, — наконец сказал он, не слишком напрягая голос, но так, чтобы слышали все,—объявляется рейдовый сбор. Сейчас подойдут баржа с боезапасом и машина с продуктами. Продукты будем грузить впрок. Увольнения отменяются. Все корабельные работы на ближайшие сутки объявляются авральными. Вопросы есть?

Строй, и на правом борту, и на левом, шелохнулся и опять замер: вопросов не было и не могло быть. Люков повысил голос:

— Разойдись! — И в подкрепление своей команды махнул рукой, словно сделал отмашку флажками.

Опять загрохотали палубы, но не так уже звонко и совсем уже не азартно. Все было, как и в прежние годы. Свечков вздохнул, поправил кепчонку и отправился в каюту, что-

бы не путаться у служивого народа под ногами, тем более что этому народу объявили авральные работы. Он сел за стол и опять хотел было записать ту самую фразу, которую сочинил в ванне, и опять не записал, только подумал: «А когда-то был Кронштадт, и были вот такие же авральные работы на «Октябрине». А еще была тоненькая девочка Оля, пригласившая меня на белый вальс.—Он повертел ручку в пальцах и отложил ее в сторону. — Может, плюнуть на все и податься на Куршскую косу, найти там Ольгу Николаевну и сказать ей... — Он помедлил. — И сказать ей... — И опять помедлил. — И никуда ты не поедешь, потому что и прежней Оленьки больше не существует, и приглашать на белый вальс тебя некому. Вот так-то, брат... Время приходит, и время уходит, но годы-то только проходят. Так-то, дорогой Игорь Александрович».

В дверь постучали, и в каюту, сутулясь сильнее обычного, шагнул Люков, поставил на кресло картонную коробку, поправил фуражку и виновато улыбнулся.

— Вы, случайно, хоккей не любите? — словно бы и голосом виноватым спросил он.

Свечков даже на кресле подскочил:

— Обожаю.

— Я тоже, — все еще не меняя интонации, признался Люков. — Только играть некогда.

— Как играть? — не понял Свечков. — У вас что же — и коробка есть?

— Есть, — сказал Люков. — У нас все есть. В океан уходишь надолго, так надо людей чем-то занимать.

— А-а... — только и сказал Свечков, пытаясь сообразить, где же это у них может стоять хоккейная коробка и как они ухитряются играть в качку, без которой, как известно, океана не бывает.

А Люков между тем распаковал картонку, достал оттуда небольшой телевизор, подключил его к сети и, когда на экране высветились черточки и небольшой шарик, надавил кнопку и ловко послал шарик в условные ворота.

— А-а... — разочарованно сказал Свечков. — И что же, Валерий Васильевич, вы теперь и на аврал не пойдете?

— Как можно?! — удивился Люков. — Это я вам приволок. Был бы замполит на корабле, он бы, может, и еще чем вас занял.

— Обижаете, Валерий Васильевич.

— Как можно. — Люков немного растерялся. — Я и сам бы погонял, да у меня и минуты свободной нет.

— Все, выходит, на аврале, а я шарик гонять. Эх, Валерий Васильевич, Валерий Васильевич... Пристроили бы вы меня тоже к месту.

Такой оборот дела весьма озадачил Люкова.

— Не знаю, куда вас и поставить, — пробормотал он. — На походе, там известно — ваше место на мостике. А теперь, право, не знаю, что и придумать... Может, поспите часок или газеты почитаете? — с надеждой спросил Люков. — Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам из кают-компании газеты принесли.

— А что, Валерий Васильевич, на камбузе всю картошку почистили к ужину?

Люков неожиданно стал туго соображать.

— Не интересовался, право... Этим занимается дежурная служба. Да я сейчас позвоню.

— Не надо звонить. Я сам пойду и найду себе дело.

— Как можно... — с опаской сказал Люков. — Меня же потом командир с замполитом загрызут, обвинят, что я заставил корреспондента картошку драить.

— Если бы заставляли, так я бы и не пошел, — резонно возразил Свечков. — А раз я по своей охоте, то и за миленькую душу. Аврал же на корабле, Валерий Васильевич?

— Так точно...

— А раз аврал, то и бездельников не должно быть.

— Вы не бездельник, — обретя свой старпомовский голос, сказал Люков. — Вы — гость. С гостя спрос особый.

— Какой же я гость, Валерий Васильевич... Я тут, можно сказать, свой в доску.

— Ежели так, конечно, но все-таки, Игорь Александрович, непорядок это... Да и картошку, должно быть, уже всю подраили, — сказал Люков в сторону.

— А мы пойдем и проверим.

— Ну, ежели что так...

Они вышли на шкафут коридором, и на шкафуте Люков наконец-то почувствовал себя в своей тарелке, не останавливаясь, устроил маленький разнос главному боцману, усмотрев непорядок возле шлюпбалок, и самолично отвел Свечкова на камбуз.

Возле большого — ведра на четыре — лагуна сидели два моряка, видимо первогодки, и, поклевывая носами, срезали у картошек в очистки едва ли не добрую половину.

— Как дела, орлы? — спросил Люков.

Орлы вздрогнули, подняли унылые носы и заулыбались.

— Дела хорошие, товарищ капитан-лейтенант, — ответили орлы.

— Хорошие-то хорошие, только зачем столько картошки в отходы срезать?

Орлы дружно поднялись, носы у них утратили унылую сонливость, и они ответили весьма бодрыми голосами:

— Это которые с гнильцой, а так мы с пониманием.

— Ну, понимайте, понимайте, — благодушно проворчал Люков. — Вот вам помощник. — Он скосил глаза на Свечкова. — Звать его Игорем Александровичем. Смотрите, не обижайте. Обидите, будете иметь дело со мной. Ясно, орлы?

— Так точно, товарищ капитан-лейтенант.

— Ну-ну... — И Люков ушел по своим многотрудным старпомовским делам, а Свечков остался с орлами, ему подвинули ящик вместо стула, дали ножик поострее и стали показывать, как чистят картошку.

— Я, ребята, в юнгах горы ее перечистил.

— Тогда мы с вами поладим, — сказали орлы.

— По первому? — спросил Свечков.

— Не-е, мы по третьему.

— Разве теперь старослужащих посылают на камбуз? — удивился Свечков. — У нас с этим делом было строго.

— Да и у нас строго, только тут маленькая историйка приключилась. Не то чтобы уж очень, но все-таки.

— Понятно...

— А вы что же, из юнг?

— Кронштадтский. Были еще и соловецкие, и валаамские. Валаамские, правда, все до одного погибли, защищая остров, ну а я кронштадтский.

— Теперь юнг нету.

Свечков усмехнулся:

— Теперь, наверное, в юнги никто бы не пошел.

— Нет, почему же, очень даже пошли бы.

— Значит, есть ребята, которые службу любят?

— А это уж само собой.

— А вы, к примеру?

Орлы ответили уклончиво:

— А это когда как...

— И в океане приходилось бывать?

— Три раза ходил, — солидно сказал один. И другой сказал: — И я три.

— Ого. — Свечков кое-что подсчитал в уме. — Почти половина службы прошла в океане.

— Побольше будет, — заметил один, а другой уточнил: — Намного побольше.

— Так что вы вроде бы балтийцы, а вроде бы и с Мирового океана?

— А уж это точно — мы всякие. — Орлы помолчали. И один сказал: — Подайся-ка на камбуз, погляди, что там чего... — Другой отложил нож в сторону, молча поднялся и вышел, а скоро вернулся с алюминиевой миской, в которой дымились три мосла. Он протянул миску Свечкову, радушно предложил:

— Берите.

Свечков застеснялся:

— Да я будто не хочу.

— Не хотеть будете, когда съедите, а по флотскому обычаю от еды никогда не отказываются. Надо всегда помнить первую заповедь: нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли.

Свечков выбрал мосол поменьше, но ему указали на самый большой, сказав при этом: «Вы старший, вам, стало быть, и мосол с сахарной косточкой». Пришлось взять самый большой, при этом, вспомнилось Свечкову, тарелок не полагалось, есть пришлось прямо с рук, обжигая пальцы и губы. Свечков обиделся неизвестно на кого и, сердясь, сказал:

— У нас такой заповеди не было. Плохая она, не флотская.

— Не-е, ничего, жить можно.

— А сами-то вы кто по специальности?

— Мы-то? — переспросили орлы. — Мы гидроакустики, лодки слушаем.

— Что же, и контакт с американцами в океане имели?

— И с американцами, и с англичанами... С французами тоже приходилось контачить.

— Ну и что они?

— Как только почуют, что мы вошли в контакт, сразу дёру к себе. У них скорость-то не ниже нашей.

— Страшновато, когда в контакт входите?

— Не-е, — сказали в один голос. — Плохо, когда контакта нет, а когда в контакт вошли, она нам ничего не сделает, а мы ее всегда с реактивных установок накроем.

— Такие боевые ребята и вдруг — картошка. Не похоже что-то.

— Бывает, — философски заметил один, а другой добавил: — Картошку ведь тоже кому-то драить надо. — Этот другой помолчал. — Полировочку надо бы произвести. — Первый молча вышел и долго не появлялся. — Чтой-то он там? — удивился второй и тоже вышел. Вернулись они в сопровождении кока, который нес чайник с компотом и три кружки.

Кок для солидности потопорщил в улыбке редкие усишки и налил Свечкову кружку с краями:

— Пейте. Без полировки нету никакой пищи.

Компот оказался приторно-сладкий. Пить его было неприятно, и Свечков даже поморщился. Кок забеспокоился:

— Не сладкий?

— Никак нет, — сказал Свечков, — слаще меда.

— Правильно. Слаще меда может быть только флотский компот. Мы в чайник полпачки сахару впороли.

— Не многовато ли? — иронически спросил Свечков.

— Не-е, в самый раз.

С картошкой было покончено, орлы отправились на камбуз драить лагуны, а Свечков вышел на палубу, сытый до противности, с великой леностью во всем теле и полнейшим отсутствием всяческих мыслей. На юте одни матросы крепили мины, другие таскали мешки с мукой, крупой, сахаром, солью, на шкафуте в торпедные аппараты загружались длинные хвостатые сигары, которыми предстояло стрелять Люкову. «Смелый» напоминал муравейник в ясный день, когда его многочисленные обитатели, находясь в непрестанном движении, должны что-то волочить, катить, тащить — словом, созидать. И пока это «что-то» волочится, катится, тащится, создается впечатление полной неразберихи и отсутствия всяких организационных начал, но Свечков-то знал, что этим организующим началом в эти часы на корабле был Люков. Голос его слышался то на юте, то на пирсе, но чаще всего и совсем не слышался, но, даже неслышимый, он все равно присутствовал на корабле. «Командир — небожитель, — подумал Свечков словами Люкова, — старпом — собака, но, чтобы стать небожителем, надо вволю насобачиться... А он умен, этот старпом Люков».

Прозвенели колокола громкого боя, и послышалась команда:

— Окончить корабельные работы!

А следом опять ударили колокола, и опять раздалась команда:

— Малая приборка. Палубу скатить и прошвабрить.

Свечков поднялся по одному трапу, по другому и очутился на ходовом мостике. Из больших квадратных иллюминаторов хорошо обозревалась вся гавань. С правого борта Свечков увидел единственное, сиротливо стоящее здание, в котором в его бытность были матросский клуб, библиотека, за ним зеленел квадрат футбольного поля. На нем некогда и Свечков гонял мяч, играя за команду своего корабля и вколачивая овровцам штуку за штукой.

Тогда тут было полно битой немецкой техники, по которой они, словно по музейным экспонатам, составляли весьма реальное представление о немецкой военной машине. Она, кажется, была громоздкая и внушительная, но тем грознее выглядело наше оружие, сумевшее обратить в металлолом всю эту знаменитую крупповскую броню, которая под пиликанье губных гармошек прокатилась по всей Европе. Черт побери, тогда им, желторотым мальчишкам, было чем гордиться, а они и гордились.

Ветер выжал из глаза непрошеную слезу. Свечков вытер ее кулаком и, чтобы больше не ворошить воспоминания, спустился вниз и прошел к себе в каюту. Там было уже прибрано, пахло теплой водой и содой, видимо, в каюте мыли не только палубу, но и краску. «Нехорошо-то как, — подумал Свечков, — утруждать людей. Мог бы и сам прибраться». Он нашел на столе под стеклом номер телефона каюты Люкова и наугад позвонил, будучи, впрочем, в полной уверенности, что сейчас Люкова следовало бы искать на верхней палубе, но тот оказался в каюте.

— Валерий Васильевич, а нельзя ли сделать так, чтобы в каюте я прибирался сам, — попросил Свечков. — А то неудобно получается.

Люков там у себя в каюте посопел.

— Никак нет, — наконец сказал он сдержанно, даже несколько суховато. — Во флагманской каюте расписан по приборке матрос, и если последовать вашей просьбе, то придется куда-то его пристраивать. Иными словами, менять всю организацию, а организация — дело серьезное.

Когда-то комдив на крейсере «Железняков» говорил Свечкову: «Мне, Свечков, самодеятельности не надо. Я профессионал, Свечков, советую и вам им становиться».

— Вас понял, — сказал Свечков. — Самодеятельность отменяется.

Люков там у себя повеселел.

— Так точно... — И уже совсем добрым голосом напомнил: — Вы не забыли, Игорь Александрович, что сегодня у нас банька. Я послал боцмана на «Выборгскую сторону» одолжить пару веников. Их боцман роскошные веники вяжет.

После ужина, который прошел в отсутствии командира — его вызвали в штаб сразу после адмиральского часу, и он все еще не возвращался, — все сразу же разошлись по своим заведованиям. Авральные работы на сегодня были

завершены, но рейдовые-то сборы продолжались, пружина, как того и требовал Стукалов, все подкручивалась и подкручивалась, и отлаженный корабельный механизм уже начал работать с точностью выверенного штурманами хронометра.

Когда по трансляции объявили перерыв, Свечков тоже вышел на бак, «к фитильку», как говорили прежде, покурить и встретил там своих орлов. Они молча, с достоинством, кивнули ему и продолжили, с достоинством же, сосать свои трубки. Моряки, обращаясь к ним, величали их хотя и иронически, но тем не менее почтительно — дядя Вася и дядя Саша. «Во дают», — вроде бы даже растерянно подумал Свечков. Правда, он в юнгах тоже величал своего первого наставника дядей Ваней, но тот дядя Ваня был старше Свечкова лет на десять с лишком, имел на груди полный иконостас, а за плечами — четыре полновесных года Отечественной войны да еще финскую кампанию. А эти дядя Вася с дядей Сашей были такими же безусыми, как и те, которые величали их дядями, и никаких видимых отличий не несли. Не столкнись Свечков с ними на камбузе и не знай от них самих же, что они третьего года службы, считал бы он их зелеными салажатами.

Дядя Вася с дядей Сашей степенно докурили трубки и удалились, кивнув на прощание Свечкову, дескать, будь здоров, и он им кивнул, дескать, и вы бывайте, ребята, а сам все стоял и крутил носом: «Во дают... Ну, дают...»

Палуба уже сияла чистотой и блеском меди, чехлы на шлюпках, вьюшках, орудийных стволах и еще кое на чем девственно белели, все приняло свое нулевое положение. Корабль словно бы приневестился, только одна из антенн на мачте все обегала и обегала свой круг, ощупывая незримым лучом то ли море, то ли небо — антенн было много, и Свечков далеко не сразу разобрался, какие у них направленности, да и не в направленности, в конце концов, было дело, а в том, что в эти минуты тут же, за переборками, или, может, в чреве корабля, сидели у экранов моряки и, подобно антеннам, раз за разом вглядывались или в очертания берегов, или в воображаемое небо, по которому мерцающей голубой точкой, словно бы на ощупь, пробирался гражданский лайнер.

Свечков опять поднялся на ходовой мостик и оглядел гавань. Все правильно: там, где сейчас стояла «Выборгская сторона», некогда швартовался «Железняков», на котором он имел честь командовать первой башней главного калибра. «Интересно, — подумал он, —кем бы я сейчас был, не

уйди тогда с флотов? Костей Гетмановым, или Георгиевым, или... Впрочем, никем иным я стать не мог, кроме того, кем стал. Иначе это был бы уже не я, а кто-то другой, похожий на меня и носивший мое же имя».

10

Вечерний чай Свечков отпил раньше других, решив пораньше лечь спать, чтобы с утра уже окончательно определиться в этой жизни, но только он погасил свет в салоне и перешел в спальню, как в каюту просунулась голова в нахлобученной старпомовской фуражке.

— Никак, вы спать решили? — недоверчиво спросил Люков.

— Притомился за день.

— А как же банька? Сейчас она пришлась бы в самый раз.

— Будто бы поздновато...

— Ну, поздновато... Только что сыграли команде отбой, а офицеры раньше полуночи вообще не ложатся.

— А если перенести, скажем, на завтра?

— Никак нельзя, — твердо сказал Люков. — Завтра с утра опять авральные работы, а после ужина вытягиваемся на рейд. Будет объявлен сбор-поход.

— Ну, раз сбор-поход...

— Вот и я говорю... Там и простынки уже приготовили, и два моряка с вениками дожидаются. Да вы их знаете — орлы, с которыми вы картошку драили.

Свечков усмехнулся:

— Дядя Вася и дядя Саша...

— Что вы сказали?

— Нет, ничего... Старый анекдот вспомнил. Вернее, начало, а конец забыл. Хотел рассказать, да вот не получилось.

— Потом вспомните.

— А это уж само собой.

В сауне Свечкова уже ждали дядя Вася с дядей Сашей, которым в совокупности еще многонько недотягивало до полсотни лет, но держались они с достоинством, как и полагается держаться уважающим себя людям.

— Мы вам там простынку постелили, так что ложитесь без сомнения. Парок в самый раз.

— А велик ли парок-то? — с опаской спросил Свечков.

— Не-ет, чуть за сотню.

— Так ведь свариться можно.

— Можно, если не умеючи. А мы вас по науке.

Свечков вошел в сауну, словно бы озираясь, охнул, но на полок поднялся, поворочался, устраиваясь на горячей простыне, и с удивлением скоро убедился, что дышится легко, губы и рот не обжигает и в груди даже появилась легкая приятца.

— Мы скипидарчику с эвкалиптом на каменку подбросили, так что все будет в ажуре, — сказали орлы, оглаживая Свечкова двумя парами мягких веников, потрусили ими, нагоняя жару, и опять огладили, и опять потрусили. Свечков все опасался, что горячий воздух начнет жечь тело, но неожиданно ощутил блаженство. Дядя Вася с дядей Сашей в паре толк понимали и священнодействовали, как жрецы храма Зевса.

Свечков и млел, и томился и, наконец, не выдержал, с воплем скатился с полка, едва не задев железный ящик, в котором калились булыжники, влез под душ, включив на полную мощь холодную воду, долго стоял под струями, остужая тело, и только ворочал головой и приговаривал:

— Ну парок... Вот это парок...

Довольные своей работой, дядя Вася с дядей Сашей тихо посмеивались, хотя и с их разгоряченных, словно бы отлитых из теплой бронзы тел пот катился уже в семь ручьев.

Потом Свечков закутался в простынку, прошмыгнул коридором к себе в каюту и в изнеможении повалился на койку. Сердце неровно подпрыгивало в груди, и хотелось пить, но не было сил подняться, даже пошевелить рукой было лень, и он лежал, безвольно и блаженно улыбаясь в подволок. Он лежал бы и дольше, но появился Люков, тоже распаренный, даже разнеженный, без фуражки, поэтому простецкий и немного домашний, и сказал, что командир зовет к себе пить чай.

— Лень... — все еще улыбаясь, сказал Свечков. — Лень подняться.

— После баньки чаек в самый раз. Иначе организм может перегреться.

Волей-неволей пришлось вставать, одеваться: командир на корабле — особа священная, как знамя, ему отказывать не полагается. Свечков глянул на часы: было около полуночи, но если командир со старпомом в это время собрались гонять чаи, то ему-то и сам бог велел.

Когда он вошел к Стукалову, тот уже сидел с Люковым за столом, тоже простоволосый, в форменной рубашке

без галстука и с расстегнутым воротом, из которого выглядывала черная волосатая грудь. Он широко улыбнулся — он вообще был весь широкий и основательный, — широким же жестом указал на кресло, и чаепитие началось.

— Пока вы мылись, звонил Георгиев, беспокоился, как вы устроились. С вашего позволения, я сказал, что устроились нормально.

— Прекрасно устроился. И надо бы лучше, да уж больше некуда.

— А вы что же, и раньше знавали Георгиева?

— Знавал... Учились на одном курсе.

Люков тихо присвистнул, вообще-то при командире он больше помалкивал.

— Можно сказать, всю жизнь.

— Для жизни многовато, — возразил Свечков. — Расстались лейтенантами, встретились — Георгиев уже адмирал.

— Скоро должен получить и вторую звезду.

— При деле он?

— Вполне. Мужик самостоятельный и со своим мнением. — Стукалов давал характеристику своему начальнику, поэтому слова подбирал скупо. Он помолчал. — Когда начались гонения на надводные корабли, он — тогда еще командир эсминца — один из немногих поднял голос в их защиту, мотивируя свою мысль тем, что одними лодками войну не выиграешь. Ему тогда крепко доставалось. Думали, уберут с флотов, но выстоял.

— Он и смолоду был такой, — негромко заметил Свечков. — Видно, кто родился меченым, тот и умрет с родинкой. — Вслед за Стукаловым и Свечков сделал паузу. — А вы что же, — он спрашивал Стукалова, но глазами указал и на Люкова, — убежденные надводники?

— Так точно, — сказал, улыбаясь, Стукалов. — Я романтик. Люблю парус, море, ветер, люблю волны, люблю небо. На глубине ведь этого ничего нет.

— Зато, как я теперь понимаю, там сокрыта вся мощь флота.

— Всю мощь не сокроешь, — подал голос Люков. — Чего-нибудь и на нашу долю останется.

— А много ли остается?

Стукалов с Люковым переглянулись.

— На наш век хватит.

Вестовой принес вторую смену чая, и разговор принял несколько другое направление.

— А вы что же оба на корабле сидите?

— А мы со старпомом соломенные вдовцы. Наши семьи в Питере.

— Ну, какие мы с вами вдовцы, товарищ командир. Вон их сколько у нас. — Люков легонько постучал носком ботинка по палубе, под которой в этот час посапывали в кубриках матросы. — От них никуда не уйдешь.

— Никуда, — согласился Стукалов.

Свечков мельком глянул на часы.

— Ого, — сказал он.

— Пожалуй, пора и на боковую. — Стукалов повернулся к Люкову: — Иди отдыхать. Встанешь пораньше. Разведешь людей по работам. А я еще часа два посижу. Товарищи офицеры принесли планы боевой подготовки, так хочу сам разобраться, что они там нарисовали.

— А может, с утра? — спросил Свечков. — На свежую голову.

Стукалов усмехнулся:

— Свежая-то голова нужна и для других дел. Сегодня нас предупредили, что на Балтику готовятся пожаловать две американские лодки. Вот так-то... Захотели и пожаловали.

— С вашего позволения, — попросился Люков.

— Не смею удерживать.

Вслед за Люковым каюту командира покинул и Свечков, но к себе отправился не сразу, а постоял возле шлюпок, послушал, как нервно и возбужденно спала военная гавань.

Ночь стояла бледная и словно бы дрожащая, и звезды дрожали, и луна едва светлела. Над рейдом гуляли серые тени, они наплывали волнами с моря и, недолго повисев, снова уплывали. Было не темно, и не светло, и сумерками это тоже не хотелось называть, скорее всего, это была ночь, в которой всего хватало с избытком, или день, в котором всего было мало.

С рейда залетал ветерок, приносил с собой свежий запах рассола, и тогда в ковшах начинала потихоньку всплескивать вода, посапывали корабли, вскрикивал гаванский буксир, которому в общем-то, видимо, было наплевать на эту нервную тишину, и он, вечный трудяга, перетаскивал от причала к причалу старую облезлую баржу, которой давно следовало бы подыскать место на корабельном кладбище, если бы таковые продолжали существовать. С некоторых пор корабельных кладбищ не стало, боевые корабли, стяжавшие для отечественной истории славу, швартовались к заводским стенкам, и там их автогенщики разрезали на кус-

ки, потом еще долго ржавевшие на берегу, пока не попадали к Виктору Александровичу в вагранку.

На некоторых кораблях крутились антенны, по всей видимости, они и создавали впечатление блуждающих теней, и, значит, сон тут был относительный...

Свечков долго не мог уснуть, в груди ощущалось легкое жжение, а левый бок был тяжелый. «И зачем я только полез на полок, — клял себя Свечков. — Не мое там место... А вот полез». Он принял одну таблетку, недолго полежал и принял вторую, жжение прекратилось, и он уснул блаженным сном. Ему привиделся ясный день и Кронштадт, над которым волнами плыла духовая музыка, и Летний сад с танцплощадкой, и Оленька, беленькая и невесомая. Только себя он так и не сумел обнаружить в этой своей прошлой жизни. Проснулся он, видимо, поздно, но долго не хотел открывать глаза, и было ему так хорошо-хорошо, и светло было, и немного грустно.

В приоткрытую дверь он увидел на столе в салоне поднос, накрытый белой салфеткой, видимо завтрак. «Ах, черт, как все это некрасиво получилось», — подумал Свечков. Часы показывали начало десятого. Он нехотя поел, долго сидел у стола, стыдясь выйти на палубу, считая, что там заметили его отсутствие.

Но на корабле никому до него не было дела. Командир проводил в кают-компании совещание с офицерами, дежурная и вахтенная службы руководили авральными работами, и на корме старпом Люков распекал боцмана за мелкие упущения, которых не должно бы быть, но которые все-таки случались во все времена. Свечков выпросил у кока белую куртку не первой свежести, напялил ее прямо на рубашку и пошел помогать морякам таскать продукты. Мешки с крупой ложились на плечи плотно, но давили к земле, и Свечков мерил палубу, пошатываясь, широко и бережно расставляя ноги. «Словно бы беременный», — подумал он о себе с неудовольствием, но из общей цепочки не вышел даже после того, когда Люков снял насильно с его плеч мешок и перевалил его на плечи моряка.

— Передохнуть надо, Игорь Александрович. За моряками все равно не успеете.

Свечков отдышался и, улыбаясь виновато, дескать, вот черт, слабоват становлюсь, сказал:

— Я не гонюсь, — и подставил плечо, на которое моряки тотчас же положили ящик с макаронами.

А потом подошли дядя Вася с дядей Сашей, легонько оттерли Свечкова в сторону, и он уже больше не противился, отошел к Люкову; плечи гудели, и под коленками неприятно вздрагивали нервные живчики.

Авральные работы продолжались и после обеда. Свечков поднялся в штурманскую рубку посмотреть в Лоции описание огней Толбухина и Шепелева маяков, засиделся там: не хотелось и в каюту спускаться, не хотелось и в ногах ни у кого путаться.

Командир едва ли не все время проводил в штабе, приходил ненадолго к себе, вызывал Люкова или Люкова и командиров боевых частей и служб, проводил с ними короткие инструктивные совещания, выходил на палубу посмотреть, как идут авральные работы, и снова исчезал. Его поступки были подчинены другим законам, чем, скажем, поступки его старшего помощника, потому что он знал то, чего другие до поры до времени просто не знали и знать не могли.

Но все приходит к своему пределу, и в какую-то минуту корабль успокоился: отвалила баржа, доставлявшая боезапас, отошли продуктовые машины и машины, завозившие шкиперское имущество, притихли палубы и трапы. Люков, сменивший фуражку на пилотку, отчего лицо его стало покрупнее и словно бы посветлее, обошел с главным боцманом верхнюю палубу, спустился с дежурным офицером в низы и, когда все осмотрел, а кое-что и ощупал, распорядился объявить приборку. Какие бы страсти ни бушевали в мире, какие бы авральные работы ни сопровождали эти страсти, корабль неизменно должен оставаться чистым.

Чувствовалось, что Люков остался доволен авральными работами, которые намечались на сегодня, — «один к одному», походя заметил он Свечкову, — но Люков не был бы старшим помощником, если бы свое удовольствие выразил открыто. На корабле еще оставались незавершенными десятки неучтенных дел, на приведение в порядок которых у него в конце концов никогда не хватало ни времени, ни людей.

— Там, наверху, распорядились, чтобы мы вечером выводились на рейд, а в ночь ушли ставить мины, — сказал он с досадой Свечкову. — А я так рассчитывал, что мы еще денек у причала постоим.

— Так и командир говорил, будто мы уходим завтра. — Свечков невольно подчеркнул голосом «мы», потому что теперь «мы» были в некотором роде и он сам. — А денек после аврала пришелся бы впору.

Люков вздохнул:

— Что-то там переиграли.

— Ситуация, может, меняется?

— Может, и ситуация меняется. — Люков по привычке надвинул пилотку на самые брови, хотел поскрести в затылке, но сделал вид, что поправил там волосы. — Ну, да наше дело маленькое. Прикажут, так и сегодня выйдем и поставим что надо, а если еще прикажут, то и стрельнем.

На ужин офицеры собрались быстро; хотя именно за ужином-то и допускались кое-какие вольности, ели не торопясь, но молча, заметно постукивая ножами и вилками. Ждали, что скажет командир. Стукалов был задумчив, тоже помалкивал, погрузясь, видимо, в свои заботы, и только когда ему подали стакан с чаем — Свечков заметил, что Стукалов пил только чай, — он мельком оглядел застолье и, увидев, что офицеры в основном откушали, прочистил горло — «гм-гм», — привлекая тем самым к себе внимание.

— Товарищи офицеры, сразу после того, как команда поужинает и помоет посуду, я объявлю большой сбор. После этого начнем вытягиваться на рейд. Вечерний чай попьем на рейде и в ночь уйдем в точку ставить учебные мины. По всей вероятности, завтра нам объявят учебные торпедные стрельбы и реактивное бомбометание. Все это пойдет в зачет приза командующего и приза главкома. Если мы успешно выполним все задачи, — а я, честно говоря, надеюсь на это, как, видимо, и вы сами, — мы уже этим летом уйдем в океан. Прошу проникнуться моментом.

— Есть, — за всех отозвался Люков.

— Больше сообщений не имею. Вы свободны, товарищи офицеры.

Свобода товарищей офицеров ограничивалась тем пределом времени, когда должны были ударить колокола громкого боя, и они пробили ровно через четверть часа, дав возможность выкурить сигарету и прополоскать рот.

Свечков ждал эту минуту с того самого времени, когда Николай Григорьевич предложил поехать на Балтику, потому что вся флотская служба, включая парады, торжественные смотры, визиты, — ничто по сравнению с этим почти магическим действом — поход. С ним не идет ни в какое сравнение ни коммерческий рейс торгового теплохода, ни нарядный круиз пассажирского лайнера, ни проводка судов ледоколами, даже рыбацкие авралы где-нибудь возле Фарер меркнут перед походом военного корабля. В своем

роде он неповторим и даже загадочен, когда воля одного человека подчиняется воле другого, и все это в конечном счете подчиняется единому началу, и нет уже отдельного человека и нет его воли, а есть только высший принцип, который воплощен в корабле, в этой горе металла, способной двигаться, маневрировать, стрелять, повергать неприятеля и быть самому поверженным, но для того, чтобы исключить эту неудачу, и должна быть воля одного человека подчинена воле другого.

Свечков не пошел на большой сбор — за день притомился, а впереди предстояла бессонная ночь, закрепил все вещи по-штормовому. Качки на Балтике в эту пору не предвиделось, но мало ли что могло случиться, с морем шутки плохи. И наконец он дождался команды, от которой легонько захолонуло сердце:

— По местам стоять... С якоря и швартовых сниматься.

«Пора и нам, — подумал он. — Пора, брат, пора». Он надел плащ и кепку, но на ходовой мостик поднялся не сразу, а присмотрел себе место на шкафуте возле торпедных аппаратов, откуда хорошо все было видно. Не успели построиться швартовые команды — баковые и ютовые, как это определено расписанием, прибежал рассыльный и сказал, что командир «приглашает Игоря Александровича на мостик».

— Да я будто бы... — начал оправдываться Свечков, хотя и понимал, что рассыльный — лицо подневольное и не по своей воле он прибежал сюда.

— Никак нет, — сказал он заученно, — командир приказал.

— Есть, — промолвил Свечков и поспешил вслед за рассыльным к трапу, а возле трапа рассыльный сделал шаг в сторону, и Свечков поднялся на мостик первым.

— Игорь Александрович, — негромко заметил Стукалов, — ваше место — на мостике. — И он указал на пустующее кресло флагмана. — Комбриг сейчас держит флаг на «Стерегущем», так что можете располагаться.

О такой чести Свечков и не помышлял, едва ли не расшаркался ножкой, но сказать уставное «Есть» все-таки сообразил. Церемония введения Свечкова на мостик закончилась, и Стукалов перешел на правый борт, которым был пришвартован «Смелый», оглядел его с носа до кормы и подал первую команду:

— Отдать носовой.

Потом отдали прижимные концы и кормовой, и «пошел якорь». «Смелый» вздрогнул, оторвал нос от пирса и мед-

ленно, почти бесшумно набирая скорость, начал скольжение по тихой воде, отразившей в себе деревья, корабли, низкое неяркое солнце.

— Якорь чист, — доложил боцман с бака.

— Добро. — Стукалов повернулся в сторону вахтенного офицера: — Средний ход.

«Смелый» слегка присел на корму, раскинул буруны и, минуя фарватером один за другим причалы, выскользнул на чистую воду, и Свечкову показалось, что он, подобно лошади, вдохнул полной грудью.

— На мой взгляд, — обратился Свечков к Стукалову, желая сказать тому, что он, видевший многие швартовки и сам участвовавший во многих из них и, значит, понимающий в них толк, прямо-таки восхищен, но Стукалов не дал ему завершить мысль, поморщился и даже попридержал Свечкова за рукав:

— Не люблю говорить «гоп» раньше времени. Не ради же одной швартовки командуем кораблями.

— Вас понял... — Свечков помолчал. — Помнится, у нас на линкоре, служил я там недолго, командир ужасно не любил тринадцатых чисел, понедельников и черных кошек.

— А кто их любит, — скупо сказал Стукалов, отошел к Люкову и вполголоса спросил его, хорошо ли подготовлены минеры для работы в химкомплекте и быстро ли они его надевают. Свечков понял, что командир решил усложнить задачу: ставить мины в химкомплекте труднее, но это повышает оценку в зачете на приз командующего.

— Так точно, — ответил на оба вопроса Люков. — Я сам сверял нормативы.

— Добро.

Берег отошел в сторону и начал сизеть, теряя очертания. Море в этот час было безмолвное, округлые волны, лишенные гребней, едва катились, словно отбывали давно заданный урок, который вовремя забыли остановить. Тут было много солнца; отражаясь от воды, оно слепило глаза, и от этого его становилось еще больше.

— Товарищ командир, — подал голос из своей рубки штурман, — выходим в точку.

— Есть, — отозвался Стукалов. — Баковые — на бак. Правый якорь к отдаче приготовить. — И, перехватив недоуменный взгляд Свечкова, промолвил: — Велено тут дожидаться флагмана. Он выйдет из гавани последним.

— Есть точка.

— Добро... Отдать правый якорь.

Якорь плюхнулся, обрызгав палубу, загрохотала якорь-

цепь, и скоро все смолкло. Даже стало слышно, как в кают-компании переговариваются вестовые — там к вечернему чаю накрывали столы — да за кормой кричали, словно бранились, чайки. Ушел командир с мостика, ушел старпом со штурманом, осталась только вахта. Свечков поболтал для приличия с сигнальщиками, потом пристроился к визиру и начал оглядывать рейд. И тут он бывал, но та бывальщина казалась теперь и ему самому ушедшей в сказку. «Сказкой становится детство, — подумал он. — Сказкой становится вчерашний день».

Прогремели колокола громкого боя, и раздалась команда:

— Учебная тревога!

На Балтику опустились ласковые сумерки, они словно бы и хотели перейти в ночь, до которой, как говорится, было рукой подать, и не могли сделать последнего усилия, так и висели над водой сиреневым сумраком. Кое-где на воде синела легкая рябь, от которой уже начал отпластовываться туман. «Смелый» увеличил ход, и ветер набегал с такой силой, что выжимал из глаз слезу и заглядывал во все видимые и невидимые щели, холодя тело до озноба. Проклюнулись первые звезды, но они тоже словно бы ленились, даже свет от луны не ложился дорожкой, а просто падал в воду и исчезал. Час от часу туман становился плотнее и выше. Свечков окончательно продрог на ветру и зашел в рубку погреться.

— Ну, погодка, скажу я вам, — заметил он тихо, ни к кому прямо не обращаясь, на его реплику никто и не обратил внимания, только спустя минуту Стукалов оторвался от экрана локатора и сказал, тоже не обращаясь к Свечкову:

— Погодка самая распрекрасная для постановки мин. Полнейшая скрытность.

— Товарищ командир, подходим к точке, — сказал штурман.

— Есть. — Стукалов наконец-то обернулся к Свечкову: — Игорь Александрович, не хотите ли посмотреть постановку мин?

Свечкову не хотелось опять выходить на открытое место и дрогнуть там на ветру, но уже больше по привычке, чем выражая искреннее желание, ответил:

— Так точно.

— Тогда прошу следовать за мной, — сказал Люков. — Товарищ командир, с вашего позволения...

— Добро.

Они прошли на открытое крыло ходового мостика, обогнули боевую рубку и спустились на шлюпочную палубу.

Тут совсем не было ветра, и Свечков почувствовал, как был влажен и тепл воздух. Он хотел было оглядеться, но Люков поторопил его:

— Игорь Александрович, не отставать. Выходим в точку.

Они спустились еще ниже — на ют. Корма словно бы совсем утопилась в воду, по оба борта вставали звенящие, ослепительной белизны буруны, все дрожало и вибрировало, удержаться на одном месте было трудно, к тому же и ноги на мокрой палубе скользили. С обоих бортов дождем сыпались брызги. Свечков вцепился во вьюшку с тросом, не заботясь больше о том, как он будет выглядеть со стороны, хотя это и оскорбляло его самолюбие, но до самолюбия ли было, когда корму трясло и словно бы швыряло из стороны в сторону. Впрочем, обращать внимание на его не слишком бравый вид практически было некому: посредник, флагманский минер, пряча за пазухой хронометр, безучастно смотрел за корму и, видимо, только и ждал конца этой кутерьмы, чтобы можно было отправиться в теплую каюту, матросы ежились в строю, тоже поглядывая за корму, и помалкивали, как и следовало помалкивать главным действующим лицам.

В динамике щелкнуло, и совсем рядом раздался голос Стукалова:

— Начать постановку.

Люков вышел на середину юта, расставил пошире ноги, словно бы уперся ими в твердь, которая тут казалась весьма призрачной.

— Разобрать и надеть химкомплекты.

Строй сломался, моряки начали спешно обряжаться в диковинную одежонку, становясь огромными и неуклюжими.

— Почему медлите? — опять спросил Стукалов.

— В норме, товарищ командир... Пошел буй!

Свечкову тоже показалось, что моряки замешкались, но они тут же ловко отнайтовали буй, и он полетел в кипящее серебро, за ним покатились на тележках мины: одна, и другая, и третья... Работа в общем-то спорилась, хотя Люков все время и поторапливал:

— Живей, братцы, живей...

Наконец мины кончились, и за корму полетел второй буй. Люков с флагманским минером — «флажком» — одновременно выключили хронометры и, сойдясь вместе, осветили циферблаты фонариком. Свечков почувствовал, что Люков расплылся в улыбке.

— В норме, старпом, — сказал «флажок». — С тебя

причитается после такой собачьей работенки стакан хорошего индийского чая.

— Не беспокойся. Я распоряжусь выдать три, и покрепче. Сахару положишь по усмотрению.

— Ну-ну, — сказал «флажок» и, рванув на себя дверь, скрылся в коридоре.

— Подвахтенные — вниз, — скомандовал Люков, и, когда лейтенант-минер увел свою команду с юта и Свечков с Люковым остались одни, Люков закурил, глубоко затянулся несколько раз подряд, загасил сигарету в руках и как бы между прочим заметил:

— Вот и попахали маленько.

— Довольны?

Люков помедлил.

— Привычное дело... А вообще-то мы с командиром не любим ставить мины. И место это не любим. Гиблое оно для нас.

— Связано с чем-то?

— А все места с чем-то связаны. А это для нас... — Люков опять помедлил, — гиблое.

Свечков понял, что Люков больше ничего не скажет, и не стал его расспрашивать: гиблое так гиблое...

«Смелый» сбросил ход, буруны опали, убился ветер, и воздух заметно потеплел, хотя и оставался сырым. Туман уже поднялся к надстройкам.

— Наши, видно, по буям свои мины ищут. Как найдем, тут же и заночуем. Пойдемте и мы, Игорь Александрович, поищем.

«Сейчас бы сауну, — помечтал Свечков, понимая, что ни о каких банях на походе даже мечтать-то не следовало, а сам тем не менее опять подумал: — И чтоб с хорошим веником... И чтоб дядя Вася с дядей Сашей... А все-таки хороши ребята». С этим он и поднялся на мостик. Там уже включили прожектор, голубоватый клинок которого увязал в тягучем сером тумане. Буи с поплавками искали все: командир, вахтенный офицер, штурман, сигнальщики, теперь к ним прибавились и Люков со Свечковым, и скоро Люков сказал:

— Есть буй.

— Вижу, — подтвердил Стукалов. — Теперь считаем поплавки. Один... второй... третий...

— Прямо по носу второй буй, — доложил сигнальщик.

— Есть, — сказал командир. — Стоп машина. Погасите прожектор. Штурман, дайте точку.

— Вы все еще верите в свою звезду, товарищ командир?

Стукалов промолчал, и штурман скрылся в рубку.

— Мы обязательно должны ночевать возле своих мин? — спросил Свечков.

— Так точно, — ответил Стукалов. — Утром придет тральщик и поднимет их на борт. Тогда мы будем свободны.

— Товарищ командир, можно отдавать якорь! — крикнул из рубки штурман.

— Попытаем счастья... — Стукалов повременил. — Пошел правый.

Пугая тишину, якорь со звоном вколотился в воду.

— На грунте четыре смычки, — доложили с бака.

— Потравите еще две и наложите стопора.

Свечков поглядел на часы: было три с четвертью, но он намаялся и спать не хотелось. Ходовой мостик опустел, не уходил только Стукалов, просматривал вахтенный журнал, потом перешел в штурманскую рубку, поколдовал над картой и снова вернулся на мостик.

— Вы не спите? — удивился он, найдя на мостике Свечкова.

— «Не спится, няня, здесь так душно», — пошутил Свечков. — Сейчас бы чайку.

— Это мы сейчас соорудим. — Стукалов позвонил в кают-компанию. — Прошу на мостик пару чая и сандвичи.

— А вы что же?

— Да,— сказал Стукалов,— на походе ночами я не сплю. Да и в каюту спускаюсь редко. Это уже стало привычкой.

Вестовой принес чай, бутерброды, постоял, дожидаясь, не попросит ли командир еще чего-нибудь, но командир молчал, и вестовой, крепко взявшись за хорошо отполированные медные поручни, лётом съехал вниз. Чай был горячий, видимо, вестовой все время подогревал его.

— Давеча старпом на юте обмолвился, что вы с ним считаете это место гиблым.

Стукалов живо спросил:

— А больше он ничего не рассказывал?

— Люков — мужик немногословный.

— А старпому и не полагается раньше командира говорить «гоп». — Стукалов усмехнулся. — А место для нас на самом деле гиблое. Даже говорить об этом стыдно. — Он помешал ложечкой в стакане, но пить не стал, взял с тарелки бутерброд, подержал его и положил обратно. — Вот сколько прошло уже, а вспоминать до сих пор противно.

— И не рассказывайте, — тихо сказал Свечков. — Я пойму вас и не обижусь.

— Нет, отчего же не рассказать... Можно и рассказать. — Он наконец отхлебнул из стакана. — Три с небольшим года назад меня назначили командиром «Смелого». До этого я на нем же служил старпомом, а Люков был командиром БЧ-3, потом учился на командирских курсах и тогда же заступил на мое место. Мы давно уже служим с ним вместе и понимаем друг друга с полуслова. И вот представьте себе, такой же ночью молодой командир с молодым старпомом идут на это самое место ставить мины. И ставят. И укладываются в нормативы. Тумана, правда, не было, и светила луна. Ночь была словно бы радостная. Мины нашли свои быстро. Стали вот так же на якорь дожидаться утра. А утром разыгрался шторм, и мы... потеряли здесь якорь. Вместо того чтобы подобрать, мы его потравили и не удержали. Дальше все поймете без меня... Позору было на весь флот. Дело прошлое, я хотел было уходить.

— Так сильно переживали?

— С самолюбием не мог справиться. До сих пор бывает, проснусь ночью, вспомню — пот холодный прошибает. Вот уже и Красную Звезду получил за вахту в океане, в прошлом году удостоились приза главкома, а то черное пятно с души до сих пор соскрести не могу.

— А если забыть?

— Как можно, — возразил Стукалов. — Тогда ведь перестанешь уважать себя. — Он покачал головой. — Нет, этого никак нельзя забывать. С этим жить надо. — Он опять взялся за стакан. — Три года мы ходим сюда ставить мины. Три года я пытаюсь попасть в ту же самую точку.

— Хотите отыскать иголку в стогу сена? — спросил Свечков.

Свечков в свою очередь спросил сам:

— А вы полагаете, что это невозможно?

— Нет, почему же... Трезвый расчет и немножко удачи.

— Вот именно, — согласился Свечков. — Ведь могу же я верить в удачу. При трезвом расчете, разумеется,— добавил он.

— А вы знаете: я начинаю немного завидовать вам.

В иллюминаторах уже посерело, но туман лежал такой плотный, что рассветные лучи не могли пробиться через него, и на море было сумеречно. Вахтенный пробил на юте четыре склянки, даже звуки тонули в тумане, и на мостике уже слышались не звоны рынды, а глухие удары, как будто били доской о доску.

— Спать? — спросил Стукалов.

— «Не спится, няня...» — повторил Свечков. — Я, пожалуй, готов согласиться с вами, Юрий Павлович, честолюбие и самолюбие — не худшие качества человеческого характера.

— Со мной или не со мной — тут мне трудно судить, а вот не хотите ли посмотреть один любопытный документ.

— Помилуйте, Юрий Павлович...

Стукалов вызвал вестового и, когда голова его показалась в люке, сказал ему:

— Дайте нам еще чаю, сандвичей, а у меня на столе найдите розовую папку. Розовую, запомните. И принесите ее сюда.

И вскоре на мостике были и свежий чай, и свежие бутерброды, и розовая папка. Свечков развязал тесемки и нашел там тощую стопку бумаг, начал читать верхнюю из них: «Капитану третьего ранга Стукалову. От старшего матроса А. Зябликова. Рапорт. Прошу послать меня в десант. Физически здоров. Стрелковым оружием и гранатой владею в совершенстве. Выполню любое приказание командования». Дальше шла неразборчивая подпись и стояла дата. Свечков поднял глаза на Стукалова: «Что это?»

— Читайте, читайте...

За первым шел и второй рапорт, и третий, и четвертый. Свечков насчитал их двадцать восемь.

— Документы на самом деле прелюбопытнейшие, — пробормотал Свечков. — От них словно бы порохом пахнет. Но ведь не могли же они родиться ни с того ни с сего?

— Беспричинно ничего не бывает, — охотно согласился Стукалов. — Флотская жизнь, она ведь то круглая, то плоская. Всякие перепады случаются, в особенности когда выходишь в океан.

— Встречи в том числе, — заметил, улыбаясь, Свечков.

— И встречи, — подтвердил Стукалов. — Иногда приятные, иногда, к сожалению, нежелательные... После одной такой встречи ребята и настрочили на мое имя.

— И что же вы?

— Доложил по команде и сложил рапорты в розовую папку. Под рукой такая оказалась. Теперь в минуту трудную, как сказал поэт, беру и перечитываю.

— А что, Юрий Павлович, нельзя ли с кем-то из них побеседовать?

— А почему бы и нет... Сейчас выясним. С кем бы вы хотели?

— Ну вот... — Свечков полистал рапорты. — Хотя бы с Зябликовым.

— С Зябликовым так с Зябликовым. Рассыльный! Если акустик Зябликов в посту, вызовите его на мостик.

Внизу протопали матросские башмаки и хлопнула дверь. Стукалов опять повернулся к Свечкову, и Свечков неожиданно вспомнил:

— Когда я был курсантом, Юрий Павлович, шла война в Корее. Мы тоже тогда писали такие рапóрты.

— Ну и как?

— Да никак... Тоже, наверное, доложили по команде и положили в розовую папочку.

Опять хлопнула внизу дверь, по коридору протопали две пары башмаков, и на трапе показался дядя Саша, он же акустик старший матрос Зябликов.

— Ба! — обрадовался Свечков. — Знакомый...

— Так точно.

— А знаешь ли ты, что такое десант? — вроде бы как с бухты-барахты спросил Свечков.

Зябликов недоверчиво поглядел на Стукалова, как бы говоря, что ради таких пустяков не следовало бы гонять человека по всему кораблю.

— Так точно, — сказал он недовольным голосом.

— Десант — это та пядь земли, которую ты сам отвоюешь и на которой будешь потом сражаться. И тылов у тебя не будет, потому что позади тебя останется только море. — Свечков протянул ему рапорт: — Ты писал, друг?

Зябликов оживился и хитренько усмехнулся:

— Ну так что — море... И совсем не в море дело... А в них. Они ж все равно не пошлют.

Свечков понял, что для старшего матроса Зябликова «они» — это был капитан третьего ранга Стукалов, как, впрочем, для самого-то Свечкова «они» в свое время был начальник училища.

— Спасибо, друг. — Свечков подал Зябликову руку. Зябликов руку пожал, но тут же поинтересовался: — За что?

— За то, что лежим мы с тобой в розовой папке.

Зябликов, кажется, ничего не понял, но остался весьма доволен. Стукалов стоял в стороне, потому что в эту минуту он был «они», и, довольный, посмеивался.

К утру туман стал совсем плотным, буи едва просматривались, и, хотя там, над туманом, наверное, уже сияло солнце, обогревая верхнюю кромку молочного моря, здесь, над самой водой, было мерзко и холодно. Появился Люков, и Стукалов со Свечковым наконец-то отправились соснуть.

Завтрак был поздний. Свечков успел хорошо выспаться и пришел в кают-компанию, когда там оставались только Стукалов с Люковым. Свечков не хотел мешать их разговору, но они сами втянули Свечкова в свои дела — говорили все о тех же туманах, о дождях и ветрах, которые иногда встречаются на Балтике в эту пору, — и время незаметно пошло к полудню. Туман все не расходился, и тральщик не мог приступить к работе, а «Смелый», в свою очередь, не смел покинуть свое поле, пока мины не будут подняты на борт.

Вынужденное безделье затягивалось, и Стукалов уже решал с Люковым, чем им занять команду, но, как бывает в таких случаях, туман начал падать на воду и рассеиваться, появился тральщик, поднял буй, перешел к первому поплавку, и Стукалов распорядился вызывать швартовую команду на бак.

Свечков тоже поднялся наверх. День разгорелся, был полный штиль, солнце дробилось в воде на большие осколки, и эти осколки, в свою очередь, тоже дробились, и все вокруг сияло, звенело, радовалось. Небо стало высоким, только возле горизонта еще свивался в валки туман, и четкой черты между морем и небом провести было невозможно.

Стукалов негромко переговаривался с вахтенным офицером, Люков стоял в одиночестве на открытом крыле мостика, держал микрофон и ждал, когда командир даст команду поднимать якорь, чтобы отрепетовать эту команду на бак.

— Пошел якорь, — наконец сказал Стукалов.

— Есть, — отозвался с мостика Люков и повторил в микрофон, несколько видоизменив команду: — Пошел шпиль.

На баке затарахтел шпиль, загрохотала якорь-цепь, нарушив в море некое согласие. «Смелый» слегка покачнулся и пошел вослед за цепью. Все было буднично и привычно: и команда, которую подал Стукалов и отрепетовал на бак Люков, и шпалера моряков в оранжевых жилетах, застывшая вдоль правого борта, и боцман на носу, картинно подперевший бока.

— Якорь стал, — доложил боцман.

— Есть, — сказал Люков, а Стукалов обернулся к вахтенному офицеру и уже было приказал: «Самый малый вперед», но в это время шпиль на баке взревел, видимо испытав перегрузки.

— Стоп шпиль! — закричали на баке несколько голосов.

Стукалов не глядя потянулся за микрофоном, вынул его из зажимов, спросил через громкоговорящую связь:

— В чем дело, боцман?
— Якорь нечист.
Свечков увидел, как бронзовое лицо Стукалова начало сереть, теряя свою привычную округлость.
— Разрешите, товарищ командир, — попросился Люков.
— Добро.
Свечков, движимый извечным любопытством, уже пошел за Люковым, но Стукалов попридержал его:
— Не ходите, Игорь Александрович, подождем, что скажет старпом.
Лицо Стукалова опять понемногу привычно бронзовело. «Н-да, — почти механически отметил для себя Свечков, — самообладанию Стукалова можно только позавидовать». Стукалов, не торопясь, прошелся по мостику, постоял возле двери и опять прошелся. Он снова был спокоен и, казалось, безучастен к тому, что сейчас происходило на баке.
— Товарищ командир, — доложил с бака Люков. — На лапе хорошо просматривается якорь-цепь. — Он опять перегнулся через леера, присмотрелся и только тогда без прежней уверенности сказал: — Кажется, наша.
— Оставайтесь на баке. Команда катера и главный боцман — в катер. Катер — на воду! «Утопленника» будем поднимать в носовой клюз швартовыми концами через оба шпиля. Якорь подобрать до воды и поставить на стопора.
— Есть, — ответил Люков, и тотчас же сломалась шпалера на баке, и матросы в оранжевых жилетах, казалось, засуетились, но Свечков-то видел, что в этой суете было свое строгое начало, и скоро якорь-цепь уже взяли на стопора, а швартовые концы пропустили в клюз и обнесли их на шпили.
— Товарищ командир, — позвал Стукалова вахтенный офицер, — флагман запрашивает, почему долго снимаемся с якоря и не докладываем о своих эволюциях.
Стукалов стремительно пошел к телефону и взял трубку:
— Товарищ капитан первого ранга, якорем зацепили своего же «утопленника». Организую работы по его поднятию. Прошу утвердить.
Флагман, видимо, что-то спросил, и Стукалов ответил:
— Так точно, — и сразу заулыбался, наверное, флагман проехался на его счет, но добродушно, и все вокруг, в том числе и Свечков, тоже заулыбались. — Есть. — И Стукалов положил трубку. — Что у нас с катером?
— Катер на воде, — доложил вахтенный офицер.
— Старпом, приступайте.

— Есть.

— А вот теперь, Игорь Александрович, не угодно ли вам будет спуститься на бак, посмотреть, как старпом начнет спасательные работы? — обратился Стукалов к Свечкову.

— А не сглажу? — пошутил Свечков.

— Теперь, наверное, нет, а впрочем...

— Я пойду с вами, Юрий Павлович, теперь уже недолго ждать.

Но ждать пришлось долго, прежде чем в носовом клюзе появилось первое звено и моряки на баке вразнобой закричали: «Ура!», и здесь на мостике тоже кое-кто, презрев суеверие, промолвил негромко: «Ура!», только Стукалов промолчал, оставаясь непроницаемо-спокойным. Правда, коричневые его глаза заметно поблескивали.

— Часика бы два продержался еще штиль, — помечтал он вслух.

И штиль продержался. Иногда ветерки бунтовали воду, покрывая ее синей рябью, и тут же посреди этой ряби и улегались. Были они немощные, случайные, море, казалось, спало и легонько посапывало во сне. Стукалов ни разу не спустился на бак, все то время, пока поднимали «утопленника», простоял на открытом мостике, зорко приглядывая за действиями Люкова и вслушиваясь в его голос.

— Товарищ командир, — наконец доложил Люков. — Якорь в клюзе.

— Добро. — Стукалов прошел к телефону, взял трубку, подождал, когда там, на «Стерегущем», флагман тоже снимет трубку. — Товарищ капитан первого ранга, работы окончены... Спасибо... Есть, следовать в базу. — Стукалов положил трубку, приказал вахтенному офицеру: — Малый вперед. Штурман, курс.

Штурман, слышавший разговор командира с флагманом, сразу же назвал курс, в свою очередь вахтенный офицер приказал рулевому приводить на него корабль, и «Смелый», легкий и стремительный, вспарывая сонную голубовато-зеленую воду, помчался в базу. В эту пору Балтика очень часто баловала моряков погожей погодой.

— Ну вот, Юрий Павлович, — сказал Свечков, — вы же верили в удачу.

Стукалов кивнул:

— Верил до той самой минуты, пока боцман не доложил, что якорь нечист. Но с той минуты, да и теперь, я перестал в нее верить.

— Может, потому, что удача перестала быть удачей?

— Не исключено.

Свечков грустно помолчал.

— А я вот никогда не верил в свою удачу.

— Как же вы жили? — удивился Стукалов.

Свечков опять помолчал.

— Не знаю... Кажется, плохо жил.

Стукалов тактично ушел от продолжения разговора.

— Сейчас мы попросим, чтобы нам принесли легкой закусочки. А ошвартуемся, тогда уж и покормимся с устатку как следует.

Свечков нехотя улыбнулся, и улыбка у него вышла растерянная.

— С вашего разрешения, я сегодня бы на бережок сошел. Не знаю почему, но мне обязательно надо быть на берегу.

— Ну-к что ж... — согласился Стукалов. — Меня ведь тоже флагман решил отпустить.

— Да-да, — сказал Свечков и вспомнил уже оброненную им однажды мысль: «Одни ищут, чтобы находить, я же нахожу, чтобы терять».

11

С борта Свечков сошел вместе со Стукаловым. Люков скомандовал командиру вослед: «Смирно!» — получилось вроде бы как и Свечкову, — они прошли через КП и расстались: Стукалов пошел по набережной пешочком, а Свечков сел в автобус и отправился в гостиницу. Народу было мало, он пристроился к окну, откинулся на спинку и неожиданно почувствовал, что устал и сыт впечатлениями по горло, больше ему, казалось, уже было и не надо, но он знал, что, стоило ему выспаться, привести мысли в порядок — и его опять потянет на «Смелый». «А хорошо, что я оставил за собой номер, — подумал он. — А хорошо, что у меня тут есть свой уголок».

Портье оглядела Свечкова с головы до ног, покачала головой, хотела промолчать, но все-таки спросила:

— Где это вы гуляете?

— Да уж гуляю, — сказал Свечков.

— А мы хотели на вас в розыск подавать.

Он поднялся к себе, отпер дверь, зажег свет, хотя на улице еще был день, и в блаженном изнеможении плюхнулся в кресло, уже засиженное, но еще не настолько, чтобы остерегаться садиться в него. Было чисто, тепло, сухо, и ему в какое-то мгновение показалось, что он дома.

«А правильно я сделал...» — подумал Свечков, оборвав себя на половине: он и так знал, что должно было последовать за этим «сделал», переоделся, сполоснул лицо и отправился в буфет набрать всякой всячины, купить бутылку вина, за которой решил скоротать вечер в одиночестве.

В буфете никого не было, и он долго высматривал, что бы ему взять себе на ужин, наконец, накупил всего, собрал в охапку кульки и пакеты, взял в руку бутылку, уже двинулся было полегоньку к двери и нос к носу столкнулся с Ольгой Николаевной, немного оторопев, хотел пройти, сделав вид, что они не знакомы, но она мягко улыбнулась и сказала первой:

— А вот и ты. Ну, здравствуй...

Свечков глуповато заулыбался, дескать, конечно же я собственной персоной, стало быть, тоже здравствуй.

— У тебя, кажется, гости?

— Нет, — сказал Свечков. — Это я сам к себе в гости пожаловал. А вот если не откажешь, то милости прошу и тебя стать моей гостьей.

— Если хорошо пригласишь... — Ольга Николаевна опять улыбнулась и протянула руки: — Давай свертки, так и быть, помогу...

Она взяла у него часть свертков и пошла вперед, грациозная и легкая, как будто понесла себя, неслышно переливаясь под платьем, перехваченном в талии. Они вошли в номер, свалили все на стол, и Свечков сказал:

— Ну, вот теперь здравствуй...

— Здравствуй, — сказала Ольга Николаевна тихо, одними губами.

За окном быстро потемнело, и в номере изо всех углов поползли сумерки, небо прорезала корявая молния, грохнул гром, в соседнем доме захлопали ставни, и ветер погнал вдоль улицы, кружа в воронки, пыль и обрывки бумаги. Дождь пошел не сразу, сперва ударили первые капли, выбив на жести крохотных подоконников редкую дробь, подождали, снова ударили, словно бы прислушиваясь к отзвукам своих же бубенцов. Опять сверкнуло, на крыши домов обвалилась темень, и пошел частый дождь, который погнал перед собой серебристые вихри.

Вино было допито, и они молча слушали грозу. Они и до этого больше помалкивали, перекидываясь короткими фразами, а теперь, казалось, и этих фраз, как случайной мелочишки, не находилось в их карманах.

— В море туманы, — наконец пробормотал Свечков, — а тут грозы.

— И аистят нынче проклюнулось, как на свадьбу, — сказала Ольга Николаевна, совсем утонув в кресле. Она сразу же забралась в кресло с ногами, лишь только они кое-как сервировали стол, и уж больше не вставала с него. Ей было покойно там, и она чувствовала себя как в крепости. Свечков это понимал и не мешал ей, и она понимала, что он понимает ее, и тоже не спешила переступить некую черту, видимую только ей. Казалось, что вместе с затянувшимися недоговорками и томительными паузами в его номер начала прокрадываться скука.

— Мы словно боимся друг друга, — промолвила она и, кажется, там, в своей крепости, улыбнулась: было уже довольно темно, и ее лицо едва белело, как бы теряясь в этом дождливом полусумраке. — Ты боишься меня хотя бы потому, что я могу не ответить на твои жесты.

Свечкову неожиданно стало ясно, что она лучше понимала его и его состояние, чем он ее, она словно бы проникала в самую суть.

Ольга Николаевна пошевелилась в своей крепости, опустила ноги на пол, расправила на коленях платье и вскользь заметила:

— Не надо умничать...

И опять им словно бы стало не о чем говорить, хотя сам по себе разговор уже наметился, он шел молча, даже незримо для них самих, он говорил ей: «Я уже, кажется, люблю тебя», и она отвечала: «Я это тоже, кажется, чувствую», и опять он говорил: «Я люблю тебя», и она улыбалась одними уголками губ, которых он не видел в темноте, но уже ощущал: «И это я чувствую». Он взял ее за руку, узкую, сухую и немного прохладную, всю в мелких узелках мозолей, Ольга Николаевна не сразу отвела ее, положила опять на колено и зябко поежилась.

— Господи, кто ты?.. — Она помолчала. — Ну, кто же ты?

— Не знаю, — чистосердечно признался Свечков, потому что в эту минуту на самом деле не знал, кто он, зачем тут и кто она сама-то и тоже зачем тут, кажется, он вообще ничего не знал. Как это было хорошо, ничего не знать и ни о чем не думать — все отступило в те углы, из которых еще недавно наплывал сумрак.

За окном играли раскаленные добела всполохи, иногда небо пронзали голубые молнии, над крышами раскатывались громы и грохотали обвалы, дождь устоялся, никуда больше не рвался, лил ровно, сплошным потоком, и в этом потоке еще пытались барахтаться запоздалые машины, которые

напоминали Свечкову катера, случаем занесенные в открытое море. Они тоже, кажется, на своем челне правили не к берегу.

Свечков поднялся, с треском распахнул окно, напустил много сырости, но ему было наплевать на эту сырость и на все было наплевать: все наконец-то сошлось для него сюда, и уже ничего не хотелось, и ничего другого не желалось, весь огромный мир, с его бесконечными связями, старыми материками и новыми островами, оказался вмещенным в маленький номер большой гостиницы...

Утром шел дождь, горючими слезами плакали стекла, в номере было прохладно, и не хотелось вставать. Свечков и не вставал, вспомнив, что Ольга Николаевна должна была рано уйти по делам и обещала вернуться поздно. Смежив глаза, он пытался разобраться в событиях последних дней, путаных и почти случайных. «А все-таки это непонятно, как люди находят друг друга, — подумал Свечков. — Цепочка случайностей, которая неожиданно в один день становится закономерностью».

Свечков повернулся на постели и почувствовал, что подушка еще хранила запах ее духов, ее пудры, ее волос и кожи, он опустил ноги на холодный, будто ледяной, пол и счастливо заулыбался. «Пусть случайность, пусть что угодно,— подумал он, все еще улыбаясь. — Но эти запахи уже не случайность... И этот дождь... И ночные всполохи. И этот крохотный номер, похожий на купе поезда... А вдруг это счастье?»

Надо было начинать новый день, а может быть, и новую жизнь; он быстро поднялся, привел номер в порядок: побросал постель в ящик, и кровать снова стала диваном, поплескался под душем и пошел в буфет перекусить, хотя есть не хотелось. Он делал все машинально, по привычке, как бы сказав себе, что это не главное, а все главное еще впереди.

Ему не сиделось на месте, хотя уходить из гостиницы он не мог — Ольга не сказала, когда вернется, она только сказала, что вернется поздно, но, что собой представляло это ее «поздно», Свечков не имел ни малейшего понятия: час дня, три, пять... К тому же она могла и позвонить, впрочем, не столько могла, сколько он хотел, чтобы она это сделала.

Свечков вышел только в вестибюль, чтобы купить свежих газет, скоро вернулся, устроился поудобнее в кресле, в

котором вчера отсиживалась Ольга Николаевна, просмотрел одну газету, другую, все новости показались ему незначительными, он принялся за большую статью, но и статья не заинтересовала его, и он начал прислушиваться к шагам в коридоре и к телефону, но и телефон молчал.

«Ну и пусть, — подумал Свечков. — Ну и пусть... А когда Оля вернется, мы сходим в ресторан и чего-нибудь выпьем... А потом... Какое это имеет значение, что там будет потом...»

Ольга Николаевна вернулась на самом деле поздно — до отправления автобуса оставалось чуть больше часа, — и ни о каком ресторане нечего было и думать, они наскоро перекусили в номере, и Ольга Николаевна ушла к себе собираться. Она была рассеянна и молчалива, как тогда в поезде, и Свечков не знал, с какого бока к ней подступиться. И на вокзале она больше молчала.

— Я тут скоро завершу свои делишки, — сказал Свечков с наигранной веселостью в голосе, — и прикачу к тебе на Куршскую косу.

Ольга Николаевна усмехнулась и покачала головой.

— Нет, — помолчав, сказала она скупо, словно бы даже небрежно, — никуда ты не приедешь.

Свечков несколько опешил и ошалело поглядел на нее.

— Зачем же мы тогда встретились? — Свечков явно чего-то не мог или не хотел понять.

Ольга Николаевна горько и мило улыбнулась, и в этой милой горечи, спрятавшейся в белых ямочках возле губ, высветились и обида, и боль, и разочарование, и бог весть что еще там — Свечкову стало страшновато продолжать этот ряд.

— Да хотя бы затем, чтобы поставить точку.

— Какая-то нелепость, — неожиданно раздражаясь, буркнул Свечков. — Встретиться только затем, чтобы поставить эту дурацкую точку.

Ольга Николаевна промолчала.

— Ты хоть любил когда-нибудь?.. Ну хотя бы ту девушку, с которой я тогда встретила тебя на Невском?

— Кажется, любил...

— А она тебя?

— Тогда мне думалось, что она меня тоже любила, а недавно мне сказали, что она меня не любила.

— Это же страшно.

Он пожал плечами.

— Полюби ты кого-нибудь, сильно-сильно. Кого хочешь...

Только полюби. И забудь про все. А если не полюбишь, то обязательно пропадешь.

— Но я же люблю, — сказал тихо Свечков.

— Нет, тебе только кажется, что ты любишь.

Ольга Николаевна потрепала его ладонью по щеке и махнула рукой. Автобус фыркнул сиреневым дымком, словно бы присел на задние колеса, и покатил, огромный и длинный, легко обходя стоявшие на площади другие автобусы. Делать в гостинице Свечкову сразу стало нечего, он бы тотчас и рассчитался, но автобусы в гавань уже не ходили, а таксисты ехать не хотели, ссылаясь на какие-то запреты, известные только им одним.

Он побрел к себе, вдруг ощутив тяжесть, свалившуюся на его плечи, и пустоту, обступившую его. Было тихо, только пустота тихо звенела и звенела, нагнетая тревогу, и постепенно ему на самом деле стало тревожно.

Он не сомкнул глаз всю ночь, ворочался с боку на бок, вставал, зажигал свет, принимался читать, но ему не читалось. Он откладывал книгу в сторону, гасил лампочку и опять начинал ворочаться. Подушка все еще пахла Ольгой Николаевной, и оттого, что этот запах держался стойко, становясь осязаемым, он мог его даже потрогать. «Ну зачем я только сказал Стукалову с Люковым, что вернусь, — в который уже раз принимался думать Свечков. — Ведь как было бы прекрасно сесть утром в автобус и уехать на Куршскую косу».

А утром Свечков рассчитался с гостиницей, решив больше не возвращаться туда, потом позвонил в одно место и в другое, опоздал на первый автобус и едва пристроился на следующий: накануне офицеров отпустили на берег и автобусы шли переполненными.

На «Смелый» Свечков поспел только к обеду, снова устроился во флагманской — теперь уже своей — каюте. Все у него в тот день выходило неловко, он опять замешкался, опоздал к обеду и решил перекусить, когда все уже из кают-компании разойдутся. Но прибежал вестовой и сказал, что командир просит его к столу. Хотел уйти от одной неловкости, попал в другую — когда появляешься с опозданием, на опоздавшего невольно поднимают глаза — и еще в дверях пробормотал:

— Прошу прощения... — И увидел по правую руку от Стукалова Георгиева, обратив сразу внимание на его погоны — там были уже две звездочки, и получалось, что Георгиева теперь следовало величать вице-адмиралом. Он так

и назвал его. Георгиев поморщился, но было видно, что новое звание еще не обмялось в его сознании и грело душу.

— Поздравить?

— Погоди... Останемся одни, тогда и дадим волю эмоциям. — Георгиев усмехнулся уголками глаз. Он и в курсантскую пору умел так усмехаться, а теперь довел это умение до совершенства. — Памятью слаб стал. Думаю, дай подниму флаг на «Смелом», а мне командир говорит, что каюта-то занята. Ладно, думаю, флаг подниму на «Доверчивом», но тогда хоть покормите. А кстати, спрашиваю, где сам-то Свечков. А Свечков, говорят, в городе. Ишь ты, думаю, седина в голову, а бес в ребро.

— Я еще себя в обоз не списывал, — нехотя заметил Свечков.

— Ну-ну, — также нехотя отозвался и Георгиев.

За столом сдержанно посмеялись и свечковскому обозу, в который он себя не списывал, и георгиевскому назидательному «ну-ну», решив, что все это только дружеская пикировка, хотя Свечков меньше всего был расположен пикироваться, а Георгиеву на правах старшего начальника это и вообще не пристало, и говорили-то они о делах весьма серьезных и весьма спорных.

Несмотря на присутствие адмирала, обед прошел шумно и весело: удачи, которые сопутствовали последние дни «Смелому», в своем роде были удачей каждого, а удачливый человек, если только удача не свалилась ему на голову, а пришла наградой, бывает и весел, и остроумен, и щедр, и смешлив, и находчив — и что там еще? — разумеется, еще более удачлив.

Георгиев со Стукаловым понимали это и не мешали лейтенантскому столу, впрочем, и сами не оставались без дела. Свечков со своим минорным настроением никак не мог вписаться в общее веселье, больше помалкивал. Георгиев это первый заметил и, чтобы вовлечь его в общий разговор, спросил Стукалова:

— Так вы, командир, полагаете, что это была чистейшей воды удача?

Стукалов улыбнулся и потер широкой ладонью широкий коричневато-бронзовый лоб.

— Так точно.

— Ну зачем вы это, — тихо сказал Свечков. — Удача — это выигрыш в спортлото. А это было снайперское попадание, в которое трудно поверить, но тем не менее верить приходится.

— Пусть снайперское попадание, пусть удача, — все еще улыбаясь, промолвил Стукалов, — но в любом случае результат один: якорь — на борту.

— Результат, может, и один, — возразил Свечков, — но дороги к нему могли быть разными.

— А я верю в простую человеческую удачу, — сказал Стукалов. — И убежден, что мне дьявольски повезло.

— Но прежде чем вам повезло, — заметил Свечков, которому очень не хотелось сводить все дело к простой удаче, — наверное, не одну ночку просидели над картой.

— Как знать, как знать... — словно бы нехотя проговорил Стукалов, и вдруг Свечков понял, что сам-то Стукалов, наверное, меньше всех верил в удачу, потому что он один знал, чего стоила ему эта удача.

— Ладно, командир, не прибедняйтесь. Правда, выловили бы вы чужой якорь... — Георгиев многозначительно помолчал. — Вам сказали бы спасибо, а так...

— Я не за спасибо служу, товарищ адмирал, — негромко промолвил Стукалов. — Мне честь своя дороже любого спасиба.

Георгиев развел руками:

— Все правильно, командир.

Первым из-за стола попросился Люков, у которого, как всегда, дел было больше, чем времени, отведенного командиром для решения этих дел, за ним стали подниматься и другие офицеры, ушел и Стукалов, и Свечков с Георгиевым остались одни.

— Ты на самом деле держишь флаг на «Смелом»? — насторожился Свечков.

— Да пошутил я... Приезжал с инспекцией, решил тебя повидать да заодно и пообедал. А ты что так насторожился?

— Не люблю путаться в ногах.

— Ну-ну, не прибедняйся. Тебя флот своим признал, значит, и тревожиться тебе не о чем... Сегодня в ночь снова уйдете в море. Время-то у тебя есть?

— Разумеется.

— А вернетесь — ко мне в гости. Лену помнишь?

Свечков не помнил никакой Лены, но головой кивнул согласно, дескать, да-да, конечно же помню.

— Она, как узнала, что ты здесь, велела тащить в гости. Так и сказала: «Тащи его». А твою как зовут... запамятовал. Такая живая вся из себя, помню, ходила к нам в Краснознаменный на танцы.

Свечков медленно усмехнулся.

— Мир чертовски тесен, — сказал он, все еще усмеха-

ясь. — В Кронштадте я ходил на учения на противолодочном корабле. Так им командует ее сын.

— Как ее сын? — не понял Георгиев.

— Ее сын,— тверже повторил Свечков.— Старший лейтенант Пугачев.

— Ах, да-да...— Георгиев тоже кивнул головой. — Так не забудь: как вернетесь — и сразу к нам. А уж я буду знать, когда вы придете.

— Добро.

— Так, значит...— хотел было спросить Георгиев, но Свечков, желая уйти от всяких вопросов, быстро сказал:

— Да-да... — Он помолчал. — Ты, случайно, Малахова не знаешь?

— Как не знаю... Малахов на флотах человек известный. И концепция его известна.

— Сам-то ее исповедуешь?

— Мы же, Игорь, надводники, у нас и концепция маленько иная. А так что же: Малахов — мужик башковитый. Прошел все ступени флотской академии и сам стал академиком.

— Говорят, пока флот кренило на один борт, так ты много всяких баталий перенес?

— Кто говорит? Стукалов, что ли?

— Больно били?

— Не свою же шкуру отстаивал,— нехотя ответил Георгиев.— Маленько сам поднатужился, маленько люди помогли.

— А не боялся снова с флота вылететь?

— Некогда было бояться. На боязнь тоже время требуется.

— А у меня, видно, времени оказалось больше.

— Может, гордыня заела.

Свечков побарабанил пальцами по столешнице:

— Может, и гордыня. Отсюда теперь не вдруг разберешься, чего там было больше.

В дверях появился Стукалов:

— Товарищ адмирал, вас к телефону.

— Добро...— Но прежде чем подняться, Георгиев напомнил Свечкову: — Так, мы условились: вернется «Смелый»— и сразу к нам.

— Поклонись Лене,— сказал Свечков.

— Добро.— И Георгиев вышел. Свечков еще посидел за столом. В кают-компанию заглянул вестовой.

— Братец, — позвал Свечков. — А не подашь ли ты мне стаканчик чайку. Душа по горяченькому истосковалась.

Разумеется, не по горячему истосковалась душа у Свечкова, но не перед вестовым же было исповедоваться.

Свечков сидел, помешивал в стакане ложечкой, но к чаю не прикасался и все думал, думал, а может, делал вид, что думает, потому что только одна мысль тревожила его в эти минуты, обегая круг, как секундомерная стрелка, и каждый раз возвращаясь к своему исходу: «А что было бы, если бы тогда...» Он опять мешал ложечкой, и мысль его обегала очередной круг: «А что было бы, если бы тогда...»

Появился вестовой, помаячил в дверях и бесшумно сменил ему чай. Свечков как будто даже не заметил этого. «А что было бы, если бы тогда...»

Наконец он залпом выпил чай, шумно встал из-за стола и подумал в сердцах: «А ничего бы и не было... Раз ничего не случилось, значит, ничего и не было».— И вышел на палубу.

День был ветреный, но солнечный и жаркий. Видно, припекало хорошо, потому что моряки на барже разделись по пояс и, радостно перебраниваясь, укладывали на сетку под стрелу ящики с реактивными снарядами. Возле борта стоял Люков, время от времени брался за козырек, потуже нахлобучивая фуражку, и наблюдал за действиями моряков.

— Это что,— удивился Свечков,— опять боезапас?

— Так точно... Велено заменить учебный на боевой. — Люков сознательно заменил «приказано» на «велено», чтобы подчеркнуть будничность происходящего, и Свечков не стал уточнять, почему велено да зачем велено.— Скоро управимся... Вот только эти ящики поднимем.— Он указал глазами на баржу, в которой штабелем стояли снарядные ящики. Люков был немногословен и озабочен, видимо, и самой погрузкой, и тем, что должно было последовать вслед за этой погрузкой, и Свечков оставил его в покое, перешел на другой борт, поискал места поукромнее, но не нашел его, поднялся на ходовой мостик. Он устроился в кресле флагмана и молча стал взирать на гавань, казалось бы сморенную жарой — палубы караблей были безлюдны,— и скоро уловил, что гавань жила напряженной жизнью: отваливали пустые и подваливали, едва бунтуя воду, груженые баржи, кое-где слышались негромкие команды, и сразу на нескольких кораблях описывали свои загадочные круги сферические антенны. «Если кого и сморила жара,— подумал Свечков,— так это только меня».

Тут было покойно и, по всей видимости, хорошо бы думалось, если бы только хотелось думать, но Свечков слов-

но бы стал сторониться своих же мыслей и, чтобы совсем отвлечься от них, стал потихоньку напевать:

Все тропинки лесные знакомы,
Когда еду в хоромы твои...

«А может, плюнуть на все,— неожиданно подумал он,— махнуть на Куршскую косу к Ольге и сказать ей: так-то и так-то... И все... Главное, решиться махнуть на все... Это же так просто».

Кто-то зашаркал в рубке. Свечков оглянулся и увидел Зябликова. Тот поманил его пальцем, шепотом сказал:

— Сегодня приходите после ужина в кубрик. «Козью морду» заделаем. Со мной на пару. Только игру-то на себя особенно не берите.

— Понял.

На внутреннем трапе послышались тяжелые, уверенные шаги. Зябликов стрельнул глазами влево, вправо и шмыгнул на открытое крыло. Появился Стукалов, заметив Свечкова, заулыбался:

— Осваиваетесь?

— Так точно...

— Тоже поднялся посидеть со штурманом над картами.

— Предстоит что-нибудь серьезное?

— У нас, Игорь Александрович, ничего несерьезного не бывает. За что ни возьмись — все серьезно. В море много случайностей, поэтому и хочется, чтобы их поменьше было.

— Поменьше случайностей, побольше удачи?

— Так точно.

Стукалов прошел в штурманскую рубку, а Свечков посидел еще, посидел в довольно-таки жестком, похожем на самолетное, флагманском кресле, но и петь уже не пелось, и думать не думалось, и прошло очарование одиночества. Он решил было спуститься к себе в каюту и там продолжить свое бездумное думанье, хотя и понимал, что сделать это уже будет невозможно, но пришли старпом Люков, а за ним и командир боевой части пять, и один доложил Стукалову, что корабельные работы завершились и неплохо бы произвести малую приборку, а другой, собственно, дополнил первого, сказав, что топливо и вода приняты под завязку, а машину уже начали прогревать.

— Добро. Ужин готов?

— Через двадцать минут принесут пробу.

— Объявляйте приборку. Поужинаем — и сразу сыграем тревогу. Есть «добро» уйти в точку.

— Есть,— сказал за обоих Люков, и каждый из них от-

правился по своим делам: Люков — на верхнюю палубу, командир боевой части пять — в машину. «Дела, кажется, нешутейные»,— подумал Свечков и словно бы невзначай спросил Стукалова:

— Значит, повоюем, командир?

— Для того и живем, Игорь Александрович.

— А меня, дело прошлое, пригласили после ужина «козла» забить.

— Великой чести удостоились, Игорь Александрович,— пошутил Стукалов.— Жалею, что придется вам песню испортить. Но тут уж не моя воля.

— А велика ли воля? — спросил Свечков иносказательно.

Стукалов подумал и, кажется, понял его.

— Велика, Игорь Александрович.— Он опять подумал.— На этот раз велика.

Стукалов снова скрылся в штурманской рубке, а Свечков спустился в каюту. Приборщик уже протер пыль и швабрил палубу. Он разогнулся и вопросительно поглядел на Свечкова.

— Я не помешаю, если пройду побриться?

— Никак нет... Я уже там прибрался.

Свечков открыл кран — шла пресная вода, и смеситель был горячий, видимо, на время приборки трюмные машинисты — «духи» дали пар. Свечков решил принять душ и привести себя в порядок. Никто толком не знал, на сколько суток выходил в море «Смелый», как никто не мог и утверждать, какая погода поджидала его в походе, в который он волею высших командиров отправлялся. Свечков достал чистое белье, разоблачился и подставил плечи под хлесткие, почти колющиеся горячие струи. «Надо бы послать телеграмму старому кашалоту,— подумал он мельком.— Дескать, видимо, задержусь и все такое прочее... Впрочем... Да ладно, сам потом все объясню. Главное, очеркишко будет, а все прочее в приложении».

Прежде чем закончилась приборка, он успел и побриться, долго рассматривал в зеркале свое лицо, которое и загорело уже, и обветрилось, и стало словно бы длиннее и у́же. Это лицо было чужое, и глаза в припухших веках — блестящие, запавшие и поэтому потемневшие — тоже были чужими на этом лице. «Черт те что»,— растерянно подумал Свечков.

Перед тем как идти на ужин, он еще разнеженно посидел в кресле, рассеянно пробежал по корешкам книг, тесно застывших на полке, словно новобранцы в строю, но ни одна не привлекла его внимания, и он понежился еще недолго, а там прозвучали колокола громкого боя и раздался сигнал:

— Команде ужинать.

Видимо, он выглядел несколько наряднее, чем обычно, потому что на него сразу обратили внимание несколько пар лейтенантских глаз, и Стукалов, хотя ничего и не спросил, но тоже оторвался на минуту от тарелки. Свечков все понял и негромко, но довольно внятно произнес:

— В море же идем.

Стукалов улыбнулся в тарелку и промолчал.

«Надо бы к Зябликову спуститься,— подумал Свечков,— сказать, что матч века переносится по не зависящим от нас обстоятельствам»,—но спуститься в кубрик не успел. Стукалов поднялся из-за стола первым, вслед за ним потянулись Люков, командиры боевых частей и служб, тревожным набатом ударили колокола громкого боя:

— Учебная тревога... Корабль к бою и походу изготовить.

«Смелый» не стал задерживаться на рейде, а сразу взял курс в открытое море, или, выражаясь штурманским языком, пошел в точку.

Небо было чистое, только кое-где в зените его замусорили легкие облачка, и море было чистое, взрыхленное мелкими синими волнами, на которых вспыхивали белые огоньки. Посреди этого чистого мира, значительно склонясь к горизонту, висело неяркое и совсем нежаркое солнце.

Неожиданно Свечков почувствовал, как в нем начала рождаться тревога. Он пытался понять, в чем причина внезапного пробуждения этого сложного сплетения ощущений и чувств, когда человеку становится не по себе, но причины не находились, а тревога становилась все ощутимее. Это ощущение как бы переходило из области духовной в область физическую.

Стукалов стоял возле своего кресла и был радостно спокоен, был угрюмовато-спокоен и Люков, наблюдавший за рулевым и, видимо, повторявший все его скупые движения, и вахтенный офицер был спокоен, и штурман, пришедший доложить командиру, что корабль подходит к точке поворота, а значит, и Свечкову тревожиться было нечего.

И вдруг ему показалось, что он понял, в чем кроется причина его беспокойства. Долгие годы море тайно жило в нем, и он жил в море, боясь даже себе сознаться в этом, как бы принеся все прочие чувства той давней обиде. Но обида в конце концов вышла столь ничтожной, а море столь великим, что они даже не смогли противостоять одно другому,

Нельзя же в конце концов измерять версты килограммами, а из соломы вязать современные корабли.

«Послушай,— подумал он сердито, обращаясь к себе, как к лицу сварливому и несговорчивому,— но кто тебе мешает прожить эти непрожитые годы за письменным столом, воссоздав на бумаге бискайские штормы, ревущие сороковые, розовые и алые грозы Суматры и молочно-голубые всполохи полярных сияний?— Он усмехнулся.— Милый Николай Григорьевич, я населю свои очерки сильными, красивыми людьми, и сам среди них тоже стану сильным и молодым. Молодым, старый кашалот, а красивым совсем не обязательно».

Он зримо представил и Жванию, и Костю Гетманова, Георгиева с Малаховым, Зябликова, и все они словно бы завязались в тугой узел, в котором и ему нашлось свое особое место.

А потом Свечкову подумалось, что если бы не было его, то, наверное, судьба не свела бы их вместе, они все так бы и прожили хотя и рядом, но все-таки порознь. Подобно кораблю, он наконец-то определил по дневному светилу свое место, следовало бы, видимо, порадоваться, но радости не было, и сердце оставалось неспокойным, оно замирало и билось словно бы невпопад.

«Ах Ольга, Ольга,— подумал он. — За каким чертом надо было находить тебя, чтобы тотчас же потерять? А может, все следует принимать очень просто? Может, каждому из нас отпущена только своя доля утрат и приобретений. Даже Людмиле, хотя ее приобретения закончились очень скоро, а потом она только теряла. — Ему захотелось закричать: «Неправда», но это была правда, нелепая, обидная и совершенно бездушная.— А ложь бывает теплее,— нехотя подумал Свечков.— Парадоксально, но факт: во лжи есть своя теплота.— Он сжал ладонью горло.— Если бы была жива мама...»

— Лево на борт,— сказал Стукалов.

Свечков посмотрел на него и ничего не понял. «Ах да»,— подумал он.

— Есть, лево на борт,— повторил вахтенный офицер и в свою очередь приказал рулевому: — Лево на борт. Курс...— Он мельком глянул на картушку гирокомпаса.— Одерживай... Так держать. Товарищ командир, на курсе...

— Добро,— не сразу отозвался Стукалов, видимо тоже занятый своими мыслями. — Так держать.

Солнце совсем склонилось к закату, повисело недвижно и начало краснеть, теряя ясную золотистость. Легкая паутинка, которая раньше была не заметна, засветилась с

краю, холодный огонь пробежал по ней из конца в конец, и вся она стала алой.

— Будет ядреный ветер,— ни к кому прямо не обращаясь, заметил Люков. — Вон как облачко загорелось.

Все, кроме рулевого, повернулись к закату и молча покивали: дескать, все правильно, раз красный закат, то и жди ветер.

А тем временем солнце коснулось условной черты, которая в эту минуту была прочерчена так точно и четко, что, казалось, там, на краю неба, провели чертежным пером, вытянулось, налилось нездоровым багрянцем, сперва как бы превратясь по форме в печной горшок, а потом растеклось по горизонту тревожным пожарищем. С неба упал на воду тревожный ветер, прогудел, как в трубе, и все вокруг заполыхало белыми огнями. «Смелый» круто скатился с волны, и началась качка, изнуряющая и бестолковая, как, впрочем, и любая качка.

— Что у акустиков? — спросил Стукалов, как всегда не оборачиваясь и, как всегда, будучи уверенным, что его услышат, поймут и исполнят в точности его волю.

— Тихо...

— Кого-то ищем? -- спросил Свечков.

— Иголку, Игорь Александрович, — промолвил Стукалов. — Я уже, кажется, говорил, что на Балтику пожаловали две американские лодки.

— А что им, собственно, у нас понадобилось?

Журналисту Свечкову этот вопрос не мог показаться ни наивным, ни праздным — с точки зрения здравого смысла американским подводным лодкам делать на Балтике было нечего, но для капитана третьего ранга Стукалова он по меньшей мере прозвучал и наивно, и праздно.

— Наверное, ищут то, что не потеряли.

— И мы теперь обязаны угодить в точку, как тогда с якорем?

— Так точно...

— А попадем?

Стукалов высветил свою широкую ослепительную улыбку:

— Для того и по морю шастаем, Игорь Александрович, чтобы угодить...

В ночь ветер совсем окреп, нагнал тугую волну, которая била «Смелый» в правую скулу, переборки кряхтели и поскрипывали, и создавалось впечатление, что корабль начал припадать на одну ногу. «Черт те что»,— подумал Свечков.

Он давно не выходил в море, растерял все навыки и, хотя крепился долго, но уже после полуночи начал укачиваться, сел в кресло и больше с него не вставал. А на кресле правого борта сидел Стукалов, время от времени ему приносили стакан чаю — Свечкову тоже предлагали, но его при одном упоминании о еде начинало мутить, и он отказывался. Стукалов медленно прихлебывал из стакана, поднимался, прохаживался по мостику, заглядывал в боевую рубку, подолгу разглядывал планшеты морской и воздушной обстановки, над которыми колдовали офицеры радиотехнической службы, наконец, останавливался возле Свечкова, трогал его за плечо:

— Игорь Александрович, идите в каюту. Будет что интересное, я вас тотчас же вызову.

— Юрий Павлович, считайте, что меня здесь нет,— просил Свечков.— Я посижу тут серенькой мышкой.

— Выпейте чаю и ступайте на ветер. Не настаиваю, только советую.

Свечков молча и словно бы нехотя улыбался и, не отрываясь от спинки, качал головой, и Стукалов отходил от него: потчевать, как говорится, можно, неволить нельзя.

Ночь как будто дрогнула, стала темнее и глуше, и скоро начало светать. Ровными синими грядами низко шли облака, и в малых просветах меж ними опять загорелась багровая заря, предвещая и в день свежий ветер. Свечков не заметил, что в какую-то минуту «Смелый» сделал поворот, и волна начала шпарить уже в левую скулу, но в правую она била или в левую — это не меняло существа дела: качало по всем правилам, а вернее, без всяких правил, и Свечков почувствовал, что его начинает выворачивать наизнанку, как старую, никому не нужную рукавицу. Он понял, что если хотя бы еще на полчаса останется в этом паскудном положении, то потом проваляется до конца шторма.

Неожиданно облака оторвались от горизонта, их начало задирать, словно прочный, но не слишком свежий тент, которым на ночь закрывали небо, и там, где они задирались и открывалась чистая полоса, загоралась во всю ширь этой полосы заря, и тотчас же взошло солнце, оглядев косым взглядом хмурое и гневное море.

«Вот сейчас,— подумал Свечков,— раз, два... Вот сейчас, иначе будет плохо». Он поднялся рывком, спустил ноги на шаткую палубу, цепляясь за репитор компаса, обрел опору и выпрямился. На него не обратили внимания или сделали вид, что не обратили, только Стукалов мигнул Люкову, и Люков из штурманской рубки позвонил в буфет и попросил, чтобы принесли Свечкову бутерброд и стакан чаю покрепче.

Балансируя едва ли не как жонглер, появился вестовой, в протянутой руке он нес стакан с чаем в массивном, специально для качек, подстаканнике, в другой — бутерброд, завернутый в бумажную салфетку. Свечков было хотел отказаться от приношения, но весь вид вестового как бы выражал немой упрек, дескать, что же вы, для вас же старался, а вы нос воротите, и Свечков взял и стакан с чаем, и бутерброд, отпил глоток и откусил от бутерброда, разохотился и все съел, и все выпил. Облегчения особого он не почувствовал, но в ногах словно бы появилась уверенность. Он закрепил стакан в кронштейне и вышел на воздух с подветренной стороны.

Небо очистилось от облаков и было блестяще-голубое, даже как будто хрупкое и словно бы невесомое. Ветер дул без порывов, ровно и мощно, и волны шли накатом, гремели и осыпались, и все вокруг ярилось и рушилось. «Как это в песне моей юности? — неожиданно для себя подумал Свечков.— «Неизвестно, на каком квадрате вражескую лодку увидал»? Вот бы мне ее первым увидеть. Вот бы, а...— И так же неожиданно рассмеялся.— Какая только чепуха в голову не забредет. Ну где ты ее увидишь, друг ситный, если она сейчас отлеживается на глубине. Да ни в жисть».

Вышел на крыло Люков, для порядка оглядел море в бинокль, протянул бинокль Свечкову:

— Полюбопытствуйте, Игорь Александрович.

— А что, если первым замечу лодку? — лукаво спросил Свечков.— Впрочем, как ее заметишь, ежели полеживает она сейчас, голубушка, где-нибудь на дне.

— Да нет, Игорь Александрович, не может она полеживать. Лодка создана для движения. Только движение разное бывает. Идет она, скажем, самым малым, почти неслышно, вот попробуй и поконтачь с ней.

— По вашим предположениям, она должна быть где-то здесь?

— По нашим-то — да, но она-то руководствуется своими предположениями и тоже прислушивается к нам. Вот и ходим: как гончая за волком. А где тот волк, поди знай. Лес большой, лес густой, следы не каждый оставляет.

— А если не найдем?

— Грош нам цена в базарный день.— Люков потянул пилотку на лоб.— Она тут где-то.

— А представьте себе, если бы сейчас шла война...

— Если бы шла война, то мы и не жгли бы топливо попусту, а ударили бы по квадратам — и дело с концом...—

Люков опять потянул пилотку, но тянуть ее уже было некуда.— Пойду испрошу у командира разрешения объявить команде «Завтракать». Есть лодка, нет лодки — это вопрос особый, а моряк должен питаться вовремя.

— Так точно,— ответил Свечков только для того, чтобы не оставлять слова Люкова без внимания.

Офицеры, свободные от вахт, вслед за Люковым один за другим спустились в кают-компанию, Свечков побродил-побродил по мостику и тоже спустился вниз, хотя есть ему не хотелось. Качало неимоверно, но Свечков уже приспособился, вернее, более или менее восстановил былую приспосабливаемость к качке, и довольно уверенно дошел и до кают-компании, и место свое за столом занял. После завтрака Свечков повеселел, подумывал даже побриться, но на этот поступок уже не отважился, поняв, что без привычки ничего доброго из этой затеи не получится.

На мостике по-прежнему царила озабоченно-деловая скука: штурман докладывал точки поворотов, Стукалов время от времени исчезал в боевой рубке, вахтенный офицер сверял с рулевым курс с показанием магнитного компаса, Люков ушел по хозяйству, Свечков, стараясь побольше находиться на ногах, держался подальше от флагманского кресла.

Ветер заметно убавился, хотя и дул еще размашисто, но не так уж мощно, и волны стали словно бы помельче, не каждая уже норовила забросить свой гребень на палубу, многие просто старались поднырнуть под киль. И вдруг в одно мгновение все смешалось.

— Товарищ командир, акустики установили контакт.

Лицо у Стукалова дрогнуло и посветлело, но он тут же погасил улыбку и, еще не зная подробностей, обратился к вахтенному офицеру:

— Боевая тревога,— и скорым шагом прошел в боевую рубку к планшету.— Реактивные установки изготовить.

Появился запыхавшийся Люков, принял доклады командиров боевых частей и служб, доложил Стукалову:

— Товарищ командир, корабль к бою готов.

— Есть.

Все было то же: и море, и небо, и ветер, и волны, и солнце, а на ходовом мостике стало заметно оживленнее и даже словно бы веселее.

— Товарищ командир, неопознанная цель—слева по носу, пеленг, дистанция...— пытается выйти из зоны контакта.

— Самый полный вперед...

«Смелый» резво присел и, обдав себя мириадами брызг, рванулся навстречу ветру и волнам.

— Что будет и что может быть? — тихо спросил Свечков.

Стукалов невольно рассмеялся:

— Говорите громче, Игорь Александрович, все равно нас там давно уже засекли... Думаю, что сегодня ничего не будет. Лодка попытается выйти из зоны контакта. В противном случае она должна всплыть. Так или иначе, но боевую задачу своего командования она уже не выполнила, утратив скрытность и вступив с нами в контакт.

— Флот об этом знает?

— Так точно... Сейчас эту лодку слушаем уже не мы одни. Она скоро это поймет.

— А хорошо бы...— подумал вслух Свечков, глядючи на реактивные установки, ощетинившиеся своими направляющими.

— Экий вы, право, скорый, Игорь Александрович...

Уже больше часа следовал «Смелый» параллельным курсом с неопознанной лодкой, выполняя все ее эволюции, или, как выразился Люков, капризы, а потом она вдруг перестала капризничать, пошла ровно, и вахтенный сигнальщик доложил:

— Слева по носу — перископ... Дистанция...

— Добро,— радостным голосом сказал Стукалов.— Старпом, давайте поприветствуем ее. Все-таки она — корабль первого ранга, а мы — второго.

Люков растянул рот в широчайшей улыбке и лихо бросил руку к виску:

— Есть, поприветствовать корабль первого ранга.

Следом за перископом показался спинной плавник — боевая рубка, и выплыла вся серо-зеленая горбатая спина, на флагштоке затрепыхался полосатый прямоугольник флага. Лодка обозначила свою государственную принадлежность и перестала считаться условным врагом. В надводном положении она шла тяжеловато, заметно уступая в скорости «Смелому», и он скоро нагнал ее, приспустил, приветствуя, флаг, и там дрогнул флаг, ответствуя на приветствие.

— Готовность номер два... Старпом, лично проследите, чтобы на установках заменили боевой запас на учебный. Идем в точку учебного реактивного бомбометания. Очки пойдут в зачет на приз командующего и приз главкома. Вахтенный офицер, выясните, кто первым вошел в контакт с лодкой.

— Старший матрос Зябликов.

Отбомбившись и пустив торпеду, «Смелый» через двое суток вернулся в базу. Люков еще в море распорядился протопить сауну и, едва только корабль ошвартовался, постучался в каюту к Свечкову:

— Игорь Александрович, прошу...

— Да будто бы...

— После похода это очень облагораживает.

— Ну, если облагораживает...

Парильщиков больше не звали, думали, что в сауну набьется много офицеров, но желающих не нашлось, и в сауну Свечков отправился вместе с Люковым, но и Люков быстро ополоснулся и помчался по своим многотрудным делам.

Свечков долго сидел на полке, ощущая сладкую истому в теле, несколько раз порывался уйти и все не уходил, пока сердце у него не сжалось, подобно пружине, а потом словно бы запрыгало, ища выхода из тесной груди.

Он переполошился, поскорее смыл с себя пот, оделся и хотел сходить к судовому медику, но сердце успокоилось, и он, напившись чаю, завалился в койку, предвкушая, как встретит завтрашний день: и откроется ему в том дне Куршская коса, и найдет он на той косе Ольгу Николаевну. Она появилась словно бы из тумана, подав сперва свой голос, а потом и сама засветилась, разгораясь все ярче и ярче. «Как все это хорошо, — успел подумать он, засыпая, — как все это хорошо...»

А наутро Свечков спустился в кубрик к матросам, посидел вместе с ними на рундуке — когда-то и ему приходилось спать на таком,— посудачил о погоде, ну, разумеется, и об американской лодке, которая сразу после всплытия взяла курс на датские проливы, намереваясь, видимо, уйти в Северное море. Впрочем, это была уже ее забота.

Потом он поднялся на мостик, посидел в кресле флагмана и уже точно представил, где раньше швартовался «Железняков», но «Железнякова» больше не было. Свечков проворно соскочил на палубу и спустился вниз.

Стукалов с Люковым проводили его до трапа, обнялись на прощание, постояли молча и снова обнялись, и штабной газик покатил его на автостанцию.

По дороге он опять почувствовал томление, даже ощутил минутное жжение в груди, но не придал этому значения, купил билет на автобус, сел в тень передохнуть и вдруг почувствовал резкую боль в груди и в затылке, он хотел было заслонить грудь ладонью, но рука не слушалась его и безвольно упала на колено, а сам он словно бы провалился в

мерзкую темноту, успев только подумать: «Оля, да как же это я...»

Очнулся Свечков на исходе дня, нестерпимо болела грудь, тело было ватное и чужое, он боялся даже пошевелиться, только изредка открывал глаза и видел перед собой темное окно с белыми занавесками и на занавесках малиновую зарю. Таким светом горят только вечерние зори, и он понял, что был в беспамятстве весь день. Боль не утихала, она стояла в груди, как ком, и этот ком постепенно разрастался, наливая болью все тело. Свечков не мог поверить, что оказался в западне, ему все думалось, что, стоит только закрыть глаза, полежать не шевелясь минуту и другую, и все пройдет, он встанет, оденется и вернется к своим делам, но проходили минуты за минутами, малиновый свет на занавеске померк.

Свечков опять провалился и увидел длинный коридор, в конце которого, мерцая, сиял голубой свет. Ему стало хорошо и покойно, ничто уже не болело, тело стало легким, как будто вырвалось из тенет, которые тяготили его все время, и он невесомо поплыл навстречу этому зовущему мерцанию. Он только на минуту очнулся, вспомнив, что Людмила в последний свой сон тоже видела это сияние, и тотчас же снова ушел в него.

Он ничего не вспоминал и никого не жалел, став сразу человеком без прошлого и без будущего, он просто плыл, погружаясь все дальше и глубже в этот бесконечный коридор. Иногда он открывал глаза и видел голубой свет и, смежив веки, опять видел все тот же свет, и так ему было легко, что хотелось от умиления и великой радости тихонько и счастливо плакать. А на рассвете боль вернулась, он ужаснулся видению, преследовавшему его всю ночь, и едва не закричал: «Жить! Жить! Жи-и-ить!..»

И сразу память заработала, как метроном. Он вспомнил Ольгу Николаевну и себя рядом с нею, вспомнил Стукалова с Люковым, «Смелый», минную постановку и американскую лодку, Морское кладбище в Кронштадте, Николая Григорьевича с его напутствием: «Дорогой мой, везите очерк, чтоб широко было, размашисто. Словом, как вы умеете», припомнил массу других учтенных и неучтенных дел, событий и лиц, и, по мере того как боль усиливалась, воспоминания шли своим чередом, как будто соревнуясь с болью, и в этой веренице верстовыми столбами вспыхивала и мерцала Оля.

Он позвал сестру и попросил отправить в Ленинград телеграмму.

— Напишите так...— Свечков призадумался.— Да,— ска-

зал он,— напишите так: «Брат, завтра...» — Боль опять начала подкрадываться, и он поправил себя: — «Брат, срочно ухожу океан. Пробуду там долго. Съезди к Людмиле. Низко поклонись за меня. И маме тоже. Купи цветов. Много-много. Брат, не скупись. Прошу тебя».

Сестра напряженно посмотрела на него и поправила подушку. Свечков полуприкрыл глаза и как будто отстранился.

— Все?

— Отбейте еще одну в Москву... Значит, так: «Материал очерка собрал...» Нет... «Немного задерживаюсь. Очерк практически готов. Широкий... Размашистый. Словом, такой, какой вы хотели...»

— Теперь все? — спросила она разочарованно.

— Нет,— сердито возразил Свечков.— Отбейте еще одну, на Куршскую косу. Напишите так: «А я все-таки приеду. Вернусь из океана и приеду. И будешь ты, и буду я. Все равно приеду».

— Все? — опять спросила сестра.

— Теперь все...

Окна госпиталя выходили на море. Там было тихо, и голоса над водой словно бы стлались. Пробили склянки: одну, другую, потом он услышал резкую дробь колоколов громкого боя — на корабле играли аврал — и голос вахтенного офицера:

— По местам стоять... С якоря сниматься!

Он любил одержимых, он завидовал одержимым, он всегда преклонялся перед ними.

СОДЕРЖАНИЕ

Вячеслав Иванович Марченко

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ

Редактор *С. И. Смирнов*
Художник *Н. Н. Стасевич*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *Т. Г. Пименова*
Корректор *Н. Г. Худякова*

ИБ № 2638

Сдано в набор 12.04.84. Подписано в печать 16.10.84. Г-70435.
Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкн. новая.
Печать высокая. Печ. л. $13^{1}/_{2}$. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68
Уч.-изд. л. 26,47. Изд. № 4/440. Тираж 100 000 экз. Зак. 569. Цена 2 р.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Стр.

3
253

68
на 2 р.

В. МАРЧЕНКО

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ